

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

№ *М И Р* Y

9

2004

9

МИР

НОВЫЙ

2004

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

**В 2004 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2005 ГОДА
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

НИККОЛО АММАНИТИ. **Я не боюсь** (роман; перевод с итальянского);

ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ. **Роман с китайцем**;

РОДИОН БЕЛЕЦКИЙ. **Николай не понимает** (повесть);

ОЛЕГ БОРУШКО. **Класс «А»** (роман);

ИГОРЬ БУЛКАТЫ. **Кавказский лабиринт** (роман);

ДМИТРИЙ БЫКОВ. **Отвращение** (роман);

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. **Мария из Магдалы** (повесть);

РУБЕН ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО. **Новая книга**;

ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. **Я помню**;

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ. **Эти квартиры** (рассказ);

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. **Повесть о герое Василии и подвижнице Серафиме**;

ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. **Гардеробщик** (повесть);

БОРИС ЕКИМОВ. **Рассказы и очерки**;

ОЛЕГ ЕРМАКОВ. **Холст** (роман);

АЛЕКСЕЙ В. ИВАНОВ. **Вниз по реке Теснин** (исторический роман);

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. **Новые рассказы**;

АНАТОЛИЙ КИМ. **Сеть** (повесть);

ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. **Из пороха в порох** (повесть);

МАКСИМ КРОНГАУЗ. **Современный детектив** (опыт классификации);

МИХАИЛ КУРАЕВ. **Дом без адреса** (повесть);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. **Новый роман**;

АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. **В долине блаженных** (роман);

ВЛАДИМИР НОВИКОВ. **Моншер** (роман);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. **Чаровщина**;

ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. **Заморозки** (повесть);

ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. **Пустырь** (повесть);

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Три рассказа;
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Новая повесть;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);
РОМАН СЕНЧИН. Дочка (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
РОМАН СОЛНЦЕВ. Книга провокаций;
ЭРИХ СОЛОВЬЕВ. Переосмысление талиона (статья вторая);
МАРИНА СТЕПНОВА. Хирург (роман);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Прощание с гармонистом (роман);
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Птица счастья (повесть);
ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ. Зачем ставят памятники? (эссе);
АНТОН УТКИН. Крепость сомнения (роман);
МИХАИЛ ХАРИТОНОВ. Зимы не будет (повесть);
ОЛЕГ ХАФИЗОВ. Полет «России» (повесть);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Откос (повесть);
ИВАН ШМЕЛЕВ. «Я всегда жил сердцем...» (письма Раисе и Людмиле Зиммеринг);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;

а также стихи МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ИНГИ КУЗНЕЦОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕН ШВАРЦ; статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, АНДРЕЯ ЗУБОВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ВАЛЕРИЯ СЕНДЕРОВА, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корп. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2004 и 2005 годах: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2005. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек, 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах: ООО «Паолине» (Большая Никитская, 26/2, т. 291-65-15), ПК «Фаланстер» (Большой Козихинский пер., 10, т. 504-47-95), ООО «Анега Р» (Большая Дмитровка, 12, т. 229-34-53), «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий пер., 5/7, т. 951-93-60), ООО «Викмо-М» (ул. Нижняя Радищевская, 2, т. 915-27-97), ООО «Анега Д» (ул. Никольская, 19/1, т. 921-58-27).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

ИНФОРМАЦИЯ МГУИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9 (953)

Сентябрь, 2004 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЬГА МАРТЫНОВА — Над твердью тихих волн, стихи	7
МАРИНА ПАЛЕЙ — Хутор, повесть	11
ЮРИЙ КАЗАРИН — Шаровое жнивье, стихи	40
ЮРИЙ БУЙДА — Переправа через Иордан. Книга рассказов	44
ПИНДАР — МАКСИМ АМЕЛИН — Победные песни	92
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ — Автопортрет в лицах, рассказы	105
АЛЕКСАНДР ЗОРИН — Ствол ясеня, стихи	114

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Святая земля и вокруг нее	118
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Алексей Константинович Толстой — драматическая трилогия и другое. Из «Литературной коллекции»	137
---	-----

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ОСИЯ СОРОКА — Как Чехов писал стихи. Публикация, подготовка текста и вступительная заметка Елены Волковой	145
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА СУРАТ — Превращения имени	151
---------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Евгений Ермолин. ГУЛАГ. До востр.	169
Кирилл Анкудинов. Евангелие от Марфы	175
Алла Марченко. Жизнь + творчество: слить в одно?	179
Мария Виролайнен. Протоязык XXI века	184

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ВИКТОРА КУЛЛЭ	189
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА	199
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	203
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	207

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	211
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	215
SUMMARY	240



**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ДМИТРИЯ БЫКОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
В ОБЛАСТИ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ АРКАДИЯ И БОРИСА СТРУГАЦКИХ
(«АБС-ПРЕМИЯ»):**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ ИМЕНИ Н. В. ГОГОЛЯ!**
Александр Мелихов удостоен этой новой
санкт-петербургской литературной премии
в номинации «Шинель» (реалистическая проза)
за роман «Чума», первая публикация которого состоялась
в «Новом мире» (2003, № 9, 10).

ОЛЬГА МАРТЫНОВА



НАД ТВЕРДЬЮ ТИХИХ ВОЛН

Не о Венеции

Все дольше звука ждать. Хоть чист осенний воздух.
Лимонный ясень, прелый запах дерна.
Деревья держат птиц в озябших лапках.
Все дольше звука ждать, так пустота упорна.

Так пустота проворна, так легка.
Везде протяжно дышит расстоянье,
Взгляд пересек Большой канал — издалека.
Там кипарисов черное сиянье.

Венеции улиточный завой,
Не скрасив осени, слезится старым оком.
И пахнет золотом, и рыбой, и сурьмой.
Румянами, рабами, кофе, рыбой.

Гомункулы в стекляшках фонарей,
Хребты мостов, заплесневелый праздник,
Чей торт тем драгоценней, чем черствей,
И вольности замасленный передник.

Все дольше звука ждать. К тебе ли я,
Венеция, за звуком приходила.
Меня встречает мой тевтонский ясень,
Помахивая косточкой от птички.

Не о Венеции (2)

Утомленные цикады падают с деревьев,
Молкнет Адриатика, стынет смятый воздух.
Мелькнули столетья между этой ночью и «верь я в...».
Холода край остается за круглым морем Гипербореев,
Цикада-Каренина бросается под ноги, не в силах осилить молчанье.

С утра воеет в волнах мускулистый дурак,
Страшно чужое безумье: его выловят, увезут в белой машине,
На него смотрят, смеясь, женщины в прозрачных платках
На непроницаемых бедрах.
Уж лучше цикады, чем немолчное это мычанье.

Мартынова Ольга Борисовна родилась в 1962 году. Закончила Ленинградский пединститут им. Герцена. Автор нескольких лирических сборников. Стихи неоднократно переводились на европейские языки. В настоящее время живет во Франкфурте-на-Майне.

Ложноцвет южной ночи выглядит как настоящий,
 В траве притаились змеи, ежи, скорпионы,
 Верь я в нежную песню цикад, не знай я, что заводят они граммофоны,
 А сами давно уже спят,
 Я ушла бы в тяжелые волны, как умолкший наконец-то дурак.

Да вот беда, говорю я, запрут, поймают...
 ...На другом берегу Адриатики выпуклой, полой, покатою
 Безумцы привольно гуляют.
 В Венеции старой, горбатой
 Я слышала их бормотанье, повторенное падшей цикадой.

Усмиренный дурак, окруженный
 Белой, тихой, пронизанной солнцем палатой,
 Улыбается страшному миру,
 Мускулистая грудь мерно дышит.
 Еж съел скорпиона, цикады застрекотали, море опало, как тесто.

Пустынно в ночных городах в сентябре

Я увидела: поздние розы,
 Поздние розы плывут.

Свободны только нищие,
 Голодные и злющие,
 Да ветер, что ходит туда-сюда,
 Да поздние розы несущая
 Ночная вода.

Как страшные птицы, газеты плывут,
 Нечисто в пустынных ночных городах,
 Чуть забудешься — слышишь, будто тебя зовут,
 Чуть заблудишься, каблук уходит в звенящий лед,
 Который тоже зовет.

В сонных млечных ямах,
 Где шевелится мусор вселенной,
 Я увижу небесных бомжей,
 Сторожей заветных ворот
 В маленький марлевый сад,
 Где спелые звезды низко висят,
 Где пахнет ванилью сухой перепончатый прах,
 Где всё забывают, да и не смотрят назад,
 Куда всякий пройдет, прошмыгнет
 (Ведь бездомные ангелы не запирают ворот),

Пустынно в небесных садах в сентябре,
 Только поздние розы,
 Поздние розы плывут в серебре.

Был дождь

Был дождь. Шиповник блестит, высыхая,
 Разделяющий встречные полосы ночи.
 Машины, что едут передо мной, оставляют багровый свет преисподней,
 Золотом рая сияет обратная полоса.

На языке сутолока речи.
Речи ночных пассажиров сваялись, как пух в перине.
В лесу вдоль дороги умолкли жалобы птички
На то, что вчерашнего лета нет и в помине.
Дорога смотрит прямо в автобус, прищурившись против ветра.
Косули, переминаясь на тонких нерусских ножках,
Волки, кусая себя в лопатку,
Елки, передергивая бровями, —
Стоят здесь веками, ждут своего утра,
Когда можно будет хлынуть на площади и перекрестки,
Затоптать копытцами, замести хвостами, затопить ветвями
Страшные движущиеся, звучащие блестящие,
Вылизать кровь, зализать раны,
Забыть, забыться.

Когда дождутся,
Подстриженный ровно шиповник будет смотреться немного странно.

Мейринк на озере

Среди ночи ясного неба
гроза над озером встала,
звездную карту чертит
молнией вверх и вниз,
наискосок и влево.
Сквозь снежные покрывала
Альп раскосые лица
почти не видны,
непонятны и смутны.
Мир разъят, грома разят,
капли крупные висят
на краю воздушных сфер.

Ужас в глиняных очах.
Мир — непонятная таблица,
ее столбцы — в других мирах,
в тумане утра, например,
когда чихают, просыпаясь, козы.
Но мы ведь этого не слышим,
мы слышим только ночь, ее непрошенные грозы.
За это в день суда
ночь пролетит над нами,
воротится сюда,
свернет исчищенное небо в свиточек с письменами,
он уколет глиняное небо
и встанет, сам в себе неволен,
Голем над твердью тихих волн,
Голем прекрасный над сияньем тихих волн.

Ответ

Возможно, все-таки Земля
Не на трех стоит китах,
Не на страшной черепахе
С лакированной спиной,
В славе и блеске,
А упала на звездную ленточку,
Лента прогнулась упруго и в узелок завязалась,
Закружилась, как пляжный мячик в авоське,
А тот узелок подхватила и держит в зубах черепаха,
Сама же стоит на китах:
А время и свет
Скользят и в узелок почти не попадают.

А если бы земля сама стояла на спине,
На шахматной спине плывущей черепахи,
У нас бы было больше времени и света, как во сне,
И мы б не просыпались в пропитанной страхом рубахе.



МАРИНА ПАЛЕЙ



ХУТОР

Повесть

Моим детям — Мише и Полине.

«**У** айник находится здесь», — помогла себе голосом Эсмеральда Леонардовна (далее — Э. Л.) и аккуратно вписала произносимое в маленький прямоугольник. Затем, непосредственно под прямоугольником, четкими печатными буквами вывела: «Медный сундук». «Теперь смотри. — Она указала на общую схему „ПЛАН ПОДВАЛА”. — Запасные электропробки хранятся здесь... стеариновые свечи — здесь...» — Она ткнула концом ручки в два других прямоугольника с письменно обозначенным содержимым и соответственно подписанные внизу: «Голубой деревянный ящик» и «Старый пражский чемодан». Рядом с ее правой рукой, униженной тяжкими серебряными перстнями, уже лежала солидная стопка листов машинописного формата — на них чернели аккуратные надписи: «Где найти таз для стирки», или: «Где найти веник», или: «Если не будет электричества — вот где ты найдешь охотничье топливо». Схемы именовались: «ПЛАН ДВОРА», «ПЛАН ЛЕСА», «ПЛАН ВЕРАНДЫ», «ПЛАН СПАЛЬНИ» и т. п.

Годом раньше я закончила медицинский институт — и потому в моей памяти, на момент этого эпизода с Э. Л., были, конечно, еще свежи многие сугубо теоретические дисциплины. Ярко — даже можно сказать, негасимо — там сияли, к примеру, эзотерические науки военной кафедры, где, несмотря на беспрерывную, в тридцать два зуба, зубрежку (разнообразных тактико-стратегических хитропремудростей), единственным усвоенным мной знанием было такое: в случае применения америкокитайцами оружия массового поражения эффективней всего будет просто молиться. «Ты чего это хихикаешь?» — строго взглянула на меня Э. Л. «Зачем вы все это рисуете?! — Я уже хохотала в открытую. — Ваши чертежи... вы знаете, что они мне напоминают?.. Ой, не могу... схему разворачивания медсанбата!!..» — «Что?!» — опешила Э. Л. «Да, схему разворачивания медсанбата... в условиях... в условиях... — Я никак не могла просмеяться... — В условиях массированного наступления!!..» — «Вот приедешь на место... — От негодования очи Э. Л. сверкнули ярче ее перстней. — Хотела бы я на тебя там взглянуть... Вот приедешь — тогда и оценишь мои... как ты это назвала?..»

И мы приехали. Мы — это я, в возрасте двадцати четырех лет, мой полуторагодовалый сын, моя мать и моя подруга. Наш мобильный отряд, седьмая часть десантного взвода, вылез из такси, вытащил вещи; подруга

Палей Марина Анатольевна родилась в Ленинграде. В 1978 году закончила Ленинградский медицинский институт, работала врачом. В 1991 году закончила Литературный институт. Прозаик, переводчик, критик. Автор книг «Отделение пропащих» (М., 1991), «Месторождение ветра» (СПб., 1998), «Long Distance, или Славянский акцент» (М., 2000), «Ланч» (СПб., 2000). Постоянный автор «Нового мира». С 1995 года живет в Нидерландах.

продолжала держать на руках моего сына, я расплатилась... Такси, непривычно чистое, с непривычным номерным знаком, дало задний ход и уехало.

Стало тихо. Стало так заповедно-тихо, что мы слышали шум реки, бегущей где-то в ущелье. Мы огляделись... Потом развернулись на сто семьдесят градусов — и снова огляделись. Вернулись в исходную позицию — и огляделись пристальней... Теперь настал черед что-то предпринимать. Мать, страдальчески искажив лицо, выхватила носовой платок и, на самых громких своих децибелах, беспомощно разрыдалась... Это и явилось нашим первым действием по приезду на место.

Было четыре часа пополудни двадцатого июня 1979 года. Мы попали в окружение хвойного бора. Он был волшебно красив — во-первых, потому, что хвойный бор волшебно красив всегда, а еще потому, что располагался он на живописных пригорках и всхолмиях — так что его малахитовая, темно-сизая, местами пепельно-голубая хвоя изобретательно играла с солнцем и тенью, словно шерсть на бугристом теле зверя-гиганта. Этот зверь, сказочный рысь-медведь, благодаря мощи и разнообразию своего мускульного рельефа был далеко виден на все стороны — я сделала шаг влево — настороженный зверь тут же чуть сменил свое положение: мне открылся другой ландшафт.

...И в этом ландшафте, до самого горизонта, не было видно ни одной крыши.

Метрах в десяти от нас белело маленькое крыльцо веранды. Я смотрела сейчас только на эту часть дома, потому что в схемах было четко указано, что вход в дом для нас лежит именно через веранду, а на другие части дома, особенно сразу по приезду, пялиться нежелательно. Однако на самих нас как раз кто-то сейчас пялился — мы это чувствовали всей кожей, — причем делал это с самым что ни на есть бесстыдным дикарским любопытством. Кто-то невидимый пожирал нас глазами — по-волчьему жадно, давясь, глотая без разбору; через пару минут он утолил первый голод и принялся раздирать наши тела на мелкие подробные кусочки — для лучшего переваривания. Кто?.. Я вытащила из кармана схемы и стала искать такую с названием «ПЛАН ДВОРА»; мне нужен был пункт «Где лежит ключ от входной двери». На схеме был нарисован заборчик — я его послушно прошла; поленица дров — я ее тоже миновала (одновременно до меня начал смутно доходить ужасающий смысл военно-топографических трудов Э. Л.); вот скамеечка под окном от веранды справа... вот, слева от крыльца, бочка с дождевой водой... Я оглянулась. Бойцы взвода смотрели на меня так, будто я продвигалась если и не по минному полю, то по такому, где партизаны уже гостеприимно нарыли волчьих ям.

Я решительно шагнула вправо, к бочке. Мое движение немедленно вызвало ответ: зверь-ландшафт снова сменил позу — угрожающе, как мне показалось, потому что — в ту же секунду — отовсюду, что меня окружало: из-за поленицы, из-за кустов, из-за поросшего мхом валуна, из-за угла веранды, — внезапно выскочили маленькие белобрысые существа. Не дав себя разглядеть, лишь мелькнув, они юркнули в заросли. Я не успела даже сосчитать, сколько их было. Пять? А может быть, семь?..

В моем детстве, а росла я в питерском пригороде, расположенном по направлению к Ладоге — там, на той земле, грустной, словно заплаканной, и баснословно щедрой одновременно, которая раньше называлась Ингерманландией, — там, у нас во дворе, было полно одичавших кошек. Они регулярно приносили еще более дикое — дикарское от рожденья — мохнатое свое потомство. Бесперебойно пополняемые поколения котят росли где-то в сыроватой тьме сарая, в песчаном подполе кухни, на чердаке времянки, то есть вдали от шумной жизнедеятельности дачников — а завидев человека, немедленно показывали алый огонек пасти, прижатые

ушки, маленькие белые клычки — вообще строили рожицы пострашнее — и шипели, как змеи. Существа, юркнувшие в лес, внезапно напомнили мне тех ингерманландских котят...

Я заглянула в схему: под крыльцом веранды была дверца — она, что соответствовало описанию, оставалась не заперта, я просунула туда руку, нащупала деревянный короб, вынула из него круглую жестяную коробку от печенья, а из нее — завернутый в полиэтилен пакет. Ура! Ключи в наших руках.

Мы зашли в дом. Моя часть состояла из упомянутой уже веранды, гостиной метров в тридцать и спальни. В самом центре гостиной, в просторной деревянной кадке, окруженной множеством квадратных метров ничем не занятой площади, тонко благоухало высокое таинственное растение, исходившее изобилием изящных колокольчатых венчиков — белоснежных, с золотой сердцевинкой, собранных в крупные кистевидные соцветия, — таинственное растение, намекающее на родство с королевской лилией. «Зачем мне так много?..» — растерянно спросила я, тертая квартироръемщица питерских коммуналок, имея в виду все сразу. И моя подруга, происходившая из нишей белорусской деревни (где и через тридцать пять лет после войны жители, не обременяя душу рукомойниками, поливали себе на руки просто изо рта, а когда вода во рту заканчивалась, брали алюминиевую кружку и вновь заполняли ротовую полость, причем объясняли данное положение именно войной и разрухой), моя подруга ответствовала — со смесью сарказма и восхищения: «А у них иначе не принято, понимаешь?»

...Пока мои попутчики, взяв схемы, принялись за внутреннюю реконструкцию, я вышла на крыльцо. У меня в руках было несколько печенюшек «Мечта» и два ярко-оранжевых, словно сигнальные огни, апельсина. Я встала молча, полупротянув руки с кормом, словно приманивая экзотических птиц, и, чтобы никого не спугнуть, «непринужденно» устала себе под ноги. Через минуту в кустах жасмина послышался шорох, потом шепот, что-то похожее на вздохи — и вдруг, в одно мгновение, оттуда, словно гномы из табакерки, стайкой выскочили существа, похватали корм из моих рук — и исчезли там, откуда взялись. Одно существо, самое храброе, задержалось и, спрятав печенье в кулак, принялось разглядывать меня в упор. Это был мальчик лет шести, белобрысый, загорелый, светлоокий аж до белесости, ладненький, в одних трусах. Я показала руками: ешь, чего ты?.. Он резко мотнул головой: нет. Путем сложной пантомимы я снова спросила: а где тут у вас колодец? (Колодец я нашла б и сама — не слепая, притом оснащенная схемой, но мне нужно было, как я уже понимала, нечто баснословное: контакт.) Внезапно он посмотрел на меня с ужасом, потом с ужасом взглянул на кулак, не зная, видимо, что делать с печеньем, — я заметила, что за секунду до этого уши мальчика резко насторожились, как у котенка, — и в следующий миг услышала причину этой сумятицы: за углом дома раздался звук открываемой двери. Мальчик с ненавистью швырнул печенье к моим ногам и скрылся в кустах.

Через минуту в глубине двора раздалось оглушительное разнотональное кудахтанье по меньшей мере полусотни кур — и перекрывающий весь этот гвалт властный голос женщины. Я отправилась на звуки.

Что являлось грубейшим нарушением инструкции. Но я не могла удержаться: я представила, что сейчас войду в курятник и, несмотря на его ужасающую амброзию, улыбнусь женщине самой лучшей своей улыбкой, скажу курам «здравствуйте»... Из словаря я знала, как сказать «здравствуйте»: «Тэрэ». А потом... Что «потом», я, честно говоря, не имела понятия...

В проеме дверей, подбоченившись, стояла синеглазая, мощная, как валун, и в то же время обильная мягкой розовой плотью женщина, с небрежно заколотой гривой цвета густой пшенной каши на сливках. Она была похожа на женщину с этикетки финского плавленого сыра «Виола». Других источников для ознакомления с такой породой женщин у меня на

тот момент еще не было. Однако женщина на этикетке сыра вся лучезарилась улыбкой, а эта смотрела на меня с таким выражением... ну, с каким я сама взглянула бы в глаза америкокитайцу, так и норовящему применить против меня оружие массового поражения. У ног ее, словно лизоблюдствующие вассалы, вовсю семенили куры, забыв про своего непосредственного вассала — огромного оранжевого радужнохвостого петуха. Я не успела открыть рта, как рот открыла женщина. Она сказала: «Но, оота, са...» Негромко так сказала. Но очень четко. И это было первое, что я услышала по-эстонски.

...«Ты как жить-то тут собираешься?» — риторически обратилась ко мне мать уже перед самым сном. Которого, кстати сказать, не было ни в одном глазу у всех нас, кроме ребенка... Наутро мать с моей подругой должна была вернуться в Питер. А я должна была остаться здесь с полугодовалым сыном... «Нет, я тебя спрашиваю: как ты тут собираешься жить?!» — вскричала мать и снова заплакала.

...Этот же вопрос вернулся ко мне почти через двадцать лет, совсем в другой стране мира, где я снова была чужой. Мне стукнуло сорок, и я начала с нуля. С отметки ниже, чем ноль.

Я оказалась голым человеком на голой земле. Под голым, возможно, пустым, небом. Я никого не знала. Меня никто не хотел знать. Мне не на что было есть. Негде было ночевать. Ну и так далее. Это длилось долго. Чтобы отвязаться, мне говорили: ты сошла с ума, тебя уважают в твоей стране, а здесь ты никто, это же извращение! махровый мазохизм! Я отвечала: да, в моей стране меня уважают, но я — как раз я-то и не уважаю того, что происходит в моей стране. Принять ту ситуацию я не могу. И изменить не могу. А терпеть — не буду.

Странно!.. Оказалось, что во мне, человеке уединенном, затворнике, анахорете, — человеке, единицу без колебаний всегда предпочитающем массе, так сильна идея социальной справедливости. Мне необходимо видеть, что мир вокруг — устроен. Что женщины не замордованы, старики не рожуют в мусоре, дети не христарадничают, домашние животные не подыхают без крова. Мне необходимо видеть воочию, что слабые защищены. Мне это позарез важно. То есть для меня первостепенно уважать место, где я живу. А это и значит устроить свою частную жизнь.

И вот тогда, в мои сорок лет, когда мне стали ежедневно, чуть ли не ежечасно задавать этот вопрос: «Как ты собираешься тут жить?!» — он повторялся регулярно, раздраженно, риторически — по-русски, по-английски, по-нидерландски, — я вдруг вспомнила, что сходное положение в моей жизни уже было, да, уже было, словно генеральная репетиция, — и проводилась эта генеральная репетиция там, на эстонском хуторе К.

Попала я туда чудом. Начнем с того, что это была «закрытая» (пограничная с Финляндией) местность. Она располагалась на живописном балтийском побережье, отрядно безлюдном, которое стражи советских рубежей ежевечерне пропахивали трактором, чтобы наутро на шелковых песках яснее видеть следы неосмотрительных перебежчиков; лес на берегу, вне патрулируемых дорог, был огражден колючей проволокой — и вообще для проезда в эту местность требовалось разрешение от гибельно опасных органов госбезопасности, а разрешение это органы давали (если давали), разумеется, только на основании вызова со стороны аборигенов — или, выражаясь торжественней, автохтонов. А хуторские автохтоны (я имею в виду жителей всей округи), наделенные похвальным здравомыслием, приглашать в гости русских соседей вовсе не жаждали. Даже молодое поколение, родившееся уже после войны, могло самостоятельно оценить стиль жизни оккупационных властей: в полутора часах автобусной езды от К. находился городок, цементный завод которого, функционирующий на

привозной рабочей силе (и, конечно, в соответствии с законами «плановой экономики»), покрыл «лунной пылью» заповедные ландшафты на мили вокруг...

Но мне повезло. На хуторе К., в собственном родовом доме, жил да был Олаф Калью — высоченный седой патриарх восьмидесяти семи лет, служивший когда-то в инфантерии российского императора. И он, по особой своей памяти — дореволюционной, юношеской, восторженной, — относился к русским иначе: он их другими застал... Наверное, он запомнил давно богатых и давно цивилизованных потомков обрусевшего Рюрика — с напомаженными усами, лорнетами, в цилиндрах и накрахмаленных манишках — и дам, которых и описать-то смертному не под силу... И вот образы именно таких русских он с любовью хранил в своей душе. А на другом хуторе, М. (ну и повезло же мне!), жил врач по имени Василий, потомок декабристов, дед и отец которого родились в Эстонии. Этот Василий, теперь уже пенсионер, так долго жил с семьей в этой округе, так безукоризненно говорил по-эстонски — и пользовался таким высоким авторитетом, что все население лесного побережья говорило о нем в один голос: «Вася — настоящий эстонец» (в переводе на русский: «Вася — первоклассный человек»). И вот этот Василий был вдобавок не кем иным, как старинным знакомым той самой Э. Л., которая рисовала мне схемы («развертывания медсанбата в условиях массированного наступления»), — и вот именно он-то, Василий, лет за десять до моего приезда впервые подбил старого Олафа пригласить Э. Л. с мужем в качестве дачников.

На хуторе, как можно догадаться, таких декадентских словечек не знали — не ведали даже и самого понятия «дачники». Хуторяне видывали людей, приезжавших в их края, скажем, из Таллинна, в летние коттеджи, — причем, разумеется, в коттеджи собственные. А так, чтобы снимать углы в чужом доме... чтобы пускать к себе в дом чужих... да еще русских... позор и мерзость. Однако «настоящий эстонец Вася» сумел направить общественное мнение немногочисленных жителей К. в правильное русло — и они, хуторяне, сделали для Э. Л. и ее мужа (кстати сказать, морского полковника) любезное исключение.

Хуторяне — но не родовой клан. И главное, не фактическая глава этого клана — обильная телесами, гривой, криком и дуроломством Ванда. Здесь мне придется сделать дрейф в сторону семейной лютеранской многосерийной драмы. Именно в этом жанре, причем через призму телевизора — а через какую еще? — мне видится сейчас вступление к этой истории. Вступление, которое я узнала из писем Э. Л.

...У старого Олафа было три сына. Средний и младший, женившись, ушли на соседние хутора, а старший, Андерс, как положено, остался в родовом гнезде, куда привел себе жену с дальнего хутора. По природе он, к несчастью (в первую очередь к несчастью для старика отца), оказался подкаблучником. Ванда же, напротив, сразу проявила себя своевольной, дикой во гневе, необузданной кобылицей — безнаказанно самодурствующей вдали от своей прямой родни да и вообще от посторонних глаз как таковых. Муженька, распоясавшись, она поколачивала — и регулярно рожала от него детей. Младший ее сын, двухгодовалый Индрек, хорошенький, лобастый, как теленок, и кудрявый, как ягненок-херувим, был ровесником ее внука Арво — сына старшей дочери. И все бы хорошо, но свекор, который, по мнению Ванды, сильно задержался на этом свете, мало того, что занимал весь нижний этаж — что уж само по себе адскими угольями жгло ей нутро! — так еще затеял пускать туда русских — оккупантов, квартирантов, свиней, «дачников»!

Однако за десять лет Ванда все же пообвыкла и стала воспринимать Э. Л. с ее мужем как некое природно-неизбежное, точнее сказать, сезонное зло. Летом бывают: комары, мухи, змеи, жара, понос у детей, русские дачники. Более того: время от времени она приспособливалась Э. Л. с ее му-

жем полковником для каких-нибудь несложных работ по хозяйству — сушить какую-то там пеньку, чего-то там валять, катать, чистить — то есть на самом-то деле, присмотревшись к дачникам хорошенько, позволила им войти в святая святых, интимная интимных хуторской семье: в процесс частного сельскохозяйственного производства. Думаю, толку от них было немного, но зато произошел своеобразный обряд сближения — ну вот как волчица вдруг возьмет и оближет собачьих щенят и примет их в свое логово... (Вариант: овчарка оближет волчат...) Короче, за бескорыстное трудовое рвение питерцев на ниве хуторского хозяйства Ванда их «облизала»: согласилась продавать им молодой картофель, молоко, яйца, зелень, ягоды...

Но именно в этой точке времени — именно в этой серии — кинодрама, казалось бы вошедшая в относительно спокойные берега, получает новый градус напряженности. Потому что тут возьми и появишься я. С учетом двух уже сработавших на меня предпосылок-везений (Олаф-коллаборационист, Вася-эстонец) мне повезло в третий раз: наступило такое лето, когда Э. Л. и ее муж, по семейным обстоятельствам, поехать на хутор не смогли. И вот тогда Э. Л. порекомендовала старому Олафу меня.

Он и прислал приглашение — мне и моим провожатым. Большой дом на Литейном, как ни странно, дал положительный ответ, причем, что уж вовсе баснословно, гораздо быстрее ожидаемого. Оставалось сесть в поезд с Варшавского вокзала — затем в населенном пункте с будоражеше-заповедным названием пересесть на автобус — затем в месте, название которого было уже совсем труднопроизносимым, бухнуться в такси... И вот я, еще ранним утром с элегической элегантностью прогуливавшаяся по Фонтанке, перед выполненным в стиле классицизма домом великого русского пиита Гавриилы Державина, — я остолбенело стою у входа в курятник, а разъяренная, безобразная и одновременно невыразимо-прекрасная во гневе своем Ванда с яростью бросает мне в лицо: «Но, оота, са!..»

Даже сейчас мне сложно представить, в какое дьявольское негодование она пришла, когда поняла, что моя мать и моя подруга уехали. Судите сами: в ее дом, в ее крепость, которую старый мерзопакостник-свекор, наплевав на семью, низвел до постоянного двора, барака, бардака, бесстыдно влезли жены и дочери оккупантов. Но и это положение можно было бы повернуть себе на пользу: все-таки тех баб — трех здоровых баб — можно было бы как-то хотя бы приладить к хозяйству — не все же им комаров хлопать. А тут выясняется, что две из них сразу сбежали и осталась одна, с ребенком, то есть совершенно бесполезная. Голый ноль на выходе — вот тебе и вся арифметика. Ах они, наглецы! Мерзавцы! Да скорее солнце взойдет с севера, чем даже тень от гнилой ботвы я им продам!..

...А ведь она так и не поняла, прекрасно-ужасная Ванда, что я заполучила из ее хозяйства нечто несопоставимо более ценное, чем — как в детской песне поется — «морковка, капуста, редиска, горох», — причем совершенно даром.

Мне показали фантастическую картину иной жизни.

Эту картину — все то незабвенное лето напролет — я разглядывала через подозрную трубу с кривой линзой, отчего картина казалась еще более чарующей. А другой подозрной трубы — и другой линзы — у меня тогда не было. Откуда же взялась у меня такая труба?

Чтобы проще понять, о чем речь, приведу цитату из одного — кстати сказать, современного — российского автора: «Мне дали гостиничный номер с несломанным телевизором». Заметьте: он даже не пишет «с исправным» — он пишет именно так — «с несломанным». (Что, надо понимать, является самостоятельным экзотическим элементом его путешествия — проходящего, как видно даже из этого контекста, за пределами родины.)

В компьютерных меню есть такой термин: «default» — по-русски это переводится как «по умолчанию» — «по определению», «в качестве от-

правной точки» — или, в более домашнем стиле, как «само собой разумеющееся». То есть задаются определенные характеристики изображения, которые в дальнейшем считаются изначальными и, если их не менять, неизменными. Линзы моей подзорной трубы, «по определению», были устроены так, что сквозь них неизменными («нормальными») казались следующие изображения: подъезд — загаженный, почтовый ящик — сожженный, мужское лицо — пьяное (и, по пьянке, расквашенное), старуха — нищая (копашающаяся в отходах), ребенок — рыдающий (взахлеб, в яслях), мать — одиночка, чиновник — мздоимец, милиционер — самодур, продавец — хам, снабженец — вор, интеллигент — задохлик и т. п. Эту схему легко расширить.

И вот каждое утро я сижу возле окна веранды на хуторе К., кормлю своего сына, один мой глаз — на его непредсказуемом ротике, другой, выполняя «агентурное разведздание», — смотрит в подзорную трубу.

И что же он видит? Чудеса из чудес.

Члены семьи работают вместе.

А ведь благодаря кривой оптике моей подзорной трубы считалось — «по умолчанию» — невероятно героическим именно уехать — и как можно дальше от родного дома, дабы что-то там покорять, с чем-то непрерывно бороться — как можно дальше! — на БАМ, в пустыню, на льдину, а лучше всего сразу в космос. А твой конкретный дом пусть героически обустроят те, кто соответственно прибыл — со льдины, из пустыни, а лучше — сразу из космоса. Если же не брать эти «героические» варианты, то вот как выглядела обыденная — «по умолчанию» — картина семьи в большом городе: муж и жена вскакивают в пять тридцать утра, с трудом припоминают друг друга, затем едут в разные стороны (полтора часа сна с пересадками) на бессмысленные службы (где досыпают недоспанное с открытыми глазами), затем полтора часа дробного сна по дороге назад — дома они с трудом узнают друг друга и, так и недоузнав, валяются в каменный сон.

А на хуторе... Такого я даже в кино не видала: Ванда, Андерс, Сирье, Йовита, Урмас, Таавет, Кайа, Индрек — все, как один, в то время как мы с сыном завтракаем, возвращаются на полдник с полевых работ. Сирье и Йовита, старшие дочери, оживленно переговариваясь, идут за родителями, дальше следуют два сына, сдержанные, как отец, а младшая дочь — Кайа, по виду восьми лет, катит в колясочке крутолобого Индрека. Она работает няней при брате; работает и брат — он растет. Иногда Сирье привозит с собой (она замужем, живет на соседнем хуторе) своего сына, Арво, ровесника Индрека — тогда Кайе в ее заботе о малышах помогает средний брат, Таавет. (Ух, в какой же экзотической стране мне пришлось прожить свою юность! В такой-то уж непоправимо-экзотической, в такой шиворот-навыворот наоборотной, где экстремальными, даже экстравагантными кажутся как раз самые что ни на есть обыденные, устоявшиеся веками дела!)

Э. Л., депешами, послала мне из Питера некоторые сведения («агентурные данные») о семье Калью. Благодаря Э. Л. секретная, скрытая занавесом информация становилась явной и все более проясняла картину, наблюдаемую мной в подзорную трубу. А занавесом было скрыто вот что: взрослые члены семьи, оказывается, формально числились в каком-то рыболовецком совхозе. Но сроду там не работали. Исключение составляла старшая дочь Ванды и Андерса, Сирье: она действительно работала водителем совхозного грузовика. Точнее сказать, вкалывала. Ну, это уже я видала и сама: ловкая, сильная, своевольная, как Ванда, она лихо вырвалила прямо к хлеву... Потом в грузовик ставили телят — и Сирье его увозила... Или порсят... А иногда, наоборот, она привозила пару козочек... Или подкатывала к амбару... И тогда все физически дееспособные члены семьи — вплоть до Урмаса, которому на вид было лет тринадцать, грузили или сгружали какие-то ящики и мешки... Короче, грузовик работал на хутор, а вовсе не на совхоз...

Кстати: а откуда я узнала, как зовут членов семьи Калью? Да из тех же писем, посылаемых мне человеколюбивой Э. Л. Конечно, я слышала, как окликают друг друга старшие, средние, младшие... Но окончательную правильность имен — людей, с которыми я жила под одной крышей, — мне удалось узнать только из писем, которые отправлялись из точки, отстоящей от хутора километров на триста!..

С другой планеты.

Старый Олаф жил за перегородкой, один. Все звуковые проявления его жизнедеятельности укладывались в — почему-то всегда восторженную — фразу моего сына: «Диди! Касить!» («Дедушка! Кашляет!»); при этом сын, чтоб до меня лучше дошло, брался имитировать кашель и, с важным видом мудреца, — указывал пальчиком на тонкую стенку в гостиной. В солнечные дни «диди» сидел на скамейке возле веранды, с так называемой *нашей* стороны дома. Высокий даже в положении сидя, сухой, несгибаемо-прямо спинный — он, застыв, подставлял лицо остзейскому солнцу... Глядя на несметные богатства этой семьи — несметные не только на фоне традиционного черноземно-нечерноземного российского голодранства, но даже и на фоне образчиков, поставляемых мне, например (протиснутой в игольное ушко «Иностранной литературы»), куда более западной географией, я понимала: богатства эти подразумевают — именно «по умолчанию», — что в стаде должен быть собственный бык (и он был), что у каждого взрослого члена семьи (включая семнадцатилетнюю Йовиту) должен быть свой автомобиль (и у трех старших членов семьи действительно было по автомобилю), лошади тоже не одалживались у соседей, так как были свои; эти богатства, «по умолчанию», подразумевали также и то, что на пространстве, размером в половину футбольного поля, занятом английским газоном, нежно и бескорыстно должен зеленеть (и он зеленел) только шелк выхоленной травки — и не должны оскорблять органы зрения неуклюже-расторопные, нуворишские плантации какой-нибудь грубо-утилитарной репы, купечески-толстой, в китчевых оборочках, капусты или толстозадой тыквы, место которым — на необозримых огородах... (И перечисленные овощи росли именно там.) Глядя на эти богатства, я невольно начинала думать на библейский манер: «И было семейство Калью богато скотом — крупным, средним и мелким, — и тучны были его пастбища, и несметны луга, и полноводны реки, и зерном обильны амбары его, и ветви деревьев его трещали под тяжестью щедрых плодов...» Но...

Этот рай, оказывается, разъедал тайный изъян.

Настал день, когда до меня наконец дошло, что старый Олаф еще тогда, одиннадцать лет назад, взялся пускать русских дачников не от восторженной любви к фантомам своей юности. По крайней мере не только от этого.

Ему нужны были деньги.

Для чего?

Ответ на этот вопрос, дважды в неделю, можно было обнаружить в тележке продавщицы Тийны. Там, в этой тележке, напоминавшей коляску, в какой девчонки катают кукол, — в тележке, которую Тийна Труумаа под вечер выкатывала из своего лесного, похожего на домик-пряник, магазинчика, обычно стояли: литровая бутылка молока, крынка творога, четверть головки сыра, кулек пшена, полбуханки хлеба; иногда, завернутый в целлофан, алел кусочек телятины. Она завозила тележку в горку, ставила ее у двери старого Олафа, громко стучала (он был глуховат), — потом громче, потом обычно уже колотила, вызывая разноголосое возмущение верхнего этажа, из окон которого, свесив густые гривы и нежно пунцовые от гнева, принимались метать громы и молнии Ванда, Йовита и даже маленькая Кайа.

Однажды — перед своей поездкой на юг — неожиданно заглянули ко мне «настоящий эстонец Вася» и его жена. Пожилой потомок декабристов

действительно обэстонился — хотя бы в том смысле, что говорил с сильным акцентом, и чувствовалось, что произносить русские слова ему в забаву. Жена его, эстонка из местных, на вопрос, чем ее угостить, попросила меня дать ей «йаплака и носик», и я растерялась, в то время как муж уже протягивал ей яблоко — и маленький фруктовый нож.

«А почему, имея все это, — осмелилась я потихоньку спросить ее, когда Вася отошел к машине, и сделала жест, как бы объемлющий обозримые холмы, поля и равнины, — почему, имея все это, Олаф Эдгарович питается из магазина?» Мы стояли в это время на тропке, которая спускалась с пригорка, пересекала шоссе, потом, долго петляя, проползала сквозь хвойную чащу — и резко обрывалась у полосы песчаного берега, так никогда и не достигнув моря... Было тихо, и потому хорошо слышно, как невдалеке, в крутом неглубоком ущелье, рокошет картавая речка Селья... «А он боится, что Ванда его отравит», — было мне безбурным ответом.

...Никогда не забуду, как она произнесла это «отг-равитг» — типичным удвоением звуков словно доводя смысл этого слова до абсолютной неукоснительности.

...Пойдем-ка, Марина, в погреб. Давай вспомним, какой там был погреб у этих Калью. Запах: овчины, свежего творога, древесных опилок...

Да брось ты разлагать волшебство на «составные элементы»! Запах был сказочный, вот и все. Он, запах, был из сказки взят и весь, целиком, состоял из сказки — главное, он воскрешал картинки в моих детских книгах — казалось бы, навсегда забытые картинки... Спускаясь в подвал, я всякий раз была Алисой, вступающей в Зазеркалье, или умной Эльзой, бегающей туда за пивом для своего жениха, — всеми, кто сумел проскользнуть, выскользнуть-ускользнуть из мира взрослых... Спускаясь в этот многовековой погреб эстонских хуторян, мне — под предлогом хозяйственных дел — на самом-то деле удавалось заскочить к самой себе, провести детство.

А что там было, в этом погребе? А все, чего пожелают душа и брюхо. Я-то этим заколдованным подземельем пользовалась совсем прозаично — как холодильником, и моя провизия в том холодильнике — двести граммов масла да бутылка молока — была смехотворной, по Сеньке и шапка, а Ванда и Андерс хранили там, ясное дело, *запасы*. Вот уж кому не страшны были китайцы с американцами! В таком погребе можно было прожить хоть до второго пришествия.

Помню гигантский, площадью в комнату, торт, который я, включив свет, с восторгом и ужасом однажды там обнаружила. Мы — торт и я — оба словно оцепенели. В полном беззвучии этого подземелья, мы долго, очень долго разглядывая друг друга: я — онемевшая, она — царственно молчаливой... Простираясь ковром, торт покрывал собой площадь, какую Россия покрывает на карте Евразии. Он красовался посреди желтоватых овечьих шкур, бочек, бочонков, бутылей, банок, травяных пучков, мешков, коробок, сундуков, ящиков, жбанов и всевозможных крынок — и являл собой бесспорную доминанту этого подземного материка. Толщиной торт был мне по колено. Его разноцветные — перемежающиеся — мягкие и твердые пласты напоминали сложный геологический срез. На поверхности торта, белоснежной, как снега остзейского побережья, пестрыми кондитерскими средствами были выложены основные компоненты ландшафта — и жизни как таковой: реки, равнины, леса, сады, домики, человечки, домашние животные. Это — не считая густого роя (рая) ягодок, цветочков, бабочек, бантиков, женских уст, сложенных в улыбки и поцелуи... Кроме того, яростно извиваясь, словно противоборствующая буре река, через весь торт шла вишневая надпись, думаю, невероятно лакомая, из которой мне были понятны лишь имя Juha да цифра 90, недвусмысленно указующая на юбилей означенного патриарха (как выяснилось, родственника семьи Калью).

Вот и толкуй после этого про гигантоманию русских! Как выяснилось вечером (через ту же Тийну), мега-торт был сконструирован (изваян?) в городке Раквере, затем старшая дочь, Сирье Калью, транспортировала его сюда на грузовике (по частям); завтра он таким же образом будет доставлен юбиляру — на соседний хутор... У Джанни Родари есть такая книжка «Торт в небе». Сказка, которую я тоже читала в детстве. Там дети волею случая оказываются не где-нибудь в лесу или на Луне — но *внутри* гигантского торта... А это, согласитесь, похлеще... Особенно когда постоянно хочется сладкого...

Живя на хуторе, я чувствовала себя именно ребенком внутри торта. Ребенком внутри торта, предназначенного не мне.

...Как бы то ни было, наступает завтра. И я потихоньку наблюдаю (живая изгородь из туи скрывает меня, как стена) подготовку к юбилею старца.

Огромная, размером с футбольное поле, зеленая лужайка. Даже больше той, что у Калью. В моих глазах, с детства надрессированных так, что все вокруг должно быть общим и ничьим, а личной может быть лишь пара трупов, эта лужайка кажется вопиюще не функциональной. Это скандально пустующая площадь, нуждающаяся, для ее же блага, в немедленной экспроприации и обобществлении. А что конкретно видят, глядя на эту буржуйскую лужайку, мои глаза? Нет, вовсе не обездоленных детей Африки. Мои глаза видят необозримые, на десятки квадратных километров, типично российские пустыри, заросшие в лучшем случае чертополохом (и не видят, в силу ограниченной своей оптики, пустые, как Луна, необозримые российские «пространства») — зато в единственной комнате, занимаемой индивидом в коммуналке, глаза мои четко зрят укроп, зеленый лук и даже помидоры, обильно произрастающие на подоконнике размером 80х30; они видят ванную, где со времен царя Гороха никто не мылся, поскольку в ней разводят мотыля для рыб; ржавый балкончик, площадью метр квадратный, отяжелевший обильным урожаем картошки — вот-вот рухнет на голову среднестатистического бедолаги; они зрят также — на первый взгляд аскетическую — койку, под которой, булькая, безраздельно царствует самогонный аппарат и яростно краснеют — за это утробное бульканье — яблоки, разложенные на газете «Известия»; глаза заглядывают в платяной шкаф, всю одежду из которого вытеснили бутылки с созревающим вином; они видят детскую ванночку, в которой тоже никто не моется, так как там хранится квашеная капуста, а сама ванночка стоит в маленькой холодной прихожей, где по этой самой причине — тесно да и амброзия — не раздеваются, а также не разуваяются: в зеленеющем тут же тазу прорастают какие-то семена.

То есть пустырь он и есть пустырь, пускай его будет. Но любовно взлелеивать какую-то совершенно бесполезную мураву — это разве не дурь?! Когда у нас людям есть нечего, потому что собак развели! А эти — зажрались! Хоть бы цветы на своей площади посадили, что ли!

И вот мысленно, а скорей рефлекторно, я, судорожно, торопясь, уже засеваю эту нежную английскую лужайку: готовой всех осчастливить и накормить репой, а также капустой, горохом и, главное, картошкой, картошкой, картошкой — незатейливой грезой бренного бедняцкого брюха, грезой, которую в привычных мне овощных магазинах можно узреть лишь в видоизмененном состоянии, то есть на самых разных стадиях органического разложения.

Духовой оркестр. Такой в моих пенатах — применительно к отдельно взятому «простому» человеку — можно встретить только на его похоронах. Стадий раньшее, то есть для юбилея той же персоны, оркестр у нас еще не положен. До оркестра, как до чина, надо ведь дорасти! Дорастает лишь мертвый. И то не всякий: мертвый крестьянин, да еще с хутора, не дорас-

тает никогда. (Да где ж ты в родных-то пенатах видела хутора? а крестьян?.. Ну вот, а прицепилась к какому-то духовому оркестру!)

И наконец, сам юбиляр. Он, держа спину прямо, сидит в новеньком, сверкающем спицами, ручками, рычагами — всеми никелированными частями, инвалидном кресле, будучи выбритым, причесанным и одетым в серый щегольской костюм. (Ни дать ни взять герой-любовник из немого синематографа!) В моих пенатах это все, конечно же, существует, но все по отдельности: костюм — в кино, кресло — в богадельне (конкретно: в запертой на ржавый замок кладовке), а старец, учитывая среднюю продолжительность тамошней жизни, — в земле. Или, коль очень повезет — в богадельне. Но отдельно от кресла и от костюма. И, конечно, без этой прямой спины...

А вот другой праздник — на сей раз молодежный. Его я имею возможность наблюдать открыто — в окна веранды.

И вот что я вижу: с утра Урмас, Таавет и Кайа, то есть команда младших Калью (за вычетом, разумеется, Индрека), принимается что-то необычное делать с гаражом. Оттуда вывозятся все три автомобиля — отца, матери и Йовиты, выносятся запчасти, еще какие-то предметы, пока гараж не становится абсолютно пуст. Затем он весь, как есть, силами этой сплоченной команды моется. Кайа, ловко снуя на четвереньках меж исходящими паром ведрами, по-флотски надраивает пол, а Урмас и Таавет, влезшие на стремянки, яростно скребут стены и потолок. Все это затем тщательно вытирается. Далее, силами той же команды, в гараж вносятся деревянные столы, которые расставляются буквой «П»... Вносятся также длинные скамейки... они прилаживаются вдоль столов, а затем накрываются домоткаными ковриками и дорожками... Стены и потолок украшаются китайскими фонариками, гирляндами из полевых и бумажных цветов, гирляндами из электрических лампочек, флажками, воздушными шарами, еловыми лапами... Столы накрываются скатертями. Затем в полностью преобразованное помещение ребята затаскивают пластмассовые ящики: с лимонадом, с пивом, с минеральной водой; ящики с красивыми, аккуратно нарезанными и завернутыми, как в «Аэрофлоте», закусками... ящики с бумажной (как выясняется потом, одноразовой, никогда мной до того не виденной) посудой... На столах расставляются вазы с цветами, свечи в подсвечниках... Излишним было бы добавлять, что все это делается слаженно, четко, с радостью.

Но вот устроители исчезают. Появляется хозяйка этого торжества, Йовита.

Она со своим другом встречает подъезжающие машины гостей. Гости — их ровесники. Красивыми парами — кто чинно, кто хохоча — они входят в этот сказочный терем. В руках у них цветы, яркие свертки. Я начинаю догадываться, что праздник устроен в честь окончания последнего класса...

И наконец, как заклинают в метро, «двери закрываются». Мне не видно абсолютно ничего, кроме света, ярко бьющего из вентиляционных окошек.

С каким-то странным злорадством я начинаю ждать, когда этот свет погаснет...

Но он не гаснет. Как не гаснет снаружи и день, давно перешедший в прозрачную ночь, — в ночь, отключившую все звуки, кроме ласковой музыки, раздающейся в гараже, а раздражающей душу мне, сидящей одной на веранде.

Ведь я старше их ненамного.

А у меня ничего подобного не было и уже не будет.

Моя юность прошла. Когда я вернусь в Питер, мне останется смотреть такие волшебства лишь по телику, если покажут французский фильм. Я никогда не видела, чтобы наши кавалеры на сабантуйчиках не напивались бы до блевоты. Чтобы они потом не расквашивали друг другу хари до кровавой юшки. Чтобы не били ногами лежащего в пах. В голову. В ребра.

По почкам. Чтоб не изрыгали безостановочно словесную погань. Чтобы не храпели мордой в салат. Чтобы не лапали, окосев от водки, любую дуру. Чтобы эта дура, с килограммом дешевой туши на каждом веке, не вешалась им на шею сама, а потом, пропустив все сроки, не гробила бы себя подпольным абортom...

Когда я приходила домой с наших (студенческих, не хухры-мухры!) «вечеринок», которые ничем, разумеется, не отличались от возлияний люмпенских, свинских, моя бабушка всегда спрашивала меня: «Имела ли ты сегодня успех?..» Никогда этого не забуду: ее голубые глаза, волны серебра над ее лбом, ее доброе, простодушное лицо, которое она пыталась делать, сообразно вопросу, строгим, — и сам вопрос, такой трогательный в своей старомодной женской взыскательности... И благодаря этому вопросу я догадывалась, что, значит, была такая жизнь — или где-то есть и сейчас — там, где нет меня, там, где такой вопрос был бы уместным и животрепещущим... И в отчаянии мне хотелось крикнуть моей бабушке, прямо в ее голубые глаза: «Ты что себе думаешь?! Что там был первый бал Наташи Ростовской, так, что ли?! И Пьер Безухов меня протезировал Андрею Болконскому?!» Но никогда я этого не делала. А, наоборот, всегда твердо отвечала: «Да, я сегодня имела успех».

...Кончается белая ночь, и кончается чужой праздник... Да нет! Праздник продолжается! Восходит солнце, застав меня там же, на веранде, и я вижу, что распахиваются двери терема и шумно выходят гости после пиршества — свежие, словно всю ночь плескались в заколдованном молоке, и, пританцовывая, садятся в машины и начинают гоняться друг за другом по всему хутору и дальше — по всему обозримому мне ландшафту — ярко-красные, ярко-синие, ярко-белые, ярко-голубые бусины машин выныривают там и сям на теле косматого, густо заросшего зеленым волосом зверя, но даже издали до меня продолжают доноситься смех, пение, музыка...

А вот и строители. Если помним, они, обеспечив все это великолепие, скромно и безоговорочно удалились, не нарушая иерархии младших и старших, а попросту не мешали Йовите и ее другу, потому что так было заведено. Сейчас они — Урмас, Таавет и Кайа — ловко ставят пустые бутылки в те же ящики, в коих те были принесены, и производят прочие четкие действия — сначала по демонтажу сказочного терема, затем, *step by step*, по монтажу гаража. Через полчаса, когда к этому месту подходят родители, конверсия полностью завершена. Притом без следов. Мне это напоминает японскую сказку, когда путник ночью попадал в дом лисиц, а на другой день ничего подобного в том месте не обнаруживал.

Такое же чудо, через много лет, я увидела в Швеции. Это была моя первая поездка за рубеж. Я приехала на книжную ярмарку в Гётеборг, и меня привели в огромный ангар, сказав, что ярмарка будет здесь. Я подумала, что строители ошиблись с датой моего приезда: ангар был абсолютно пуст. Мне стало ясно, что означенное пространство с учетом размещения в нем сборно-разборных конструкций, передвижных установок, мебели, инженерного оборудования придет в готовность к работе не раньше чем через месяц, и я подивилась их, строителей, головотяпству. А когда заглянула после обеда — не узнала этого пространства. Все было готово. Абсолютно все. Рабочие в сияющих небом комбинезонах, неторопливо переговариваясь, уже попивали кофе...

Что это я все про работу!.. В конце концов, человек сбегает из города не за этим. Он сбегает за свежим воздухом, тишиной и природой.

Прошу поверить мне на слово: первые два компонента, именно: свежий воздух и тишина — на хуторе К. имелись, притом в огромных количествах. Что касается более овеществленной природы, то мне до смерти противно повторить сейчас то, что всегда, как дрессированные, передава-

ли из уст в уста немногочисленные туристы, чудом проезжавшие эту чудесную местность.

Они именовали ее «эстонская Швейцария».

Скудость и заезженность глаз, языков, сердец! Если учесть, что Швейцарию упомянутые паломники видели разве что в «Клубе кинопутешественников», то логичным было бы слово «швейцария» перевести в разряд нарицательных — так, чтобы им, этим словом, как пояснил бы в данном случае словарь, могла именоваться «всякая не загаженная отходами быта и производства местность, представляющая собой вдобавок живописную комбинацию всхолмий, ручьев, озер, хвойных лесов, оврагов, долин». С другой стороны, в Швейцарии, как я могу догадываться, полно гор, но моря нет, а на хуторе К. дело обстояло самым противоположным образом. Так что это сравнение не выдерживает критики!

А кроме того... Если говорить о красоте, то есть, по сути, о любви... Я побывала во многих ярких, экзотических местах мира и поняла, что есть любовь-тщеславие, любовь-престиж («вот я — на фоне кактусов, попугаев и зарослей чапарала») — и такую любовь может, вместе с туристическим буклетом, предоставить множество мест; а есть любовь-отрада, любовь-покой, и ее мне дарят только места, так или иначе сходные с тем, в котором я родилась. Эти места — *country sides* на берегах Балтики.

Вот о Балтике-то и пойдет речь.

Про лес я тоже не забыла, описывать его не берусь, хотя к морю от хутора К. тропа шла именно лесом. Я слишком люблю это счастье и волшебство, лес, чтобы оскорбить его неизбежной неточностью. Последние, кто достойно справлялись с данной задачей, поумирали в первой половине двадцатого века. Так что повторю написанное раньше: лес был.

Море описывать проще. Объясню почему. Я вовсе не собираюсь, на манер Клода Моне, давать оттенки и полутона морской акватории. Я хочу, несколькими словами, попытаться обрисовать функцию Балтики — и не планетарную, а, увы, ту, что оказалась загнанной в политические тиски.

В нормальной — или, как говорят, «приличной» — стране море зовется свободной стихией. И служит именно для преодоления человеком пространства. А я родилась на берегу залива, где население, так или иначе, грезило об одном: как бы сбежать в Финляндию? На лодке, в галоше, вплавь или вброд. Помимо известных технических сложностей, население от этих попыток останавливал закономерный вопрос: а существует ли эта Финляндия вообще? Или ее выдумали идеологи-экономисты, чтоб подороже загонять населению плавленый сыр «Виола»?

Балтика для меня, с самого моего детства, была границей. Именно границей — в самом грозном, стихийном, непреодолимом виде. Правила границы: до нее, то есть до берега, — можно, а дальше... А дальше нельзя, потому что дальше не существует ничего. А если существует кое-что, то в очень опасных формах, не говоря уж о содержании.

Море — рубеж.

Море — стена.

Море — конец всему.

И потом, в местах моего детства море, представленное Финским заливом, было и остается смехотворно мелким... На поверку это выглядит так: вы добросовестно бредете к горизонту минут семь — и в том месте, где (как это казалось вам с берега) мог потонуть бы и авианосец, встречаете стоящую по колено собаку. То есть Балтика нами, детьми, считалась, как бы это сказать... недоморем. Вот Черное — было морем. Настоящим!

А кто его видел? Впервые я увидела «настоящее море» уже во взрослом своем состоянии. А до того — только сочиняла. Вот, например, небо на дальнем горизонте так причудливо и богато меняет оттенки, что можно подумать: там — настоящее море, там столько воды, что не осознать, там такие глубины, что не представить, а вон те облака — волны.

Но с годами, насмотревшись других морей, я оценила именно Балтику. И полюбила только ее. Юг для меня — неизменно чрезмерен, аляповат, кричащ. Южное море — это яркий, вполне тиранический китч вроде рекламного плаката, где анилиновыми красками изображены: синяя-пресиняя туалетная вода и белая-пребелая пена для бритья; над всеми этими буклетно-тропическими божествами канареечно сияет кулончик солнца.

А Балтика — седа и уютна, как моя бабушка, та, что спрашивала про успех.

Бабушка — своя, родная, домашняя...

Балтика — тоже.

...И вот, катя перед собой колясочку с сыном, я выхожу со двора семьи Калью и направляюсь к морю. Спускаясь с пригорка, я пересекаю шоссе — и вступаю в лес. На лесной поляне, отделенной густыми зарослями от тропы, стоят две загадочные постройки. Загадочные, потому что, во-первых, это *коттеджи*, во-вторых, потому, что недалеко от входа в них всегда красуются *альпинарии* — выложенные из камней пирамидки, породненные с разнообразной пестротой маленьких изящных цветов, а в-третьих (в-главных), потому, что вокруг них так уютно, чисто и тихо, как никогда не было в моей жизни. И, вспоминая свою прежнюю жизнь, ощущаешь ее как непрерывную бомбардировку, и хочется плакать.

А возле самого выхода на берег, оставаясь притом целиком под сенью сосен, стоит самый загадочный из всех коттеджей. Возле него нет альпинарии. У него нет окон. Никогда я не видела рядом ни людей, ни животных. Но он такой новенький, так сияет свежим деревом!.. Цвет его медовый, янтарный, запах его смоляной, звук его (слышно, как сосновые иглы шуршат по крыше) убаюкивающий: заснешь здесь, а проснешься в Ингерманландии, в Доме детства...

И я, оставив коляску со спящим сыном, захожу в коттедж. Новенький — янтарно-карий, весь обшитый свежестругаными досками коридор... Он поворачивает влево, как лабиринт... Он благоухает лесом, смолой, прогретым песком, морем... Хозяев не видно... Коридор снова поворачивает влево... Кажется, я иду внутри огромной улитки... Волшебное благоухание кружит мне голову... А что я скажу, если хозяева выйдут? Да уж придумаю что-нибудь!.. Окон нет — еще не прорубили — значит, и хозяевам рано въезжать. Коридор продолжает поворачивать... Свет поступает из слуховых окошек... Когда же конец этим поворотам?!

Вот он. Взгляд упирается в круглое отверстие на невысоком помосте. По-русски это называется «очко». Девственная чистота отверстия и всего, что вокруг, на миг сбивает меня на мысль о колодезном срубе... Но это именно «очко». Я попала в общественный туалет.

...А вот, сыночка, море. Ты его не видишь, потому что спишь в коляске. Кабы ты не спал, сынка, вряд ли мы бы сюда смогли выбраться. Там, во сне, ты еще принадлежишь другим морям, другим водам — нездешним.

Но и мне, с морем здешним, не так уж плохо.

Берег абсолютно безлюден. Белый песок, словно засвеченный совсем юным фотографом. Серая вода — с той же засвеченной фотографии... Раздеваясь, заходя в воду, я всякий раз думаю: что же будет с сыном, если я утону? Да не вообще «что будет», а прямо сейчас — через час, через... день? Одинокая синяя колясочка с ее бесценным содержимым — посреди безлюдного берега, белого, как бумага, песка, на фоне леса, загнанного по всей полосе — это отчетливо видно в просветах — за колючую проволоку...

Я долго бреду к горизонту, а вода, словно в хитром аттракционе, так и не поднимается выше щиколотки. Но вот наконец мне уже по колена... по бедра... по пояс... по грудь... по плечи... по подбородок...

Я оглядываюсь назад.

Темная стена леса.

Белый берег.

И на этом снимке одинокой маленькой точкой — твоя колясочка, с тобою внутри..

А если бы ты не спал и смотрел и мог помнить, ты бы увидел и запомнил вот что.

Темная линия горизонта.

Серая — бескрайняя — гладь.

И на этом засвеченном памятью снимке темной размытой точкой — твоя мама.

...Мои детские ощущения Балтики, сколько себя помню, всегда жили на причале у нашего берега. А на каком же еще берегу они могли бы гнездиться? Были ли другие берега? Ну вот, например, говорят, у Луны есть обратная сторона. А кто ее видел? Может, обратной стороны нет, а Луна нарисована! Или: про маму говорят, что она директор школы. Да кто в такое поверит? Она же мама! Кроме того, про Луну и про маму говорят открыто, а про другие берега Балтики... Словно их нет в природе.

...И вот, земную жизнь пройдя до половины (надеюсь, не больше), я оказываюсь на Финляндском вокзале. Этот вокзал для меня такой же свой, как часть моего тела. Чтобы из Питера попасть в Дом моего детства, надо сесть на электричку, идущую в направлении Ладожского озера, Невской Дубровки — или Мельничного Ручья. С этим все просто. За столько лет мало что изменилось — даже номер платформы тот же.

Но внезапно случается так, что... Как бы это объяснить... Вот вы прожили всю жизнь в комнате, у которой две двери: одна в кухню, другая в спальню. Вот вы и ходите из этой комнаты туда-сюда — в спальню, из спальни, в кухню, из кухни. Все в порядке. Но вдруг, почти жизнь спустя, вас подводят к стене и говорят: смотри. Вы смотрите и прямо перед носом видите: дверь. Да, дверь, которую вы почему-то не видели раньше. Вы открываете ее и оказываетесь...

То же случилось со мной. Финляндский вокзал я всегда считала сугубо пригородным, местным («нашенским», «свойским»). Но вот я нащупываю в кармане билет, на пригородный совсем не похожий. Я вдруг чувствую себя на Финляндском вокзале чужой: мне впервые приходится спрашивать. В конце концов я нахожу эту тайную платформу. Разумеется, я не только о ней раньше не слышала, но даже и не подозревала о ее существовании. И вот я уже сажусь в поезд, совсем не похожий на электричку. Особенно внутри. Идет он гораздо дольше, а значит, дальше. Сначала названия мне знакомы. А потом... Люди, отдаленно напоминающие контролеров, но наделенные большими полномочиями, тщательно проверяют документы и багаж. Потом я засыпаю.

...Просыпаюсь на другом берегу. Надписи по-фински. Речь, звуковым сходством мгновенно относящая меня на далекий хутор...

Но я в Финляндии! И мне странно, что путь, казалось бы предназначенный к преодолению морем, оказался проделан мной посуху. Мне странно, что на ожидание этого пути, который длился всего семь часов, ушла половина моей жизни. Странно, что половина пути проходила через места, знакомые мне раньше. Странно, даже невероятно, что я все-таки достигла волшебной страны Суоми.

Однако чудесней этого чудесного результата для меня навсегда осталось другое: сама тайная дверь.

...Встать в семь. Что непросто для уснувшей в пять. Почему в пять? Потому что — откроем назад — с одиннадцати до часу стирала. С часу до

двух гладила. С двух до четырех читала журнал «Иностранная литература». С четырех до пяти ворочалась: переваривала прочитанное...

Почему «Иностранная литература»? Разрозненные номера, брошенные здесь Э. Л., мне посчастливилось обнаружить в стареющей за амбаром сломанной коляске. Вынырнувшие из кустов Таавет и Кайа жестами объяснили мне, что то и другое — их собственность. Пришлось содержимое коляски выменивать на пачку печенья. Таавет, юркий лисенок, цапнул у меня продукт обмена (точней — боевой трофей) и, схватив за лапку сестру, мгновенно исчез. Я схватила свою добычу, полновесный улов кириллицы — вероятно, единственной на много километров вокруг, — и тоже дай Бог ноги: вдруг передумают! А ведь перед сном мне всякий раз просто необходимо окунуть глаза в кириллицу...

Итак, встать в семь. Сын, вцепившись в поручни кровати, уже энергично месит ножками собственные какашки. При том он, справедливо требуя вознаграждение за свой труд, кричит голодным галчонком во все горло: «Буку, буку!!!» (булку). Срочно его вымыть. Кричит. Подогреть воду, потом вымыть. Вода в колодце. Дать ему попить. Теперь взять с собой. Кричит. Ох, да у него, видно, температура. Померить температуру, сбить температуру. (В институте учили, что этого делать не надо: «организм должен бороться сам» — вот пускай сами и борются.) Сначала градусник, потом вымыть. «Буку!!!» Сейчас, сейчас. Набираю воду: ведро в одной руке, сын в другой. С водой, на веранде: электричества нет, вылетели пробки. Запасные кончились. Подогреть воду на охотничьем топливе. А оно в подвале! Кричит. Сейчас, сейчас. Термометр, игрушка... Вышли зайки на лужок, прыг-скок, прыг-скок!.. Мухи, мухи!.. Черт! На какашки слетаются мухи... Так и есть: тридцать девять. Повязку на лоб: вода с уксусом. Запах омерзительный. Рыдает. Вышли зайки на лужок... Продолжает рыдать. От этого рвет той самой водичкой, что только что выпил. Сейчас, сейчас, кисочка... Сейчас, сейчас... Замочить белье. Да-да, вот так зайки вышли, вот так! И побежали!.. И побежали!.. Надо сходить в погреб... Сейчас, кисочка! А вот как зайки пошли на лужок, и мамочка сейчас... ты лежи, котик, мама сходит за охотничьим топливом в подвал! Рыдает. Охотник такой, знаешь? Пиф-паф, ой-ой-ой, да? Нет, нет, хорошо, зайчик, не пиф-паф, а тоже — прыг-скок! Смотри, как мама показывает: прыг-скок! прыг-скок! прыг-скок!.. Мамин котик улыбается. Вот!! до конца этой улыбочки маме надо успеть в подвал!!

А вот и мама пришла, что она принесла? Цветочек принесла! Смотри, какой красивый цветочек! Да? Красивый? А вот мы его в стаканчик поставим... он будет водичку пить... Вышла птичка на лужок... не трогай! не трогай! разбил? а ведь это не наше... и пальчик порезал? не плачь, сейчас мама йодом... неправда, йодом не больно! не больно! совсем не больно! а вот мама себе помажет! а вот петушку помажет! а вот крокодильчику... ой!! морковка горит! сейчас, зайчик! не трогай... сейчас мама... «Иси-и-и-и!» Вышла птичка на лужок... «Не птека!» Не птичка? А кто? Вышла рыбка на лужок... не трогай! положи! положи, я тебе говорю! ну вот! опять... почему на горшок не попросился? Вышли утки на лужок... нет? а кто? Не реви... Вышли гуси на лужок... тоже нет? А кто ручки помоеет? Мамин сыночек ручки помоеет, и киска ручки помоеет, и зайка ручки помоеет... а теперь за маму... ну? а ложечку за маму?.. А вот овцы вышли на лужок, видишь? вот они вы-ы-ы-ышли... вот так все они в-ы-ы-ышли... много-много овечек... се-е-е-ренькие, бе-е-е-еленькие, да? вот, целое стадо! с ягня-а-а-тками!.. ну? проглотил? Назад нельзя! кто это выплюнул? кто это выплюнул? это мамин сыночек выплюнул? а вот бараны с рожками, да? с рожками, с копытами!.. А вот... вышли лисы на лужок! прыг-скок! и белки с ними вышли... глотай! не держи за щекой! глотай, вку-у-усная морковочка! назад нельзя! а вот... кто это у нас вышел, а? это ослик вышел... ослику морковочку не дадим... или дадим? глотай! не держи за щекой! вот ослик уже

проглотил... вышли пони на лужок... прыг-скок... а это за бабушку, да?.. ой!!! ну все-все-все-все... ну все-все-все-все... мой зайчик на себя чай пролил, но ему не горячо, нет... только испугался... ну-ну, рыбка, все-все-все-все... ну все-все-все-все... не плачь, зайчик!! пожалуйста!.. сейчас же все назад выйдет, Господи! Вышли белки на лужок... нет?! а кто?! смотри сюда, мама тебе показывает! не белки? а кто? кто же?! Вышли волки на лужок! нравится тебе?! тебе нравится?! свиньи! это тебе нравится?! змеи на лужок выползли, о Господи!..

Описываемая сцена в режиме реального времени занимает один час. В той же манере проистекают и прочие сцены телесериала «Мать и дитя». На бумаге, в качестве сценария, они выглядят так: успокоить подмыть подтереть вымыть смыть убаюкать подмести вынести занести развлечь перемешать нарезать посолить потетёшкать добавить растереть разложить сложить застелить перестелить закапать погугулить вставить вынуть вынести выбрать включить потютюкать выключить перевязать прогулять набрать собрать купить заплатить измерить побегекать подсчитать успокоить снять поставить одеть раздеть обуть разуть влить вылить полюлюкать встать лечь отжаться встать лечь отжаться зашить распороть распороть зашить зашить зашить распороть распороть зашить — и т. п.

Указание телевизионщикам. Я бы попросила их время от времени освежать кадры субтитрами из Л. Толстого — например: «Когда Анна и Долли вошли, девочка в одной рубашечке сидела в креслице у стола и обедала бульоном... Девочку кормила и, очевидно, с ней вместе сама ела девушка русская, прислуживавшая в детской. Ни кормилицы, ни няни не было; они были в соседней комнате, и оттуда слышался их говор на странном французском языке, на котором они только и могли между собой изъясняться».

А вот сейчас и мы слышим странные языки... А именно: странный русский, еще один странный, который, как выясняется, является финским, ну и, конечно, эстонский.

Это в крошечном магазине, окруженном соснами, шиповником, жасмином и несколькими альпинариями, бойко торгует Тийна Труумаа. Магазинчик этот один на несколько хуторов. Заскочит еще иной раз транзитный турист, но очереди больше двух-трех человек никогда не бывает.

В этой торговой точке, несмотря на то, что размерами своими она равна примерно четырем теремкам (в каких на игровых площадках любого города возятся далекие от деревенской идиллии дети), — в этой торговой точке полным-полно чудесных аттракционов.

Аттракцион первый: продавщица Тийна свободно говорит с покупателями на трех языках. Самое интересное в этом представлении: Тийна молниеносно определяет, на каком именно языке следует обратиться к покупателю, никогда, судя по всему, не ошибаясь.

Аттракцион второй: все товары имеют иные названия, что неудивительно, однако удивительно то, что все они находятся в каких-то непривычных кондициях и упаковках. Сметана густа, как творог, творог густ, как сыр, а бруски сыра, в отличие от мне привычных, не похожи ни на кирпичи, ни на изогнутую крышу китайской пагоды, напротив того, они мягки и нежны. Заворачивает их Тийна не в привычную мне бумагу, напоминающую скорее брезент (которым в военное время хорошо укрывать также окопы), а в нежнейшую, тончайшую субстанцию, коей, на мой взгляд, место в любовных альбовах. Вообще с упаковками — полный завал. Например, в тюбике, казалось бы с зубной пастой, соответствуя классической комедии положений, оказывается горчица.

Аттракцион третий: у продуктов другие запахи или их нет вовсе. Например, картошка не пахнет картошкой, то есть картофельной гнилью, и

вообще не пахнет никак, словно я стою рядом не с овощной, а с парфюмерной полкой и не могу, хоть ты тресни, обонять дорогие духи, заключенные в прочную упаковку флакона и коробочки; капуста также не пахнет капустой, то есть капустной тухлятиной, и т. п.

Аттракцион четвертый — и главный: на площади десяти метров квадратных имеются в широком ассортименте (и размещаются в полном порядке, притом с элементами эlegantного дизайна) продовольственные, промтоварные и хозяйственные товары. Эти товары в горестной земле моего происхождения не встречаются вовсе; те, которые встречаются, представлены, разумеется, не в столь широком ассортименте — что компенсируется громадным (под стать имперским «успехам») количеством; товары образуют иную пропорцию с площадью торгового зала. (То есть концептуальная идея их инсталляции прямо противоположна той, что я вижу на хуторе. А именно: на площади привычного мне торгового зала, равной палубам пяти знаменосных крейсеров или трех орденосных ледоколов, бесконечной горной грядой — с рельефом в духе физкультурных пирамид 30-х годов — монолитно блистают жестью консервы одного целомудренного наименования: «Спинка мятая».)

Однако в волшебном магазинчике нет некоторых товаров, которые, по справедливому мнению поставщиков, произрастают тут же, под носом, а именно на хуторских огородах. (Исключение, сделанное для проезжих, составляют упомянутые картошка, капуста, а также огурцы и помидоры.) Овощи и зелень, которых нет в магазине, действительно растут под носом, но являются незыблемой собственностью отдельно взятых аграриев, которые не хотят продавать их мне, жалкому отпрыску беспорточных легионеров. К этим чудесам флоры относятся репчатый лук, лук-порей, чеснок, морковь, петрушка, укроп, редис, не говоря уж о ягодах... Но если без последних прожить кое-как можно (в конце концов, Тийна продает яблоки), то без лука-чеснока — того и гляди, цингу огребешь посреди бескрайнего изобилия... Да я-то уж продержусь в этой блокаде, а ребенок?

Впрочем, прорыв авитаминозной блокады осуществляется регулярно раз в неделю. Точка прорыва — крошечная почта, которая находится примерно в двух километрах от дома Калью: полчаса ходу — под пригорок, потом лесом, потом полями, потом снова лесом.

На почте царствует Пирет Мюлла, тоже вдова, как и Тийна Труумаа. Мужья обеих (что мне ведомо, разумеется, из тех же эпистол Э. Л.) были рыбаками, и оба, независимо друг от друга, утонули. Дети этих женщин живут уже в Таллинне. Кстати сказать, этими двумя вдовами, помимо семьи Калью (обитатели двух летних коттеджей не в счет), население хутора К. исчерпывается.

Пирет, в силу своей работы, почти такая же космополитка, как Тийна. Космополитизм Пирет заключается в том, что она не брезгает отвечать на мое «тэрэ». И даже иногда спрашивает по-русски: «Ну какк? назатт, в Ленинкратт, уже хотитте?» На что я честно отвечаю: нет.

Мой ответ всякий раз ввергает ее в глубокое раздумье. Некоторое время мы, стоя по разные стороны барьера, молча слушаем, как возятся за порогом куры. Пирет делает вид, что записывает какие-то цифры. Ей нужно время, чтобы переварить продемонстрированную мной позицию. Наконец я нетерпеливо оглядываюсь: там же возле открытой двери стоит коляска с моим сыном. Пирет понимает мой знак — и достает из шкафа посылочку. Обратным адресом на ней стоят координаты моего питерского жилья.

...И вот я, катя перед собой коляску, уже иду назад — лесом, потом полями... В посылке, отправленной мне матерью, как всегда, я это знаю, аккуратно сложены: репчатый лук, чеснок, морковь; там еще есть обернутая газетами стеклянная баночка, в которую плотно набиты: мелко нарезанные петрушка, укроп, сельдерей... Вес посылки такой, как всегда: около двух килограммов.

Мы с сыном движемся через поля, исходящие сказочными урожаями зелени и овощей. Только небо и воздух принадлежат здесь ему и мне на том же бесспорном основании, что и любому живому — кузнечику, муравью, птице. Кроме них в этом крае мы ни на что не имеем права. Чужие, мы бредем посреди чужих урожаев.

По жесткому закону симметрии схожая ситуация, лет через двадцать, повторилась. Только ландшафт, в который я попала, был уже не пейзажный, идиллический, а урбанистический, совсем не сентиментальный, хотя, принимая во внимание размеры, словно бы кукольный. Витрины, где роскошь света была перемешана с роскошью свежих тропических фруктов, лучших сортов бельгийского шоколада, драгоценных вин, янтарного сыра, французских шелков, золотых запахов изысканной парфюмерии, не имели ко мне никакого отношения. Мне негде было ночевать. У меня не было еды. И люди, которые, как и витрины, тоже не имели ко мне никакого отношения, — люди, с которыми меня сталкивала жизнь и которых врожденный инстинкт надежно защищал от чужого несчастья, говорили мне — по-русски, по-английски, по-нидерландски: ты сошла с ума! в твоей стране тебя ценят! а тут ты никто! А я, в сотни раз лучше, чем на всех доступных мне языках повторяла: для меня важнее всего, чтобы устроена была жизнь вокруг. Устроена справедливо. А свою частную жизнь я уж как-нибудь да устрою.

Однако для устройства частной жизни в чужих условиях — да еще жизни одинокой, без поддержки — требуется немалое время. На хуторе К. в моем распоряжении было только лето. Будь таких лет несколько, кто знает... Но мне подарено было, повторяю, лишь одно лето. Каждый день, когда сын спал, я штудировала русско-эстонский словарь... А чего я хотела, положила руку на сердце?

Я хотела, чтобы со мной здоровались. Выражаясь точнее, чтобы хотя бы отвечали на мое приветствие. Но на мое приветствие, как и раньше, не отвечали. Младшие Калью, когда я им протягивала гостинцы, по-прежнему угрюмо, мгновенно и молча выхватывали их из моих рук — притом с неизменным паническим страхом в глазах, больше, разумеется, перед родительской расправой, чем перед моей чужеродностью... Одним из многочисленных подтверждений тому — хотя какие уж там «подтверждения»! — была, например, возведенная в ритуал акция посильного мщения: мой висящий возле веранды рукомоиник, куда я, обычно ночью, заблаговременно наливала воды, они чуть ли не у меня на глазах — с регулярностью благочестивой молитвы, каждое утро переворачивали. Дерзко, безо всякого страха. Юные герои партизанской войны...

И такое положение вещей мне не казалось из ряда вон выходящим. К этому времени во мне уже прочно (вернее, навечно) укрепилась привычка к изгойству. Я еврейка, а это значит, что в стране моего рождения, еще до того, как я появилась на свет, мне назначена была роль «не такой», «чужой», «виноватой», немилрой (это единственное определение без кавычек). На хуторе я, собственно говоря, продолжала пребывать в привычном статусе. При разнице причин, приведших меня к «назначению» на эту роль, сама роль осталась прежней.

Помню момент, когда я была даже рада своей чужеродности. Я помню его особенно хорошо потому, что с него, как с некой точки во времени, хуторские события начинают мелькать с другой быстротой. Контроль эта скорость не поддается. Гайка слетает с резьбы, подламывается опорно-несущее устройство, и вся конструкция с грохотом обрушивается. (Несмотря на то что в этом обвале, особенно при замедленной съемке, можно заметить и словно бы отдельные торможения.)

Э. Л. написала письмо Андерсу Калью, где просила его разрешить мне собирать в саду опавшие ягоды. Разумеется, за плату. В смысле: я должна была платить Андерсу за каждый стакан купленных (собранных) в саду ягод. Будучи подкаблучником, Андерс со страху иногда совершал совсем нелепые поступки. Вместо того чтобы сказать об этом письме жене (которая, разумеется, пресекла бы такое дело в зародыше), он сказал мне, что собирать ягоды разрешает, а жене не сказал ничего (видимо, понадеявшись на эстонский «авось» — думаю, такая штука существует даже у вполне рациональных этносов). Ни сном ни духом не ведая, что Ванда не введена в курс дела, я одним совсем не прекрасным днем начала подбирать злополучные ягоды чуть ли не у нее перед носом.

Ярость Ванды я описывать даже не берусь. Охочих до точных деталей я бы отослала к любому учебнику физиологии. Там следует прочитать раздел о стрессе и соответствующих огромному выбросу адреналина вегетососудистых реакциях, к каким относятся: резкая гиперемия (покраснение) кожных покровов, расширение зрачков, профузное (обильное) потоотделение — и т. п. На мой взгляд, строгий аскетизм в описаниях подобного рода куда выразительней поэтических метафор.

Величину своего стресса она, надо отдать ей должное, пыталась уменьшить, как могла. То есть кричала. Выражаясь точней, она орала как резаная. Подступив ко мне вплотную и наклонившись, иными словами, снизойдя до моих метра шестидесяти (что невольно снижало и ее пафос), она выхлестывала раскаленную свою лаву непосредственно мне на темя.

Грязевой поток, что и говорить, был мощен.

Но я не понимала в нем ни единого слова.

Конечно, общий смысл филиппики до меня доходил: было ясно, что меня в моих действиях отнюдь не поощряют. Однако, наблюдая сквозь опущенные веки за птицами — за птицами, которые, видно, привыкли к Ванде гораздо больше, чем я, а кроме того, сильнее, чем я, были соблазнены опавшими ягодами, — наблюдая за птицами, которые, подсакивая, безбоязненно расклевывали просторный красно-черно-зеленый ковер из малины, красной и черной смородины, крыжовника, — наблюдая за этими птицами, я впервые оценила: как хорошо, что я, как и они, не понимаю чужого языка. Сколько же я сохраняю себе этим нервов!

(Та же мысль постоянно посещала меня через двадцать лет в другой чужой стране. Но к ней присоединилась поправка: до тех пор, пока я не понимаю языка, эта страна будет оставаться для меня волшебной. Именно пока не понимаю языка — не дольше!)

И однако, несмотря на свою защитную глухоту, в конце Вандовой речи я четко уловила три известных мне слова. То есть целую фразу. Эту фразу я уже слышала от нее же — в самый первый день, когда она гордо возвышалась в окружении подобострастно кудахчущих кур. Эту же фразу, через пару дней после приезда, я увидела на обрывке газеты, где давалась реклама мультфильма.

На картинке были нарисованы всеоюзно знаменитые зайчик и волк. Названием «No, oota, sa!» — стояла именно та самая фраза.

Так для меня начался мультфильм «Ну, погоди!».

По условиям жанра зайчика надо бы как-нибудь приманить. Желательно морковкой. Но можно также капустой и хлебом. Зайцы, они ведь не только кору обглаживают или травку щиплют, они и разные деликатесы охотно едят, только кто же им даст?

Через пару дней ко мне зашел Андерс и, смущаясь всего сразу, объявил, что Ванда не против продавать мне некоторые продукты. Не ягоды, нет. (Ясное дело! Ягоды пусть лучше сгниют. Пусть достанутся птицам, червям, земле.) Ванда может продавать мне картофель, яйца и молоко. Согласна ли я?..

Она пытается загладить инцидент, подумала я.

И, разумеется, согласилась.

А примерно через неделю после этого заболел сын. Все стряслось так внезапно, что у меня не хватило на тот момент сил сопоставить факты. Но сейчас, через двадцать пять лет, я хочу наконец внести ясность в этот вопрос. То есть обозначить свою позицию.

Отравляла ли Ванда молоко? Да простят мне вопрос в лоб. Но я привыкла действовать и говорить прямо.

Итак: отравляла ли Ванда молоко? Этого уже не узнать. И я, кстати сказать, вовсе не подозреваю ее в этом. Я не подозреваю ее в этом, хотя постфактум слышала от таллиннских «космополитов» — речь о них дальше — именно такое, а не какое-либо еще предположение. С другой стороны, заряд злобы (праведного гнева) в Ванде был так велик, что она могла буквально играючи — и даже невольно, просто своими черными думками — свалить с ног даже слона. Правда, слонов она к себе на хутор, надо отдать ей должное, не приглашала. Нас с сыном — тоже.

...Мой ребенок кричал от боли и ужаса. Из него струей вытекало содержимое кишечника — неудержимой струей, — потом стала течь только слизь, потом... потом, уже через час после такого начала, начали выходить плотные слепки кишечника. Я никогда такого не видела — ни до, ни после. И не дай Бог никому такое увидеть. Это была слизь, но не в аморфной, желеобразной консистенции, а в виде именно густых плотных слепков, которые точь-в-точь повторяли складчатый рельеф его бедных кишочек — на всем их протяжении. Такие длинные-длинные белесые слепки... Выходили они безостановочно, сами собой, он не мог уже ничего удерживать, и мне стало ясно, что это не банальный детский энтероколит, а нечто грозное, против чего у меня нет лекарств и чему нету названия... Да дело разве в названии?! Через пару минут начали выходить кусочки слизистой, появилась кровь... Ребенок посинел в рыданиях, его стало безудержно рвать. Огромные навозные мухи из хлева, привлеченные двойным лакомством рвоты и экскрементов, покрыли его с ножек до головы. Я заперла окно, я быстро обтерла его тельце, но было уже поздно. Насекомые заполнили собой комнату. Огромный черно-зеленый рой мух, хищно затаившись, ждал своей пищи.

А мне надо было бежать куда-то за помощью!..

Но куда?!

На хуторе, включая почту, находящуюся, как я писала, за два километра, телефона не было. Да если бы телефон в доме и был, Ванда ни за что не разрешила бы мне им воспользоваться, что логично. В подвале Калью хранились пучки трав на все случаи жизни — но то были их случаи жизни и их травы. Просить не имело смысла. Да и у кого?

Тельце ребенка с каждой минутой обезжизнялось, это было видно, водичка, которую я дала попить, снова вышла с рвотой, клизмочка из отвара ромашки тут же вышла наружу — с обрывками слизистой.

И мухи, уже не таясь, слетелись из углов комнаты на угощение.

Это было последнее, что я увидела, оглянувшись на бегу: сын стоял в кровати, покрытый плотным слоем мух, и заходился в рыданиях.

...Я неслась к одному из коттеджей, где, как я слышала, жила богемная женщина из Таллинна, вдова московского художника. (А если он захлебнется рвотой?! Ведь он захлебнется рвотой!!) Я бежала, не чуя ног, сломя голову, без чувств. (Господи всемилостивый, не дай этому произойти!! Накажи как угодно, только не этим!!)

Я подлетела к их открытой веранде, когда большая компания пила там чай. Компания состояла из женщин, которых я раньше видела в магазине, подчеркиваю, что я хорошо разглядела их раньше, потому что на момент моего подлета к их веранде у меня было темно в глазах.

Это были всё пожилые женщины, что называется, со «следами» былой красоты, былого избранничества и прочих проявлений былой артистической жизни, которую они когда-то вели исключительно благодаря своим мужьям и любовникам. Про таких дам, молитвенно понизив голос, всегда говорят одно: она жена (вдова, любовница) такого-то. Выглядели они в стиле Эсмеральды Леонардовны, а именно: в свои «шестьдесят» (то есть в семьдесят с гаком) носили длинные, обшитые многочисленными воланами шуршащие юбки, шелковые блузочки в игривых рюшах, тяжкие, с кистями до полу, шали, крашенные ахматовские челки и, конечно, по фунту бижутерии в любом месте, куда ее можно было хоть как-то приладить: морщинистые их пальцы были унизаны перстнями с картофелину; на слоновьих запястьях, словно на коровьих выях, болталось великое множество крупных браслетов, — так что дамы эти уже издалека громко звякали, как звякает неторопливо бредущее, неторопливо жующее стадо. Вдобавок стадо это было неторопливо курящим. Кроме того, они были, безусловно, воцерковленными, причем, чтобы никто не сомневался, воцерковленными манифестно, — иными словами, это были дамы такого сорта, которые, войдя в кафе, громко, чтобы слышно было и на галерке, с очень серьезной экзотичностью провозглашают: «Ах, мне пончик с мясом сегодня нельзя!! Я же пощусь!!!» То же самое я слышала от них в магазинчике Тийны...

Вот к таким именно дамам, а выбора не было, я и подлетела на закате того дня... Задыхаясь, я крикнула: мне нужна машина, мой ребенок гибнет. «А вы серебряную воду уже пробовали?» — строго вздернула насурьмленные брови одна из них. Я растерялась. Выходило, что панацея находится совсем рядом, стоит протянуть руку, только я, глупая, не понимаю, куда именно... Живописная группа дам, включая хозяйку, замерла в подобающем безмолвии. Позвякивали лишь браслеты: благоприличная паства изящно помешивала ложечками в фарфоровых чашках. «Надо опустить серебряный крестик в емкость от литра до трех, — терпеливо и наставительно промурлыкала миссионерка. — Держать его там необходимо девять дней... Такую воду следует пить затем в течение сорока дней — непременно из серебряного наперстка».

...Я неслась назад, ужасаясь будущего. Оно могло наступить в любой миг, а может, наступило уже.

Я влетела в дом.

Мой сын лежал.

Он был похож на опавший листок. Мне часто снились кошмары, где сын превращался в разные неодушевленные предметы. Однажды мне снилось, что он на моих глазах стал плоским сухим листком... И вот сон сбылся!

Хватать коляску и нестись с ним...

Куда?!

И коляска сломана! Колесо пару дней назад увязло в песке побережья, слетело с оси, осталось похороненным не берегу. За амбаром Калью ржавеет с дюжину колес от самых разных колясок — мне не было позволено взять ни одного. Денег на такси нет. Схватить ребенка — на шоссе — голосовать...

И вот когда я уже схватила сына и головка его безвольно повисла, я вдруг увидела в окне двух белоголовых мальчиков. Это были таллинские родственники Калью, приехавшие на каникулы. Положив ребенка в кроватку (его снова облепили мухи), я выскочила к подросткам и спросила, знают ли они, где есть ближайший телефон. Они сказали, что у лесника. Я спросила, знают ли они, где живет лесник. Они сказали, что километрах в трех, и согласились показать дорогу.

И мы рванули. Они — впереди, я чуть сзади.

В лесу они сразу исчезли. Как испарились. Я тщетно взывала, аукала, умоляла — их не было. И вдруг я различила стрелку. Она была начертана

на тропинке — палкой, довольно четко. За ней, метрах в пяти, оказалась еще одна. Я поняла, что мальчишки решили со мной поиграть, совмещая скучное тимуровское благородство с приключениями из Майн Рида и Вальтера Скотта...

По стрелкам я домчалась до сторожки лесника и вызвала «неотложку».

Мальчишек в обозримой видимости не было. Когда я выскочила назад, то поняла, что и дорогу назад мне найти будет сложно. Но тут на тропе я обнаружила совсем свежую стрелку, направленную в обратную сторону. Она была четко прочерчена рядом с ведущей сюда, уже осыпавшейся... Стало смеркаться. Я влетела к леснику и попросила фонарик... Он не отказал... Так, по стрелкам, с фонарем, и домчалась назад.

...Возле дома уже стояла «неотложка». В комнате молодая врачиха с хрустом разламывала ампулу...

После укола сын уснул. В больницу я его не отдала. Я попросила оставить мне несколько ампул, флаконов и шприц, сказав, что буду все делать сама. В отличие от питерских гренадерш «неотложки», штурмующих пациента своим боевитым благожелательным хамством, остзейская медичка не только не настаивала, но ретировалась без боя. «Это ваше дело», — нейтрально заключила она. Я подписала какую-то бумажку о личной ответственности... Она, в свою очередь, выписала мне рецепты на новые ампулы-флаконы... И уехала.

Она уехала, а мы с сыном остались. И тут до меня дошло, что лекарства-то хватит всего на сутки. Затем, с рецептами, мне надо ехать в город, отстоящий от хутора на расстоянии восьмидесяти километров. С этой мыслью, пока сын спал (мухи, перепуганные непонятной фармакологической амброзией, были рады убраться), я выскочила из дома и понеслась ко второму коттеджу.

Я представления не имела, кто в нем живет. Я только понимала, что в нем живут городские, и значит, надежда на помощь есть. Я хотела попросить посидеть с моим ребенком, пока я завтра с утра съезжу в город.

Было уже совсем темно. Когда открылся золотой проем двери, меня резко ослепил свет, и я даже не смогла разглядеть, кто стоит на пороге. Я только услышала голос. В ответ на мою просьбу голос сказал: «Конечно, я вам помогу. И прошу помочь также мне: не согласились бы вы стать моей натурщицей?»

Типичные письменные приемы, передающие эстонский акцент, опускаю.

И началась совсем другая жизнь.

Мой сын поправился.

Мне повезло попасть к таллинским «космополитам»: хозяевами коттеджа оказались знаменитый Художник и его жена. Странно, что прежде я их нигде на хуторе не видала.

Я стала ходить к Художнику на сеансы.

Во время сеансов я спала. С открытыми глазами. В положении сидя. В позиции стоя. Я спала — и не верила в возможность отдыха. Я была уверена, что мне это снится. Я спала — и никак не могла отоспаться. Я спала, как бревно, честно пытаюсь сохранять на своем лице не только осмысленность, но и «яркую эмоциональную оживленность». По-видимому, мне это удавалось. Во время сеансов жена Художника нянчила моего сына...

Художник именовал мои занятия «работой». Он робко просил меня не загорать, «чтобы не менялись тональные оттенки кожи». Я охотно соглашалась, не посвящая его в детали своего быта. Перерывами, сидя в плетеных креслах, мы пили кофе из хрупких фарфоровых чашечек. Кофейный столик, как всегда, сервировала жена Художника: бисквит, конфеты в изящной корзиночке, свежие фрукты и ягоды, нарядная скатерть, цветы...

Так, окруженная морем цветов и фруктов, всамделишных и отраженных холстами, я и уехала с хутора К.

Последние свои недели на хуторе я прожила словно не там, а в параллельном — независимом — мире, где царствует вовсе не Ванда со своими вассалами, но Аполлон со своими музами. Я перестала замечать, что в мире Ванды меня игнорируют, перестала замечать сам ее мир. Возможно, и в мире Ванды что-то изменилось: внимание знаменитого соотечественника временно реабилитировало меня в ее глазах — и частично легализовало. Художник написал множество моих портретов (которые затем меньше чем за год купили в Японии, Франции, Германии, Англии, Штатах). Почитательницам серебряной воды из соседнего коттеджа жена Художника говорила обо мне так: «Она — любимая модель моего мужа».

Таким образом уезжала я триумфально — не только в море цветов и фруктов, но эскортируемая и собственными портретами: некоторые из них художник мне подарил.

И все это было так ошеломляюще, что я как-то упустила сам момент своего отъезда. Только помню: когда я, с сыном на руках, садилась в такси, старый Олаф, закашлявшись, что-то крикнул мне со своей скамейки. Что? Я не расслышала. Да и что может крикнуть человек на прощанье?

...Потом я несколько раз ездила в Таллинн — по приглашению Художника, на его персональные выставки. Там среди прочих работ, то есть среди елей и сосен Эстонии, среди валунов и волн Эстонии — прямо между прибрежным песком и небом Эстонии — в предгрозовом, раннем зорями воздухе парили мои лица. И мне даже показалось, что, возможно, я через не предвиденную мной самой дверцу сумела наконец войти в эту потаенную страну, которую так люблю, потому что она похожа на землю моего детства, только отмытую от ила и слизи будней — вот как сон отмывает повседневное изображение, делая его предельно четким в самой глубине смысла.

И это мое предположение невозможно было ни доказать, ни опровергнуть.

Поправка заключалась лишь в том, что звезды постоянно меняют свое взаимное положение, а вместе с ними претерпевают изменения любые доказательства, опровержения, выводы.

Весной мне позвонила Э. Л. Она получила письмо от «настоящего эстонца Васи».

В письме сообщалось, что старый Олаф скончался.

Он вдруг резко ослаб и был отправлен Вандой в больницу. Сын заступиться за него, конечно, не смог. А поскольку в больнице Олаф Калью не лежал за всю свою жизнь ни единого раза, то и умер там быстро, в три дня. («От тоски», — убежденно прокомментировал Вася — «настоящий эстонец» и заслуженный врач.)

В конце письма была приписка: «Не знаю, сообщать ли вам о последующих событиях. Они буквально потрясли хутора в нашей округе. Но вы не лютеранка, и я представления не имею, какое отражение это найдет в вашем сознании».

И далее он писал, что, когда домочадцы вернулись с похорон Олафа Калью, на хуторе их ждало страшное: младший сын Ванды, Индрек, утонул. Его поглотила и выбросила на берег быстрая речка Селья, которая течет в ущелье — невдалеке от родового гнезда Калью. Именно в то же самое время (как выяснилось позднее при сопоставлении фактов) на соседнем хуторе вспыхнул пожар. Он поразил дом Сирье. Дом сгорел дотла, и вместе с жилищем огонь унес единственного ребенка Сирье, внука Ванды, двухлетнего Арво.

Через три года, проездом, я оказалась в тех же местах. Проездом, но не случайно. Я устроила так, чтоб хоть краешком глаза еще раз взглянуть на хутор. На лес и на дом, которые поселились в моей памяти равноправно со снами о детстве. Мне необходимо было еще раз войти в эту картину. Войти наяву. Кто знает, а вдруг в тот же самый лес — это же не река! — дважды войти как раз можно?

И потом, мне необходимо было увидеть тех людей. Уцепиться за последнюю — возможно, главную — соломинку, которая могла бы подтвердить реальность — прошлого и настоящего...

И я это сделала.

Я отпустила такси. И вошла в лес. И прошла к полю. И увидела людей. И стала на них смотреть...

Я видела людей, а они меня — нет. Да: я видела людей, а они меня — нет. И я радовалась этому свойству быть незримой.

...Они так и продолжали работать вместе — Ванда, Андерс, Сирье, Йовита, Урмас, Таавет, Кайа. С ними не было только самых слабых — старых и малых, но слабые ведь и раньше не принимали участия в трудовом процессе, так что их отсутствие не ощущалось.

Конечно, за это время кто-то подрост, а кто-то состарился. Но издали это было не очень заметно.

В главном ничего не изменилось.

Не изменилось также и то, что эти люди меня не видели. Мне было приятно думать, что я незрима, словно душа после жизни (смерти). Но, возможно, дело обстояло куда прозаичней: эти люди по-прежнему просто не хотели меня видеть.

Именно эта догадка удерживала меня от желания подойти поближе. Я знала, что они снова не откликнутся на мое «тэрэ». Даже не повернут головы.

То есть: я действительно вошла в «тот же лес».

Абсолютно в тот же.

Результат оставался прежним.

И я поняла, что мне никогда не проникнуть в их мир.

Даже мои портреты, недолго повисев по выставкам Таллинна, навсегда, словно ими отторгнутые, канули за границей.

И еще одну вещь я поняла, глядя издали на эту семью, наблюдая людей, словно отделенных от меня герметичным стеклом: мои сны о них — по своему чувству — ничем не отличаются от того, что я испытываю, наблюдая за ними въяве.

...А теперь, находясь в некоей третьей точке, по-разному удаленной во времени и пространстве от той яви и тех снов, я чувствую с особенной ясностью: даже воспоминание о той яви и воспоминание о тех снах не имеют между собой решительно никаких различий. Это одна и та же — единая и нерасторжимая — память.

Выставляя нескольким явлениям (величинам) общий знаменатель (необратимости), дистанция времени и пространства навсегда уравнивает их в иерархии чувств. Или, как сформулировал этот закон один знающий дело фотограф: память не имеет глубины резкости.

А еще через полгода умер Художник. Тонкая нить, связывавшая меня с Эстонией, оборвалась.

Но тогда я еще надеялась, что это не так: оставалась его вдова.

Была зима. Я приехала в Таллинн после очень тяжелой болезни. Мне необходимо было восстановить силы. До этого по телефону вдова Художника обещала меня приютить.

В этот день был объявлен траур по скончавшемуся главе империи. У него было узкое и холодное, как клинок, лицо иезуита. Повсюду в витри-

нах стояли его портреты. И даже в этом траурном ритуале резко бросалась в глаза разница этикета. Несмотря на очень, скажем так, скромную приязнь к цезарю населения этой имперской провинции, каждый его портрет, уважительно соразмерный человеческому, был аккуратно заключен в благопристойную рамку; в углу каждой рамки, отсекая аккуратный треугольник, чернела изящная шелковая ленточка — и снежно белели свежие гвоздики. В мегаполисе же беспризорно мотались на ветру гигантские плакаты и транспаранты — все, разумеется, в истерическом черно-красном исполнении, а внутри официальных помещений бесприютно громоздились гигантские портреты в тяжелых рамах — облупленность их лжепозолоты вполне была компенсирована обильными следами мушиных экскрементов...

Когда я пришла к вдове, было утро. Она открыла мне дверь и сказала, что передумала. То есть принимать меня у нее нет желания.

До сих пор не знаю, почему эта женщина так поступила. Сразу хочу уточнить: она была русской, то есть тут сработали иные механизмы, нежели на хуторе. Какие? Не знаю. Возможно, ей было обидно, что «любимой моделью мужа» является не она сама. И, всю жизнь подстраиваясь под знаменитого своего супруга, после его кончины она наконец-то позволила себе побыть собой.

Это все не имело для меня значения. Значение имел непосредственно голый факт: эта страна, уже с которой моей попытки, меня все равно не принимает.

Эта страна меня не принимает!

Наотмашь.

Наотрез.

Напрочь.

Я попросила у хозяйки разрешения воспользоваться телефоном: мне надо было найти себе место. Она разрешила. Я взяла телефонную книгу и позвонила в первый попавшийся отель.

Никогда не забуду то странное пространство, в какое я вдруг словно бы провалилась...

Мне что-то сказали по-эстонски, очень кратко, и повесили трубку. Я решила: нет мест. Набрала другой номер. Та же фраза, короткие гудки. Третий номер: та же фраза, гудки... Та же фраза, гудки... Та же фраза, гудки... Та же фраза, гудки... Наконец какой-то номер сказал: «Минута молчания».

По-русски. С очаровательным стаккатированным акцентом... Удвоением «т» в слове «минутта» словно переводя этот краткий отрезок в категорию вечности...

Минута молчания!

Восточный берег Балтики, этот суверенный мир — со своими мифами и традициями, со своей пронзительной историей, со своей природой и со своей поэзией, со своими понятиями о правилах поведения, наконец, — молчал, платя формальную дань чужому, чуждому цезарю.

Каким было это молчание? Равнодушным? Грозным? Насмешливым?

Не знаю.

Я словно бы оказалась в зоне выключенного звука. Было ясно, что этот мир обеззвучен специально из-за меня, для меня, мной. Я открывала рот, я кричала — и не слышала крика. Какие-то люди проплывали мимо, как рыбы. Они открывали беззвучные рты. Отклик прочитывался в выражениях лиц... Лица беззвучно кричали: «Зачем ты здесь?! Кто тебя звал?!»

И вдруг... меня словно пронзило странное знание. Я отчетливо поняла, что это идет репетиция. Да, только репетиция! Моя бездомность еще повторится. И она будет страшной. И бесприютность моя будет отчаянней. И безысходность будет воистину первобытной. И я буду кричать, не слыша своего крика. И по беззвучным лицам проплывающих мимо людей я прочту — уже на другом языке — тот же отклик.

Я стяхнула наваждение. Я была еще очень слаба после болезни. У меня не хватало сил даже сидеть. Мне надо было лежать, лежать сутками...

Но я встала с чужого дивана.

Подошла к чужому окну.

И увидела чужой двор.

...Ночью здесь выпал влажный снежок. Он покрасил белым весь асфальт, не сумев занырнуть только в подбрюшье автомобилей... Утром автомобили уехали. На белом поле двора, будто на добела выгоревших обоях, остались два ряда больших темных прямоугольников — словно следы от снятых портретов.

Эта история подходит к концу. И сейчас, наверное, самое время попытаться разобраться с вопросом, который мне не избежать. Да я и не собираюсь его избегать.

Это вопрос об исторической вине и личной ответственности. Или так: о личной вине — и исторической ответственности.

О чем это ты? — скажут мне люди в стране моего языка. — Мы даже не понимаем, о чем идет речь.

И я не удивлюсь такому ответу. Люди продолжают жить и убивать, исключительно благодаря отсутствию памяти. Если бы люди жили памятью, они перестали бы убивать — но и продолжать жить (то есть идти куда-то «вперед») прекратили бы тоже.

Однако мне нет дела до общих законов. Мне необходимо разобраться лично с собой. Со своей совестью.

Значит, так: время прошло, концы в воду. Виноватых, как водится, нет. Большие и сильные завоевали малых и слабых. Они долго их мучили, затем, слава Богу, этой эпохе настал конец, давайте забудем. Идеолог скажет: я свято верил в чистоту теории. Политик скажет: я хотел как лучше. Офицер скажет: я не имел представления об истинных целях плана. Представитель правоохранительных органов скажет: мне никогда не сообщали о такого рода злоупотреблениях. Рядовой скажет: я выполнял приказ. И в эту ржавую цепочку, конечно же, вплетется множество других «невинных» голосов: безграмотных экономистов, продажных чиновников, сезонных рабочих-алкоголиков, жирующих журналистов, сделавших демагогию одной из самых высокооплачиваемых профессий... Виноватых нет.

И все это так предсказуемо! Так скучно!

Но кто это там топчется в самом конце цепочки? В самом-самом конце? Кто это там тоненьким голосочком кричит: «В этом моя, лично моя вина!»?

Это не стрелочник, нет.

Это я.

Я врач, и я всегда помню, что организм состоит из клеток. И автономных, «независимых» клеток в едином организме нет. Кроме раковых, конечно. А клетка здоровая обязательно имеет принадлежность к какой-либо ткани.

То есть является ее частью. И я, каким бы особым типом сознания ни обладала, я, вместе с людьми моего языка, дышала в свое время одним воздухом, пила одну воду, я пользовалась общим с ними газом, отоплением, электричеством, наконец... Я, как ни крути, — неотъемлемая частица того огромного, хищного и жестокого организма, который долгое время, притом безнаказанно, разрушал организм соседней — несоразмерно меньшей! — страны.

А я всегда встану на сторону малочисленного, всегда предпочту в конечном итоге штучное — массовому.

Но вина предполагает ответственность. А в чем же состоит ответственность, если ты не можешь ни на что влиять?

Неправда, могу. Потому я и пишу этот текст. Потому у меня и есть силы его писать.

...И вот — почти через двадцать лет после того хutorского лета — я сижу перед иммиграционным чиновником некой третьей страны. Страна мне чужая. А я чужая стране. И иммиграционный чиновник меня мордует.

Нет, он меня не бьет, упаси Бог. Наоборот, он убийственно вежлив. Но он мне чужой. А я чужая ему. И от этого так больно, от этого мне так нестерпимо больно, что лучше бы он меня бил.

А я сижу и понимаю: вот сейчас, вот именно сейчас и начинает разворачиваться та самая пьеса, которую я, сама того не зная, репетировала на хуторе К. И я не знаю, какой у этой пьесы конец.

Я сижу и мысленно говорю чиновнику: мордуй. Правильно делаешь! Потому что ты и есть маленькая, но отлично отлаженная и действенная клетка иммунной системы, которая защищает страну от чужеродных, несовместимых с ней элементов. Ведь что происходит, если организму навязать чужую ткань? Он непременно будет ее отторгать, отстаивая свою цельность, свою природу, свою собственную программу жизни. А чтобы организм не отторгал чужеродные ткани — экспериментаторы от властей предержавших искусственно ослабляют его иммунитет. В результате — этот организм страны гибнет именно от своей же ослабленности. Его добивают присоединившиеся болезни, которым он сопротивляться уже не в силах.

Да-да, думаю я, с отрадой глядя на неумолимого иммиграционного чиновника, с отрадой, возможно, не вполне обычной для человека, попавшего в положение парии, — ты, боевая клетка защитной системы, — ты все правильно делаешь!

...Чтобы не уродовать, не увечить мир, в которыйходишь, надо с ним хоть в какой-то мере сродниться. Хоть в какой-то. А коль особь, в силу своей заскорузлости, это сделать не может — крайне важно хотя бы не вносить в существующий мир разруху. Потому что, когда припрет нужда от заскорузлых бежать, а она припрет обязательно, — бежать хоть ненадолго, дабы, назовем это так, краем легких глотнуть чистого воздуха, — бежать будет некуда. И вот... Как бы это политкорректней выразиться... Если ему, заскорузлому пришлецу, не по зубам язык другого мира, не по мозгу его законность, не по нутру традиции, если он (как дворяня — ржавые консервные банки) повсюду тащит за собой на облезлом хвосте свои фирменные сувениры, а именно: «избыток души» (довольно спорный) и бесспорный недостаток гигиены, достоинства, деликатности, — ему, бедолаге, дабы не учинять в чужом доме разруху, следует по крайней мере не мочиться мимо унитаза. (В окончании фразы я вольно цитирую классика. Кстати сказать, русского.)

Мне всегда были понятны эти простые вещи. Поэтому прости меня, если можешь, моя Прибалтика. «Моя» — не по праву конквистадора. Моя — по праву — ни на что не посягающему праву — пожизненной любви.

Любви самой сильной: неразделенной.

Вот и не удалось мне на этом закончить мою историю. Потому что у нее оказалось продолжение. Как и у жизни!

И продолжилась эта история на острове Готланд, а где же еще такое могло случиться?

Остров Готланд, шведская земля, лежащая в самом центре Балтики, является, скорее всего, сердцем этого моря. Я думаю также, что лазурная целестия над этим бесценным ломтиком суши есть результат прямого вмешательства Бога: всякий раз, когда Создатель решает развести облака над Готландом, Он не перепоручает это ангелам и архангелам, а разводит их Сам, сугубо Своими благодеечными дланями.

На этом острове, чувствуя себя дома, гостят разноязыкие производители книг — в основном из стран, окружающих Балтику. Их приглашает Международный Центр писателей и переводчиков.

И вот через четверть века после моего хutorского опыта, после того, как я уже объездила множество стран и даже побывала на другой стороне

Земли, мне наконец посчастливилось — в самом начале нового тысячелетия — попасть на этот волшебный остров.

Среди прочих гостей Центра, одновременно со мной, там была известная и талантливая эстонская поэтесса. Миловидная женщина моего возраста. И мы говорили друг с другом, конечно, по-английски. А на каком еще языке мы должны были говорить? Там все говорят по-английски.

Хотя конкретно с ней, этой поэтессой, я много не общалась. Так, бытовые фразы на общей кухне. Good appetite! Such a wonderful weather today, isn't it? Oh, yes!.. I've got up early today, the sea was beau-u-utiful! Yes, it was really beautiful!.. Do we have some more sugar in here? Haven't you seen it?.. Oh, many thanks!.. Ну и так далее. Все в том же духе.

И вот в один прекрасный день — прекрасный буквально! — выхожу я на кухню, вижу эту прелестную белокурую женщину и уже открываю рот, чтобы сказать: good morning, such a wonderful weather... Но она, жаря на сковородке какую-то громкую и безостановочную стрельбу, вдруг меня прерывает:

— Марина, я уже давно хотела тебе что-то сказать.

Произносится это по-русски.

Эффект для меня таков, как если бы то же самое сказал вон тот красивый цветок — в кадке, на подоконнике.

Добавим сюда это очаровательное, разящее мое сердце — «что-тто сказать».

А она накрывает сковородку, прибавляет огня и, пытаясь перекричать стрельбу, продолжает:

— Там наверху, в библиотеке, я нашла твои книги!..

Я ничего не нахожу лучше, чем сказать:

— Oh, really?..

Поскольку что-то, я не знаю что, все еще не позволяет мне откликнуться ей на русском.

А она заканчивает:

— ...и я их читаю. И, знаешь, мне очень нравится, как ты пишешь. Ты здорово пишешь, Марина!

И вот этот факт... Нет, не то, что она похвалила мои книги... А то, что она сделала это на русском...

Ведь никто же ее не заставлял, правда?!

Ее же не заставлял никто!!

И ответ на этот загадочный вопрос так огромен — и вместе с тем он так прост и, кстати, доступен абсолютно всем — вот как это небо над нами.

А я уже бегу к морю. Я бегу к Балтике, которая у берегов Готланда не такая, как возле Питера, — не та, привычная, уютно-седая, как моя бабушка, — она неожиданно другая, многообразная — потому что не может не быть многообразным то, что живо.

Вот она, новая для меня Балтика: несмотря на зиму, ярко-синяя до самого горизонта — с широкой, воланами, каймой волн — кружевной, словно для бального танца, зеленой каймой — виноградной, крыжовниковой, яблочной... Такой вот планетарный биколор!

А я смотрю на эти волны и думаю: мне надо обязательно рассказать кому-то всю эту историю... Мне необходимо, мне позарез надо это сделать!

И я рада, что такой случай представился.



ЮРИЙ КАЗАРИН



ШАРОВОЕ ЖНИВЬЁ

* *
*

Расплетаются в небе корзины
облетающих рощ и обид.
Трепеща синевой, у осины
средиземное сердце болит.

Листопад, мельтешение мира,
и судьба у подлеска — моя:
коммунальная в дырах квартира,
хоровой мавзолее муравья.

Пропадаю один, пропадаю —
припадаю буханкой к ножу:
то ли с дымом костра улетаю,
то ли в землю с золой ухожу...

* *
*

В ноябре убывание дрожи
и пластунский мороз на слуху,
и растения в скифской одежде
на игольчатом рыбьем меху.

Берег озера ширится в брег,
и волна широка без утруски —
с переходом из сырости в снег
в переводе с озноба на русский.

И душа обмирает. И стонет
узкий воздух с белками беды.
Хоботок промерзания тронет
роговицу открытой воды.

Только пристальный свет с верхотуры
пробирает до самых костей,
набивая кирпичные шкуры
первым хворостом жарких вестей.

Печку топит Овидий, изюму
пожует — и живет молодым,
возводя как последнюю думу
вавилонский незыблемый дым.

* *
*

Слышится влажное посуху —
мимо окна твоего.
Кровь открывается воздуху,
распространяя родство

в шуме пространства и времени
на шаровое жнивье
капель, светящихся в темени,
тронувшей темя твое.

* *
*

В небе трещины — это березы,
крепче кепочки жмет окоем.
Запрокинешь лицо, чтобы слезы
оставались на месте своем.
Ты теперь — что стакан поминальный
и наполненный горечью взор
вертикальный, как смерть.
Вертикальный,
навсегда уходящий в простор.

* *
*

Все меньше, меньше неба в небе —
о, ноздреватый воздух в хлебе —
полгода в землю снег идет,
а может быть, наоборот.

У женщин холодно во рту,
там слово нежит высоту
в слюне, в зубах — и хоронится,
как в рукаве живая птица —
в тряпье у чучела в саду.

А это я сквозь снег иду.

* *
*

Один, как в детстве, вкось, по краю
зимы, стремящейся к нолю:
опять люблю и умираю
и вечность новую терплю.

Жизнь истекает. Точно вычет
воскресшей в оттепель воды.
И что-то с неба в землю тычет,
как в книгу, полную беды.

* *
*

Очевидно и пусто за пунктом
населенным, где озера круг
затянулся — и в пену закутан
осьмигубый за всхлипами звук.

Сыто небом лесов населенье,
меркнут в воздухе птичьи следы.

И твое золотое сомненье
переходит в смятенье воды.

В одиночестве — сила природы
и посмертная воля творца
и высокая тяжесть свободы
оставаться собой до конца.

* *
*

Почерк беспочвенный — червь на крючке
не рыболовном, а прямо в зрачке:
молонья, жало, могучий изгиб
над чертежом убывания рыб.
Жаберный шорох в воздушной дыре —
так наклоняют кувшинное рыло,
чтобы на смерть насмотреться в костре,
чтобы из лужи напиться уньло.
Чтобы увидеть, как лодки натрут —
до возгорания звездного — воду,
где — на себя — словоблуд
ловит чужую свободу.

* *
*

Я поплачу над фильмом плохим:
еще с прежней женою
я в кино отправлялся бухим —
за чекушку, с тоской ледяною
погибал под Феллини, взашей
удалялся, скотина скотиной.
Я и сам был талантливейшей
безбюджетной картиной.
Обрывался как заяц-скачок:
на щеке пропечатался прутик.
Собиратель пространства — зрачок
мне, как смерть, эту ленту прокрутит
через двадцать беспамятных лет,
где меня уже нет —
между словом последним и делом
в этом фильме — то черном, то белом.

* *
*

Горькую обновушку..
А. Ахматова.

Ты вся как музыка — из маковых
ледышек в зное золотом,
два неба — круглых, одинаковых,
несешь в тяжелых ведрах в дом.

Как на ресницы ни наматывай
слезу — обновы солонь:
все красен саван у Ахматовой,
все снежен саван у страны...

* *
*

Всю ночь волнистое стекло
по вертикали вверх текло
не сном, не отраженьем —
а головокруженьем.

Повсюду дождь искал меня,
и я не зажигал огня,
чтоб темноты не видеть
и неба не обидеть.

Я понимал, что не стекло,
не дождь, а зеркало текло
из памяти — наружу,
выматывая душу.

И не увидишь из окна,
как спит спиной ко мне страна —
чуть теплая, большая,
дождя не нарушая.

* *
*

Дыра в дожде, окрест
уже ветшают воды
до перемены мест —
в порыве непогоды —
особенно небес,
особенно землицы,
где пробуют на вес
себя и воздух птицы.

Где если есть окно,
то будет и разлука,
как музыка в кино
немом — еще до звука.

ЮРИЙ БУЙДА

*

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ИОРДАН

Книга рассказов

НА ДРУГОМ БЕРЕГУ

Марию Порфирьевну отпели в Воздвиженской церкви, настоятелем которой много лет был ее муж отец Фома. Вдовец уже не первый год был на пенсии, поэтому и в храме старался держаться подальше от священника и служек, чтобы не смущать их. Он стоял сбоку, крестился и клал поклоны, вдыхая привычный и уже порядком надоевший запах ладана и горячего воска. Пятеро сыновей повторяли движения отца, хотя Фома и догадывался, что настоящую веру они давно забыли, да и откуда было взяться настоящей вере в нефтяных поселениях на диком севере, где трудились его сыновья. Впрочем, разговоров на эту тему он с ними никогда не заводил, кротко полагаясь на Божий промысел и силу животворящего Креста: все пятеро недаром же были крещены во младенчестве, а это рано или поздно скажется на составе души человеческой.

Во дворе дожидался своего часа мотоцикл с коляской, переделанный для перевозки гроба. Коляску загодя сняли, укрепили раму и вот на эту-то раму и поставили большой деревянный ящик с откидной крышкой. После службы священник отозвал сыновей Фомы в сторонку, о чем-то с ними заговорил, но они разом развели руками, а старший сказал:

— Он не упрямец, отец Василий, он — упорный. Если чего решил, так тому и быть.

Закрытый гроб бережно опустили в ящик, крышка которого запиралась навесным замком. Сверху привязали большой дубовый крест с медной табличкой, на которой было выгравировано имя усопшей. Отец Фома расцеловался с сыновьями, поблагодарил священника и причт и надел на лысую голову мотоциклетный шлем, а за спину — тяжелый рюкзак со снедью и всем, что может понадобиться на поминках.

— Может, там от того кладбища и памяти не осталось, — не выдержал отец Василий. — Не в чистом же поле ты ее хоронить будешь?

— А в тех краях и нету чистых полей — одни леса да болота, — ответил Фома. — Да и ходу дотуда на мотоцикле четыреста верст — часов на пять-шесть.

Он газанул, выезжая за церковную ограду, и скрылся за поворотом, держа путь на магистральное шоссе.

Сыновья повели священника и гостей на поминки.

Отец Фома любил быструю езду. Выбравшись на широкое асфальтовое шоссе, он надал и помчался на восток, лишь изредка поглядывая на деревянный ящик, принайтованный широкими кожаными ремнями к железу.

Буйда Юрий Васильевич родился в 1954 году в Калининградской области. Закончил Калининградский университет. Автор романов «Дон Домино», «Ермо», «Город палачей», «Кёнигсберг», многих повестей и рассказов. Лауреат премии им. Аполлона Григорьева. Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.

Когда они поняли, что Марии Порфирьевне живой из больницы не выбраться, решили, что похоронит ее Фома на кладбище возле Николиной церкви — когда-то в ней служил отец Фомы, который и венчал сына с Машенькой. Церковь была деревянная, ветхая, ремонтировать ее приходилось самим, а когда отец умер, власти не разрешили его сыну, выпускнику семинарии, пасти тощее стадо православных старушек. Пришлось ему с женой уезжать в дальние края. Часто они вспоминали Николину церковь, и казалась она им местом обетованным, хотя и бедным донельзя. Еще в те годы, когда храм был открыт для верующих, начали пустеть окрестные деревни и села: мужики всеми правдами и неправдами выskalзывали из колхозной кабалы, чтобы зарабатывать в дальних краях кладкой кирпичных труб и рытьем колодцев. Но вспоминалось, конечно, не это, а те несколько мгновений жаркого счастья, когда священник назвал их мужем и женой, а потом — стыдно признаться — похороны отца, вылившиеся в настоящий яркий праздник. Может, потому, что похороны прились на разгар бабьего лета, буйного цветом и чистого духом...

Был июль. Жаркий, засушливый. Зелень по сторонам дороги казалась квелой от избытка тепла, и только сосны с елями выделялись своим пугающе неизменным нарядом.

Часа через два его остановили на посту милиции, проверили документы и потребовали открыть ящик.

Фома беспрекословно повиновался.

— Ну, гроб вскрывать не будем, — сказал старший милиционер. — Не обижайся, отец, сейчас всякая сволочь и в гробу может пулемет провезти. Или гранатомет.

— Мария Порфирьевна у меня тихая была, — сказал Фома. — Вот соседка Симкина — та хуже пулемета, прости Господи.

Милиционеры посмеялись. Один из них, сняв камуфляжную кепку, перекрестился.

— Не заблудись, дед!

— Да у меня карта, — возразил Фома. — А до знакомых мест доберусь, так и вовсе хоть с закрытыми глазами езжай.

— Ну, ехай, ехай! Да смотри: в лесах пожары.

Задолго до города, который нужно было миновать на пути в заветную деревню, отец Фома почувствовал першение в горле. Пахло паленым. Впереди на дороге сгрудились милицейские и пожарные машины, никого прямо не пускали, поэтому пришлось искать обходные пути. «Время теляря, — подумал Фома, сворачивая на объездную дорогу. — Ну да все в руках Божьих: авось не запахнет Машенька прежде срока».

Город был мал и нечист. Даже свежетыбеленная соборная церковь близ центральной площади казалась засиженной мухами. Дым от пожаров тонкой пеленой стлался по улицам, искажая очертания зданий и деревьев.

На бензоколонке за городом он заправил полный бак, налил канистру про запас и перекусил бутербродами в мутной тени берез.

— Паром? — переспросил заправщик. — Не слыхал я ни про какой паром. А как деревня называется? И деревни такой нету. Может, и была, а сейчас точно нету: я же всех местных шоферюг наперечет знаю, и городских, и деревенских. Да и река-то сама в тех краях изменилась: где было прямо, стало накось.

Отец Фома вежливо поблагодарил заправщика. Кто знает, может, и не врет. Из этих деревень и раньше-то бежали куда глаза глядят, а с тех пор почти полвека минуло.

Помотавшись с полчаса по пригородным полям, он таки выехал на дорогу, которая когда-то пролегла по берегу. Слева громоздились плоские

серо-синие камни — полвека назад с них удили рыбу и прыгали в воду мальчишки. Теперь же за камнями тянулись неряшливые полосы песка, щетинившегося высокой травой и пыльными ивняками, между которыми вроде бы что-то поблескивало. Оставив мотоцикл у камней, отец Фома умаялся ходьбой, пока не убедился: русло реки сместилось, и сама она стала — курица вброд перейдет. Но он обрадовался: значит, правильный путь выбрал. И хотя дорога подзаросла травой, по ней, как рассчитал Фома, за полчаса, ну, за час добраться до того места, где братья Пахомовы держали паром.

Вскоре, однако, он заметил, что дорога все сильнее отклоняется от ивняков, в прорывах между которыми уже ничего не поблескивало. Но решил довериться памяти. Только скорость сбросил.

Вдали справа курился молодой ельник. На широком лугу между лесом и дорогой паслась корова.

Солнце клонилось к закату, а дорога все петляла, становилась все более непроезжей — колдобина на колдобине. «Курица стухнет, — подумал отец Фома о съестных припасах, которых наготовили ему в дорогу невестки. — Сало расплавится».

Он давно снял шлем и очки. Думал только о деревне, пароме и братьях Пахомовых, которые жили огородом да собственной скотиной (держали двух коров и десятка свиней) и очень любили, когда выпадало переправлять на другой берег покойников. Уже в те времена люди в церкви не венчались (Фома и Машенька были исключением), но покойников хоронили на старом кладбище — «на том берегу». Братья Пахомовы по такому случаю наряжались в черные костюмы с жилетками и встречали похоронную процессию со странными жезлами, обвитыми муаровыми лентами. Посреди парома они ставили что-то вроде длинного стола, на который и переносили гроб. А когда паром трогался, младший Пахомов начинал трубить в медную трубу, и так это жалобно и складно у него получалось, что наливали Пахомовым не только родственники усопшего, но и провожающие, да еще и деньгами давали сколько-нибудь.

Куда подевались братья Пахомовы, жившие в богатой избе на берегу? Куда подевался паром с его канатами? И где река?

Отец Фома посмотрел на часы и едва удержался от ругани: хваленая «Победа», подарок отца, остановилась на пяти часах пополудни. А если судить по солнцу, то время давно подходило к девяти. Что-то не так, подумал Фома. Или время испортилось, как часы. Или он сам испортился головой и повернул куда не надо.

Однако впереди вдруг замаячили Три Сосны — так назывались исстари три гранитных островерхих камня, близ которых и находилась паромная переправа.

Никакими жилами постройками и не пахло: вокруг песок, камни да трава, и невозможно было даже определить, где же проживали Пахомовы с их черными костюмами, которые они к каждому похоронам подкрашивали черными на локтях и коленях, и с их печальной трубой.

Солнце садилось не по-июльски быстро.

Отец Фома, нахмурившись, быстро повел мотоцикл к дальним зарослям ивняка, над которыми высились сухие ветлы. И не ошибся. Между двумя старыми деревьями — слишком старыми, чтобы он их не помнил, — торчали высокие столбы, обмотанные ровно поверху канатами. В свете заходящего солнца река казалась — из-за палево-розового марева над поймой — какой-то неводяной, а словно отлитой из угасающего света и подцвеченной серой пыли, совершенно, между прочим, недвижимой, хотя от реки и стало потягивать ветерком.

Отец Фома остановил мотоцикл на берегу, а сам, скинув сапоги и прихватив длинную жердину, отправился к парому, очертания которого смутно проступали сквозь палево-розовый туман. Вода не остужала, но и не грела ноги, словно это была и не вода вовсе, а некая субстанция, умом не-

постижимая, но в то же время реальная. Добравшись до парома, отец Фома швырнул жердину на помост, а сам встал к деревянной зубчатой рукояти, которой паром приводился в движение. Канат легко заскользил, понуждаемый зубцами, и паром, прихлупывая, подплыл к берегу. Еще немало времени пришлось потратить на то, чтобы въехать на помост на мотоцикле, но и эту мороку отцу Фоме удалось одолеть, хотя терпение его лопнуло и начал он ругаться матерно.

Когда же мотоцикл с гробом стал посреди помоста, Фома почувствовал вдруг, что выбился из сил. От реки уже поднимался густо-розовый туман, было почему-то стыдно перед покойницей, терпеливо дожидавшейся в гробу своего часа, и Фома, сконфуженно отвернувшись от гроба, поел хлеба со сваренными вкрутую яйцами и выпил из гнутой блестящей фляги, подаренной младшим сыном. Напиток напоминал коньяк. После двух-трех глотков Фома почувствовал, что силы вернулись к нему, и налег на рычаг.

Хлупнув, паром медленно двинулся к невидимому в тумане другому берегу. Одно разве что удивило Фому: сколько ни вглядывался, воду, хлупавшую под дощатым настилом, так и не разглядел, — плыла, расходясь туманцем, какая-то розоватая муть — то ли жижа, то ли и вовсе ничто...

Сызмальства сельский житель, Фома и не ожидал найти на месте бедной деревни что-нибудь, кроме полыни да крапивы. Священнослужитель же отец Фома был поражен в самое сердце, когда на месте храма увидел три каменные ступеньки да плоский камень, на котором когда-то водрузили основание алтаря. Даже нижние венцы церкви сгнили и смешались с землей.

Он с трудом въехал на всхолмие, где располагалась когда-то церковь, и, поставив мотоцикл на тормоз, отправился на кладбище, прилегавшее к храму. Сейчас между храмом и кладбищем дождевые и паводковые воды проточили глубокую ложину, заросшую черт знает чем, все больше крапивой, и отцу Фоме пришлось немало потрудиться, чтобы вскарабкаться к обвалившейся кладбищенской оgrade.

Уже почти стемнело, но он без труда отыскал могилы родителей, на удивление ухоженные и даже обсаженные цветами. Опустившись на колени, он стал шептать молитву, как вдруг недружелюбный голос приказал ему:

— Не разглагольствуй — душой читай, молча.

Из полутьмы выдвинулась кривоплечая могучая фигура человека в лохмотьях и с посохом в руках.

— Это от гадюк, — сказал незнакомец. — Меня зовут кто как. Кому нравится — Бродилой. А есть такие, кто кличут отцом Фотием. — Мужчина, судя по голосу нестарый, грубо фыркнул. — Фотий! По мне, так Бродила лучше. Меня так даже менты зовут. А еще — Черной Бородой. Живал в здешних лесах когда-то такой разбойник — Черная Борода. Слыхал? Паромом прибыл?

— Паромом, батюшка, — откликнулся оробевший было Фома. — Река вроде ушла, а паром остался. Чудно.

— Здесь все такое. — Фотий подошел ближе. — Водки нет ли?

— А как же! — почему-то обрадовался Фома. — Я сюда, видите ли, приехал покойную супругу определить. — Он поднялся с колен. — Тут мои родители похоронены. Вот, значит, и решили мы...

— Так ты гроб с собою, что ли, приволок? — изумился Фотий. — Ну ты и дура! Болота со всех сторон — проглотят скоро кладбище, да вдобавок пожары вон какие... Ну, ладно, помогу.

— Прямо сейчас?

— Пока время не ушло. Лопату-то прихватил?

Земля была сухая, но податливая. Яму выкопали часа за два, если не меньше. Разбили ящик на доски, опустили гроб в землю.

Молились оба молча.

Стемнело.

— У меня с собою припасы, — сказал Фома. — Не побрезгуйте, отец Фотий.

— Не побрезгую. Только ты меня святительским чином не поминай: расстрижен я к чертовой матери.

— В семинарии?

— В академии. Увлекся, знаешь ли, Бультманом, да и погорел. Вдобавок водка. И бабы.

Отец Фома не знал, кто такой Бультман, но насчет водки и женщин — понимал: случается. Знал служителей Божиих, за такие грехи отставленных за штат.

— Бог нам судья, — сказал он. — Пойдемте откушаемте. Да и помянуть пора.

Они развели костер рядом с камнем, на котором когда-то был воздвигнут алтарь храма, разогрели курицу и тушенку, молча выпили из пластмассовых стаканчиков. Фотий ел жадно, много, Фома же ограничился куриным крылышком и папироской.

— Куришь, брат? — прорычал, вгрызаясь в куриную ногу, оголодавший Фотий. — Кури — люблю запах.

— Да я редко, — смутился Фома. — По случаю. А так оно, конечно, грешно. Ты давно здесь обретаешься?

— Года три. — Фотий вытер губы рукавом, выпил и закурил. — После академии поскитался по России... а лучше места этого хренова не нашел... Хотя при деле: за могилками ухаживаю. Поначалу думал скит здесь обустроить, да, видно, Бог не велел. Вместо верующих зачастили ко мне милиционеры: покажи бумаги, то да се... Ну и плюнул. Живу урод уродом и не жалуюсь.

— Юродивый, значит. — Отец Фома налил в стаканчики. — Так это подвиг. Ты, конечно, извини, но ты-то чего в бродяги подался? В эти самые Черные Бороды? Если, конечно, Господь позвал...

Они чокнулись.

— Ни хрена не позвал, — сказал Фотий, жуя сало с хлебом. — Вкусное сало с чесноком — люблю! — Выпил, закурил, отвалившись от костра. — Озарение мне, брат, было. Ну, озарение не озарение, а настоящее озверение. Прилипла вдруг мысль: покинул Господь наши храмы, брезгует нами, и мы все, священство, превратились в глупых клоунов, не стесняющихся брать взятки у бандитов. А кто еще сейчас на храмы дает? Бандиты, конечно. Плюнул я на все и выложил свои мысли и братии, и архиерею...

— И погнажи тебя в шею, — невесело подхватил Фома. — Стал ты никто и имени никакого, потому что юродивый, сам понимаешь, не имя, а вся жизнь и подвиг самоистязания... Вся жизнь!

— Стал никто, — повторил задумчиво Фотий. — Ты никогда, отец, не задумывался, что жизнь христианина, а особенно же православного священнослужителя, — сплошной и нескончаемый компромисс? Душа жаждет воспарить, а тело — не дает...

Фома кивнул.

— На самом деле было мне видение, и не спяну. Будто служу я пасхальную службу в Святую Ночь, храм полон народа — мужчины, женщины, даже дети. Измучились все, исстрадались, и у каждого не только физическая усталость, а душевное страдание. Потому и ждут разрешения, последнего слова. И вот я возглашаю: «Христос воскрес!» И все, кто ни есть в храме, с радостью подхватывают: «Воистину воскрес!» Все вроде как полагается, а что-то не дает мне покоя. Присмотрелся я к ближайшим верующим, а это не люди, брат, а обезьяны.

Фома затряс головой от испуга.

— Туда гляну — обезьяны в платочках, — продолжал Фотий. — Сюда взор обращаю — опять мартышки какие-то кривляются. И все кривляются, рожи строят и при этом вопят как оглашенные: «Воистину воскрес!» Очнулся я и понял, что это — знак. И ушел...

Фотий сел, опустив голову на сомкнутые колени.

— Мучительно ж так жить-то, — робко проговорил Фома. — В пустоте вращаешься, брат, так и до безумия недалеко...

Черная Борода вздохнул:

— Пробовал я к одной бабе прибиться, да не вынес: дура. А скорее — я дурак, потому что людей надо принимать такими, каковы они есть. А она... — Он сплюнул в костер. — Хорошая была женщина. Такая не пропадет. Я же...

— А у меня еще во фляжке осталось, — плачущим голосом перебил отец Фома. — Как мне батюшка мой вдалбливал, не бывает конца света, но лишь начало новой жизни, это-то и страшно, страшнее ужаса... Со здоровьем, Фотий!

— Разбудоражил я тебя, извини. — Фотий сел к костру ближе, принял из рук Фомы стаканчик. — Но как же быть дальше? Как жить? Как Он? Он?! С обезьянами?! Не отвечай! Я сам был священником, знаю, что ты ответишь. А похоже, что мне самое страшное остается: жить с вопросом, на который нет и не будет ответа.

Они выпили.

Оба устали и хотели спать.

— Здесь место возвышенное — можно и заночевать, — сказал Фотий. — А по низинам дым застаивается. Огонь на нас идет.

— Так, может, паромом назад вернемся? — ласково предложил Фома. — Мотоцикл закатим — и поплывем. А?

Фотий внимательно посмотрел на него:

— Ты это всерьез насчет парома?

— Конечно.

Черная Борода усмехнулся:

— И куда поплывем?

— На тот берег.

— А он есть? Ты уверен? Воду видал?

Теперь уже Фома в упор посмотрел на Черную Бороду.

— Не знаю, — сказал он. — И огонь Яхве разгорелся среди них, и пожрал край стана. Но хоть какой-нибудь краешек нам останется?

— Где-нибудь да проснемся, — проговорил Фотий. — Где — одному Господу ведомо.

Фома огляделся. Туман, смешанный с дымом, был так густ, что трудно было различить даже ближайšie кусты.

Мужчины опустили на колени, сложив молитвенно руки, и замерли в ожидании.

Фыркая тусклыми багровыми языками, огонь в мгновение ока пожрал окружающие кусты, лизнул склоненные фигуры и уполз в ложбину.

Фома шевельнулся — куски одежды посыпались с него пеплом.

Фотий открыл глаза. Огонь лишил его бровей и ресниц, но не тронул черной бороды.

Оба молчали. И все так же молча, уже будучи не в силах переносить усталость, они легли бок о бок и уснули, так и не ответив себе на вопрос, на каком берегу им суждено проснуться...

ЧЕЛОВЕК ИЗ ТРЕТЬЕГО СПИСКА

Отец редко когда рассказывал о своем старшем брате. В семейном альбоме сохранилась лишь фигурно обрезанная фотография вытянувшегося в струнку молодого офицера со знаками различия на воротнике, высоко

державшего лошадиное лицо со впалыми щеками и прижимавшего руки к бедрам. Снимок был сделан, видимо, дома: за спиной офицера различалось полузашторенное окно, а над окном — тяжелый подбородок и известные всей России усы. Остальное оказалось за кадром. «Это Сергей, — сказал отец. — Воевал в Уральском добровольческом корпусе, а в конце войны, считай, исчез. Последнее письмо мы получили от него из Норильска». Потом, много позднее, были письма с Алтая и из Казахстана.

И вот неожиданно Сергей, которого из-за густой седой бороды я тотчас прозвал дедом, появился в нашем доме. Его поселили наверху, в маленькой, но уютной комнатенке, которая всегда считалась моей. «Ты уже не ребенок, — сказала мать. — Будешь спать в гостиной. А ему нужен покой». Тем же вечером было устроено застолье с вином, и я узнал, что Сергей — дед Сергей — попал после войны в Норильск, а вскоре — на Колыму. «Тяжелая память!» — вздохнула мать. «Вообще почти никакой, — ответил дед Сергей. — Помню только о страхе быть похороненным в золотых колымских ямах, как другие. — Он улыбнулся. — Мне повезло: я выскочил из третьего списка». Выяснилось, что в список номер три включали умерших от непосильного труда или застреленных при попытке побега. Больше к этой теме за столом не возвращались.

Гораздо непонятнее для меня было то, что больной раком человек — а у дяди Сергея был рак — все еще жив. Тогда я (да и не только я) был твердо уверен в том, что больные раком безнадежны и сгорают как спички. Так, во всяком случае, считала наша приходящая домработница Индейка. Она пророчила ему смерть скорую и ужасную.

Раз в месяц он обследовался в больнице, находившейся метрах в трехстах от нашего дома, каждый день выпивал чекушку водки, а на ночь принимал нембутал. Иногда у него пропадал слух, и чтобы он мог отвечать на телефонные звонки, отец установил на аппарате лампочку.

Первая же странность, которую он совершил, была связана с новым паспортом, который ему надлежало получить. Он написал заявление, которое, видимо, было столь убедительным, что паспорт ему выдали на имя его матери — моей бабушки — Доморацкой. «Зачем?» — кротко поинтересовалась моя мать. «Меняя путь, меняет имя он», — ответил дед, цитируя Данте.

Такой человек не мог не сойтись с городской полусумасшедшей по прозвищу Шарман Катрин, одежды которой — рыжие и желтые лохмотья — дед Сергей вполне серьезно сравнивал с одеянием Беатриче, когда она встретила с Данте в Раю. Шарман Катрин отважно блеснула эрудицией, заявив, что она прирожденная фоскушетка — от французского *fausse-couche* (незаконная связь). Впрочем, в нашем городке таких женщин называли иначе.

Они подружились. Их часто можно было увидеть вместе гуляющими в парке, начинавшемся в конце нашей улицы: огромный дед Сергей с заложенной за спину суковатой палкой шествовал — иного слова и не подберу — каким-то мягким, скользящим шагом, склоняясь то влево, то вправо — в зависимости от того, с какой стороны в тот момент прыгала болтливая Шарманка. Когда мать пригласила ее на ужин, она страшно смутилась, но пришла в тех же одеждах, а на вопрос отца, знает ли она о болезни Сергея, ответила лишь: «Здоровье — как деньги: то его нет, то его нет совсем». И весь вечер отсидела молча, прижимаясь иногда боком к дяде Сергею и оживляясь при виде очередной полной рюмки.

Когда отец однажды осторожно поинтересовался, чем же привлекает Сергея Шарманка, тот полувнятно — в лагерях он потерял половину зубов — ответил:

— Чего еще может желать человек, которого с нормальными людьми связывает лишь болезненная привычка к одиночеству?

А я в ту пору переживал борьбу с тенями. Мне стелили на диване в углу гостиной, отгороженном настоящей шелковой ширмой — на ее

складках мужчины и женщины в экзотических одеждах изображали странные танцевальные фигуры, которые оживали, стоило мне смежить веки, и пускались в танец, скорее похожий на битву марионеток: ломаные резкие движения, неестественно высокие прыжки, внезапные страстные поцелуи, больше похожие на укусы, сменявшиеся вдруг паучьей пластикой таинственной интриги, в которую рано или поздно против своей воли буду втянут и я...

Боги смилостивились надо мною: ширму под каким-то предлогом убрали. Но передышка оказалась недолгой, а новый этап единоборства — гораздо более мучительным, потому что на этот раз на меня набросились все тени разом. Дневные и ночные, являющиеся в сновидениях или наяву, мои или чужие — они были бесплотны, но реальны, а вызываемый ими страх парализовал волю. Хотя бы потому, что я не мог иссечь их ножом, защититься подушкой или закрыть глаза.

Однажды перед сном в гостиную спустился дед Сергей. Я различил только его силуэт и поэтому, естественно, испугался. Не помню, должно быть, я даже вскрикнул от неожиданности. Дед присел на мой диван и спросил, не пробовал ли я от обороны перейти к наступлению. Я был поражен тем, как он угадал мое состояние, и, едва сдерживая слезы, рассказал ему все. Все? Скорее — ничего, потому что речь шла о бесплотных тенях, которые я не был в состоянии расценивать даже как уродливые подобию реальных вещей или людей, да вдобавок этот легион теней чуть не каждую ночь подкреплялся собратями из сновидений...

— У теней нет глаз, — сказал дядя, выслушав мой сумбурный рассказ. — Оживи их — и ты овладеешь ими. Поначалу это кажется непосильным, но нужно выдержать...

На шапочке, похожей на кипу, которую он носил зимой и летом, было вывязано: «Standhaftigkeit und Mitleid».

— Эту шапочку подарила мне ссыльная немка-москвичка, — объяснил он. — Когда я жил у них поселенцем, они научили меня всяким ремеслам.

Когда он объяснил мне значение этих слов — «Стойкость и Сострадание», — я попытался последовать его совету. Дядя Сережа был для меня почти что чужим человеком, и только ему я мог открыться: после таких снов я описывался в постель.

Тогда он рассказал мне историю о том, как их, осужденных, везли завожскими степями до какого-то безымянного разъезда. Ночью поезд вдруг остановился. Заключенных выгнали на сорокаградусный мороз и уложили на землю. В вагонах сидели сытые конвойные с пулеметами и их собаки. Если зек поднимал голову, охранник давал очередь из пулемета. Наутро многие не встали: замерзли насмерть. Заключенные, лежавшие на обледенелой земле, видели только тени конвойных, больше ничего. И тогда Сережа стал придумывать для каждого из них историю. Родителей. Бабушек с дедушками. Их девушек и жен. Их любовь к почтовым маркам или острову Суринам.

— Попробуй, — прошелестел он. — Но не превращай их в чудовищ. Это опасно.

Мне пришлось нелегко.

Я никому не рассказывал о том дне, когда мне удалось остановить собственную тень. Тем вечером я выбрался из-под одеяла и в два прыжка перебрался на диван, стоявший у другой стены. Комната освещалась только маленьким ночничком у изголовья моей постели. Тень осталась на полу. Сначала мне стало смешно, потом — страшно. Я не боялся тени — я не знал, что с нею делать. С этим привидением. Я мысленно попросил ее убраться в угол потемнее, и она вроде бы послушалась — или лунные лучи, потоком лившиеся в незаштүренное высокое окно, изменили направление, — тень сместилась в угол, растворилась в полумраке. Нет, все

же я побаивался ее. Поэтому и решил наделить ее — мысленно, конечно, в воображении — свойствами и качествами, каких не было у меня самого. Свойствами и качествами, которые могли быть у того таинственного существа, чье присутствие в доме чувствовалось и пугало деда. После нескольких бесплодных попыток я понял, что с тенью придется делиться всерьез, без дураков. Собой, потому что о загадочном жильце я ничего не мог знать. Быть может, он был преступником, совершил злодеяние, и его расстреляли. Но у него не могло не быть детства — может быть, такого же, как у меня. Например, без отца и почти без матери, которая чуть не сутками пропадала в театре. Или в библиотеке. У нас была полуграмотная юная домработница по прозвищу Индейка, очень благоволившая деду Сереже. Однажды мне удалось подглядеть: пока он возился со своими пуговицами, она медленно — явно на погляд — разделась, поворачиваясь при этом к мужчине то боком, то выпячивая большую грушевидную грудь с сосками размером в черную виноградину, то, повернувшись спиной и пошире расставив могучие ноги, снимала с себя трусы, наполняя небольшое помещение своим крупным телом, будто отлитым из светлой меди, и запахом, какого мне еще не доводилось ощущать. Голенький Сережа что-то прошептал, и она боком села на его кровать и склонилась над ним — выпуклые мускулы на ее спине изогнулись и напряглись, а ее длинные медные руки с силой сжали Сережу за плечи, потом поползли ниже, и я уже не мог этого выдержать, особенно тонкого его повизгивания, и убежал. Я рассказал тени о себе. О том, что успел прочитать в книжках, о странных ощущениях внизу живота при виде обнаженной женщины, изображенной на картине, о голосах в подвале, наконец о том, что, опустив голову в ведро с водой, можно увидеть белого единорога — не ту изящную лошадку с узким рогом во лбу, а настоящего мощного зверя, состоящего из переливающихся мышц, поросших густой серой шерстью, с черным прямым рогом, глазами, в которых полыхали все оттенки красного, и зубастой пастью, способной перекусить пополам телеграфный столб или человека. И тень ожила. Точнее, зажила своей жизнью. Уже на третий день она произнесла первое слово, на четвертый мы уже почти свободно разговаривали. Тень раздражала меня своим высокомерием и язвительностью тона. В конце концов я понял, что мне незачем жить в одной комнате с тенью, и отправил ее к чертовой матери — в стихию вольную, лети, Арион, — и тень исчезла. У меня осталась другая, своя тень — заурядная, плоская и безмолвная, ничего не знающая ни о моих родителях, ни о дяде-дедушке, ни о страшном единороге, ни, наконец, о моих сновидениях и страхах. Вскоре я заскучал, потому что с этой — прозаической — тенью и поязвить-то было невозможно. Смеясь над собой, я загнал ее в тот же угол — и началось все сызнова, пока однажды тень не ответила женским голосом. Я был поражен до немoty. Она легла рядом со мною, провела рукой по моей груди и животу... Утром она ушла. Я понял, что это была Индейка. Боже.

Индейка и Катрин ревновали друг к другу дядю Сергея, а когда он в свойственной ему мягчайшей манере пытался разнять женщин, Индейка заявила: «Ты бы и вовсе не влезал, змей горбатый, черт шаршавый!»

Дед Сережа и Катрин соорудили велосипед — из двух старых, которые им помогли собрать сварщики с мукомольного завода. Взгромоздившись на это сооружение, они кружили по окрестностям, останавливаясь лишь затем, чтобы — и это поражало жителей городка — полюбоваться осенним дубом или роскошно расцветшей сиренью. «Впитывай! — требовала Шарман Катрин. — На том свете такого не увидишь». После непродолжительного размышления Сережа отвечал: «Хоть и *тот*, а все же — *свет*».

Зарабатывал он ремеслами, которым научили его ссыльные немцы, и главным было — изготовление женских и детских шуб из кошек. Первую такую он подарил маме, вторую — Шарманке, после чего от заказчиц отбою не было, хотя некоторых сентиментальных дам и смущали кошачьи лапки, украшавшие плечи и воротники. Ремеслом своим он занимался в сарайчике, устроенном в углу двора, куда Катрин чуть не каждый день притаскивала по мешку котов — ловила она их мастерски. Впрочем, поголовье ничейных кошек от этого в городке не сокращалось.

Молодые мужчины вообще-то привыкли, что Шарманка не отказывает им в просьбах, но после встречи с дядей Сережей она стала воздержанна и отмахивалась от несерьезных этих ухажеров: «А пошли вы к пердулям, валеты бубновые!» За это доставалось дяде Сереже. Но приставалам он отвечал с кротостью и загадочно: «Убьете — а не собьете!»

Больше всего, конечно, бесила людей манера дяди Сережи и Шарманки гулять взявшись за руки. Они останавливались вдруг перед каким-нибудь невзрачным деревом и подолгу молчали, разглядывая его кору, ветви и листья. Или сидели на берегу реки — иногда часами — над мутно-желтым с прозеленью потоком воды, ничего не говоря друг другу, — но почему-то мама всегда догадывалась, когда они возвращались домой, что в этот раз они наблюдали за рекой.

Однажды я стал свидетелем спора между отцом и его старшим братом.

— Нет ничего злее, чем безвинное наказание человека! — сказал отец, закуривая бог весть какую сигарету подряд. — Из этого семени вырастут драконы, помяни мое слово.

— Не вырастут, — тихо возразил Сережа. — На Руси — не вырастут. А если и вырастут, то подадутся в сапожники или бетонщики. Или в милиционеры.

— Это ж ад, Сережа, — продолжал отец, отбывший пять лет в сталинских лагерях. — Но так наказует Господь грешных и виновных. А мы?

— Мы таковыми и были, — еще тише сказал Сережа. — Ты никогда не задумывался о том, что Сталин, по сути, был исполнителем надвысшей воли для России?

— А попросту говоря, по Сеньке и шапка? — ярился отец. — Ты пытаешься оправдать то, чему оправдания нет ни в языках ангельских, ни в языках человеческих. Это дело Божье, хоть я и не верю в Него, но никак не человеческое. Странно слышать это от тебя — со всеми твоими иностранными языками и философским образованием! На Колыме не было ни Зодчего, ни Правды, ни Первой Любви! Как и в Освенциме. А если что и было, то все это «что» принадлежало не Богу, но дьяволу. Есть разница? Еще Христос говорил: «Царство Мое не от мира сего», так как же можно назвать тех, кто в мире сем попытался устроить Царство Божие и ад — так сказать, в одном лице?

— Я ведь не о шапке, а о Сеньке, — напомнил дядя. — Да и сам я из этих Сенек. Это биология, брат: человек рождается из поколения в поколение. Процесс.

Шарманка, невзирая на публичный разрыв с бывшими друзьями, все равно то и дело беременела, однако редко когда могла вспомнить отца ребенка. «Все любовнички мои на все стороны равны!» — смеялась она. Всякий раз она отправлялась в абортарий, где благополучно и избавлялась от плода. И вот случись же такое: дядя Сережа однажды строго-настрого запретил ей делать очередной аборт. И хотя она кричала, что родится, может, вовсе и не его ребенок, дядя стоял на своем. Твердой рукой он отвел сгоравшую от стыда Шарманку в роддом, где она и произвела на свет девочку, которой дали имя Катя. Дядя возил ее в коляске, менял пеленки и

угукал, словно испытывая терпение Катрин. А терпения у нее было меньше, чем у комара. В конце концов она не выдержала и взяла на себя материнские заботы. Так и росли у нас на втором этаже дядя Сережа, Шарманка и Катя. Соседи только хихикали, а самые отважные попросту смеялись дяде Сереже в лицо. Но когда кто-то из самых отважных решил высмеять и ребенка, назвав его выблядком, дядя Сережа ловким и точным ударом в пах свалил обидчика да вдобавок еще и помочился на него.

— Это, конечно, лагерный фокус, — виновато признался он. — Нам ведь как-то приходилось отбиваться от уголовников. А этот оглоед не оставил мне выбора. Иногда так бывает, лучше бы — реже.

С той поры ушли в прошлое и их с отцом споры о Сеньке и шапке. И дядя Сережа не называл себя Сенькой — даже в шутку.

Ранней осенью, когда Кате едва минул год, дядя Сережа умер. Его похоронили на новом кладбище. Шарманка назло всем прибыла на похороны верхом на двухместном велосипеде и в прекрасной кошачьей шубке, и пока длилась гражданская панихида, накручивала круг за кругом вокруг кладбища. Впрочем, велосипед она не гнала: к багажнику была привязана корзинка с маленькой девочкой Катей.

А когда люди и оркестр покинули кладбищенский холм, она с Катей на руках села на скамеечку у могилы дяди Сережи и долго молчала.

На поминки она не пошла. Поднялась к себе — отныне комната наверху, по негласному уговору, принадлежала ей и Кате — и беззвучно легла спать.

— Ни про что умер! — заплакала мама на поминках. — Ну ведь ни про что! Ничего и сделать-то не успел, даже дочь неизвестно чья!

— Про что! — взревел отец. — Про что! Про себя! Это главное, остальное же — побоку! А главное — про что!..

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДОКТОРА ШЕБЕРСТОВА

Черную брезентовую кепку Илья Духонин натянул на свою бритую голову с такой силой, что она затрещала в швах, — напялил до бровей, двумя пепельными дугами сходящихся на переносье, — с закрытыми глазами и выражением мучительной боли на обычно бесстрастном лице, выжженном жестоким ежедневным бритьем и едким одеколоном. Проверил, застегнута ли верхняя пуговица на рубашке. Обдернул пиджак с дожелта выгоревшими лацканами.

Анна помогла ему облачиться в черную непромокаемую куртку — когда-то это был клеенчатый плащ — и ногой подкатала тележку. Опрокинув ее набок, Илья проверил колеса: смазаны. Отжавшись на руках, впрыгнул на сиденье и всунул обрубки ног в ременные петли. Взял толкушки — два чурбачка, подбитые кусками автомобильных шин, постучал друг о дружку.

— Я сейчас, — сказала Анна, поправляя платок. — Бритва где?

— Да найдем мы вам бритву, — сказал доктор Шеберстов.

— В кухне. — Илья развернулся в сторону двери и резко оттолкнулся, под колесами громыгнули половицы. — На окне.

Дождь был мучительно нуден. Илья обогнул лужу, поверхность которой пучилась дрожащими пузырьками, и вкатился под навес, где грязной ледяной глыбой серела лошадь — Анна успела ее запрячь. Животина переступила с ноги на ногу и потянулась узкой драконьей головой к Илье. Нашарив в кармане кусок сахара, он сдул с него табачные крошки и поднес к жарким лошадиным ноздрям, держа коричневую ладонь ковшом. Брезгливо передернулся, вытер руку о штаны: не любил эти лошадиные нежности, не любил мягкие и пушистые, как жирные гусеницы, животные губы.

Высоко поднимая ноги в резиновых сапогах, Анна звучно прошла по луже и отвязала лошадь.

— Подсадить в телегу?

Он мотнул головой: нет.

— Лопату взяла?

— Все взяла. А вы?

— Я пешочком, — ответил Шеберстов. — Рядышком.

Она взобралась на выглаженную задницей доску, положенную на борта, и легонько шлепнула лошадь по крупу сложенными вожжами.

Илья оттолкнулся и легко покатился по дорожке вдоль заплесневелой понизу стены дома. Анна придерживала лошадь, чтоб муж не отставал. Доктор Шеберстов, в широченном плаще и широкополой шляпе, — гибрид бегемота и портового крана, как говорила Буяниха, — шел рядом с телегой, взмахивая сложенным зонтом в такт шагам. В телеге погромыхивал гроб, который они на пару ладили всю ночь. Неважно оструганный и обитый изнутри квелым розовым ситцем. Внутри молоток и гвозди в промасленном бумажном кульке.

— Черт возьми, ему же предлагали, — негромко проговорил Шеберстов. — Почему он отказался? Люди готовы были все сделать бесплатно.

— Не знаю, — откликнулась глухо Анна из-под капюшона.

— И гроб, и яма, и музыка...

— Не знаю. Сказал: не хочу, и все.

Так они и проехали по всей Семерке — впереди, кулем на сиденье, с брезентовыми вожжами в покрасневших от холода руках, полусонная Анна, рядом с телегой — громоздкий доктор Шеберстов в промокшей насквозь шляпе, за ними — Илья, багровый от натуги, с побелевшими губами, — наклонится вперед, оттолкнется, выпрямится, и снова — наклон, толчок, дребезжанье колес на булыжной мостовой, наклон, толчок, не обращающая внимания ни на оживающие по пути занавески в окнах, ни на ледяной нудный дождик. Вдох — выдох. Вдох — выдох.

— Нельзя обижаться на весь мир, — пробормотал Шеберстов, когда они подъехали к больнице.

— Не знаю, — снова сказала Анна. — Этого тоже не знаю. Какой мир, такие и обиды.

Она привязала лошадь к спинке скамьи у больничного подъезда и, вскинув мешок на плечо, в сопровождении доктора скрылась за дверью.

По узкой дорожке, выложенной треснувшими бетонными плитками, Илья въехал на задний двор и остановился под окнами кухни, неподалеку от зеленого холма, в глубине которого, под слоем земли и кирпича, в помещении с низким сводчатым потолком и пыльными круглыми лампами, облепленными черными бабочками, рядом со штабелем из серых плоских кусков льда, под желтоватой простыней с черным больничным штампом, лежала девочка, которой через час-другой предстояло лечь в льдистую глину на Седьмом холме.

Сзади скрипнула дверь. Повариха вынесла ведро с парующими помоями, с маху выбухнула в ржавый таз, косо прилаженный у крыльца. Посто-яла, укоризненно глядя на обтянутую черной клеенкой спину, — ушла. Из-под навеса вылезли взерошенные приبلудные псы, кормившиеся от больничной столовки. Встряхиваясь, они медленно, с негромким рычанием, приближались к тазу, над которым медленно расплывалось облачко пахучего пара. Чтоб не дразнить голодных псов, Илья подъехал ближе к утопленному в холм моргу, к железной ржавой двери, густо усыпанной заклепками. Закурил, пряча папиросу под широким козырьком кепки.

Железная дверь со скрипом отворилась, доктор Шеберстов поманил Илью.

Дым щипал глаза.

— Это дым, — сердито сказал Илья. — Дым не стыд — глаза не выест.
 — Плахотников умер, — бесстрастно сказал Шеберстов. — Ну, этот...
 — Спасибо, — отрывисто бросил Илья.
 Доктор пожевал губами, но промолчал.

...Наденька лежала на гранитной плите. От двери Илье хорошо были видны ее расставленные ноги, сложенные на груди руки с отчетливо проступившими косточками на локтях, очеркнутая густой тенью левая грудь и полноватый подбородок.

Уронив руки на колени, он сгорбился на своей коляске в углу, где стояла скамейка и висела распяленная на швабре тряпка.

Возвышавшийся над ним в дверном проеме доктор Шеберстов посмотрел на часы, но промолчал.

Свет под потолком вдруг мигнул и погас.

Илья хлопнул себя по карману, вытащил коробок спичек, но лампы под потолком снова вспыхнули, залив помещение жидким желтым светом. Глядя перед собою немигающими глазами, Илья подъехал к гранитному столу, чиркнул спичкой и поднес ее к Наденькиной ноге. Бледный огонек побежал по пушистой коже. Анна обеими руками вцепилась в Шеберстова. Свет под потолком мигнул, снова стало темно. Бледный огонь, разлившийся по мертвому телу, дополз до плеч и погас. Но через миг над столом вспыхнуло дрожащее свечение, прозрачное голубоватое облачко, которое осветило мертвую и запрокинутое к потолку выжженное лицо Ильи, и исчезло, растворившись в свете загоревшихся ламп.

Илья развернулся — доктор и Анна резко посторонились, — выехал в коридор.

— Дождя, дождю, дождем... — пробормотал доктор Шеберстов, неотрывно глядя на стекло веранды, по которому текли и текли струи нуднейшего дождя.

— Ты о чем? — не понял Леша Леонтьев.

— О дожде, — со вздохом ответил Шеберстов. — Еще чаю?

— Чай не водка — много не выпьешь.

Доктор кивнул.

— Маша! — крикнул он в темноту дома. — Еще чаю! С сахаром!

Налил в рюмки из узкого высокогорлого графина. Молча выпили.

Из глубины дома донесся звук — сестра шаркала на веранду. Одинокая женщина приехала к брату, когда была еще жива его жена и дом был полон детей, и осталась навсегда, добровольно приняв роль молчаливой ведьмы-экономки, которая за каждой ложкой сахара для гостей, чаевничавших на веранде, ходила в кухню. Десятки раз за вечер туда-сюда с ложечкой сахара в подрагивающей руке. Почему? «От терпения вода слаще».

Шеберстов усмехнулся в кайзеровские усы.

— Ведь до сих пор старики свято верят в то, что Анна принесла Илью из Солдатского дома в картофельном мешке за спиной...

— При мне-то там уже никакого Солдатского дома не было, — напомнил участковый. — При мне там уже детдом был.

— Поначалу, сразу после войны, там был госпиталь — потому так и прозвали. Потом осталась одна палата.

В одной большой палате на два десятка коек были собраны инвалиды. Безногие, безрукие, слепые. Которые сами, без посторонней помощи, не могли передвигаться. Наступил мир, а они такими и остались — безногими, безрукими, слепыми, и вот это-то и было самое ужасное: ничего не изменилось. Никаких чудес. Два десятка молодых мужчин, приговоренных к жизни. Они плохо представляли себе, что ждет их впереди, какая жизнь. Ясно, что не та, о которой они вспоминали днем: «А помню, до войны...»

Еще они перебирали дни войны. Впрочем, речь шла не о боях и лишениях, — но о том, как кому-то улыбнулось перехватить лишнюю пайку спирта или переспать с хорошенькой санитаркой. Но о чем все помалкивали, так это о будущей жизни. Она подступала ночами, врвалась в их сновидения кошмарами, чудовищами — смеющимися детьми, женщинами в легких платьях, тяжестью спелого яблока на ладони, которой уже не было. Как-то Игорь Монзуль, рослый голубоглазый красавец без левой руки и с оторванными под живот ногами, шепотом рассказал Илье Духонину о своей жене: «Знаешь, какая у нее красивая грудь... Ей так нравилось, когда я вот так брал ее груди руками...» Илья понимал, что никакой жены у Игоря никогда не было. Красивая грудь — была, была и женщина — из сновидений, из мечты, — жены не было. А потом не стало и Игоря. Где он раздобыл пистолет, так никто никогда и не узнал. Но однажды ночью грохот выстрела разбудил инвалидов, и они, еще даже не сообразив, что же произошло, закричали, завывали, застонали, заплакали, — кто-то включил свет, вбежали медсестры, санитарки, врачи, тело вынесли. «У него все же хоть одна рука была, — с завистью сказал Миша Волкобоев. — Пальцы были...» — «Указательный, — в тон ему уточнил Левка Брель. — Да можно и без указательного...» И все без объяснений поняли, чему раззавидовались Миша и Левка. По ночам они плакали в голос, кричали, командовали горящими танками, наводили, целились, выпрыгивали из подбитых самолетов, корчились на минном поле, — но утром, словно по уговору, никто не донимал товарищей разговорами о том будущем (а их прошлое и стало их единственным будущим), которое во всем своем ужасе являлось им ночью. Смерть Игоря Монзуля не обсуждали.

С Анной за картошкой тем вечером пошел Илья, хотя дружки-товарищи по палате и возражали: «Пусть кто-нибудь, ты ж сегодня именинник!» Был день его рождения, и они праздновали его в госпитале, в палате — с водкой и граммофоном, а потом и с гармошкой. Илья упорно учился передвигаться на своих обручках. Не ходить — так хоть прыгать, но чтоб — сам, чтобы бабы в сортир на руках не носили. Анна посмотрела на часы, висевшие в палате над дверью, и со вздохом поднялась из-за стола. «Надо картошки к завтраму набрать в подвале». Невысокая, полноватая, раскрасневшаяся от вина. Илья спрыгнул на пол, хлопнул в ладони. «Я с тобой. Не бойшься?» Подпившие инвалиды разом захохотали. Молодец Илюха, даром что без ног, а носа не вешает, вон еще и санитарке грозит, нет, молодец, что ни говори. «Спускайся пока, — сказала Анна, — а я за мешком схожу». Тогда у него еще не было тележки. Упираясь в пол руками, он передвигался на заднице. Задницей в новую жизнь входил.

Пока она ходила за мешком, он спустился по вытертым кирпичным ступенькам в подвал и даже умудрился свет включить, едва дотянувшись до белого фаянсового выключателя. Послышались шаги. Он с усмешкой уставился на ее полную грудь, присвистнул. Анна отвернулась. Отперла дверь, бросила мешок на грудку подгнившей картошки. Илья впрыгнул через высокий порог в комнату, локтем закрыл за собой дверь. В окошко, пробитое вровень с тротуаром, окаймлявшим дом, проникал свет уличных фонарей. Было слышно, как гудели моторами грузовики, въезжавшие во двор. Но Илья не обратил на это внимания: мало ли грузовиков в городке, в котором стояло около трех десятков воинских частей, участвовавших в штурме Кёнигсберга. Он не отрывал взгляда от женщины, которая, опустившись на мешок, расстегивала кофту. Подрыгав ногами, страхнула на пол туфли. Принялась стягивать юбку. Стоило протянуть руку — и вот она, женщина. «Иди сюда, — прошептала она, — ну же». Она не сказала ему ничего обидного, когда он почти сразу обессиленно отвалился набок, даже не спросила, в первый ли раз он с женщиной: и без того ясно. Оба молчали. Сверху доносился какой-то невнятный шум, топот множества ног, но и этим звукам Илья не придал значения. «Иди опять...» Грузови-

ки, взрывая моторами, потянулись со двора. «Ты сильный... хороший мой...» Машины выбрались со двора, свернули в сторону гаража, к мосту через Преголю. Оба тяжело дышали. «Тебе хорошо?» У Ильи вдруг зачесалась пятка, и он было приподнялся, потянулся рукой, но тотчас спохватился и с коротким смешком лег. «Ты чего?» — «Так, почудилось».

Солдатский дом затих.

Илья и не подозревал, что они, он и Анна, остались в госпитале одни (если не считать доктора Шеберстова, который в своем кабинете наверху с отрешенным видом потягивал неразбавленный спирт из стакана). Милиционеры просто не догадались заглянуть в подвал, хотя наверняка и недо считались одного калеки. Поискали и бросили — торопились к поезду. Да и инвалиды не унимались, орали: «За Родину! За Сталина!» «Пора, что ли, — робко сказала женщина. — Не то позамерзнем тут». Они не торопясь оделись. И только после этого она наконец сказала: «Если хочешь, можешь пока у меня пожить». Он не понял. Не глядя на него, она рассказала об отправке инвалидов, о чем случайно узнала от главного врача. «Куда?» — «Не знаю». — «Что ж ты мне раньше не сказала? — растерянно пробормотал Илья. — И ребятам...» Запнулся. Значит, она обо всем знала. Сидела с ними за столом, пила вино, пела со всеми про поседевшую любовь мою, следя тем временем за часами. И когда приблизился срок... «Одной-то и впрямь страшно: крысы тут». Значит, если бы с нею пошел Костя или Левка... «Значит, не значит. — Она пожала плечами. — Пошел ты. Куда теперь тебе возвращаться? Госпиталь закрывают насовсем. Пошли?» Она просто хотела спасти одного из них — того, кому выпадет жребий. Выпал Илье. Сильному, красивому. Правда, безногую... Но он ей давно нравился. У них будут дети, если Илья, конечно, не против. Бабы, вечные бабы: мир летит в тартарары, а они чулки штопают. Вши да бабы — русские народные животные, но от вшей научились избавляться. А если б не штопали? Наверное, нечему было бы и в тартарары лететь. «Ну?» Илья молчал. Она ушла. Она не виновата. Если мир лежит в неизбывном зле, его не спасать надо, а упразднить. А она... Даже если бы предупредила, что бы они могли сделать против здоровых солдат?

Она вернулась минут через десять, уже в пальто. Он по-прежнему сидел на полу спиной к двери. Ей показалось, что он плачет. Но он не плакал. Присев рядом на корточки, бережно взяла его безвольно тяжелую руку.

Это потом люди придумали историю об Анне и безногую, которого она будто бы вынесла из Солдатского дома в картофельном мешке за спиной. Нет, конечно, он сам выбрался из подвала, наотрез отказавшись от ее помощи. Вот вещи его она действительно сложила в мешок. Да и что там было, тех вещей? Белье, рубашка да бритва. И на телегу он сам вскарабкался.

«Зачем я тебе нужен?» — спросил он уже во дворе ее дома.

«Чтоб жил, — глухо ответила Анна. — Эх, надо было все ж таки набрать картошки хоть мешок — все равно пропадет...»

Чтоб жил. Как укроп или кролик.

— Значит, ты все знал? — спросил Леша.

Доктор Шеберстов пожал плечищами.

— Что значит — все? Ознакомили под расписку. Мутило меня, конечно, о чем я и сказал их командиру. Майор такой был с обожженной щекой. Он сначала позеленел, чуть не в драку, а потом вдруг и говорит: «А почему вы думаете, что там, куда их приказано отправить, им будет хуже?» — «А куда?» — «Почему вы думаете, что мне это обязаны докладывать?» Кругом прав. Да и время было...

— Время, да, — эхом откликнулся Леша. — И как же ты, значит, жил?

— Да как все. Открыли больницу на Семерке, меня назначили главным — скучать не приходилось. Женился. — Усмехнулся. — Правда, что-

бы заснуть, приходилось спирту стакан выпивать. Счастливая жизнь. Как сон: времени не было — одни даты.

Только через полгода он узнал, что Илья Духонин живет у Анны, и тем же вечером отправился в гости.

К тому времени Анне удалось утрясти дело с документами Духонина, и они поженились. Она ни разу не спросила, пойдут ли они в загс, — он сам однажды хмуро велел ей отнести документы в поссовет. Через несколько дней после регистрации он вооружился пилой и молотком и устроил во дворе что-то вроде загона для скота — глухой дощатый забор выше человеческого роста, с калиткой, запиравшейся снаружи и изнутри, с узким навесиком, под которым можно было спрятаться от дождя. Жена помогла выкопать ямы под столбы. Огороженную площадку — метра три на четыре — он выложил в несколько слоев красным кирпичом, натасканным Анной с развалин — их тогда много было в городке, пережившем два жесточайших штурма и бомбардировку английской авиации, налетавшей с Борнхольма. На заборе смолой вывел «Посторонним вход запрещен». Жена лишь вздохнула. Иногда он запирался в своем загончике и часами кружил в замкнутом пространстве, погромыхая колесами-подшипниками по кирпичам. «Чего тебе там?» — спрашивала она. Он лишь пожимал плечами. Кирпичи хрустели и трескались под тяжестью тележки, и со временем в настиле образовалась колея, углублявшаяся с каждым месяцем. Илья привычно въезжал в колею и, несильно отталкиваясь толкушками, кружил по загону с закрытыми глазами. Похрустывал кирпич, повизгивал левый передний подшипник.

Здесь-то, в загончике, и нашел его доктор Шеберстов. Илья открыл, молча отъехал, давая дорогу.

— Ну, здорово. — Доктор присел под навесом, поставил бутылку на чурбак. — Во что наливать?

— Там.

Молча выпили. Закурили.

Анна принесла хлеб, колбасу, огурцы. Пригубила за компанию и тотчас ушла.

— Хорошая баба, — сказал Шеберстов.

— Баба. И куда ж их увезли?

— Не знаю. Никто не знает — куда и почему: сон... Но тебе-то живется? Существоешь?

— Существуют существительные, — ответил Илья. — А меня жизнь перевела в прилагательные.

В бывшем Солдатском доме устроили детдом. И спустя год доктор узнал, что Духонины удочерили эту самую Наденьку, взяли девочку из детдома.

Илья устроился сторожем на гидропульперный участок бумажной фабрики, который в обиходе назывался Свалкой. Сюда каждый день пригоняли составы с макулатурой, которую перемалывали в кашу и по трубам подавали на картоноделательную машину. Узкий вытянутый асфальтовый треугольник с кирпичным сараем в центре (там находились мельницы — глубокие бетонные колодцы, в глубине которых стальные лопасти с ревом перемалывали макулатуру). Горы книг, журналов, газет и прочего бумажного хлама. Илья развезжал по площадке, гонял любителей пополнить свои библиотеки за счет фабрики. Впрочем, особенно он не усердствовал, да и ему ли было угнаться за здоровыми людьми. Однако так уж получалось: стоило ему по-настоящему разозлиться и наорать на воришек, как люди — из уважения к инвалиду, что ли, — поспешно покидали Свалку.

Он ни с кем не сходиллся. Никаких друзей-товарищей. Никого не звал в гости, а когда его звали, даже не отказывался, просто — не отзывался. Он да Анна. А потом появилась эта Наденька.

— Мог бы и свою завести, — сказал доктор Шеберстов, когда они в который раз выпивали в загончике под навесом. — Мужик-то ты еще... Но извини, тебе решать, это я так, к слову.

Илья кивнул.

— Это здесь было, где сейчас стадион, — сказал он. — Два отделения пехоты и три танка. Тридцатьчетверки.

— Ты о чем? — не понял доктор Шеберстов.

— Тридцатьчетверки, — глухо повторил Илья.

До рощицы, где стояла немецкая батарея, гвоздившая чужих и своих, — артиллеристы походили с ума, — было рукой подать. Метров триста по низине вдоль дамбы, повторявшей изгибы желтоводной Преголи. Пехотинцы нехотя полезли на броню. Взрывая двигателями, танки сползли в слоистый утренний туман, колыхавшийся над низиной, и поползли к рощице, прижимаясь к дамбе, в пятиметровом промежутке между откосом и мелиоративными каналами, которыми был изрезан луг. Если этот коридор пристрелян, тут нам всем и каюк, подумал Илья, судорожно вцепившийся в скобу на башне, рядом с жирной белой надписью «За Сталина!». Неподалеку разорвался фугасный снаряд. Первой машине удалось проскочить. Вторую подожгли, тотчас и третью. Пехотинцы катились в липкую грязь. И первый танк вдруг замер и стал медленно боком сползать в канал. Илья соскочил на землю и, пригибаясь, побежал вперед, к роще, шараясь от вспучивавшихся разрывов, бросаясь плашмя, вскакивая и снова падая. Рядом с ним не разбирая дороги бежал танкист — взрывной волной с него сорвало шлемофон, его ослепительно льняные волосы мотались над черным от гари безумным лицом. Конечно, немецкие артиллеристы не ожидали появления русских, но тотчас бросились навстречу, никто даже не успел выстрелить, схватились врукопашную, хрипя и взвизгивая, молотя друг дружку кулаками, ногами, рукоятками пистолетов, саперными лопатками... Тем временем несколько человек у орудия продолжали заряжать, целиться — куда? — и стрелять, и нельзя было понять, по кому они стреляют, — целиться, отскакивать, приседать, снова заряжать, как ни в чем не бывало. «Да они с ума тут все походили!» — закричал кто-то. На Илью бросился коренастый парень с обугленным лицом, оба упали, Духонин ударился плечом о ящик, отпихнул немца ногой, выстрелил в лицо из пистолета, увернулся от другого врага, шедшего на него слепо с огромной лопатой в черных руках, третий навалился на Илью, прижал к земле, плюнул в лицо, харкнул, русский с храпом вывернулся, ударил немца ногой в бок, дышать нечем, рядом взрыв, прыгнул на артиллериста сверху, сердце на мгновение остановилось от встречного удара ногой в грудь, вцепился в ухо, зарывал, это конец, нет, навалился на бьющееся рыбой тело, рванулся, вцепился, впился зубами во что-то, зубы сомкнулись, рот наполнился жидким, выплюнул, еще, тело под ним вздыбилось, немец сбросил его с себя, сел, схватившись руками за горло и глядя в никуда, Господи, подумал Илья, это ж я его так, кровь ручьем текла из-под черных ладоней артиллериста, Илью вдруг вырвало, немец засипел и упал лицом вниз, опять вырвало, это ж я ему глотку перегрыз, пополз куда-то, взрыв, приподнялся на четвереньки, упал, потерял сознание, провалился, полетел... Когда он пришел в себя, батарея молчала. У опрокинутого набор орудия на земле сидел мальчик в чужой изодранной форме и с ужасом смотрел на Илью. Почему у мальчика седая голова? Почему вдруг разулыбался? Чокнулся? Илья опустил взгляд, поморщился: ниже колен у него вместо ног пластались какие-то лохмотья. Мальчик вдруг закрыл лицо ладонями и зарыдал. Илья удивился: плач громче канонады. Он похлопал немца по пле-

чу. «Ладно, парень, все, отвоевались...» Мальчишка посунулся к Илье, уткнулся ему под мышку, скуля и вздрагивая тощим телом. Испаханная взрывами земля, разбитые, искореженные орудия, сцепившиеся трупы. Из-за деревьев бежали какие-то люди. Свои? Чужие? В голове пелена. Слабость. Попытался закричать, позвать санитаров — потерял сознание...

— Это здесь было, — повторил Илья. — У прегольской дамбы, знаешь? Шеберстов кивнул.

— Денег таких, может, и не напечатали, но я свое заплатил. Меня ловили — не поймали. И не поймают больше никогда. Ни детьми, ни бабами, ни этой самой родиной — ничем и никем. Никаких подвигов. Жить на родине труднее, чем пасть за родину. — Усмехнулся кривовато. — Спасибо Анне: помогла уйти. Теперь — все. Той ночью...ну...

Шеберстов снова кивнул.

— Той ночью было сказано: ты никому не нужен, заплатил ты или нет, что захотим, то с тобой и сделаем. Не вышло. И не выйдет.

Доктор прокашлялся.

— Ну, а женился тогда зачем?

— Ты никогда не задумывался, почему после смерти так сильно хочется жить? Твое здоровье.

Выпили.

Илья чиркнул спичкой — погасла. Строго посмотрел на дрожащие пальцы. Снова чиркнул спичкой, наконец прикурил. Дождался, пока огонек спички коснется бесчувственных пальцев, и растер спичку в грязь. В грязь! В грязь!

Леша Леонтьев закурил свою едкую папиросу.

— Остальное я знаю, при мне было...

Доктор Шеберстов улыбнулся:

— Никто ничего не знает, потому что я никому ничего не рассказывал.

— А при чем тут ты? — поразился Леонтьев. — Француз во всем признался, получил свое, напарник его... чего про утопленника вспоминать...

— Потому, что оба — не главные. Вы наказали их, а главного — я. Так уж получилось, Леша, и об этом до сих пор никто не знал.

Он попался. Не думал, не гадал. Ну конечно, ребенок не родной, потому-то, наверное, и казалось, что девочку можно обойти: ты расти сама по себе, я — сам по себе. Но многопоставная мельница жизни быстро переходит от грубого помола к тонкому, используя древнейшее и надежнейшее средство — привычку. Илья стал привыкать к третьему в доме. Нужда, необходимость вела: ребенка надо покормить, одеть, обуть, спать уложить, смазать ссадинку йодом: «Ну-ну, только не пищать!» А поскольку Анна весь день на работе, нянькой для Наденьки стал Илья. Иногда по утрам худышка-малышка забиралась к нему в постель и шептала что-то на ухо. Смешно, забавно и щекотно. Эти минуты общего тепла — еще одна ловушка.

Старости учатся в юности. Похоже, он слишком поздно пошел в эту школу.

Она была болезненным ребенком. Несколько раз попадала в больницу с ангиной. Каждый день Илья навещал ее. Приносил домашние котлеты, посеребренные жиром, и конфеты, а осенью — цветы. Медсестры поглядывали на него с недоумением: в городке не было принято дарить цветы никому, кроме невест и учителей. Наденька устраивалась на широком подоконнике в стеклянном фонаре, висевшем над моргом, и неспешно расправлялась с едой. Илья покуривал в форточку — его не ругали: инвалиду можно. «А что это?» — спросила она однажды, показывая серебристым от жира пальцем на кислородную подушку, которую волокла по лестнице

старуха в белом халате. Илья объяснил. «Когда я буду умирать, ты дашь мне такую подушку, и я никогда не умру. Хорошо?» — «Хорошо. — Духонин громко сглотнул, закашлялся, выбросил окурочок в форточку. — Договорились». Spина взмокла, на лбу выступила испарина. Вот так номер.

Договорились.

Когда ей купили красивое шелковое платье, она прибежала к Илье в загончик. Лицо ее сияло так, что от улыбки можно было прикуривать. Она вдруг шепотно приподняла подол, присела в полупоклоне — и вдруг закружилась на месте, сверкая шелком, белыми икрами и голыми локтями. «Танцуй, папа! — крикнула она шепотом. — Танцуй же, ну пожалуйста!» Он с усмешкой хлопнул себя по коленям ладонями. Она скользнула за его спину, и чтобы посмотреть на нее, ему пришлось резко развернуть тележку. А Наденька снова спряталась, и ему снова пришлось разворачиваться. И снова, и опять, и еще раз. «Вот видишь! Ты же танцуешь!» Илья вдруг потерял равновесие — колесо тележки застряло в глубокой колее — и упал набок. Она бросилась к нему, схватила за руку, потянула что было сил. «Да я сам, сам!» Но она продолжала тянуть его за рукав вверх, мешая встать. «Сам я, Надя!» Наконец он выровнял тележку, стряхнул с брючины кирпичную крошку. «Ударился? — Она присела перед ним на корточки. — Больно?» Он улыбнулся. «Ничего».

Она все время пыталась вытащить его из загончика на улицу. «Пойдем погуляем!» Он отнекивался: засмеют таких гуляк. Но все-таки сдался. Не засмеяли. Он стал как все: дом, жена, работа, дочка. Как все. Если это не счастье для калеки, то что тогда счастье?

— Было мне лет десять, когда мать однажды рассказала мне байку про ящерку, которой удалось выскользнуть из ада. — Они в очередной раз потиху выпивали с доктором Шеберстовым в загончике. — Спаслась и ну деру домой, к детишкам, счастливая. Но не догадывалась она, что унесла с собой из ада... ну, не знаю, проклятие или яд там какой... Отравилась навсегда этим ядом, и теперь даже любовь ее к детям стала опасной... Ящерка осталась адской зверушкой, и дети ее стали такими же...

Доктор Шеберстов кивнул.

— Похоже, это ты про себя. Без вины виноватый. Не такой, как все, и значит...

— Похоже, это я уже не про себя... А без вины виноватых не бывает. Бывают только не знающие своей вины.

— Дети, они ведь не ведают, что творят. Иногда — добро. Бывает.

— Наверное, бывает.

Как встретились, как сговорились эти два мерзавца, вообще — как нашли друг друга. Ведь какой бы Француз ни был трепач, о таком с первым встречным не заговоришь. А может, и не сговаривались. Или сговаривались о чем-то другом, да вот тут девочка и подвернулась. Француз торчал каждый вечер в Красной столовой в компании Кольки Урблюда и других беспричинных людей, брехавших разные истории под Урблюдову гармошку и вечную котлету. После детдома Француз устроился учеником слесаря на бумажную фабрику, но вскоре ушел на лесопилку, где было повольготнее, то есть попьаннее. А второй... Никто даже имени его не запомнил, да, может, он и назывался. Дед Муханов же и вовсе сомневался, было ли имя у этого крепкого низкорослого мужичонки в кепке-копейке на бровях, с недельной щетиной на рельефно мускулистых скулах. Никто не помнил, чтобы он на кого-нибудь взглянул. Даже на Феню, которая царила и властвовала в прокуренном зальчике, не покидая своего места за жестяной стойкой, под жалобной книгой с наклеенным на обложку портретом Акакия Хоравы в роли великого воина Албании Скандербега. Непрестанно жуя и ковыряя алюминиевой вилкой котлету, ковыряясь ею же в зубах, он

молча слушал Француза, который, похохатывая, сыпал своими дурацкими историями. «Да ты, парень, с придурью», — беззлобно пробормотал обладатель кепки-копейки. «Это потому, что я по утрам здорово сморкаюсь, — осклабился Француз. — Так сморкаюсь, что с соплями мозги вылетают. Жди, пока новые отрастут».

Тем же вечером они отправились на Детдомовские озера, выбрали местечко поукромнее, выпили. Француз угощал, деньги завелись: тайком от начальства продал литовцам несколько кубометров ясеневое паркета. На допросах он потом упрямо твердил одно и то же: ни о какой девочке и речи не было, договаривались о новой «паркетной операции». Может, и так. Однако девочка возникла. Она знала Француза: вместе росли в детдоме. Правда, он был постарше. Приставал — так он ко всем девчонкам приставал. Она гуляла, они выпивали. Позвали ее. Присела рядом, пригубила вина. Поболтали. Первым набросился небритый мужичонка. Вторым был Француз. Девочка потеряла сознание, когда появился Иван Плахотников.

— Это который тогда умер в больнице? — уточнил Леша Леонтьев.

— Который.

Рослый, широкоплечий, хозяйственный, с монотонной, как уголовный кодекс, манерой речи, немногословный, обстоятельный. Работал на мукомольном заводе, держал огромное хозяйство. Жил один. И надо ж было этому быку-бычине влюбиться в Наденьку. Хотя, впрочем, почему бы и нет... Милая тихая семнадцатилетняя девушка без опасных фантазий. Не то что все эти финтифлюшки черт знает в каких юбочках, материала на которые требовалось не больше, чем на мужской галстук, мечтательницы хуже алкоголиков: Москва, Крым, муж-офицер или, на худой конец, дипломат, роскошная квартира и чтоб никаких тебе свиней в сарае и картошки с селедкой. Для таких вся жизнь — сплошное «вдруг». Таких-то обычно жизнь и бьет мордой о стенку. Наденька Духонина была не из таких. Иван давно к ней присматривался. Заходил изредка к Духониным в гости, а то и помогал по дому — починить, побелить, покрасить. Несколько раз выпивал с Ильей в его загончике. Лишних вопросов не задавал, в душу не лез, в закадычные друзья не набивался. Человек, который знает себе цену. Не больше, но и не меньше. И уж если такой человек что-нибудь решит, то от своего не отступится. Каждая цель должна быть достигнута. Во что бы то ни стало. И когда он наконец принял решение жениться на Наденьке, он прямо так и сказал и ей, и Илье, и Анне. Илья хмыкнул: «Ей только-только семнадцать стукнуло. Учиться хочет в техникуме». — «Я подожду», — спокойно ответил бычина. Наденька же просто-напросто ему отказала. Нет, у нее не было избытка в ухажерах, она вовсе не была своенравной капризулей или кокеткой. Никто так и не узнал, почему она твердо ответила Плахотникову «нет», да это уже и не важно. И возможно, что Плахотников поверил ей. Может быть, даже растерялся...

— Но ведь это он принес ее тогда в больницу, — сказал Леша Леонтьев. — Он напал на этих мерзавцев, ему воткнули нож в живот, но ее все же донес. Не его вина, что она...

Доктор Шеберстов поднял узловатый, желтый от табака палец:

— Понимаешь, Леша, у меня тогда как раз в кабинете делали ремонт...

Леша ждал.

— Ремонт. Печку раскидали, стенку под дымоход раздолбали. А за стенкой как раз та палата, где лежал под капельницей Плахотников. Герой. — Доктор усмехнулся. — Спаситель.

— Ну, ремонт, — осторожно напомнил Леша. — И что?

Уже на следующий день к герою Плахотникову пришел Француз — тогда еще никто не знал о его участии в этом деле, все открылось позднее. Они разговаривали полчаса, и весь их разговор доктор, находившийся в своем кабинете, слышал от слова до слова. Никаких случайностей на берегу Детдомовского озера не было. Плахотников, услышав от Наденьки твер-

дое «нет», может быть, поначалу и растерялся. Но он же всегда все обдумывал не торопясь, обстоятельно, взвешивал «за» и «против», прежде чем принять решение. Тугодум. А приняв, так же обстоятельно и твердо шел к цели, какая бы она ни была, большая или маленькая, обыкновенная или — страшная. На этот раз целью стала Наденька. Соплячка, которая посмела покуситься на важную цель. Ведь женитьба, семейная жизнь, дети и так далее — что может быть важнее? И вот одним «нет» — все отменяется? Ну нет. Ни за что. Цель должна быть достигнута. Во что бы то ни стало. Любой ценой. Сколько он пообещал Французу и его напарнику — доктор так и не понял. О сумме не говорили в палате за стенкой. Француз просто требовал платы. Плахотников обещал рассчитаться по выходе из больницы (хотя уже знал, что Наденьки нет в живых). Француз ныл, клянчил, трусливо угрожал — он, конечно, был до смерти напуган, никто ведь не ожидал, чем все это обернется. И драка эта у озера... Кто ж знал, что человек без имени так разозлится и бросится на Ивана с ножом.

— Значит, он им заплатил, — уточнил Леша. — Но зачем ему это надо было? Просто чтобы заполнить ее? Но ведь...

— Не просто — ее. Цель должна быть достигнута. Иначе какой смысл в этой жизни? Спектакль. Двое мерзавцев оскорбляют семнадцатилетнюю девочку — и вдруг на сцене появляется благородный герой и спасает обещенную. А потом что ей делать? Как жить с этим? В городке, где все про всех все знают. Эти взгляды, шепотки, страдания Ильи, для которого она стала всей жизнью, нормальной жизнью, и вот его жизнь опять превращается в ад... А спаситель тут как тут. Он готов прикрыть ее, за ним ведь как за каменной стеной, это все знали, уж он-то не допустил бы никаких взглядов и шепотков, в конце концов, у него были деньги и он мог увезти ее в другой город...

Леша дернул плечом.

— Жуть. Но почему же ты про это нам не рассказал?

— Ты же не знал Илью, как я. Ты же ничего не знал про ту ночь в Солдатском доме... Что я мог тогда для него сделать? Ничего. Он никогда ни в чем не винил меня, но мне-то от этого было не легче. Я не мог помочь, но соучастником-то — стал. И потом, я же видел, кем стала эта девочка для него, как она изменила его жизнь. И вот снова — ад. Может, я и не заслуживал этого ада, но иногда, наверное, довольно просто знать об этом аде, чтобы жизнь стала невыносимой... — Шеберстов снова закурил. — Я никогда не нарушал закон. Первая мысль была: позвать милицию, все рассказать. А доказательств? Этот тугодум ото всего отперся бы. Кому верить? Припадочному брехуну Французу? Преступнику?

— Было расследование, — прервал его Леша. — Я ж помню. Тогда, той ночью, в родильном отделении сразу у двух женщин начались роды...

— Тяжелые роды.

— Тяжелые. Все бросились туда, забыв о раненом, который лежал под капельницей. Капельницу только-только поставили. Операция прошла успешно, о чем думать? Но в капельнице кончился раствор...

— Тяжелые роды...

— Но ты же там был, в родильном, все говорили...

— Я спустился. — Доктор аккуратно погасил папиросу в медной пепельнице. — Если прекратить введение антикоагулянта, уже через двадцать минут у пациента разовьется острый тромбоз. Что и случилось. А ускорить процесс можно одной инъекцией протамина. Вот и все. Ищи-свищи.

— Зачем ты все это мне рассказываешь? — резко спросил Леша. — Дело мхом поросло. Девочку похоронили. Потом этого Плахотникова. Зачем ты все это рассказываешь?

— Люди живут прошлым, и только глупцы могут думать, будто у них есть настоящее или будущее. Есть память. То же самое, что совесть. О не-

которых вещах нельзя не рассказывать: бывает, что слова оказываются важнее жизни. Даже такой жизни, как моя.

— Философия, — пробормотал Леша. — Помню я эти похороны...

Стоя у высокого окна, выходявшего во двор, Шеберстов наблюдал за женщинами — Анне помогала санитарка Нюта по прозвищу Моржиха (потому что в морге служила), — они тащили завернутое в простыню тело. Кое-как взгромоздив тело на телегу, вдруг спохватились, перевернули мертвую на бок, чтобы извлечь из гроба молоток и куль с гвоздями. Долго возились с простыней, пока подкативший Илья не наорал на женщин, — наконец, отбросив толкушки, он ухватился за угол желтой тряпки и с такой силой дернул, что доктору Шеберстову почудился треск рвущейся ткани. Моржиха заругалась, вырывая простыню у Ильи и отталкивая его коленом. Доктор поморщился, отвернулся. Со вздохом натянул темно-синий клетчатый плащ, перед тусклым зеркалом надел влажную шляпу, тронул желтыми пальцами свои кайзеровские усы, сердито фыркнул. Снова выглянул в окно.

Моржиха — с казенной простыней, ворохом прижатой к животу, — что-то сердито выговаривала Илье. Анна надвинула на гроб крышку, влезла на сиденье, разобрала вожжи и вскинула их жестом рыболова, забрасывающего удочку, — лошадь влегла в хомут, дернула и пошла, отмахивая головой влево и вправо при каждом шаге, словно отвечая прыгавшим по сторонам и заходившимся в лае псам. Моржиха взмахнула простыней, закричала на собак. Илья поправил кепку и резко наклонился вперед, упершись толкушками в битые кирпичи, которыми был вымощен больничный двор...

Он ничего не стал объяснять ни Шеберстову, ни участковому Леше Леонтьеву. Сами должны понять. Если захотят, конечно. Он потерял вторую жизнь, но остался в живых, и должен и это вынести, стерпеть, выбора нет. Опять нет выбора. Как всегда. «А что потом?» — спросил Шеберстов. Илья промолчал. Происходило что-то непонятное, бессмысленное, абсурдное, что-то такое, что почему-то задевало всех жителей городка. Во всяком случае — доктора Шеберстова.

Оставив ключ в двери, Шеберстов быстро спустился к рентгеновскому кабинету, постучал. Из красноватой тьмы выглянула похожая на сморщенную обезьянку мадам Цитриняк.

— Клавдия Лейбовна, если будут спрашивать, я скоро вернусь...

— Ну да. — Она вылушила из мятой пачки папиросу, звучно продула мундштук. — У тебя разболелась голова, и ты решил прогуляться на кладбище...

— Сколько раз я просил не курить в больнице, Клава! — прорычал Шеберстов и с силой захлопнул за собой вечно дребезжавшую дверь с узкими витражами.

Сунув руки поглубже в карманы, он неторопливо зашагал по тротуару, жадно вдыхая влажный воздух. Голова и впрямь разболелась.

Впереди плелась лошадь, однообразно покачивалась на сиденье Анна, брякал в телеге — далеко слышно — гроб, трещала по мелкой гладкой брусчатке тележка Ильи.

Так не должно быть, сердито подумал Шеберстов.

На повороте в Липовую его догнала жена, маленькая сухонькая женщина с личиком, казавшимся свежесбрившимся. Не сбавляя шагу, Шеберстов выставил вбок правый локоть, жена взяла его под руку.

— Голова что-то разболелась. Наверное, опять давление. — Она глубоко вздохнула. — На воздухе легче...

Увидев спешившего по другой стороне улицы участковому Лешу Леонтьеву, доктор усмехнулся:

— Сегодня головная боль вроде эпидемии.

И больше до самого кладбища не проронил ни слова.

Похоронная процессия миновала Цыганский квартал, центральную площадь с пустым постаментом, на котором когда-то стоял памятник Генералиссимусу. С кудлатых мокрых каштанов бесшумно снялась стая ворон, заоравших только в вышине, над крышами, и галдящей рваной тучей помчавшихся за реку. Свернули к мосту.

— Ты только глянь — сколько... — прошептала жена, но доктор Шеберстов промолчал, хотя, конечно, давно заметил, как прибывала толпа вроде бы прогуливающихся — парами, тройками — людей, двигавшихся в одном направлении, но даже после гаража, когда до кладбища оставалось всего ничего, так и не собравшихся в правильную похоронную процессию.

Перед подъемом на Седьмой холм Анна придержала лошадь, и Илья, шлепая толкушками по лужам, догнал телегу. Длинной палкой с железным крюком зацепился за задний борт. Жена несильно хлестнула вожжами по мокрому лошадиному крупу.

Люди остановились у ворот.

— Сколько ж это копать им, — пробормотал Леша Леонтьев. — Часа два. А?

Шеберстов искоса глянул на участкового, шмыгнул носом.

— Выкопали им, — наконец нехотя проговорил он. — Осталось закидать.

Леонтьев с любопытством посмотрел на доктора, но все же не стал спрашивать, кто копал и кто за это платил.

С вершины холма, из-за часто посаженных жидких березок, донесся стук молотка — уверенный, четкий.

— Это Илья, — сказал дед Муханов, не вынимая изо рта сигарету, набитую грузинским чаем высшего сорта. — Уже пять.

— Чего — пять? — не понял Шеберстов.

— Гвоздей, — пояснил Леонтьев. — Шесть.

Он курил, пряча папиросу в кулаке и поглядывая из-под козырька форменной фуражки на молчаливую толпу у ворот и вдоль ограды.

— А кому их дом останется? — громко спросила Буяниха.

Никто не откликнулся. Все молча наблюдали за показавшимися на склоне холма Анной и Ильей. Лошадь ступала медленно и тяжело, оставляя в мокром песке глубокие следы. Илья катился по травянистой обочине, притормаживая палкой с крюком.

Люди расступались, освобождая дорогу, соскальзывая в траву. Анна сидела неподвижно. Ее капюшон понизу был оторочен серебряной дрожащей бахромой дождевых капель. Илья вдруг потерял равновесие, коляска накренилась, он едва успел упереться палкой в землю, жилы на шее вздулись, но Лешу Леонтьева, бросившегося было на помощь, отогнал рыком:

— Уди! Сам!

Напрягся, выровнял тележку, ухватился левой рукой за тележный борт и, черпнув передком тележки песок, выбрался на твердое место.

— Илья! — крикнула Буяниха. — Попрощаться не хочешь?

— Простите! — тотчас отозвался Духонин, не оборачиваясь и цепляясь крюком за задний борт. — Пошла! Пошла!

— Илья! — рывкнул доктор Шеберстов. — Илья же, черт!

Буяниха быстро пошла за удалявшейся телегой, увязая в сыром песке, за нею вдруг бросился дед Муханов, побежал, нелепо выворачивая ноги в кирзачах, Леша Леонтьев, за ними остальные, мужчины и женщины.

Илья что-то крикнул — Анна натянула вожжи. Духонин резко обернулся и закричал что-то невразумительное, потрясая палкой, заорал — то ли жалобно, то ли злобно, надрывно, по-зверьи, страшно оскалившись и мотая головой, — и люди остановились в нескольких шагах от него, тяжело дыша, сглатывая и шмыгая носами. Слышалось только их хриплое, вразнобой, дыхание, да чьи-то — бабы — полузадушенные всхлипывания...

— Ну! Ну! Пошла! — неожиданно высоким голосом пропела Анна, вскидывая вожжи. — Пошла!

Люди не трогались с места, пока Илья и Анна не скрылись за поворотом липовой аллеи.

— Так не прощаются. — Буяниха покачала головой, поправляя черный платок. — Прости их, Господи.

Доктор Шеберстов кивнул.

— А чего тут прощаться? Так уходят. Насовсем.

Через два дня Духонины уехали. Куда глаза глядят, как сказала Анна. Скорее вперед, чем в будущее, как подумал доктор Шеберстов.

Леша Леонтьев очнулся.

— Вот, значит, и все. Я тебя выслушал...

— Я тебе правду сказал, Леша.

— От правды у людей понос. Нет, в самом деле, ну что мне от твоей правды? Ровно столько же, сколько Илье Духонину. Тебе же, как я понимаю, с этим не живется. Однако не думаю я, что после этого тебе станет легче. Хотя... почему бы и не рассказать? Можно. А можно и умолчать.

— Можно, но нельзя.

Выпили на посошок.

Леша ушел.

Доктор Шеберстов тяжело поднялся к себе. В комнате было жарко — Маша все же истопила печь. Он открыл печную дверцу — угли в топке еще тлели. Бросил в топку березовое полено. Белая кора тихонько затрещала, занялась с краев голубым пламенем. Прислушался: тихо.

Взял с подоконника стопку бумаги, карандаш и ножницы, разложил все это перед открытой печной дверцей, налил в алюминиевую кружку водки до краев и выпил. Ежегодный ритуал.

Огонь в печи загудел. Он подбросил дров и взялся за карандаш. Вывел имя Ильи Духонина. Ниже — имя Наденьки Духониной. Следом — Игоря Монзуля. Мишу Волкобоева. Костю Навроцкого, вечная ему память. Симу Кавалерова, всем кавалерам кавалера, хоть и безрукого-безногого. Андрейку Илюхина, молчаливого седого гиганта, место у двери. Нытика Левку Бреля, Героя Советского Союза. Задумчиво посмотрел на огонь, перевел взгляд на листок бумаги... Места хватит и для него. То есть — еще для одного имени.

Держа в левой руке перед собой исписанный лист, принялся вырезать из него ножницами человеческие фигурки — какие уж выйдут, не до красоты. Фигурки с именами и огрызками имен одну за другой бросал в топку, где они мгновенно обращались в прах. Как люди. Поднятые тягой, лепестки пепла вылетали в дымоход, бились в его черных теснинах и наконец с дымом выплывали в бездну октябрьской ночи. Все, что осталось от людей, от их душ, — слова на бумаге, сгорающие вместе с бумагой. Бьющиеся в ущелье дымохода немые души, развеивающиеся в бескрайней пустыне ночи...

МУСКУС

Уже на первом году жизни Мускус одним пуком разнес вдребезги глиняный горшок, использовавшийся как ночная ваза, поэтому пришлось его скупердяистым родителям разориться на железное фабричное изделие. В школе он учился так-сяк, а по математике — и вовсе никудышно. Учительница Нина Фоминична Ирбит, растившая в одиночку сына-хулигана и квелую дочь, наказывала Мускуса на каждом уроке, при этом так бешено кричала на мальчишку, что тот не выдерживал и убегал в туалет, чтобы освободиться от перекипевшей мочи.

После профтехучилища и службы в армии Мускус вернулся в родной городок, устроился в железнодорожные мастерские и прославился как ма-

стер на все руки. Его звали всякий раз, когда нужно было починить канализацию и водопровод, электропроводку и мотоцикл, а также заколоть свинью к празднику. Как было принято в городке, расплачивались водкой, но сколько б ее Мускус ни выпивал, никому еще не довелось встретить его пьяным.

С наступлением летнего тепла он норовил каждый день удрать на речку — купался до одури, загорал до синевы. И именно на берегу реки он и встретил Настеньку Пашинину, дочь ненавистной математички, которая уже успела закончить химфак университета, учительствовала в средней школе и была замужем за Игорем Шеленковым, служившим педиатром в местной больнице. Детей у них не было.

— Это что же с тобой жизнь понаделала! — изумился Мускус. — Губы да глаза остались, на остальное и взглянуть-то стыдно. Вот у меня — что голова, что жопа — одного размера.

— Это заметно, — пролепетала Настенька. — Ты женат, Виктор?

— Был. Целый год прожили душа в душу, а однажды застал я ее с любовником. Закатал обоих в панцирную сетку от кровати и бросил в говно — долго выбирались.

И захохотал, явив Настеньке два ряда новехоньких белых зубов.

— Почему тебя Мускусом прозвали? И кто?

— Бабы! Говорят, от меня дух прет какой-то нечеловеческий. А я думаю, это из-за мускулов. — Он напряг огромные бицепсы. — Хочешь понюхать? Это тебе не мускулы, а настоящие мускусы!

— Я и отсюда чую, — отказалась Настенька. — Душистое начало мускуса — макроциклические кетоны — класс органических соединений, содержащих карбонильную группу, связанную с двумя углеводородными группами... Впрочем, это сложно. Но про ацетон-то ты слышал?

До глубокого вечера он учил ее плавать, а когда оба замерзли, Мускус развел на берегу костерок из плавника.

— Хорошо как, — задумчиво проговорила Настенька. — Вот на этом бы и кончалась жизнь, и все были б только рады, я думаю.

— Я вижу, ты еще не знаешь, что такое хорошо, — возразил Мускус. — Вот выходи за меня замуж — тогда поймешь, что такое счастье. Я зубами гвозди перекусываю.

— Я замужем, — напомнила Настенька. — А до остального никому нет дела.

— То-то ты подальше от народа купаешься.

— А что тут такого?

— А чтоб твоих синяков не разглядели. Бьет?

Настенька вздохнула.

Жарким июльским полднем Мускус заманил Настеньку на прогулку по реке в лодке. Женщина в блеклом сатиновом платье сгорбилась на носу, Мускус завел мотор, и помчались они, распугивая купальщиков и рыбаков, против течения. Настенька вцепилась руками в борта лодки, радуясь брызжущей на нее воде и скорости, заставлявшей дышать полной грудью.

Через полчаса Мускус причалил к берегу, на котором высился огромный старый дуб.

— Там, наверху, в детстве я устроил гнездо: думал, дурень, жар-птица соблазнится, а соблазнились вороны — все гнездо засрали. А ну-ка полезли!

Привязав лодку, он подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветку и одним махом скрылся среди листвы.

— А гнездо-то — сохранилось! — радостно заорал он. — Дуй сюда!

— Я не умею! — прокричала Настенька.

Мускус высунулся из кроны, вися вниз головой.

— Давай сюда руки, — приказал он. — И-эх!

И вместе с зажмурившейся Настенькой оказался на толстой ветке.

— Держись за меня — не пропадешь.

Он подхватил ее на руки, подбросил — она едва успела схватиться за тонкие ветки, подтолкнул — и Настенька кубарем полетела в сплетенное из ивняка и камыша гнездо, где через мгновение оказался и Мускус.

Женщина легла на спину. Сквозь просвет в ветвях она видела твердое, как алмаз, синее небо и зависшего на одном месте ястреба.

— Опять умирать собралась? — сурово спросил Мускус, заметив слезы на ее глазах. — На тебе платье — хоть выжимай.

— Так выжми, — сказала она, не поворачивая к нему лица. — Всю до капли.

Настенька все чаще оставалась ночевать у матери, из чего дошлые соседи сделали вывод: муж, известный психопат и тайный пьяница, стал бить ее вдвое против прежнего.

— Он хоть говорит, за что лупит? — допытывался Мускус. — Из-за бездетности? Или из-за меня?

Настенька лишь качала головой, но ни в чем не признавалась.

— Река поднялась — осень. — Мускус взял Настеньку за руку. — А хочешь — я тебе чудо покажу?

Той же ночью Настенька выскользнула из материного дома, Мускус встретил ее на лодке под старым мостом. Она завернулась в старое пальто и закурила — раньше Мускус за нею такой привычки не замечал.

Они спустились на несколько километров по течению, в полной темноте свернули в какую-то протоку. Мускус выключил мотор и взялся за длинный шест. Лодка шла почти бесшумно. Вокруг из воды торчали какие-то столбы, но Настенька не знала, что это такое.

Редкие облака разошлись, и полная синяя луна осветила затопленный лес.

— Пригнись, — шепотом приказал Мускус. — А то еще ветку башкой заденешь.

— Долго еще? — тоже шепотом спросила Настенька, дрожа больше от возбуждения, чем от холода. — Как красиво...

Лодка причалила к песчаному холму.

Мускус сел рядом с женщиной и закурил.

— Скоро, — сказал он. — Почему ты с ним не разведешься, Настя?

— Не за тебя же мне выходить, — с тихим смехом ответила она. — Не обижайся, Виктор, но мы с тобой слишком уж не подходим друг другу...

Звезды на востоке стали медленно блекнуть, а небо из глубоко синего превращалось в палево-серое. Вскоре над горизонтом прочертилась бледно-розовая полоса. И тихий, невыразительный и вместе с тем невыразимо прекрасный свет стал заливать дальние колки, сизые ивняки и темную воду, и Настенька, сама не понимая — почему, вдруг прижалась к Мускусу и заплакала: так все было хорошо вокруг и так безнадежно — в жизни.

Поднялось солнце.

— Вот тебе и чудо, разве нет? — сказал Мускус. — А я, знаешь, привык своего добиваться.

— Это похвально, — всхлипнула женщина. — А вот мне никто никогда в любви не признавался. Смешно, да? Да у нас в городке и слова-то этого стесняются...

Мускус промолчал.

Дома Мускус извлек из чулана коробку с револьвером, который его отец выкопал на огороде (когда-то в этих местах было жестокое сражение, после войны саперы еще годами разминировали поля и леса, а местные жители под шумок норовили разжиться кто тротилом — рыбу глушить, а кто и оружием — неизвестно для чего). Много лет револьвер бездельно пролежал в коробке, завернутый в промасленную тряпицу, и всякий раз мать, если мать вспоминала об оружии, просила Мускуса выбросить наган в помойку либо же сдать в милицию.

Он проверил барабан, ствол и спусковой механизм, зарядил револьвер одним патроном и отправился в гости к Настеньке и ее мужу.

— Ты, скотина безрогая, — с порога начал он, — или ты даешь ей развод, или я тебя дуэлирую. Понял?

Мужчина за столом скривился.

— Развода она не просила и не попросит, а дуэлировать ты меня, рванина, разве что из жопной дырки сможешь.

Мускус вынул из кармана револьвер.

— Не надо, Виктор, — заплакала Настенька. — Мне нельзя волноваться: у меня будет ребенок.

— От меня, — сказал Мускус.

— Не важно! — взвился муж. — Пшел вон, сиволапый!

Мускус нахмурился.

— В барабане один патрон, — сказал он. — Про русскую рулетку слышал? Предлагаю.

— Миша! — закричала Настенька. — Я все равно никого, кроме ребенка, не люблю. Не делайте этого!

— Пшла вон! — велел муж, и Настенька убежала наверх. — Я первый, потому что это ты мою жену с панталыку сбил.

Они вышли из дому и остановились в тени.

Михаил крутанул барабан и, глядя побелевшими от бешенства глазами на Мускуса, нажал спусковой крючок. Раздался сухой щелчок.

— Не повезло тебе, — съязвил Мускус. — А вот мне всегда везло. И сейчас — тьфу, нечистая сила! — повезет.

Он с улыбкой уткнул ствол в висок — грохнул выстрел. Мускус упал.

— Шума, конечно, не оберешься, но все вышло по-моему! — торопливо проговорил Михаил, взбегая на крыльцо, где поджидала его Настенька. — Хочешь — сходи за дом, убедись: моя взяла.

— Считать не умеешь, — сухо ответила Настенька. — Взяла — моя. Подвинься.

И ушла с чемоданчиком в руках вон со двора.

Она поселилась у матери в крошечной комнатушке под крышей, родила мальчика, которого назвала Виктором.

Принимавший роды врач хлопнул малыша по попе.

— Хорошо кричит! А пахнет! — Доктор аж зажмурился. — Ну чистый мускус! Просто зверский.

А через три или четыре дня Настенька получила телеграмму от Мускуса (нарочно задержанную — по уговору — его дружком, начальником почты), в которой значилось: «Ja tebia iubliu». Он постеснялся писать русскими буквами слова, которые в городке никто не произносил вслух.

АЛАБАМА

Только сам Алабама мог себя назвать таким дурацким именем. Возвращаясь домой — хмельной, разумеется, — он напевал себе под нос какую-то странную песенку, в которой можно было разобрать разве что припев: «Алабама, ах, Алабама! Ты моя мама!» Так и прозвали губастого смуглого парня, который неизвестно чем занимался в жизни: то работал на железной дороге, то подметал улицу, особое внимание уделяя, разумеется, двору, где он обретался на постоянном месте жительства, — Девятнадцатому дому. И еще он был бабник, каких, как уверяли взрослые, свет не видывал. Если что и удивляло в его поведении, так это страсть к чтению: каждую неделю он брал в библиотеке на дом чуть ли не по десятку книг.

Вообразите себе этого мужлана, безжалостного к чужим точно так же, как к своим. Властный грубиянище с гипертрофированным самолюбием.

Огромный, как портовый кран. Выбитый передний зуб залеплял жевательной резинкой. Похотлив, как павиан. Подметая тротуар перед нашим домом, он провожал каждую женщину взглядом, вызывавшим у жертвы задымление вагины. Он женился в сорок, и в первую же брачную ночь в припадке бешеной страсти откусил жене оба соска, но не выпускал ее из объятий, пока оба не испытали оргазм. А утром, когда он крепко спал, она изловила мышь, смазала ее салом и засунула ему в задний проход, который затем заткнула ватным тампоном, смоченным в казеиновом клее. Впрочем, так фантазировали взрослые, больше всего жалевшие мышь, сварившуюся заживо в лошадином желудке Алабамы. Нам же было известно, что женат Алабама был на сумасшедшей красавице Фрике — Фрика целыми днями кроила одеяния из тюля, в которых никогда не появлялась на людях.

Фрику считали «невсебешной», но, вообще-то говоря, побаивались. Однажды она на глазах у всех усадила на пень цыпленка, накрыла его носовым платком и со всего маху ударила топором. Призванные нарочно к участию в эксперименте мужчины все, как один, засвидетельствовали, что топор остановился в сантиметре-полтора от носового платка, однако, когда незапятнанную тряпицу подняли, все зрячие могли убедиться в том, что цыпленок мертв и кровав. Фрика убила его на расстоянии.

Жена Алабамы, впрочем, мало нас интересовала. Считалось, что в Девятнадцатом доме живут самые красивые девчонки улицы, если не городка, поэтому каждый вечер сюда отправлялись самые отчаянные парни — разумеется, с вычищенными расческой ногтями и облитые жгучим одеколоном до покраснения. И вот тут-то они и сталкивались с Алабамой. Едва завидев ухажеров, он поднимался из-за доминошного стола и, лениво раскачиваясь, направлялся к парадному. Облокотившись на штaketник, из-за которого свешивались золотые шары, он преграждал путь очередному ухажеру и устраивал тому форменный допрос: к кому, зачем и т. п. — с одной-единственной целью: вызвать парня на драку или же обратить его в бегство. Начиналось все с «А пошел-ка ты, нигер!» или «Какое твое рассобачье дело!», завершалось же, увы, жестоким битьем гостя. Никто не мог сравниться с Алабамой: уж больно он был хитер и изворотлив в драке, и даже более сильные противники не могли устоять перед его нырками, вывертами и ударами ниже пояса (а это в таких поединках дозволялось). Он просто-напросто не желал подпускать чужаков к девчачьему цветнику, который без всяких на то оснований считал своим. Или — «нашим».

Фрика безучастно наблюдала за подвигами мужа, а когда он, разгоряченный победой, возвращался в их квартиру на первом этаже, только и говорила: «Мне ты таких почестей не устраиваешь. И детей у нас нету». На что Алабама равнодушно отвечал: «Какие ж могут быть дети, если ты ненормальная». И категорически отказывался «попробовать».

Моя любовь жила на третьем этаже, и добраться до нее я мог, только цепляясь за полувысохшие лианы и выступы в стенах. Мы целовались на балконе, скрытые цветами и цепенея от песенки пьяненького оглоеда: «Ах, Алабама!» — что означало только одно: он нас застукал, и не миновать мне, дохляку, жестокого боя. В то время он работал санитаром в больнице. Помню, однажды, когда мы с моей пятнадцатилетней возлюбленной оторвались друг от дружки, Алабама отчетливо проговорил: «А знаешь, как встречаются и прощаются больные раком? Они говорят друг другу „ку-ку“!» Понятно, что в тот раз я ждал своего часа далеко за полночь, чтобы спуститься по лианам вниз и избежать встречи с Алабамой.

«Ку-ку! — думал я, содрогаясь всеми своими костями. — Ничего себе!»

Однажды он поймал меня, но, вместо того, чтобы избить, как полагалось, отвел в свой сарай (Деятнадцатый дом находился в центре лабиринта из сараев и сараюшек, где выращивали кроликов и свиней, а также хранили дрова на зиму) и угостил самогонкой. Ему никогда не везло с при-

быльной работой и красивыми женщинами, но самогон он гнал, по всеобщему признанию, просто — ах.

Пристроившись на чурбаках, мы выпили самогона. Я тотчас захмелел, а вот Алабаме было хоть бы хны: он цедил домодельный напиток как воду. Из соседних сараев пахло навозом, керосином и кислым сырým деревом. Меня мутило.

— Знаешь, — задумчиво проговорил он, — хочется счастья и даже, представь себе, красоты. Живет она среди людей или нет? Частями, наверное. Вот, например, женские уши. Я много читал об этом. — Он развернул сложенный в несколько раз лист бумаги, на котором было изображено человеческое ухо, помеченное загадочными знаками. — Вот смотри: треугольная ямка, Дарвинов бугорок, челнок, козелок, подкозелковая вырезка... уши грушевидные, яйцевидные, овальные и эллиптические... — Он бережно тронул пальцем мое ухо. — Классификация доктора Швальба по степени развития завитка. При плоском и заостренном верхне-заднем крае завитка ухо называется макаковидным. Особой редкостью считается бугорок сатира на вершине завитка. Тератологический аспект, то есть уродства: ухо, состоящее из множества раковин. Так... Вот тут у меня помечено... Первым детально описал строение уха итальянец Габриэле Фаллоппио в вышедшей в Венеции книге «Обсерваториес анатомике» в 1561 году. Тот самый Фаллоппио, именем которого названы женские яйцеводы, где мужские сперматозоиды встречаются с женскими яйцеклетками. Подумай только: форма ушной раковины напоминает эмбрион в утробе матери, и не было бы ничего удивительного, если б где-нибудь в Патагонии или на островах Элтероукука обнаружили приверженцы культа уха. Они влились бы в ряды приверженцев фаллических культов, верящих в так называемые парциальные души, то есть в души отдельных частей и органов человеческого тела. Во всяком случае, библия для них уже готова — книга некоего суфийского мистика ибн-Хаукаля «Слышащий, Слушающий и Слушающийся», в которой говорится о Великом Ухе, которое все-все слышит, то есть, надо полагать, о Боге. Хотя из текста вовсе не следует, что переменчивый герой поэмы направляется именно к Богу. Скорее к некоей цели, каковая, если, как говорится, путь испорчен идущим, может обернуться и дьяволом. Быть может, англичанин Джонатан Хэзлит, издавший поэму в собственном переводе под заголовком «Чудовищное Ухо», не так уж и не прав...

Погружаясь в бесконечный спиралевидный лабиринт, душа человека наполняется безмерным счастьем, неотличимым от безмерного ужаса, подумал я с содроганием.

Пьяный, я не понимал, о чем он говорит, да и он ли это говорит: словарный запас Алабамы, как считалось, не превышал ста — ста двадцати слов. Быть может, впоследствии, прочитав в какой-нибудь энциклопедии об ушах и венецианце Фаллоппио, я допридумал — задним числом — речи Алабамы. А может, и нет: узнать человека со стороны неведомой — что может быть ужаснее?

— У твоей жены красивые уши, — промямлил я. — И она красивая. А почему именно уши? Руки, например, тоже...

— Ку-ку, ты прав, — прошептал Алабама. — А ты вообрази, дружок. Приходишь домой, а вместо чокнутой жены, ржавого умывальника и нитяных салфеточек на радиоприемнике — потайные двери. Очухался после работы, принял сто пятьдесят, завел музыку — и открываешь эти двери. Один! А там на полках — красивые женские уши в золотом свете. Сотни! Тыщи! Любуйся — не хочу. Хоть всю ночь. Лишь бы никто не мешал. И все они не в банках с нафталином, а — в натуре. Розовые, резные, разные... Счастья хочется даже больше, чем славы. А где его, счастье, на земле отыскать? Не в ушах же оно, в самом-то деле, ты прав. В ушах одна

только красота, а красота про счастье давно забыла. — Он помог мне встать. — Кукушеньки, браток, тебе пора.

Мы не видели Алабаму и не слышали его странной песенки несколько дней. Больше недели, это уж точно. А потом вдруг Фрика, впервые вышедшая на люди в тюлевом платье и шляпке (и все вдруг увидели и поняли, до чего ж она красива), остановила участкового и жалобно проговорила:

— Дядя Леша, там столько мух, что я уж бояться стала.

— Мух?

— Мушистее не бывает. Они его сожрут...

И тут-то все поняли, и участковый велел Фрике отвести его к мухам. Их в сарае, пропахшем самогоном, и впрямь было — не продохнуть. Они гудели, жужжали и звенели над изогнутым Алабамой, лежавшим с поджатыми ногами шеей на чурбачке, служившем для рубки кур. Шея его была измочалена тупым топором.

— У меня не получилось ни с первого раза, ни с пятого, — сказала Фрика. — Так и оставила.

Участковый, прижав носовой платок ко рту, присел на корточки и долго не вставал, разглядывая губастое лицо Алабамы. Наконец он надел кожаную перчатку и повернул голову мертвеца.

Мухи взвились.

— Уха нет, — тупо сказал участковый. — Правого.

— самого красивого, — певучим голосом подхватила Фрика.

Вызвали «скорую», ее увезли. А потом обнаружили и ухо. То самое — правое, самое красивое, правда, измочаленное так, что и Творец не узнал бы в этой заскорюзлой тряпице того, что так нравилось Алабаме, не добывшему ни красоты, ни счастья...

АДОРАТА

На берегу мазутного озера возле толевого завода сидел я и горько плакал, когда на звеневшей от жары широкой глинистой дорожке между чахлыми огородами появилось диковинное сооружение — мираж, колыхавшийся и менявший очертания в испарениях мазута, вызывавших резь в глазах, сладковатую сухость в горле и физически ощутимый распад мозгового вещества, разлагавшегося на тающий гуталин и пряный пар, который затмевал разум и извращал зрение, стирая грань между образами и подобиями их.

По звенящей глине двигался корабль — фрегат, почему-то подумал я — без мачт, парусов и рангоута, без бушприта и кормы, без киля и руля, и вообще это сооружение ничего общего не имело ни с каким водоплавающим судном, но это был корабль: железная кровать на высоких скрипучих колесах, с массивным деревянным коробом в стальной раме, высокими спинками с никелированными шарами, пологом черного бархата, на который из-за серых дощатых заборов роняли крупные желтые лепестки подсолнухи, и расшитыми тусклым серебром наглухо задернутыми шторами. Девочка моих лет остановила корабль, оперев его одним колесом в заборную щель, быстро сбежала к мазутному озеру, не раздеваясь бросилась в черные воды, над которыми струились мутно-коричневые испарения, и, в несколько взмахов достигнув моего берега, вдруг остановилась и сказала:

— Не плачь. Побереги слезы: старуха говорит, тебя будут любить, но любовь всем принесет многие горести. Лучше помоги мне.

На берегу она достала из кармашка платья глиняную свистульку и, не оборачиваясь, легко, скользящим шагом направилась вокруг озера к фрегату, насвистывая мелодию, явно предназначенную пробуждать мертвых и распугивать привидения. Я двинулся за нею, тотчас забыв о слезах и оби-

дах и даже не удивляясь, что светлого платица ее, смуглых плеч и ног мажут словно и не коснулся.

— Меня зовут Цветой, — сообщила она, когда мы вместе взялись разворачивать кровать в обратный путь. — Цвета.

Я кивнул, не отрывая взгляда от ее густых курчавых волос, которые ниспадали на тонкие плечи, закрывая уши.

— Значит, это у тебя ухо как роза, — сказал я. — Мама говорит, что это врожденное уродство называется «кошачье ухо» — оно состоит из нескольких раковин.

Не останавливаясь, она на мгновение откинула волосы назад, чтобы я мог увидеть это чудо: это действительно была роза — божественно красивый полураспустившийся бутон с туго прилегающими один к другому лепестками.

— Кошачье ухо! — презрительно сказала она. — Это знак цыганской царицы. Девочки с таким ухом рождаются раз в двести лет. У меня такое же ухо, как у нее.

Она кивнула на закрытую со всех сторон кровать, где под пологом в душной полумгле, пропитанной испарениями мазута, смешанными с запахами, источаемыми телом сколькотосотлетней женщины, покоилась госпожа Нэрэзбэ.

Обливаясь потом и громко пыхтя, мы выкатили кроватицу на кирпичный тротуар, который вел к большому одноэтажному дому красного кирпича, накрытому многоступенчатой крышей из плоской черепицы черного графита. Фрегат громко дребезжал костлявым металлическим скелетом и гулко бухал массивным деревянным корытом, но по тротуару катился довольно легко. Девочка вновь взялась за свистульку, наказав мне сильно не толкать и следить, чтобы передние колеса не попали в узкие глубокие выбоины: «Тогда придется звать на помощь всю семью. Притащатся одни бабы и будут визжать, пока не продырявят небо до звезд».

Когда мы въехали в неогороженный захламленный двор, с одной стороны уставленный кое-как сляпанными из досок и толя свинарниками, из завешенного суконными одеялами окна на подоконник выбрался совершенно голый карапуз, который принялся мочиться на пыльную землю, задумчиво глядя на нас.

Входная дверь напоминала величественный церковный портал, который, однако, вел в разбойничью пещеру. Завешенные одеялами и рваным тряпьем окна без стекол едва пропускали свет в огромную комнату без перегородок, с провисшим дощатым потолком, из щелей которого торчали пряди пакли и морских водорослей, пахнувших йодом и сосновой смолой. Справа от входа на необъятной плите, топившейся дровами, булькали кастрюли-выварки. Одна из таких кастрюль стояла посреди стола — когда-то он служил козлами для строителей, сохранились отпечатки сапог маляров. Рядом выстроились большие бутылки «чернил» с пластмассовыми пробками, которые молодой лысоватый парень по очереди срезал похожим на серп ножом. Во главе компании сидел невысокий человек с лицом, на котором молотили горох черти всех континентов, включая Антарктиду, с огромной шапкой черных волос, присыпанных серебряной пудрой, и татуировкой на правом плече, — это был фатоватый кот с галстуком-бабочкой, курительной трубкой в зубах и в цилиндре, обрамленный надписью красивыми печатными буквами: «У меня нет средств, чтобы содержать совесть». Вспомнив альбом отца, коллекционировавшего блатные наколки, я понял, что передо мной — вор-рецидивист. Он посмотрел на меня веселыми блестящими глазами, налил в разнокалиберные стаканы вино и предложил тост за здоровье госпожи Нэрэзбэ.

— Твой отец — майор Дембицкий? Тогда выпей с нами и закуси чем Бог послал! Лучше бы, конечно, спирта нэрэзбэ, но его давно рэзбэ до водки и продают за деньги. Откуда у цыгана деньги? У него только золо-

то! — Щелкнув пальцем по золотой серьге в ухе, он залпом выпил вино и закусил куском вареной кормовой свеклы — сегодня Господь был милостив к цыганскому семейству.

Сквозь клубы пара я разглядел груды тряпья и тюфяков вдоль стен, на которых — судя по головным платкам — лежали женщины. Кровать под пологом поставили против входа. Цвета, раздвинув расшитые серебром занавески, села на борт фрегата лицом к нам со скрещенными ногами, и только тогда я заметил на ее левой лодыжке тонкую золотую цепочку с застежкой в форме змеиной головки.

— Странная фамилия, — вежливо заметил я, пригубив вина. — Ведь цыгане — выходцы из Индии, они принадлежали к касте аттинганов — акробатов, танцоров и фокусников, а еще их называли фараоновым народом или египтянами...

— Когда-то нашей уважаемой госпоже понадобилось выправить бумаги, — сказал Кот-в-шляпе. — Она была так умна и высокомерна, что начертала свое полное имя сразу на всех языках, которыми владела. Писарюги ничего не поняли и назло ей вписали в документ фамилию Нэрэзбэ — то есть «неразборчиво». Пальцы ее сплошь унизаны кольцами и перстнями, которые давно вросли в мясо. На одном из колец изнутри вырезана надпись — «Екатерине Великой от Екатерины Второй». Когда-нибудь Цвета расскажет тебе и эту историю. — Он неодобрительно улыбнулся девочке. — Она хорошо учится в школе и ведет себя так, словно она человек вроде русских или немцев. Но старуха разговаривает лишь с нею, и ей она передаст царский перстень: только у Цветы ухо как роза.

Когда за обедом родители узнали о моем визите в цыганский дом, мама с улыбкой сказала:

— Ты побывал в другой жизни.

— Когда у них зимой кончается топливо, — сказал отец, — они топорами вырубают полы, балки, оконные рамы, кровати, чтобы протянуть до весны. Не трогают только потолок. Летом кое-как латают дыры. Не трогают только кровать этой самой царицы. Кажется, она глухонемая и слепая.

Отец был начальником милиции и знал все про всех. Он ходил в офицерской форме, но без оружия: довольно было его слова, чтобы тотчас прекратилась любая драка.

— Нэрэзбэ живут воровством, — продолжал он, не глядя на меня и тщательно пережевывая мясо. — Женщины с детьми попрошайничают, гадают и привороживают на вокзалах и в поездах. Но Цвета выродок: она ни разу не участвовала в их делишках. Пока они почему-то смиряются с ее своеволием, но долго это продолжаться не может. Они не позволят ей избрать иную судьбу: я хорошо знаю Кота и его семейство.

— Он ее отец?

— У нее нет ни отца, ни матери — сгнули где-то. — Отец усмехнулся. — Дочь полка. И потом, ей покровительствует старуха, а ее слово для них — закон.

— Ты же сам говорил, что она глухонемая! Какое ж тут может быть слово?

Отец лишь пожал плечами и поднес салфетку с вышитой монограммой к губам.

— Ты видел на ее левой ноге цепочку со змеиной головой вместо замка? Эта вещица украдена два года назад у одной знаменитой детской писательницы из Швеции. Чтобы не огорчать даму, наши ювелиры изготовили точно такую и вернули владелице. Инцидент был исчерпан. Но когда я попытался изъять цепочку у Нэрэзбэ, девочка поднесла мне на ладони тонкую золотую змейку. Живую. — Отец закурил душистую папиросу. — Боюсь, что однажды и она сама вдруг превратится в какую-нибудь прекрасную рептилию, вильнет хвостиком и исчезнет навсегда из этой жизни. —

Он положил левую руку с мизинцем без фаланги на мое напрягшееся острое плечо. — Из этой жизни тоже.

Для купания она выбирала места поукромнее: цыганке нельзя разголяться при посторонних. Мы уходили за Башню, за сенокосы, где земснаряды вылили на берег горы песка, и здесь, оставшись в одних трусах (едва проклюнувшуюся грудь она перевязывала газовой косынкой), плавали до посинения в черно-зеленых с прожельтью водах Преголи, а потом дремали на песке, позволяя стрекозам и ящерицам греться на наших плечах.

Она учила меня целоваться, обещая когда-нибудь научить волшебному поцелую Нэрэзбэ.

— Этим искусством владеет старуха, но она обещала научить меня поцелую, которым душа мужчины запечатывается любовным сургучом навеки. — Она вскочила и потянула меня за руку. — Пойдем к камню — о нем никто не знает.

Оставив одежду на песке, мы долго брели, взявшись за руки, по глинистой тропинке вдоль реки, пока не увидели на краю поля полускрытый ивовыми кустами острогорбый сизый камень.

— Переверни!

Я тужился не меньше получаса, прежде чем мне удалось сдвинуть камень. Под ним сплелись длинные желтоватые змейки — или черви — с крошечными голубыми глазами. Они зашевелились, вызвав у меня дрожь омерзения. Цвета изо всей силы пнула ногой камень, беззвучно опустившийся на место.

— Это камень пятой печати, говорит старуха, — с серьезным видом объяснила она. Вскочив на острый сизый горб, она раскинула руки и нараспев заговорила низким голосом: — И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом: доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число!

— Бр-р! — сказал я. — При чем тут цыгане? Братьев твоих пересажали за то, что они ворье. И какое число и что после него?

— День гнева! — выкрикнула она. — День любви!

Она спрыгнула в траву.

Меня восхищало ее бесстрашие: она без колебаний произносила слова, которые в городке не принято было говорить вслух, — например, «любовь» или «ризеншнауцер».

— Таких камней тут, если поискать, с полсотни наберется...

— А может, и полтыщи, — кивнула она. — Но надо знать, какие из них — печати, а какие нет.

— И все это рассказала тебе глухонемая старуха?

— Я часто ложусь с ней рядом, иногда и ночью в ее постели, и когда начинаю засыпать, вдруг слышу какой-то слабый-преслабый гул... — Она сделала большие глаза. — Рокот. Постепенно сквозь этот шум начинают прорастать слова, и тогда я вдруг понимаю, что это говорит старуха. А вообще-то она не немая — просто она давным-давно держит во рту китайское яблоко, поэтому и не может открыть рот, чтобы яблоко не проглотить. Тогда — смерть. А насчет душ убиенных... Она единственная из семьи выжила в Освенциме. Знаешь, что такое Освенцим? Ну и вот. Пошли купаться! Я вся запотела от слов!

Тем вечером, когда я проводил Цвету домой, она подвела меня к кровати-фрегату — «Царица велела» — и отдернула занавеску. Я увидел груды тряпья. Цвета толкнула меня в спину.

— Здравствуйте, уважаемая госпожа Нэрэзбэ, — пробормотал я.

— Руку! — прошипела Цвета. — Протяни ей руку!

Я протянул руку и вдруг почувствовал, как ее крепко обхватили узкие холодные пальцы.

— Только не ори, — почти не разжимая губ, предупредила девушка.

И вовремя: что-то преобильно укусило меня за палец. В то же мгновение рука моя освободилась.

Цвета вытасила меня во двор и внимательно осмотрела место укуса.

— Это она тебя иголкой. Глянь-ка, она тебя уколола! — В голосе ее было столько восторга, что я удивился. — Если человек, посягающий на меня, ей не по нраву, она обычно колет иголкой себя.

— И что?

Цвета покачала головой, с сожалением глядя на мою глупо улыбающуюся физиономию.

— Она не просто колет себя иголкой в руку. Она вводит иголку в свою вену. И той же ночью посягнувший на меня человек умирает с иголкой, которая всплывает в его сердце. Старуха убивает его.

— Чудеса-мудеса. — Я попытался усмехнуться. — Колет себя — умирает другой.

— Если ты сейчас скажешь хоть полслова про колдовство, я тебя укушу всеми своими ядовитыми зубами! — прошипела Цвета. — Царица признала тебя! Считай, что она как бы обручила нас! Впрочем, можешь считать что угодно!

И, резко махнув подолом платья, скрылась в портале.

Конечно же, мы не поссорились, и вскоре Цвета рассказала мне о жизни госпожи Нэрэзбэ, прерывая историю лишь уроками поцелуев, становившимися все более сложными и мучительными и усугублявшимися новым запахом, исходившим от моей подруги.

— Это запах крови, — с тяжелым вздохом объяснила она. — Раньше я была для Бога невидимкой, отныне же он начал охотиться на меня, учуивая по запаху. Он уже захватил мои сновидения и ведет себя как тигр в загоне с телками.

«Я сама решу, сколько мне жить, когда умирать и сильно ли мучиться перед смертью» — эти слова госпожи Нэрэзбэ знали цыгане всего мира, хотя никто и не мог хотя бы с точностью до столетия датировать выражение, которому воображение и молва приделывали крылья всяк на свой вкус и цвет.

Если она была стара, то, значит, не могла она избежать и юности. Однако предание и свидетели утверждают, что Нэрэзбэ никогда не покидала кровати-фрегаты, отбитой в открытом бою у герцогини Ландольфской, кисти которой, украшенные искусной резьбой, и донны служат спинками кровати, позднее обсаженные поверху никелированными шарами (украденными в 1870 году в Пражском оперном театре). Спасаясь от испанской инквизиции, она чуть не угодила на костер, возженный для нее заботами Торквемады, но бежала в Германию, где во главе шайки головорезов навела ужас на Пруссию Западную и Восточную.

В высокогорном сербском замке она со своей семьей восемь лет отражала непрестанные атаки янычар, но открыла ворота своего сердца мусульманину, исполнившему в ее честь пятьсот чудеснейших песен любви, и уже вместе с ним еще пять лет держала оборону от турок и сербов, слагавших песни о бессмертной любви цыганки и воина Аллаха. Врагам помогло землетрясение, которое до основания разрушило замок, где спиной к спине и с мечами в руках ждали последнего боя двое последних защитников горной твердыни. Их опутали сетью, судили по законам человеческим, каковые что у христиан, что у мусульман равно немилосердны к вооруженным влюбленным, и вздернули на одной виселице. Госпоже Нэрэзбэ

повезло: проглоченная перед казнью рогатая жаба застряла в горле и раздулась так, что, невзирая на все старания палачей, женщина осталась в живых. Возлюбленный же ее погиб.

Госпожу Нэрэзбэ отпустили на все четыре стороны, и вот тогда-то, как утверждают, она и произнесла последние в своей жизни слова: «Я сама решу, сколько мне жить, когда умирать и сильно ли мучиться перед смертью» — после чего, сжав в зубах китайское яблоко, легла на кровать-фрегат и около года без воды и пищи ждала, когда на нее наткнутся бродячие цыгане. С ними она снова исколесила Европу, пересекая границы с контрабандой, запретными книгами и революционерами, которых она прятала во всех полостях своего огромного тела. Точно таким же способом много лет спустя она спрятала в себе восемнадцать узников Освенцима, которые отстреливались от наседавших эсэсовцев изо всех отверстий ее туши вплоть до подхода советских войск. А после освобождения лагеря смерти она три недели рожала в советском военном госпитале, изумляя врачей и медсестер: за вялым трансильванским юношей следовал пожилой хасидский наставник, раскрасневшаяся молодая женщина, во чреве Нэрэзбэ разродившаяся девочкой, вылезала с младенцем на руках... Таких родов свет не видывал и никогда больше не увидит.

А двумя столетиями раньше, спасаясь из Румынии, где цыган продавали как рабов, она бежала на своей кровати в Россию, где ее вместе с названным братом купили в подарок императрице Екатерине Второй.

По мере приближения к Санкт-Петербургу цыганская парочка становилась от лютящего холода все меньше и все белее, — в столицу доставили две красивые фарфоровые статуи, примечательные лишь тем, что у женщины вместо левого уха была прекрасная роза, а фаллос юного мужчины выдержал вес наполненного доверху золотыми монетами ведра, которое повесил на него ревнивый граф Платов. Скульптуры поместили в зальчике, примыкавшем к спальне императрицы, умиравшей от неведомой болезни. Заплаканные фрейлины и придворные дамы, посменно дежурившие у постели умирающей, находили утешение в соседнем зале, довольно успешно исполняя роль платовского ведра с золотом. Однажды ночью Нэрэзбэ неслышно вошла в опочивальню задыхавшейся императрицы, разметавшейся в жару на влажной постели, и проникла в тело государыни, внутри которого пребывала ровно девять дней. Екатерина выздоровела, и только после этого женщина с цветком вместо уха явилась пред ее очи. «Ты спасла мне жизнь, — сказала императрица. — Странно: благодаря тебе то ли во сне, то ли наяву я побывала в Испании и Германии, умирала от жажды в Египте и от любви в Сербии, где была повешена рядом с возлюбленным. Как бы там ни было, ты изгнала из меня смерть». Госпожа Нэрэзбэ подарила ей фарфоровую жабу с рожками в виде короны, которую императрица с той поры держала на своем письменном столе. Государыня же подарила цыганке кольцо с надписью «Екатерине Великой от Екатерины Второй» и свободу.

Нэрэзбэ погрузили на ее кровать-фрегат и предали воле балтийских волн, прибывших ее к берегам Риги, где она несколько лет служила русалкой в цирке Меделя.

Сам старик Медель, удостоверившись в подлинности чешуйчатого хвоста, дал отставку всем прочим русалкам, возившим свои шелковые и каучуковые хвосты в чемоданах. Соперницы наняли убийц, но ни нож, ни пуля не смогли причинить ей вреда. И никому не удавалось извлечь из ее рта китайское яблоко — это был крошечный золотой шарик, искусно скрученный из звонкой и гибкой острой стальной ленты, которая, если яблоко проглотить, освобождалась от сдерживавшего ее меда горных пчел и, разворачиваясь, режущей спиралью иссекала внутренности в мелкое крошево, вызывая мучительную смерть. Нашлись мужчины, которые без ума влюблялись в прекрасную цыганку, владевшую секретом волшеб-

ного поцелуя, который навсегда запечатывал душу мужчины любовью, — и при этом оба холодели при мысли о китайском яблоке — страшной смерти, прижатой языком к нёбу, о гибели, которую было невозможно выплюнуть, ни проглотить, ибо это грозило мучительной смертью одному из возлюбленных...

Цвета стала бывать у нас в доме, и однажды маме — она была врачом — удалось осмотреть ее ухо.

— У нее прекрасный слух, — растерянно сказала мама. — И это действительно роза, которая, судя по всему, довольно скоро распустится в чудесный цветок. Тебя это радует, девочка?

— Я боюсь этого, — ответила Цвета. — Красота всегда сулит другую жизнь, которой я не хочу.

Отец лишь задумчиво кивал: видимо, он догадывался о том, чего боится эта тоненькая большеглазая красавица с ниспадающими на острые плечи пышными, тяжелыми, как летний дождь, кудрями.

Моя подруга жила в мире, которого я мог в любой миг коснуться руками и даже губами, но куда не был в состоянии проникнуть, чтобы стать своим. Впрочем, ни она, ни я этого и не желали.

Она учила ходить меня босиком по углям костра.

Полуприкрыв глаза и сосредоточившись, она крепко сжимала мою руку, и так мы молча стояли, пока не превращались в одно целое — с единными легкими и одним ледяным сердцем, после чего смело ступали на раскаленные угли, не оставлявшие на босых ногах никаких следов. Так же сосредоточившись, она немигающим взглядом смотрела на лист бумаги в моих руках, пока он не вспыхивал, — я едва успевал отдернуть руки, чтобы не обжечься.

— Только не рассказывай об этом никому, — однажды попросила она. — Никто из наших не знает, сколько во мне огня. Каждая цыганка рождается с пламенем внутри, но благодаря семье излечивается от огня — гаданием, воровством, родами или водкой. А я коплю в себе пламя: боюсь, однажды оно мне пригодится, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому я никогда не захожу ни в церковь, ни в мечеть, ни в синагогу, — наша семья объездила всю Россию, прежде чем осесть здесь, — в любом храме мое пламя может вырваться наружу, тем более сейчас, когда Бог начал охоту на меня.

Охоту на нее начали и люди.

— У них гости, — сказал за ужином отец. — У них всегда гости, но эти — особые. Белый Цой с братьями.

Он не стал объяснять, кто это такие, но в тот день я впервые увидел, что вместо записной книжки он сунул в кобуру служебный пистолет, проверив, заряжен ли он.

Утром, когда я зашел за Цветой, — за три года нашего знакомства цыгане привыкли не обращать на меня внимания, — первый, кого я увидел, был Белый Цой, сидевший в обществе Кота-в-шляпе и потягивавший дрянное вино из большой синей кружки. Он спросил о чем-то хозяина, после чего улыбнулся мне ровными рядами блестящих золотых зубов и, не убирая ног со стола, с полупоклоном в знак приветствия снял белую широкополую шляпу. На лбу у него была дыра, в которую он с той же улыбкой глубоко засунул палец и высморкался.

— Память от одного бандера — на всю жизнь. — Он вынул палец, тщательно обтер его носовым платком и аккуратно надел белую шляпу. — Значит, ты сын крысолова. А я свою совесть в детстве съел с соплями. — Он тихо добродушно рассмеялся. — Не бойся: я не убийца. Я вор. Меня

любят, и мне многие помогают. Мужчины, женщины, дети — все считают за честь помочь Белому Цою. Даже маленькая царица. Правда?

Цвета схватила меня за руку и поволокла к выходу.

Был жаркий исход лета. Мы сидели в проволочных зарослях донника на берегу мазутного озера, спиной к высокой железнодорожной насыпи, над которой в выжженном небе истомно гудели провода.

— Только ничего не рассказывай отцу, — глухо попросила Цвета.

— Он знает про Белого Цоя.

— Ничего он не знает. Белого Цоя боятся все цыгане. Он отмороженный, как у нас говорят. Кот-в-шляпе боится его до икоты.

— И ты?

— И я. Старуха молчит. Я всю ночь шептала ей про Белого Цоя, но не услышала от нее никакого совета. Она не пойдет против Цоя. Она не хочет, чтобы я была чистой цыганкой, но я должна добиться этого сама. Так она считает. Она мне в этом не помощница и не советчица: против семьи она не пойдет, иначе навсегда останется одна. Времена-то изменились... Даже если здесь появятся другие цыгане, еще неизвестно, захотят ли они иметь дело с царицей. — Она решительно встала. — Пойдем купаться.

В тот день мы больше целовались, чем купались и загорали. Тело ее было так горячо, что на моей коже оставались ожоги, которые Цвета зализывала своим целебным языком.

Когда пришла пора собираться домой, она вдруг спохватилась:

— Отвернись: у меня выросли сиськи.

Я смотрел на нее с улыбкой.

— Покажи.

Она тоже улыбнулась — печально.

— Мужчина берет, а не просит. Но я тебе и это прощаю. Ты можешь мне, если что-нибудь... если Белый Цой...

Я кивнул: да.

Она развязала платок, которым обвязывала грудь.

Поздно вечером мать открыла Цвете дверь и отступила в сторону в легком ошеломлении: на девушке было белое платье, а пахнущие сандаловым маслом волосы зачесаны набок, чтобы всем была видна раскрывшаяся полностью и чудесно благоухающая роза там, где у других женщин находится левое ухо. На ней были туфли на высоких каблуках, смуглую высокую шею обхватывала белоснежная нитка жемчуга. На сгибе локтя висела тонкого плетения корзина, накрытая свежей холстинкой. Отец подал ей руку и помог подняться по узкой лестнице на второй этаж, в мою комнатку.

Сверкая глазами, змеясь тонким телом и раскачиваясь на каблуках, распространяя запахи сандалового масла и только что распустившейся зрелой розы, она явилась бредовым видением в моем жилище с дощатым полом и низким потолком, оклеенным белой бумагой, осторожно присела на краешек тахты, поставила на пол корзинку и, взяв из стоявшего у письменного стола ведра крупное красное яблоко, хищно впиалась в сладкую мякоть — сок потек по щекам и подбородку.

Повинуясь ее безмолвному приказу, я достал из корзинки бутылку шампанского и два бокала.

— Мне лучше ни о чем не спрашивать?

— Лучше. — Она встала, подняла бокал. — День гнева... Господи! Будь прокляты все девы цыганского мира! Будь проклята Нэрэзбэ этой жизни!

Выпив шампанского, она скинула туфли и сказала, глядя мне в глаза:

— Отныне мы муж и жена. Если ты этого хочешь, то я этого хочу в тысячу раз сильнее. Не осквернится тело без соизволения души. Можешь не выключать свет, милый.

Через час она очнулась.

— Что это ты бормотал, на каком языке? — прошептала она, водя кончиком языка по моим губам.

— *Mollior anseris medulla*, — пробормотал я, — целоваться с тобой хочу я, с нежной, нежной, пуха гусяного нежнее...

— *Medulla*... — Она села в постели. — Мне пора. Нэрэзбэ, конечно, догадается, что я была у тебя: от меня пахнет другой жизнью, и никакое мыло тут не поможет.

— Жена возвратится к мужу.

— Клянусь, — прошипела она по-змеиному.

Ночью был ограблен самый большой в городке магазин, где были два привлекательных отдела — ювелирный и меховой. Милиция, заранее извещенная о преступлении Котом-в-шляпе, успела вовремя, но перестрелки избежать не удалось. Белый Цой в упор застрелил дружка Кота, но был схвачен с сообщниками. Одному из них, впрочем, удалось улизнуть.

— Как сквозь землю провалился, — рассказывал за ужином отец, обращаясь то к маме, то ко мне, то — изредка — к Цвете. — А он-то нам пригодился бы. Не то чтобы главная фигура, главных-то мы взяли, — но интересная: эта фигура проскользнула между решетками на окнах, выходящих в задний двор, отключила сигнализацию и открыла дверь изнутри — входи и хозяйствуй! — Он поднял руку, останавливая Цвету, которая хотела вставить слово. — Когда мои ребята ворвались в цыганский дом, один из подручных Цоя, похоже, пытался убить старуху, но у него не получилось. Тогда он принялся сдирать с ее пальцев кольца и перстни, но и это у него не вышло... Я только хочу сказать, что исчезнувшему помощнику Белого Цоя грозит опасность. Поскольку Кот погиб, Цой валит на него и на таинственного героя, который с этой минуты обречен если не на смерть, то на семейное проклятие. — Он перевел взгляд с мамы на Цвету. — Ты действительно хочешь пожить... то есть — жить у нас?

— Да, — сказала она. — Если можно.

— Конечно, — сказала мама, густо покраснев. — Вы можете жить наверху. Там только нужно поставить другую кровать. Широкую.

Среди ночи она призналась:

— Прежде чем идти на ограбление, было решено на семейном совете, что меня нужно замазать наконеч. Обручить с семьей. Кот предложил «трамвай»¹, но Белый Цой заявил, что дело слишком важное и поэтому он сам берется сделать из меня «барашка»². Это вторая причина, почему я пришла к тебе вчера.

— А первая? — задыхаясь от боли, спросил я с трудом.

— Первая — самая чудная. Я люблю тебя. Я хотела, чтобы ты стал не только моим первым, но и единственным мужчиной. Так бывает?

Я проснулся — Цветы рядом не было.

— Цыгане ушли, — сказала мама. — Несколько повозок с женщинами, детьми, тряпьем... Они что-то громко кричали, проносясь мимо нашего дома. Кричали как сумасшедшие. Но они всегда так кричат, даже если говорят о погоде или...

— Где Цвета?

— Она побежала...

Я начал соображать.

— Старуха Нэрэзбэ была среди тех, кто уезжал?

— Ты думаешь, что она...

Я бросился на улицу.

¹ Групповое изнасилование (*жарг.*).

² Жертва изнасилования (*жарг.*).

Произошло то, что произошло, то, чего Цвета, наверное и даже наверняка, боялась, но мне не открывала. Может быть, потому, что человеку иной крови было бы трудно понять или поверить в это, а может быть, из страха перед словом: безымянное зло страшно, но бессильно. Она догадывалась, что семья попытается отомстить беглянке. Вероятно, кое-кто из женщин считал ее виновницей беды, случившейся с мужчинами, которых перехватала милиция, и хотя уже каким-то образом стало известно, что Белого Цоя выдал Кот, девушку винили в том, что она отвергла «обручение» с семьей и, будучи участницей дела, избежала участи остальных. Более того, нашла приют и защиту в доме главного врага — начальника городской милиции Дембицкого. Наверное, она давно исподволь готовилась к этому шагу, недаром же они столько лет были вместе, младший Дембицкий и Цвета. «Ты можешь учиться в школе и выйти замуж за русского, — говорила Рыжая Лиля, вдова Кота, — но даже если цыганка станет царицей в России, она не имеет права переступить через кнут, лежащий на земле». Дерзкая девчонка слишком многое себе позволяла, пользуясь снисходительностью похотливого Кота и покровительством живой мумии Нэрэзбэ. Старуха всем надоела. В конце концов, нельзя же всю жизнь таскать с собой в этой жаркой и безжалостной человеческой пустыне кусок доисторического льда, тратя все силы на сохранение его в первоначальном виде, — кусок льда со вмержшей в него общей памятью, которая уже давно никого не спасает от тюрьмы и сумы, — в то время как собственная память с каждым годом сокращается до перечня утрат и стоит не больше писка котенка. Озлобленные женщины выкатили кровать-фрегат во двор и вытолкали на тротуар, после чего попадали на повозки и диким гортанным криком погнали лошадей прочь, прочь отсюда — куда угодно, ибо для цыган нет жизни, в которой нет жизни для цыган.

Цвета бросилась к разоренному цыганскому дому, в котором, как только из него выкатили старухину кровать, обрушился потолок.

Навстречу ей в предрассветных сумерках посредине пустынной улицы медленно катилась костлявая кровать, украшенная резными костями герцогини Ландольфской, черным провисшим пологом и расшитыми тусклым серебром занавесками. Катафалк. Когда кровать поравнялась с нею, Цвета раздвинула занавески и легко легла рядом с царицей. «Я пришла, — сказала она. — Я никого не предавала. Прости и прощай». Да, я думаю, все именно так и было. Груда тряпья зашевелилась, и из темноты выплыла унизанная кольцами и перстнями рука. Девушка безошибочно сняла перстень, на ободке которого было вырезано: «Екатерине Великой от Екатерины Второй». Она надела перстень на безымянный палец и со вздохом сожаления и облегчения склонилась к старухе, чтобы поцеловать ее на прощание. Госпожа Нэрэзбэ обхватила ее за шею могучими руками и прижалась к ее губам. Она вложила в этот поцелуй всю любовь и всю ненависть, всю силу, которую копила столетиями, чтобы чудовищно мощным движением языка толкнуть китайское яблоко глубоко в рот Цветы, а движением руки по юному горлу вогнать сладкий позлащенный шарик в пищевод, откуда он, уже раскрывающийся, разворачивающийся, обрушился в желудок, смертоносным пропеллером иссекая нежную плоть в месиво, пока пружина не распрямилась до конца и застряла, врезавшись в глубину мягких костей таза, напоследок располозовав на узкие ленточки мочевого пузырь и превратив в крошево все, что отличает женщину от мужчины... Цвета была бессильна ответить на ее поцелуй, но неосторожная сталь задела ее сердце, где таился огонь страшнее всех огней, — пламя окутало старуху с головы до ног, вспыхнули полог и занавески, тряпье и матрац, набитый превратившимся в порох саргассовыми водорослями, когда-то питаемыми плоть любовников неистойвой силой, но со временем, регулярно поливаемые сандаловым маслом, ставшими клейкой матрицей, которая хранила от смерти лишь форму прекрасного юного тела Нэрэзбэ, — фор-

му, безжалостно не принимавшую расплывшуюся тушу старухи, лишавшую ее сна и покоя своей неизменной жесткостью, сравнимой лишь с жестокосердной и бессмысленной памятью одиночества...

Охваченная гудящим пламенем кровать, скрежеща колесами, свернула в наезженную колею и с грохотом, стреляя во все стороны ярко-золотыми иглами и затмевая предрассветное небо горьким черным чадом, помчалась по звонкой глине вниз, к окутанному бурым туманом мазутному озеру, — я замер на гребне железнодорожной насыпи, оглушенный проносившимся за спиной товарным составом и ослепленный летевшим в смоляную бездну пылающим костлявым фрегатом...

Все это я, конечно, домыслил и выдумал, но горе мое было невымысленным.

Мазутная бездна поглотила Нэрэзбэ.

Поздно вечером ко мне поднялся отец.

Я сидел спиной к письменному столу, окутанный запахами спелых яблок, цветов и мазута, и наблюдал за цепочкой со змеиной головкой, текуще извивавшейся на моей ладони.

Отец перевел взгляд со стола, на котором в свете настольной лампы тускло желтела бутылка с недопитым шампанским, на разоренную постель — на одной из подушек четко отпечатался профиль юной женщины с ухом как роза и разметавшимися, тяжелыми, как летний дождь, волосами...

— В прошлом году она должна была получить паспорт, — сказал отец. — Но не пришла за ним. Паспорт так и пролежал все это время в сейфе. Сегодня я подписывал бумаги и узнал, наконец, ее настоящее имя... знаешь, как это бывает у цыган...

— Роза, Лилия, Софья, Надежда, Любовь... — Я пожал плечами. — Или Кармен?

— Адората, — сказал отец. — Адората Нэрэзбэ. Спокойной ночи.

Адората. Обожаемая.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ИОРДАН

— Эй, молодка! — раздался приглушенный голос из орешника. — Переночевать пустишь? Я без глупостей! На одну ночь только!

Милана насторожилась. Она жила на окраине городка, дом ее выдавался из улицы далеко в поле, на которое она выгоняла корову и овец. Прежний муж обнес двухэтажный узкий дом высоченным забором, забив деревянные стыки железными полосами, а поверху пустил колючую проволоку. Ворота и неширокая калитка были крест-накрест обиты железом и запирались хитрыми замками. Жила Мила после смерти мужа одиноко и сторожко. Служила в библиотеке. Приходя с работы, растапливала колонку и отмывалась добела, особенно руки — их можно было хоть в аквариум запускать. В гости никого не звала, а незваных — спраживала. Было ей тридцать пять лет.

— На одну только ночь! — продолжал мужчина из орешника. — Платить нечем, а услужить — чем могу.

— Стемнеет — придешь. — Мила поднялась с ведром молока. — Калитку оставляю открытой. Если ты, конечно, один.

— Один, ей-богу один!

— Имя Божье не поминай всуе.

И, покачивая бедрами, побрела к своему дому.

Вернувшись домой и заперев все замки и засовы, она выставила молоко в погреб — остудить, а сама поднялась в кухню, где, ополаскивая руки под носатым рукомойником, разглядывала себя в пузырястое зеркало и смутно сожалела о своем поступке. Она догадывалась, что это за человек

окликнул ее из орешника: в последние дни в городке только и было разговоров что о сбежавшем из «семерки» (так здесь называли тюрьму) заключенном. Солдаты с собаками прочесывали окрестные леса, милиция расклеила на всех видных местах фотографию беглеца — черный узкий овал лица с носом утицей и глубокими морщинами на лбу. Убийца. Сидеть ему оставалось год с небольшим, да вот не выдержал — сбежал.

На одну ночь.

Она выросла в семье, где было пятеро детей, и все — девочки. Одежда от старших переходила к младшим, и Мила радовалась, что она вторая по возрасту: пальто и платья старшей сестры Веры приходились ей почти впору, не надо было ничего подворачивать да подшивать. Они с Верой были одного роста, разве что у Милы нога была поменьше. В семье по три дня пили спитой чай, водку гостям наливали специальной мерной рюмочкой, свет включали, когда в комнатах становилось уж совсем темно. По окончании библиотечного техникума Мила вышла замуж за тепловозного машиниста Григория, человека аккуратного и почти непьющего. С полочки она всякий раз покупала бутылку водки, как делала ее мать, но выпивал Григорий — рюмку-другую — только по большим праздникам, так что в погреб за двенадцать лет скопилось несколько ящиков непечатой водки.

С утра до вечера Григорий гонял туда-сюда цистерны с нефтью, составляя эшелоны, и лишь изредка его посылали в дальние рейсы. По выходным он любил заниматься домом и хозяйством: что-то выпиливал, приколачивал или возился со свиньями и кроликами. Детей у них не было. На третий год совместной жизни они отправились к врачу, прошли обследование, выяснилось, что ни муж, ни жена не страдают бесплодием. Местный доктор выписал им направление в областную клинику, где супругам должны были объяснить, что, как и в какое время нужно делать, чтобы обзавестись ребенком, но им все было недосуг, а таблетки, которые привез однажды из дальнего рейса Григорий, не помогли. Побывали они и у знахарей, но только зря деньги выбросили на ветер.

Из библиотечного запасника Мила принесла Библию, и хотя в церковь супруги никогда не ходили, мало-помалу пристрастились к чтению странной книги.

Стоило открыть ее и вчитаться, как мир поворачивался на своей алмазной оси и ты оказывался на краю света, который в то же самое время был центром и средоточием мира. Здесь сражались племена, вопили и плакали пророки, звучали песни любви и обжигали проклятия, и все это происходило, если верить географической карте, висевшей в библиотеке, на крошечном пятячке земли, в краях пустынных и каменистых, среди редких рощ и виноградников, в клубах пыли и под крики рожениц и умирающих. Мир этот менялся и был многошумен, грозен и желанен. Среди пшеничных полей и масличных рощ пели неведомые птицы, рабыни дарили наслаждение и новую жизнь иссякающим старцам, воины в одиночку одолевали лютых великанов, а женщины отличались не только красотой, но и мужеством, и с высоких гор светил немеркнущий свет, а ночью миром овладевало чудовище Раав...

Григория особенно поразила война между галаадитянами и ефремлянами. В двенадцатой главе Книги Судей Израилевых рассказывается о ссоре ефремлян с Иеффаем, лидером галаадитян. После словесной перепалки ефремляне начинают войну против Иеффая.

«И собрал Иеффай всех жителей Галаадских, и сразился с Ефремлянами, и побили жители Галаадские Ефремлян, говоря: вы беглецы Ефремовы, Галаад же среди Ефрема и среди Манассии.

И перехватили Галаадитяне переправу через Иордан от Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: „позвольте мне переправиться“, то жители Галаадские говорили ему: „не Ефремлянин ли ты?“ Он говорил: „нет“.

Они говорили ему: „скажи: шибболет”, а он говорил: „сибболет” и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закалали у переправы через Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи».

Немногим удалось перебраться на другой берег Иордана.

Когда Людмила завершала чтение этого короткого эпизода, Григорий захлопывал книгу и выходил во двор покурить и подумать. Мила пристраивалась рядом с ним на крылечке, и муж, мучительно подыскивая слова, пытался передать ей мысли, вызванные прочитанным.

Ефремляне проиграли и, чтобы избежать смерти и переправиться через Иордан, должны произнести родное слово «сибболет» так, как оно звучит на языке победителей — «шибболет». Двойка на этом издевательском экзамене по прикладной лингвистике равнозначна гибели. Однако находились и такие, кто — может, из-за долгого опыта общения с галаадитянами или в силу повышенной фонетической чуткости, обостренной страхом, — произносил слово «шибболет» как требовалось. То есть именно — не правильно, а так, как требовалось. Победенным приходилось унижаться до того, чтобы извратить звучание природного языка, взлелеянного предками. Отказаться от исповедания предков, их культуры, их духа, — отречься от идентичности, — чтобы спастись на землях, занятых народами колен Гад и Рувим. Усталые, измученные, униженные, они собираются в безопасном месте, утоляют жажду и голод; они угрюмы; они раздавлены — не только поражением в бою, но и поражением своей речи и своим вынужденным предательством. Как быть дальше? «Сибболет» уже стал синонимом поражения, унижения, отщепенства и изгнания. Перенять «шибболет» победителей, признав их правоту и приняв их язык, культуру, дух? Наверняка нашлись и такие, кто так и сделал — и ушел в небытие. Нашлись и другие: гордо настаивая на превосходстве «сибболета» над «шибболетом», — лучше есть стоя траву, чем на коленях — мясо, — они сделали это словом символом, знаменем тех немногих, кто готов стоять до конца и искупить предательство кровью и смертью; они тоже ушли в небытие.

— Вся их жизнь изменилась, — говорил Григорий, — а все из-за одной буквы. Как же себя искорезить нужно, чтобы изменить себе и спастись... А новая жизнь — она будет лучше или хуже? Никто ж не знает... Но ее, новой жизни, уже не избежать, значит, нужно жить. А как? Слава богу, мы с тобой на одном берегу.

Иногда он жаловался на боли в сердце, но к врачам не обращался. И однажды пришел со смены бледный, едва держащийся на ногах, попросил жену, чтобы затопила титан. «Это, наверное, простуда, — с виноватой улыбкой сказал муж. — Сейчас приму ванну погорячее, выпью чаю с малиной и под одеяло. Завтра ж в рейс».

Ванна, однако, не помогла: в горячей воде Григорий и умер от острой сердечной недостаточности, как сказали врачи.

Людмила осталась одна. Она успевала и в библиотеке, и по хозяйству, а когда выдавалось свободное время, читала Библию. Высокая статная красавица и близко не подпускала к себе мужчин.

И вот тебе на!

На одну ночь.

Еще не стемнело, как она растопила титан и приняла ванну. Надела голубой махровый халат без пуговиц. Достала из погреба пыльную поллитровку. Задернула занавесной иконку в углу.

Когда стемнело, в калитку постучали.

Мила сняла с гвоздя серп и ногой пихнула калитку.

Мужчина был в темной казенной куртке, грязнущих штанах и в кепке с узким козырьком.

— Спасибо, — пробормотал он, косясь на серп. — Я человек безопасный, скажу тебе прямо.

— Однако из тюрьги сбежал, — сказала Мила. — Пойдем в дом.

Она налила гостю горячих шей, нарезала хлеба тонкими ломтями. Гость выпил водки и набросился на еду.

— Сколько ж тебе лет? — спросила Мила. — И за что посадили?

— Шестьдесят шесть. — Он выдохнул. — Вкуснющие у тебя щи! — Налил себе и ей в рюмки. — Со знакомьцем! Меня Мишей зовут. Михал Михалычем.

— Будь здоров, Михал Михалыч. — Мила выпила. — А меня — Милой. Так посадили тебя за что?

— Жену убил, — сказал Миша, принимаясь за холодец. — Я ж сам птербуржец, а она приезжая... тридцать пять лет... Поначалу ничего, а потом стала она мне скандалы под пьяную руку устраивать. Я выпью, врежу ей разок — она к соседям. Милиция, протокол... А в Питере знаешь какие порядки? Три раза залетел — выгоняют из города и лишают прописки. Когда второй раз такое случилось...

— Водку она тебе сама покупала? — перебила его Мила.

— То-то и оно. — Он налил себе еще. — Тогда я и понял, чего она хочет... Да еще соседи донесли, будто она уже и молодым любовником обзавелась.

— Твое здоровье, Миша. — Мила выпила. — Только носки сам себе стирать будешь. Я баба не брезгливая, но насчет мужских носков — извини.

— Извиняю, конечно. — Миша выпил. — В третий раз думаю: кранты мне. И без того поддатый пришел, а тут еще в холодильнике две поллитры. Выпил я одну поллитру, отрубил ей голову топором. — Он выпил без жадности. — Потом позвонил в милицию, а пока они ехали, вторую поллитру опростал. Дали четырнадцать лет.

— А выйдешь — что будешь делать?

— Женюсь. — Михаил беззвучно захохотал. — Все равно мне без бабы хоть в сто лет — каюк.

— Я тебе воду согрела, — сказала Мила, — помойся. Но только никаких фокусов: как скажу, так и будет.

— Я ж человек режимный, — усмехнулся Михаил. — Все про все понимаю. Значит, пальцем тебя — ни-ни? Что ж. Да я завтра и уеду.

— В этой одежке? Без денег? — Мила вздохнула. — Тебя еще месяц, самое малое, будут и на железной дороге поджидать, и на автобусной станции. — Помолчала. — Как знаешь, впрочем. На билет я тебе дам, но до станции ты не дойдешь — возьмут.

Михаил угрюмо кивнул.

— И добавят, — сказал он. — Но ты ж меня на месяц у себя не оставишь?

— Это как вести себя станешь, — сказала Мила. — Иди мойся — вода стынет.

Когда распаренный Михаил в темно-синем банном халате вошел в гостиную, Мила сидела за столом, перед нею лежала раскрытая книга.

Михаил сел напротив. Перед ним стояла высокая рюмка.

— Выпей, а я тебе одну историю почитаю. — Людмила посмотрела на него глубоким взглядом. — Только не перебивай. Это история войны галаадитян с ефремлянами...

Она читала ровным голосом. Миша ловил вилкой скользкие грибы в тарелке и слушал.

— Жуть, — сказал он, когда она захлопнула Библию. — Значит, пока я здесь, никаких сибболетов?

— Тебе решать, — усмехнулась Людмила. — Переходить Иордан или нет. Он кивнул:

— У меня и выбора-то нет.

— Выбор всегда есть, — возразила она, снимая халат. — Так что?

— Договорились, — сказал Михаил, не отрывая взгляда от ее тяжелых белых грудей с черными сосками. — Шибболет.

Склонившись к нему, она с улыбкой завязала ему глаза черным платком и выключила свет.

— Тогда иди за мной, — велела она.

Под ее ногой скрипнула лестница.

— Иду. — Михаил сглотнул. — Платок не снимать?

— Не промахнешься. Я на полу постелила.

— Чего ж ты хочешь? — отдышавшись, спросила Мила. — Отомстить ей?

— Отомстить было бы вкусно. Но как-то охладел я. Все же тринадцать лет отсидел.

— И за год до освобождения — бежал?

— Что б ты понимала!

Утром Милана накормила Михаила сытным завтраком с молоком и сказала беспрекословно:

— Проживешь у меня сколько проживешь. И не высовывайся, чтоб тебя кто не застукал тут.

— Договорились, — сказал Михаил. — Ты только не задерживайся.

В полдень, подоив корову, она ушла, заперев все двери на все замки.

Первым делом Михаил взялся обследовать дом — от чердака до подвала. На чердаке он нашел только ножную швейную машинку, укутанную мешковиной, несколько бухт электропровода да десятков пустых деревянных ящиков, тонко пахнувших яблоками. Через весь чердак висели веревки, на которых хозяйка сушила белье. Он выглянул в маленькое окошко и увидел лишь обсаженную липами дорогу, по которой изредка проезжали машины, а раз протрещал милицейский мотоцикл. Вокруг дома были пастбища да засаженные картошкой поля, разделявшиеся лишь травяной межей. Все как на ладони.

На втором этаже была спальня с низким потолком и широкой металлической кроватью. Угол спальни занимало зеркало на тумбочке, в которой Михаил и обнаружил коробку со сберегательной книжкой на имя хозяйки и стопку денег на повседневные расходы. Под кроватью в большой картонной коробке насчитал сотни две пачек папирос.

На первом этаже располагалась просторная кухня с четырехконфорочной плитой, старым гремучим холодильником и кладовкой — банки с вареньем, соль, сахар, какие-то пакетики со специями и полки со столовыми приборами. Из крана капало.

Центр гостиной занимал круглый раздвижной стол, покрытый синтетической скатертью. У стены — плюшевый диван, над которым висела свадебная фотография. В углу — этажерка с книгами и картонными папками, в которых были собраны вырезки из газет и журналов — рецепты, кройка и шитье. Во второй комнате стоял точно такой же зеленый плюшевый диван, к которому было придвинуто узкое кресло. Напротив — черно-белый телевизор.

Во двор можно было выйти через главную дверь, а можно — и через кухню, откуда вниз вели кирпичные ступени. В самом низу налево — деревянная дверь в погреб. Михаил щелкнул выключателем. Горы картошки на поддонах, овощи, банки с соленьями, а между стеллажами и стеной в несколько рядов выстроились белоголовые бутылки с водкой. В углу на огромном гвозде висел ватник, за которым прикладом в пол стояло ружье. Тут же на чурбачке красовался сундучок с патронами, порохом, мешочками с дробью и прочими припасами.

Часть обширного, мощенного кирпичом двора занимали скотные сараи и загон для свиней. А сбоку, притулив сарай к коровнику, прежний

хозяин выстроил что-то вроде мастерской — с верстаком и тисками, множеством инструментов и прочим железным хламом. Хорошенько обшарив мастерскую, Михаил отыскал второй комплект ключей от навесных и врезных замков, завернутый в промасленную тряпочку. Удовлетворенно хмыкнув, он оставил в сарае все на своих местах. Притащил сюда из погреба ружье с припасами и хорошенько вычистил стволы. Запер мастерскую на ключ. Конечно, оружие ему ни к чему, а если поймают, так оно еще и вину отяготит. Но все же иметь под рукой хорошую двустволку было приятно.

Прихватив из подвала бутылку и шмат вяленого мяса, он вернулся в кухню, где от души выпил и закусил, но прежде — заменил в водопроводном кране прокладки: капель раздражала.

Вернувшаяся со службы Людмила нашла его похрапывающим на диване во второй комнате, где стоял телевизор. На полу лежало разобранное ружье. Лицо Михаил прикрыл развернутой Библией. В кухне хоть и было накурено, но окурки валялись в помойном ведре, пепельница начисто вымыта. А пустая бутылка из-под водки спрятана за газовой плитой.

Мила принялась готовить ужин.

За ужином, откупорив вторую бутылку, Михаил поведал ей о ближайших своих планах. Починить электропроводку — в первую очередь на чердаке. Привести в порядок канализацию и водопровод.

— Я в тюряге многому научился, — сказал он. — А в Питере был шофером-дальнобойщиком. Потом в гараже слесарем и электриком. Руки на месте, голова в порядке, только вот без документов — куда?

Мила кивнула.

— В Питере у меня найдутся дружки, — продолжал Михаил. — Если не перемерли все, конечно: тринадцать лет прошло. На старую квартиру возвращаться нельзя. Для начала можно устроиться дворником — им служебное жилье дают. А там и с бумагами разобраться... Не перевелись мастера, которые не то что блоху подкуют, но и новый паспорт изготовят — не отличишь от настоящего, только деньги плати...

— А ружье зачем?

— Просто так. Люблю с железом возиться. Да и не дело это — держать оружие в подвале.

— Там сухо.

— Смажу и уберу подальше, — успокоил он ее. — А пока домом твоим займусь, много чего нужно сделать. Вот электропроводка у тебя всюду по стенам — не годится, надо в стены убрать. Да и прочее всякое...

— Пойдем-ка, — поманила Людмила.

Из старенького шкафа она достала добротный костюм и велела примерить. Темно-синий двубортный пиджак сел как влитой. Брюки оказались длинноваты.

— Я подогну, — сказала Людмила. — На всякий случай. Выключи свет, Миш.

И стала рвать с себя одежду, не дожидаясь, пока он освободится от костюма.

Ночевали они все-таки наверху. Мила была жадна и нетерпелива, не давала покоя и по утрам, но Михаила это вовсе не сердило: он и сам истосковался по женщине, да и гордился немножко тем, что она так на него «запала», как говорили зеки помоложе. По понедельникам, когда в библиотеке был выходной, они и вовсе не вылезали из-под одеяла до самого обеда.

— Ты счастлива? — спросил как-то Михаил.

Людмила молча посмотрела на него и впервые по-настоящему улыбнулась, но — промолчала. Улыбка у нее была тягучая и густая, как домашняя

сметана, в которой ложка стоит. Поначалу ее пугали его звериные ухватки, рычание и животный хрип, но вскоре она смирилась с его ненасытностью, проявлявшейся почти что не по-человечески.

Михаил погладил ее массивное прохладное бедро и почувствовал, как дрогнули ее тяжелые ягодицы.

— Я опять хочу! — тихо засмеялась она, пряча лицо на его волосатой груди. — Как последняя сука.

— Ничего, — сказал Михаил, по-хозяйски заваливая ее на спину. — Дело хозяйское.

С утра до вечера он хлопотал по дому. Стараясь поменьше шуметь, он раздолбал все стены, заделал электропроводку и даже заштукатурил кривые рытвины, тянувшиеся к розеткам, выключателям и лампочкам. Работа затягивала, и он хватался то за одно, то за другое: чистил трубы печные и водопроводные, возился с ружьем, точил ножи. Но когда как-то вечером Мила попросила его зарубить петушка, он лишь измочалил топором шею несчастной птицы, которую приканчивать пришлось хозяйке.

— Человека убил, а с курицей справиться не можешь, — попеняла она ему.

— Топоры у тебя все тупые.

— Так возьми да наточи.

И на следующий день при помощи напильников и бруска он довел три топора и колун до бритвенной остроты и блеска.

Иногда он вспоминал свою ленинградскую квартиру — длинную кривую комнату под самой крышей в коммуналке, захлавленную и пропахшую табачным дымом, но не испытывал никакой тоски. Питер был связан с убийством, и хотя он и стремился туда всей душой, воспоминание о залитой кровью женщине вызывало содрогание. Чтобы избавиться от дурной памяти, он брался за Библию, подчеркивая что-то карандашом или даже выписывая в ученическую тетрадку какие-то фразы...

А Людмила Ивановна неожиданно для себя обнаружила, что в городке полно мужчин, взгляды которых — восхищенные или грязно-липкие — она теперь принимала со смутной радостью.

Постоянным читателем библиотеки был старший лейтенант милиции Кравцов, приходивший сюда каждую неделю, а то и чаще. Он явно стремился обратить на себя внимание статной царицы-библиотекарши, с невозмутимым видом восседавшей за конторкой. И если раньше на его попытки заговорить с ней Мила отвечала односложно или вовсе отмалчивалась, то сейчас, к радости офицера, охотно вступала с ним в разговоры.

— Ищите все своего беглеца? — поинтересовалась она. — Ну, который из тюрьмы сбежал.

— Ищем и найдем, — твердым голосом отвечал Кравцов, налегая могучей грудью на конторку. — Чую я, что он пока где-то в городе прячется. В самом, можно сказать, невинном месте. Может, даже в вашем доме...

— Может, — с улыбкой кивала Людмила Ивановна. — И что?

— Не век же ему прятаться — найдем.

— Вы опять Пушкина берете? Стихи любите?

— Я все подряд у него читаю, — говорил Кравцов. — Я честный человек, Людмила Ивановна. И неженатый. А пока неженатый, можно и стишками побаловаться.

— Откуда у вас этот шрам? — спросила вдруг она, когда он взял со стойки очередной том академического Пушкина.

— Глаз у вас! — восхитился Кравцов. — Это меня в детстве паук укусил. Я его сдуру в руку, а он меня — цап! Рука раздулась, как валенок. Фельдшер с перепугу опухоль и разрезал, но ничего не нашел, а потом все само собой прошло.

— Не он, а она, — сказала Мила. — Вас укусила самка паука-крестовика. Она крупнее самца, на спине у нее такими белыми точечками крест выложен. После соития с самцом она его кусает, а потом съедает.

— Соития... а! — сообразил Кравцов. — Ну и ну! Вот они вы какие, женщины, а? Кому еще такое в голову придет... надо же!

В ответ Людмила лишь безмятежно улыбнулась.

Когда он ушел, Мила вдруг вспомнила о своем узнике, и внезапно ей в голову пришла мысль о том, что отношения их чем-то неувлочно напоминают отношения между людьми, заброшенными в библейские пустыни и леса, в то насыщенное тревогой пространство, где мужчины воевали и брали женщин, как сильный зверь — слабого, и где слова значили не меньше, чем поступки, и она была тоже зверем, пусть и слабым...

В конце июля Мила отправилась пропалывать картошку, но через полчаса ее скрутило и она еле добралась до дома. Болело внизу живота. На следующий же день она отправилась к врачу, который и сказал ей, что она беременна.

— И что теперь? — спросил слегка огорошенный новостью Михаил. — Мне уезжать?

— Ребенку нельзя без отца, — сказала Людмила. — И ты слово дал.

— Слово-то — из книжки! — рассердился Михаил. — А в ней много чего написано. Я тут, кстати, внимательно почитал про всех этих парней... галаадитян и ефремлян и других. Та бойня у моста через Иордан — это все так, вроде как подрались две шайки пастухов и разбежались. А на самом деле ефремляне были самым важным народом в Израиле, во всем тон задавали вместе с царем своим Иеровоамом. С ним они и в ассирийский плен пошли, только там и сгинули. А Иеффай твой вообще нет никто. Шестерка, хоть и ходил в судьях. Умер в одиночестве, и никто даже не знал, где он похоронен. Так-то, Людмила Ивановна! Историю надо досказывать до конца и целиком. К нам поп по субботам в тюрягу приходил, так тот все про Христа да про подвиги его, то да се. А я внимательно прочитал книжку, которую он нам оставил, и говорю: «Что ж вы, батюшка, то да се, а главного не говорите? Ведь Христос-то ваш бже евреем. А?» Поп залопотал что-то, братва понасупилась, но некоторые из наших призадумались. Не надо по кусочкам, надо все выкладывать...

— Ты слово дал, — невозмутимым голосом повторила Мила. — Исус Навин словом солнце в зените остановил, чтобы помочь своим соплеменникам в битве. Такие это слова.

— Были и спльли. — Михаил выпил водки и закурил. — Этими баснями только соловьев кормить, да и те с голодухи ноги протянут.

Той ночью она постелила Михаилу внизу, в комнате с телевизором, на узком покато диване, на котором спать можно было, только если двумя руками за жесткий подголовный валик держаться. Ружье, завернутое в простыню, она взяла с собой — Михаил не обратил на это внимания: думал, пил водку стакан с стаканом. Потом он попытался уснуть на покато диване, но — не спалось.

Прежде чем лечь, Людмила Ивановна выбрала из сундучка два патрона потяжелее и зарядила ружье.

Ей тоже не спалось. Разговор с озлобившимся вдруг Михаилом словно повернул алмазную ось мира, и женщина почувствовала себя в пространстве, где даже воздух напоен неложной угрозой.

Стемнело.

Ей было хорошо слышно, как ворочался и ходил в кухню Михаил. Скрипнул дверцей шкафа. Одевается, спокойно отметила Людмила Ивановна. «Пусть бы он сбежал сегодня, — думала она. — Деньги из укладки

он еще позавчера взял — на билет хватит». Но когда он вдруг затих, она поняла — может быть, потому, что все еще дышала воздухом иного пространства: просто так он не уйдет. «Ну зачем ему это? — Она долго ждала, пока внизу не скрипнула половица. — Значит, он такой, а я — такая. Зверь и зверь, только разные звери...»

Она взяла ружье и приподнялась на локте, нацелив стволы на дверь, и когда Михаил — в синем костюме и с широколезвийным топором — смутной фигурой возник на пороге, она не раздумывая выстрелила из обоих стволов. Две разрывные пули разорвали на нем одежду, пробили, круша все на своем пути, сильное мужское тело и отбросили его к стене. Он сполз на пол, не выпуская из рук топора. Рядом упала велюровая шляпа — синяя, в тон костюму.

Она вылезла из-под одеяла и, перешагнув через мертвые мужские ноги, спустилась в кухню, где на полочке давно без дела стоял телефон.

Не прошло и пятнадцати минут, как к дому подъехали милицейские машины и мотоциклы.

— С вами все в порядке, Людмила Ивановна? — кинулся к хозяйке старший лейтенант Кравцов. — Он вас не поранил, нет?

Она мотнула головой.

— Наповал! — крикнул сверху мужской голос. — Вы жаканами, что ли, стреляли? У него вся спина...

— Да заткнись ты там! — крикнул Кравцов. — Оформляйте скорее да тащите в машину. Вы тут ремонт, вижу, затеяли... Вам, может, доктора позвать, Людмила Ивановна?

— Не надо доктора, — прошептала она. — Я вот только водички выпью...

Кравцов бросился к графину с водой.

— Мы у ворот оставим своих людей. — Он поднес ей стакан. — А вы бы пока прилегли. Утром и поговорим... протокол, то да се... Долго он у вас пробыл-то? День? Два? Ну, слава богу, все позади. — Он взял у нее из ее рук стакан и поставил вверх дном на вязаную салфетку. — Дождетесь? Впрочем, конечно! А сейчас прилягте... и ждите нас... ага? Слово даю: больше ничего не случится. Верите? Ждите. Ага?

— Дождусь. История должна быть рассказана до конца, — сказала Мила. — А я на своем берегу.



ПИНДАР — МАКСИМ АМЕЛИН



ПОБЕДНЫЕ ПЕСНИ

Поэзия Пиндара (518 — 438 гг. до Р. Х.) на протяжении многих веков остается невызываемой пленницей филологов, причем наиболее изощренных из них, несмотря на то что ни от одного древнегреческого лирика не сохранилось такого числа целых произведений — сорок пять победных песен, объединяющих более пяти тысяч строк. Причины подобного положения дел — не одна и не две. Невольно задаешься пиндарическим вопросом: *с чего начать?* Дело в том, что древнегреческая культура хотя и стала составной частью новоевропейских, но со значительными смещениями и подменами: ямб из трехдольного размера превратился в двудольный, ионийский лад сделался лидийским, раскрашенная скульптура обернулась беломраморной, демократия приняла форму охлократии, «олимпийскими играми» были названы сугубо светские спортивные мероприятия... Этот ряд можно длить до бесконечности — за что и в какой только области ни возьмись.

Смыслонаполнение, например, слова «лирика» было совсем иным, нежели ныне. В классицистической иерархии жанров этому понятию соответствовал жанр лиро-эпический. Однако древнегреческий лирик — не просто сочинитель стихов, но и мифограф, и композитор, и даже танцмейстер. Лирическая поэзия, тем более хоровая, была явлением общественным и религиозным. Лирика прежде всего пелась в сопровождении музыки и танца. Главная цель лирического поэта — своим произведением как можно сильнее поразить, потрясти и привести в изумление слушателя, воздействуя одновременно на чувства и мысли. Поэтому при относительном традиционализме смысловом, восходящем к представлению о том, что любые новшества такого рода могут вызвать гнев богов, в композиционном плане и в организации формальной стороны стихотворения для поэта не было никаких ограничений. Лирическому произведению необходимо было обладать достаточной степенью новизны и непредсказуемости, чтобы первый слушатель никогда не знал заранее, с чего оно начнется, куда пойдет и как закончится. При этом каждая победная песнь Пиндара, своими соотечественниками называвшегося «величайшим из лириков» или просто «Лириком», — отдельная поэтическая задача, решаемая единственным из возможных способов.

О самом Пиндаре достоверных сведений сохранилось немного; мифологическая же биография поэта куда более обширна, чем фактическая. Доподлинно известно, что родился он в Киноскефалах, предместье Фив Беотийских; что происходил из знатного рода Эгеидов, а значит, находился в дальнем родстве со многими правителями городов-государств не только континентальной Греции, но и колониальных поселений; что учился музыке в Афинах и довольно рано стал известен как поэт. Самое раннее из сохранившихся его творений — Десятая Пифийская победная песнь, Гипоклу из Пелинны — относится к 498 году до Р. Х., когда поэту было лишь двадцать лет:

Амелин Максим Альбертович родился в 1970 году в Курске. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Автор трех книг стихов, статей о русских поэтах конца XVIII — начала XIX века, переводчик стихотворений Катулла (1997, 1999, 2004) и «Приаповой книги» (2003). Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве, занимается книгоиздательской деятельностью.

Счастливы град Лакедемон; —
 блажен Фессалия-град; —
 знатнобранного же праотца
 единого царствует род в обоих — Геракла...

Победные песни по заказам правителей областей и частных лиц Пиндар продолжал писать до глубокой старости. Александрийские филологи разделили их на четыре книги по местам проведения игр — Олимпийские, Пифийские, Истмийские, Немейские. Судя по количеству первых и объему вторых, именно им поэт отдавал явное предпочтение, поскольку посвящены они были соответственно Зевсу и Аполлону, богам, исстари почитавшимся жреческим родом Эгеидов. Истинно религиозным чувством проникнуты все произведения Пиндара. Более того, в победных песнях поэт последовательно высказывает монотеистические идеи, считая Зевса единственно истинным и верховным богом. Единобожие непосредственно связано у него с идеей единоличного правления, опирающегося на аристократические ценности, отказавшись от которых эллинская культура постепенно обмельчала и сошла на нет. К числу таких ценностей прежде всего относится *доблесть*, унаследованная от предков сущность, проявление божественного в человеке. Так же как Геракл, будучи сыном бога, заслужил бессмертие собственными подвигами, доблестный на состязаниях должен быть прославлен и увековечен. Настоящее — следствие прошлого, поэтому новосовершающееся событие встраивается в ряд уже свершившихся, а становящееся действие — установленных.

Напротив, афинская демократия, склоняющаяся ко многобожию, для Пиндара неприемлема, и он старается всячески обходить ее молчанием, без особой на то необходимости не упоминать о ней. Одна-единственная песнь — Седьмая Пифийская, Мегаклу из Афин (486 г. до Р. Х.) — посвящена поэтом их уроженцу, причем за год до написания изгнанному из города за персофильские настроения. В ней, отнюдь не случайно оказавшейся самой малой по объему, как в зерне, заключено при этом все необходимое и достаточное для композиционного целого любой победной песни, являющейся по сути своей не чем иным, как стихотворением на случай:

Афины многоградные — наикраснейший
 зачин, Алкмеона сынов
 конями сильному роду сей в основу
 положенный песни. —
 Назову ли какие славнее
 и дом, и отечество
 из существующих
 в Элладе, скажите? —

Все грады собеседуют об Эрехтея
 согражданах, коими храм
 в Пифоне дивный божественном созижден
 тебе, Аполлоне. —
 Подвигают меня пять Истмийских
 побед, — Олимпийского
 Зевса в урочищах
 одна, — две при Кирре,

о Мегакле, твоих
 предков и самого. —
 Удачей новую
 доволен. — Печалиться ль,
 что за прекрасным вослед подвигом — зависть? —
 Благополучьем прочным процветают мужи
 лишь превосходящие, мол,
 и то, и другое.

Содержательный минимум таков: именование победителя; величание его рода и места, из которого он происходит, его божественного покровителя; перечь прежних побед, если таковые имелись; прямая или косвенная похвала самой песни; морально-этические наставления. Что здесь отсутствует напрочь? — какой-либо мифологический материал, в объемистых песнях занимающий достаточно большое и центральное место. Героические мифы Пиндар встраивает в победные песни особым способом, напоминающим технику современного кинематографа: никогда не начинает с начала и не доводит до конца, показывает

лишь наиболее яркие эпизоды, детально раскадровывая их, и с легкостью переходит от одного к другому, монтируя и как бы склеивая оценочными высказываниями. В ход идут не только общеизвестные, но и местные мифы и семейные предания победителей. Мифотворческая способность эллинов поистине была безграничной, и Пиндар, выступая как интерпретатор старых мифов, подкрепляет ими и без того твердые основания своей поэзии.

У победных песней — четкое строфическое строение. Они состоят либо из параллельных триад, где строфа и антистрофа имеют одну метро-ритмическую структуру, а эпод — другую, либо из соединенных последовательно однородных строф, что значительно реже (например, Шестая Пифийская). Каждая песнь имела когда-то собственный напев и в плане метро-ритмики являлась уникальной. Неравносложные строки, создающие прихотливый ритмический рисунок и повторяющиеся из строфы в строфу, в 19-ти песнях размериваются дактило-эпитритами, в остальных — эолийскими логаздами. Со сложностью метрической гармонирует стилистическая затрудненность. Намеренно усложняя язык, Пиндар с легкостью пользуется всем арсеналом синтаксических и семантических орудий: сверхъестественной инверсией и гиперболой, сложной перифразой и эллипсисом, смелой метафорой и неологизмом... До тех пор, пока европейцам не стали известны гимны Ригведы, поэзия Пиндара по праву считалась самой таинственной и герметичной. Малопроницаемыми для большинства слушателей творения поэта замысливались изначально, с течением времени же стали еще более закрытыми. Представлению о том, что *красота*, равно как и *доблесть*, угодна богам, соответствовал высокий стиль, какой не есть простой набор высоких слов. Пиндар, пользующийся в победных песнях одновременно тремя диалектами (ионийским, дорийским и эолийским), знает множество способов, как сделать обыденное слово высоким, поставив его в соответствующий контекст. При этом поэт никогда не грешит избыточностью, ему присуще острое чувство меры, ясное представление о существовании поэзии.

Большое влияние лирика Пиндара оказала не только на Горация, но и на раннехристианскую культуру. Григорий Богослов и Феофил Антиохийский, Климент Александрийский и блаженный Иероним, Ириной Лионский и Афиногор Афинский в своих творениях цитировали отрывки из его песней (в основном нравственно-этического содержания) наравне с Писанием. Христианская гимнография началась с подражаний Пиндару. В IV веке римский поэт Пруденций стал писать *победные песни* в честь святых мучеников. Отдали дань Пиндару Иоанн Дамаскин, Феодор Студит и другие гимнографы. Василий Кессарийский наставлял певцов, как петь псалмы наподобие *победных песней* Пиндара. Часть православного богослужения — *победная песнь* ангелов: «Свят, свят, свят».

Передача лирики Пиндара по-русски сопряжена с рядом более или менее преодолемых трудностей и препятствий. Не вызывает сомнений, что перевод, если таковой вообще возможен, должен максимально сохранять основные составляющие оригинала: ритмику, строфику, синтаксические и стилистические особенности. Поскольку поэтический смысл не тождествен прозаическому, передача первого и является главной задачей подобного переложения. С точки зрения стиля, например, логично было бы переводить песни Пиндара на церковно-славянский. Но последний никогда не был языком внецерковной поэзии и довольно тяжел для современного восприятия, особенно грамматическими формами глагола. Наиболее подходящим кажется мне промежуточный между духовным и светским, полистилистический язык анонимных переводов пяти Пиндаровых песней, сделанных в 70-х годах XVIII века, и «пиндарических» од Василия Петрова (1736 — 1799) того же времени, обнаруживающих при ближайшем рассмотрении удивительное родство между собой. Вот, например, знаменитое начало Первой Олимпийской песни (476 г. до Р. Х.):

Аноним.

Пиндарова Олимпийская первая песнь

Вода в стихиях пресловута;
И аки огнище в ноши,
В кругу изящных утвараний
Блится злато — светлый дар;
И ты, о дух мой, аще песнью
О ратных хочешь возблестать,
И краше солнцева не узришь
В пустынях неба ты луча.

Василий Петров.

Ода князю Григорию Потемкину (1778)

Средь благ, которы очеси
Словесного творенья лестны,
Блещут камни честны,
Как звезды ночью в небеси;
И аки огонь сияет злато,
Хотя на свет из мрака взято.

Но естли ищеш, мой дух,
Великолепия в сем мире,
Достойна славиться на лире:
Что краше к отчеству заслуг?
Звездам чудится тот напрасно,
Кто солнце созерцает красно.

Совершенней вода всего; —
злато всех величавых,
словно пылающий огонь среди ноши, богатств превосходней; —
коль тебе борения
славить хочется, сердце, —
то как днем не высмотреть
на пустынной тверди небес иных блестящих солнца светил
теплотворнее; —
так и Олимпийских прей значительней не сыщется...

Для передачи же «пышноветвящегося» синтаксиса Пиндара особо изобретательным быть не надо. К сожалению, в русском языке ощущается острая нехватка частиц и вводных, разнообразить которые удастся с трудом. Попыты с многоступенчатой (трехчастной) строфикой есть у того же Петрова (8 од) и у Державина (6 гимнов). У последнего, кстати, переложившего две песни Пиндара с немецкого, находятся и опыты по сочетанию метров, имеющих разную природу. Пиндаров дактило-эпитрит по-русски можно проиллюстрировать его стихотворением «Г. Озерову, на приписание *Эдина*» (1806), где трехсложные размеры запросто чередуются с двусложным:

Огонь, что, из мрака сверкая,
Змяями режет сквозь эфир,
Но Лель, с струн Тиисских порхая,
Мой чуть звеня, как в зной зефир,
На вежды сон льет.

Иль мог коль с Пиндаром геройство,
С Горацием я сладость лить,
То может во гробе потомство
И блеск вельмож мне уделить:
Там лавр мой взрастет.

Подобная комбинация метров для русской поэзии — лишь одна из недопроявленных возможностей. В одном из моих собственных опусов, опубликованном, кстати, в «Новом мире», строфа строится так: «Поспешим / стол небогатый украсить / помидорами алыми, / петрушкой кучерявой и укропом...» Подвижность окончаний стихов и подсказала способ разнообразить окончания строк победных песен. Там, где в оригинале третий слог от конца долог, а второй краток, — окончание дактилическое; где третий и второй кратки — мужское; где третий краток, а второй долог — женское.

Поскольку количество слогов в значащих словах древнегреческого и русского языка примерно одинаково и равно трем с половиной, слогонаполнение строк можно соблюсти с легкостью. Подобным образом осуществлялось оно, например, древнерусскими переводчиками византийских гимнов за счет вариативного использования полугласных (редуцированных). Остается лишь соотносить устойчивые позиции долгих слогов с устойчивыми же, но для сохранения разнообразия стиха пропускаемыми позициями наших ударных... Первым опытом такого переложения была Двенадцатая Пифийская песнь, вошедшая в мою книгу «Конь Горгоны» (2003), как дальше — посмотрим. Но, на мой взгляд, только так, с помощью поэтических средств, и можно вернуть «от бессмертия — к жизни», от холодной филологии — к чувственному восприятию нестареющую лирику Пиндара.

**Восьмая Немейская,
Дейнию и отцу его Мегасу из Эгины**

Всемогущая Младости, нетленных
вестнице ласк Афродиты,
ведь, восседшая на девственные вежды всем сыновьям,
одного судьбы ладоням
бережным вверяешь, другого ж — иным; —
облюбован тобой, кто времени
в деле любом не теряет,
властным повелителем
будучи стремливых страстей. —

То погонщиками даров Киприды
Зевса с Эгиною ложе
оними так стереглось; — где сын, Эноны царь, зарожден,
мыслью доблестный и дланью. —
Много кто воззреть нань многожды просил. —
Сопредельных вождей отлики же
волею собственной тщетно
жаждали без ропота
исполнять приказы его,

в Афинах утесистых сколь
ратей предводители,
столь же и во Спарте Пелопа сыны. —
Припадаю к святым —
о граде любезном с мольбой и гражданех —
коленям я теперь Эаковым,
принося Лидийскую, звоном расшитую, вязь,
Дейния Немейскую мзду
и отца Мегаса двоякому бегу. —
Ибо прочное блаженство
лишь от бога людям насаждается; —

он богатство на Кипре средиморском
некогда дал и Киниру. —
Легких стоп здесь остановка, роздых перед тем, как вещать. —
Много что реклось многожды. —
Свежей же находке пристрастный разбор
учиняется, сплошь опасности; —
слово — завистников брашно. —
Хорошо — набросятся,
плохо же — не станут и брать. —

Сими сын Теламона был угроблен,
тело мечом пробуравив. —
Тот, кто духом храбр, но бессловесен, всеми будет забыт
в скорбном дележе; — главнейшей
разживется долей увертливый лжец. —
Одиссею Данайцы тайными
жребиями ж услужили; —
а златых доспехов ли-
шенный бился насмерть Аякс. —

Поистине раны они
нанесли неравные

людобронными остриями телам
 потрясенных врагов
 горячим, Ахилла ль едва убитого
 вокруг, во дни ли многотрупные
 страд иных. — Коварной и древле была клевета,
 сотоварка речи кривой,
 хитромудрица, хулотворица злая; —
 яркое грязнится ею,
 чистится хвала гнилая тусклого. —

Отче Зевсе, не дай такого нрава
 мне, да путями прямыми
 жизнь пройду я, сыновьям же имя после смерти своей
 не безвестное оставлю. —
 Злато мнят одни, а другие поля
 бесконечные; — я же, гражданам
 лестный, и кости сложивши
 в землю, чаю славное
 славить, а дурное клеймить. —

Разрастается доблесть, словно древо,
 светлой кропимо росую,
 от полива справедливых и премудрых высясь мужей
 до небес. — Нужда в подобных
 многая друзьях; — средь невзгод же она
 величайшая. — Но и в радости
 тянет предстать пред очами
 верных. — Восстанавливать,
 о Мегасе, душу твою

не в силах моих; — не дано
 тщетным упованиям
 сбыться. — Буду Муз неприступной скалой
 Хариад и твою
 отчизну крепить, дважды два стремления
 возвысив стоп. — Доволен, подвигу
 похвальбой достойной воздавши. — Волшебный напев
 всякому и тягот легчит
 бремя. — Песнь сия славословная пелась
 исстари, возникнув прежде,
 чем Адраст поссорился с Кадмейцами.

**Шестая Пифийская,
 Фрасибулу, сыну Ксенократа из Акраганы**

Послушайте; — ведь Афродиты лукавоокой
 поистине и Харит
 вспахивая целину, до неподвижного
 доступа пула рыкливой земли,
 где Эмменидам блаженным, Акраганте речной
 и Ксенократу, Пифийской в честь победы его,
 для клада песен
 уже готово в ложине
 Аполлона многозлатной здание. —

Его ни студеным дождем, низводя из тучи
 гремливой грозную рать,
 льющим неистово, ниже ветром яростным
 вглубь соленых пучин, с дресвою смешав,
 не унесет. — Обратясь лицом ко свету, оно
 о твоего, Фрасибуле, колесничной отца
 и рода славной
 победе в Крисских ущельях
 голосами смертных всем поведает. —

Ты ж, оную крепко десницей держа, стремишься
 вслед заповедям прямым,
 некогда сыном Филиры велемощному
 преподанным в горах Пелееву, мол,
 чаду вдали от отца: «Чти паче прочих богов
 Кронава сына, владыку гневногласного всех
 громов и молний; —
 своих родителей должной
 не лишай, доколе живы, почести». —

Сей мыслью проникся и встарь Антилох отважный,
 отдавший жизнь за отца,
 Мемнона кой, Эфиопов людогубного
 ратеводца, замешкал. — Ибо когда
 Несторову колесницу конь сдержал, от стрелы
 павший Париса; — противник уж и крепкое нань
 копьё направил; —
 тогда же сына окликнул
 потрясенный старца дух Мессенского; —

без отклика зов не остался; — достойный давши
 отпор, божественный муж
 гибелью собственной заплатил за отчее
 избавление; — древле ставился ж он,
 подвиг великий свершивший, молодежи в пример
 доблести, явленной ради жизнедавцев своих. —
 Так было прежде; —
 но паче прочих и ныне
 Фрасибул идет стопами отчими,

родному явившись во блеске на помощь дяде; —
 богатством правит с умом,
 жнет не кичливую юность и беспутную,
 но премудрость в прибежищах Пиерид; —
 и, Посейдоне, средь конных выступлений к тебе,
 Землетрясателю, мысли устремляет свои. —
 Его застольных
 бесед и разума сладость
 медуниц заменит вязь узорную.

**Одиннадцатая Олимпийская,
 Агесидаму из Локр Эпизефирских, сыну Архестрата**

Той порой ветра человекам потребны
 больше, той — небесной потоки воды,
 тучи сыновья дождевой. —

Для добившихся трудами медоглаголые песни
 слав началом будущих
 и надежнейшим залогом доблестей делятся благих. —

Беззавистная похвала ж Олимпийским
 медлит победителям. — Ей ведь язык
 мой бы мог погонщиком стать. —
 Но внушенной расцветает богом премудростью смертный! —
 Знай, Агесидаме, же,
 Архестратов сыне, ради битвы кулачной твоей

над из маслины золотой венцом раздастся
 строй сладкопевных раскатов,
 дабы всех в Эпизефирских Локрах живущих почесть. —
 Там соликовствуйте, — вот ручательство
 вам, — о Музы, там, где дружелюбию
 люд не чужд и вежеству,
 и остромысл, и премудр, — туда ступайте ж. —
 Ибо врожденный не может измениться
 ни лисицы огненной,
 ниже льва рыкливого нрав.

**Вторая Истмийская,
 Фрасибулу, сыну Ксенократа из Акраганти**

При пращурах, о Фрасибуле,
 коль на златоколый кто
 Муз возок восхаживал,
 со струнной вещью соединясь, —
 скоро вслед выстреливал тем
 медоглаголые песни
 молодцам, чья красота несла на память
 Афродите сладкий плод пышнопрестольной. —

Еще ни корыстолюбивой
 Муза, ни продажную
 не была, согласными,
 плавными напевами торг не вела
 за наличное серебро
 трепетная Терпсихора. —
 Ныне ж — не так, и она словам Аргосца
 внемлет, истины прошедшего путями:

«Собственность есть человек!» —
 сей вымолвил, средств и друзей лишившийся. —
 Ты догадался, — пою не безызвестность
 конной Истмийской победы,
 Ксенократу Посейдоном посланной в дар,
 кем ему самим из Дорийской венец
 зелени на власы возложен,

первейшим почтя колесничим,
 Акрагантским светочем. —
 В Крисе всевластительный
 нань возрел и блеском, исполнив, облек
 Аполлон; — благу стяжал

славу в роскошных Афинах
он у сынов Эрехтея, не пеняя
на десницу конехлеста Никомаха,

управиться сею с броздами
вовремя сумевшего. —
Мироносцы, вестники
Зевса сына Крона, Элейцы его
распознали, в нем обрета
дружелюбивого мужа; —
тихим приветили гласом, перед Никой
золотой ему упавшу на колени,

в им же подвластной земле,
святой Олимпийского Зевса рощею
названной; — где сыновья Энесидама
чести бессмертной добились. —
Посему не безызвестны вашим домам
ни приятность, о Фрасибуле, торжество,
ниже сластохвальба напевов. —

Ведь нету ни круч, ни уступов
на пути сошествия,
коим Геликонская
к достославным честь сниступает мужам. —
Бросить бы метательный круг
дальше настолько, насколь
распростирал Ксенократ свое над всеми
обаяние. — В почете был у граждан,

достойно блюдя коневодный
всех обычай Эллинов; —
в честь богов устраивал
все свои пиры; — никогда средь пиров
дружеских не свертывал пред
бурным ветрила порывом; —
даже до Фасиса летом добирался,
доплывал до берегов зимою Нила. —

Ныне ль, у смертных когда
завистливых мысли надежд исполнены,
впредь ли о доблести отчей не безмолвствуй
с песнями сими; — понеже
не для праздности они созиждены мной. —
Возвести сие, как придешь к моему
милому, Никасиппе, другу.

**Третья Олимпийская,
Ферону из Акраганты, на праздник богодружия**

Чтоб дружелюбным сынам Тиндаровым
и леповолосой польстить
Елене, почтив Акраганту славную,
песнь строю победе Ферона
Олимпийской, некосноногих коней
отлике. — Муза се воочию предстала

мне новоблещущий лад открывшая,
светлопраздничный с Дорийской сочетая

поступью глас. — Поелику поднятым
на пышные гривы венцам
сей долг богозданный с меня доправлять, —
для Энесидамова сына
стройно гуд цевниц и струнных перезвон
я сопрягаю с расстановкою речений; —
так бо мне Писа велит; — от коея
богодарные к мужам грядут напевы,

к оным, коих исполнитель
правил Геракла былых,
справедливый Эллинский сей судия,
сей Этолиец веждами
над обернул вкруг кудрей
маслиною голубо-сизой; — некогда
ю ж от истоков тенистых Истровых сын
Амфитрионов принес,
память лепую борений Олимпийских,

Гиперборейский склонивши сказанным
народ, коим чтим Аполлон. —
Срядясь, для всеборных рощи Зевсовой
растение вымолил, дабы
доблестных венчать, остальных осенять. —
Освящены уж отчи жертвенники были
им, в полумесячный вечер узренным
полным оком златоколесничной Мены,

круг пятилетний и суд борениям
великим уж был учрежден
при брезех Алфея заветных праведный. —
Но древ не рождала прекрасных
в Кроновых долинах Пелопа страна. —
Лишенный оных вертоград ему казался
острыми солнца лучами выжженным. —
Посему всем сердцем устремился в земли,

что вдоль Истра; — где Латони-
на конегонная дочь
от Аркадских жерл и извивистых недр
сего пришельца встретила; —
он, исполняя тогда
приказ Эврисфея, за ланью броситься
золоторогою был отцом принужден; —
жертвой Ортосии стать
предписала Таигета ей однажды; —

ту догоняя ж, и край сей видывал,
Борея что хладного за
дхновеньем. — Застыл, древесам дивящийся; —
охвачен желанием сладким
их окрест двенадцатикружной сажать
ристалищ конных меты. — Ныне же на праздник
сей благосклонно снисходит с двойнею
богоравной широпоясныя Леды. —

Ибо, взошед на Олимп, наследствовал
им чудных вершение прей
о скоростности колесниц и доблести
мужей. — Потому побуждает
сердце мя вешать, что успехом Ферон
сынам Тиндаровым обязан доброконным
и Эммениды. — Зане всех более
чтят за дружескими тех они пирами,

помыслом обряды вышних
благочестивым блюда. —
Коль вода всего совершенней и всех
ценней владений золото; —
в собственных ныне Ферон
ступени достиг наивысшей доблестях,
тронув Геракла столпы. — За них же ступать
мудрости полным не след
и лишенным. — Да не двигнись. — Тщиться тщетно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Восьмая Немейская

Около 458 года до Р. Х. Песнь была написана, вероятно, для того, чтобы предупредить назревавшую войну «завидующих» Афин против *Эгины*, богатого торгового города-государства на одноименном острове в Сароническом заливе. Война все-таки началась и закончилась в 456 году поражением Эгины. Герои обоих мифов, рассказываемых здесь, являлись общими для афинян и эгинцев. Древний царь *Эак*, сын *Зевса* и нимфы *Эгины*, давшей имя городу, был справедливым и мудрым правителем; соседние цари приходили к нему за советом и брали в поручители при спорах; во время великой засухи по просьбе всех эллинов он молитвами и жертвоприношениями добился ее прекращения, а по смерти стал одним из судей в царстве мертвых. Герои Троянской войны, *Ахилл*, сын *Пелея*, и *Аякс* (правильнее — *Эант*), сын *Теламона*, оба приходились Эаку внуками. Дейний и Мегас одержали победу в двойном беге, причем, скорее всего, не одновременно; ко времени написания песни последний уже умер. *Младость* — судя по всему, богиня весны и цветения *Фалло*, одна из трех *Ор*, богинь времен года и периодов человеческой жизни, дочерей *Зевса* и спутниц *Афродиты*. *Погоницики даров Киприды* — страсти (эроты), также сопутствующие *Афродите*. *Энона* — древнее название *Эгины*. *Пелопа сыны* — пелопоннесские греки, считавшиеся потомками древнего царя *Пелопа*. *Лидийская вязь* — лидийский музыкальный склад, современный до мажор; считался грустным, благопристойным и приличествующим юношескому возрасту. *Немейская мзда* — то есть награда за победу на Немейских играх. *Кинир* — древний царь Кипра, славный богатством и роскошью; его дочь *Мирра* (*Смирна*) от кровосмесительной связи с отцом родила *Адониса*. *Скорбный дележ* — спор о наследстве. *Людобронные остря* — копьа. *Вокруг едва убитого Ахилла* проходили ожесточенные бои, упоминаемые в «Одиссее». *Восстанавливать душу твою* — то есть возвращать к жизни, воскрешать. *Хариады* — род *Мегаса* и *Дейния*. *Дважды два стремления стоп* — два двойных бега. *Волшебный напев* — то есть обладающий силой заговора, исцеляющей магией искусства. *Адраст* — древний царь *Аргоса*, организатор похода *Семерых* против *Фив*, основатель Немейских игр. *Кадмейцы* — жители *Кадмеи*, крепости внутри «семивратных» *Фив*, крупнейшего города в *Беотии*, по преданию основанного древним царем *Кадмом*.

Шестая Пифийская

490 год до Р. Х. *Фрасибул*, сын *Ксенократа*, владельца победивших коней и колесницы, младшего брата *Ферона* (см. примеч. к Третьей Олимпийской песни), тогда еще не ставшего правителем *Акраганты*, процветающего города на юге Сицилии, расположенного на берегах одноименной реки. *Фрасибул*, с которым *Пиндар* был знаком лично, вероятно, по молодости лет сам выступал на состязаниях как возница. *Вспыхивая*

целину Афродиты и Харит — то есть сочиняя новую победную песню. *Пуп земли* — «омфал», жертвенный камень в храме Аполлона Дельфийского, считавшийся центром эллинского мира. *Эммениды* — род Ксенократа и Ферона. *Здание дляклада песен* — сокровищница, или дарохранилище, где содержались богатые приношения победителей Пифийских игр, в том числе и победные песни; таких сокровищниц было много, от каждой местности — своя. *Лоцина Аполлона* — местоположение Дельфийского святилища и прочих построек вокруг него, располагавшихся на террасах. *Крисские ущелья* — само место проведения Пифийских игр, при городке *Криса*, что неподалеку от Дельф. *Сын Филеры* — мудрый кентавр Хирон, сын Крона и Филеры, не являвшийся родственником остальным кентаврам и живший на горе Пелион; наставник в военном деле и воспитатель Орфея, Тесея, Ясона, Диоскуров, Асклепия, Ахилла и многих других; «заповеди Хирона» — три главных морально-этических установления эллинов, два из которых в слегка переосмысленном Пиндаром виде здесь приводятся, а третье — уважай гостя (ближнего, друга). *Пелеево чадо вдали от отца* — Ахилл, сын Пелея и Фетиды, спрятанный матерью, желавшей сделать его бессмертным, от смертного отца. *Антилох* — сын *Нестора*, друг Ахилла, участник Троянской войны, где при описанных обстоятельствах был убит. *Мемнон* — сын Эоса и Тифона, царь Эфиопии, воевавший на стороне троянцев; убит Ахиллом. *Нестор* — отец Антилоха, царь Пилоса, главного города Мессении; самый старый из участников Троянской войны со стороны эллинов, вернувшийся с нее невредимым. *Старец Мессенский* — Нестор. *Родной дядя* — Ферон. *Пиериды* — Музы. *Землетрясатель* — устойчивый эпитет Посейдона. *Узорная вязь медуниц* — медовые соты.

Одиннадцатая Олимпийская

476 год до Р. Х. Пиндар долго медлил с сочинением полновесной похвалы *Агесидаму*, выполняя большие заказы *Ферона* (см. примеч. к Третьей Олимпийской песни), поэтому на сей раз ограничился своеобразным обещанием песни, написанной им лишь два года спустя. *Локры Эпизефирские* — городок на юго-восточной оконечности Апеннинского полуострова.

Вторая Истмийская

Около 470 года до Р. Х. Дружеское послание в форме победной песни, написанное по кончине *Ксенократа* (см. примеч. к Шестой Пифийской песни). *Струнница* — форминга, четырехструнный щипковый инструмент, сопровождавший исполнение победных песен. *Аргосец* — Аристодем из Аргоса, изречение которого вошло в поговорку. *Дорийская зелень* — сельдерей, венками из которого награждались победители Истмийских и Пифийских игр. *Сыны Эрехтея* — афиняне, названные по имени древнего царя Афин, где устраивались местного значения игры — Панафинейские. *Никомех* — профессиональный возничий, нанятый Ксенократом для управления одержавшей победу колесницей. *Мироносцы Элейцы* — жители Элиды, древней области, в которой находилась Олимпия и проводились одноименные игры; из них знатнейшие выбирались провозвестниками Зевсова мира, заключаемого на время состязаний, и судьями над соискателями. *Золотая Ника* — статуя богини победы, находившаяся в храме Олимпийского Зевса. *Роца Зевса* — посвященный ему участок земли в Олимпии с храмом. *Сыновья Энесидама* — Ферон и сам Ксенократ. *Коневодный обычай всех Эллинов* — коннозаводство, широко распространенное среди аристократов по всей Древней Греции. *Фасис* — река в Колхиде, ныне Риони. *Никасипп* — судя по всему, постановщик хоровых представлений Пиндаровых песен, управляющийся с ними из Фив на Сицилию.

Третья Олимпийская

476 год до Р. Х. Владельцем победивших в играх коней и колесницы был *Ферон* (540 — 472 г. до Р. Х.), сын *Энесидама*, правитель *Акраганты* (с 488 г.), переживавшей при нем свой бурный расцвет. Древний *праздник богодружия* (феоксении, «угощение богов») справлялся так: изваяния богов снимались с постаментов и вносились в дома, их усаживали за накрытые столы и украшали венками. В Акраганте во время этого праздника особенно почитались покровительствующие городу братья Диоскуры, Кастор и Полидевк, рожденные *Ледой* от небесного отца Зевса и земного Тиндара (Тиндарея) и названные здесь *сынами Тиндаровыми*, а также их сестра *Елена*. Миф, рассказываемый в песни, напоминает о хождении Геракла, основателя Олимпийских игр, к северному народу *Гиперборейцев* за побегами росшей только у них *голубо-сизой маслины*, которой увенчивались победители состязаний. *Дорийская поступь* — дорийский музыкальный склад, современный ми минор; считался возвышенным, уравновешенным и мужествен-

ным. *Пышные гривы* — густые волосы Кастора и Полидевка, отличавшихся особой лохматостью. *Писа* — древний город в Элиде, неподалеку от Олимпии; разрушен в 572 году до Р. Х. *Правила Геракла* — неписанные законы, согласно которым судьи, избравшиеся по традиции исключительно из *этолийцев* (элейцев), после состязаний выносили решение о победителе. *От истоков Истровых* — с верховий Дуная. *Сын Амфитрионов* — Геракл, названный по имени земного отца. *Роца Зевса* — см. примеч. ко Второй Истмийской песни. *Отчи жертвенники* — то есть Зевса, небесного отца Геракла. *В полумесячный вечер* — в середине лунного месяца, то есть в полнолуние. *Мена* — лунная богиня. *Пятилетний круг* — олимпийский цикл, состоявший из года предыдущей Олимпиады и четырех последующих лет. *Алфей* — река в Олимпии. *Кроновы долины* — равнинная часть, между Алфеем и Кроновым холмом, где располагалось капище Зевса Олимпийского. *Пелопа страна* — Элида, на северо-западе Пелопоннеса, и шире — весь полуостров. *Дщерь Латоны* — богиня Артемида. *Аркадские жерла и недра* — горные цепи в центральной части Пелопоннеса. *Эврисфей* — царь Микен, для которого Геракл должен был выполнить двенадцать подвигов, в том числе поймать киренейскую *золоторогую лань*. *Отцом принужден* — то есть Зевсом. *Ортосия* («направляющая») — эпитет богини Артемиды. *Таигета* — дочь Атланта, обращенная Артемидой в лань, дабы спасти ее от приставаний Зевса; в благодарность Таигета посвятила спасительнице точно такую же лань. *Богоравная двойня широкая Леды* — то есть Кастор и Полидевк. *Столны Геракла* — гористые берега Гибралтарского пролива, считавшиеся краем света; в переносном значении — наивысший предел, которого может достигнуть человек.



АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ



АВТОПОРТРЕТ В ЛИЦАХ

Рассказы

КОХВЕЙ

Осенью в доме Перцова греть батареи начинали не по погоде, а по календарю: планоно.

Пухлый, одышливый комендант во френче, напоминавший мне бежавшего из Китая старого гоминдановца, полулежал, откинувшись, на черном кожаном диване в вестибюле и вместо ответа жильцам, «когда затопят», жевал губами, выразительно скашивая глаза кверху... А няня сетовала на коменданта и подвластную ему котельную:

— Ишь какой холод завернул, а оне топить-то и не думают... И об чем, антиресно, у их думá?..

Папа курил — «грелся» дымом, мама проветривала комнату («Дышать нечем!»), а Филипповна мерзла.

У нее были, однако, три верных способа согреться.

Когда мама уезжала на работу, няня *первым долгом* захлопывала *хворточку*. Потом надевала шерстяную *кохточку*, аккуратно застегнув перед зеркалом пуговицы и подвернув манжеты так, чтобы левый и правый отвороты были равны. И наконец, как последний, но всегда решительный и радостный шаг, шла на кухню заварить *кохвейку*. Этот *сугрев* изнутри был ей особенно приятен.

У русских нянь издавна сложились волнующие отношения с кофе. Некоторое недоверие и настороженность, вызванные заморским происхождением напитка, его крепостью и репутацией барского яства, благополучно уживались с благодарностью к его веселящему нраву, с верой в его всестороннюю *пользительность* и порой перерастали в настоящую страсть, постоянную и неутолимую потребность. Вот что говорит об этом неизвестный автор в книге старинных очерков «НАШИ, списанные с натуры русскими»: «Страсть к кофе простирается в нянюшке до невероятия. Он ей почти то же, что хлеб насущный. Она сама его жарит, мелет и, наконец, варит. Кто б ни пришел к ней в гости, нельзя не попотчевать кофеем. Она устала — „дай-ка выпью кофейку“. Она озябла — тоже лекарство. Ей что-то скучно — она опять прибегает к нему же как к единственному своему утешителю. Ей весело — она спешит из кухни со своим кофейничком из красной меди и осторожно уклоняется от встречных, чтобы не взболтать ея сокровище... Старушки-няни точно как будто находят в нем какое-то целительное свойство от болезней и печалей».

Цвет, крепость, жар, вкус, аромат, легкая пенка, тонкий осадок, на котором можно гадать, — все заставляет нас отдавать предпочтение кофе. Отношение к нему как к живому подвижному духу, традицию его заботливого приготовления и неторопливого, почтительного питья Филипповна словно унаследовала от прежних нянь и бережно хранила.

Смирнов Алексей Евгеньевич родился в 1946 году. Закончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. Живет в Москве. Постоянный автор журнала.

Правда, *кохвей*, который она пила сама и которым угощала меня, отличался от того, чем баловались в старину и что возродили теперь. Настоящий кофе вообще называли едой, оттого и кушали, оттого и вкушали. А то, что пили мы с няней, являло собой неопределенный отвар желудевого цвета; нечто разжиженно-водянистое, почти без запаха и совсем без пенки; нечто под смутным названием «Кофе с цикорием», то есть «Желуди жареные с луговыми цветочками»; нечто, утратившее не только вкус, но и пол. Я был уверен, что кофе — оно, среднего рода, а поскольку на мой вопрос: «Кофе сварилось?» — няня могла ответить: «Сварилось, да убежало...», то и она при всей ее почтительности *такому* кофе в мужском роде отказывала. И она не ведала, куда девался тот терпкий настой, повыветрился тот дурманящий аромат, повыщвел сочный колер, что были достойны благородного смакования. В каких венских кофейнях еще трогала губы жгучая бразильская горечь, вызывая учащенное сердцебиение гурманов? На каких стамбульских базарах, под какими шатрами кочующих бедуинов пузырились плотные аравийские пеночки? Бог весть! А наш давно выдохшийся, бурый с проседью порошок доживал свой век в тусклой, линялой пачке на полочке за занавеской. Он так плохо растворялся в кипятке, что всегда оставлял на стенках чашки грязноватые потеки, а на дне — густой осадок. О кофейных зернышках я знал тогда только понаслышке. Ни жарить, ни молоть нам было нечего, потому не требовалась и круглая ручная кофемолка, оставшаяся с дореволюционных времен, — прабабушкина кофемолка, некогда перетиравшая зерна с трудным, тугим похрустываньем. Я иногда крутил ее просто так, вхолостую, но работа без преодоления и без результата, обычная в мире взрослых, казалась мне нелепой, и я бросал кофемолку, не намолов и горстки воздуха. Зато кофейник у Филипповны не простаивал ни дня. Другое дело, что место славного кувшинчика «из красной меди» занимал дюралевый сосуд, чутко тянувший вверх свою тонкую шейку с изогнутым на конце носиком. Это делало его похожим на маленького разгоряченного гусенка. Нагревшись над конфоркой, он *пыхал* из носика паром, а чуть проворонь — мог и *убежать*: приподнимет крышку да плеснет из-под нее бурой грязью, загваздав плиту. Строптивный кофейный норов был Филипповне хорошо знаком и тем не менее каждый раз удивлял ее. Способность кофе внезапно переселиться через край или, по-нянинному, *шарнуть* постоянно смущала ее и держала даже в некотором страхе.

— Филипповна, у вас кофе убегает! — весело кричит, бывало, сосед Сверчков, оттягивая на плечах крепкие подтяжки карьерного дипкурьера. Но газ при этом не выключает — ждет, пока няня, всполошившись, сама доковыляет до кофейничка.

— Ах ты, мать честная!.. Никак его не укараулишь...

Из опыта Филипповны я знал, что кофе — большой шалун, настоящий *рикошетник* («Навроди тебя...»). Когда над ним стоишь, он не закипает и не закипает («Хыть цельный день простой!»), как ни верти кофейник над огнем. *Кохвей* ведет себя словно комендант на диване: скашивает глаза на крышку и — ни тпру ни ну. Но попробуй только на секундочку отвлечься — тут-то он как раз и вскипит, причем вскипит моментально («И усю плиту вычудить!»). Этот почтенный старец с душой озорника невольно заставлял няню быть настороже. Долго гневаться на него она не могла из уважения к его сединам, богатому прошлому, знатному происхождению. (То, что нам достался желудевый отпрыск кофейной династии, никогда не подчеркивалось, пусть и придавало всей церемонии легкий налет мелкопоместности.) Но и спускать ему с рук его баловство няня не желала. Что же ей оставалось делать? Ей оставалось лишь пристально следить за поведением старика-рикошетника.

Итак, *хворточка* прихлопнута, *кохточка* надета.

— А и где же наш *кохвеечек*?

Пора, пора покофейничать!

Вот Филипповна нагревает в узком сосуде темную воду ожидания; аккуратно натрушивает на поверхность немного *прашка* из пачки и, прикрыв крышкой, предвидит тот момент, когда *кохвей* начнет *ускипать*...

Няня внимательно (*унюмательно!*) склонилась над кофейником. Взгляд ее добр, теплы ее руки, велико долготерпение. «Гусенок» с изогнутым клювом кажется совершенно бесчувственным к огню. *Кохвей*, разумеется, только и мечтает о том, как бы поиграть у няни *на неврах*, вовсе не думая ни о каком закипании.

— Нянь, скоро кофе сварится? — спрашиваю, сунув нос на кухню.

— Да почему же я знаю? Спроси у него...

— А ты прибавь газку.

— Чичас и шарнить.

— Прибавь, а потом убавь.

— Вот я и держу его за хвост.

— Прибавила?

— Убавила. Чуть дышать... Еле-еле душа у теле...

— А можно все-таки побыстрее?

— Терпи. Нетути у тебе терпежу никакого.

— Хочется...

— Малó ли бы что: хотца?.. Что ж, мне тепереча прикажешь самой на огонь сесть?

Лицо у няни раскраснелось от ожидания и жара. Такая сосредоточенность ей невмоготу, да очень уж самой *кохвейку хотца*: нельзя упустить!

Наконец кофейник зашумел, загудел, напрягся. На дне завозились первые пузыри. Сейчас они побегут вверх, сперва прокрадываясь ощупью по стеночкам, с краешку, бочком-бочком, как стеснительные, а потом сдвинутся на середину, сгрудятся в крупные грозди, чтобы, напирая, бурля, клокоча, заставить кофейник содрогнуться и вдруг, — с маху, — поднимут черную шапку гуши — мохнатую, как папаха абрека; шапку, насквозь пронизанную порами пены, точно каракуль седыми искрами, и — *шарнут через!*

Еще минута... Еще секундочка...

И тут в коридоре за нашей дверью звонит телефон. Общий, коммунальный.

По няниной иерархии *телехвон* главней, чем *кохвей*, потому что *сурьезней*. Телефон действует на Филипповну неотразимо. Где бы она ни была, что бы ни делала, по первому сигналу няня бросает все и устремляется к трубке. Но *кохвей* бежит еще быстрее. Дистанция, которую он должен преодолеть, чтобы *вычудить усю плиту*, гораздо короче няниного пути от кухни до *телехвона*, а энергии у *кохвея* куда больше, ведь он нагреет уже почти до кипения! «Почти...»

— А может, усе-тки успею?..

Няня предполагает успеть. Она надеется и трубку ухватить, и кофе удержать. Человек предполагает...

Поймав трубку, выскользнувшую было рыбкой из рук, но повисшую, как на леске, на распрямившейся пружинке шнура, подсунув мембрану к правому уху под платочек, левым она слышит неудержимо нарастающий гул кофейника, дребезжанье прыгающей крышки, выброс пара и вслед за тем змеиное шипенье кофейной гуши, оползающей по наружным стенкам, заливающей пламя, пульсирующей из носика на плиту...

— Обождита, обождита!.. У меня кохвей бежить!..

— Да уж убежал! — кричит с кухни Сверчков, широким жестом оплывшего на покое гимнаста стягивая с плеч чемпионские помочи и великодушно выключая газ.

Остатки напитка со *скорбной торжественностью* проносятся по коридору. Впереди *in propria persona* — собственной персоной плывет Кофей-

ник, с ним — Филипповна, за ней — я, за мной — Сверчков, спустив по бокам кольца подтяжек и сворачивая к себе в комнату.

Няня водружает залитый гущей сосуд посреди стола на согнутую железным цветочком плоскую подставку и отирает влажной тряпкой горячую кофейную грязь, убежавшую из-под крышки.

Печальная музыка тишины.

— Дак телехвон же зазвонел прямо у етот момент, врах его возьми!

Няня удручена.

А я, наоборот, восхищен тем, что телефонная трель угодила в самое яблочко: ни до, ни после вскипания, а в такт с ним, как будто кто-то нарочно подкараулил! Между прочим, звонили не нам. Перепутав цифры, добивались посольства дружественной Эфиопии, просили секретаря, и Филипповна, расстроенная неудачной варкой, вызвала на переговоры Сверčkова. Разобравшись, куда звонят, и сообразив, что абонент — иностранец, пытающийся говорить языком аборигенов, дипкурьер мобилизовал свой английский, однако подчинил ему лишь форму высказывания, тогда как словарь произвольно смешал:

— Простите... э-э... мистер секретарь есть в ауте. А это вообще... э-э... есть приватная квартира. Вы дёржите не ту линию.

Такой язык — английский по форме и преимущественно русский по словарю — внушал Филипповне глубокое уважение к соседу. В ее глазах дипкурьер был носителем как бы трех языков: на родине он говорил по-русски, за рубежом — по-английски, а на родине с иностранцами — как сейчас. Получалось, что Сверчков — полиглот. Наверно, потому няня и кивнула в сторону двери, обращаясь ко мне:

— Вучись, дитё, светлым будешь.

Даже забелённый молоком, кофе горяч. Мы шумно вытягиваем его из блюдец вместе с воздухом.

— Прихлебывай, птушенька, прихлебывай, — поощряет Филипповна.

Мы пьем отвар, остужаем его, а по пути вспоминаем перипетии минувшего. Именно это и важно для нас; вопрос же о качестве питья вообще не стоит. Оно не имеет никакого отношения к делу. Оно соотносится с нами так же, как на языке Сверčkова посольский секретарь — с нашей квартирой: «Мистер... э-э... Кволити есть в ауте».

Для вкуса я макаю в блюдечко твердый сахарок и слежу за тем, как, всасывая кофе, рафинад меняет цвет, темнеет, разбухает, рыхлится, дробясь на крупинки, из *каляного* делается мягким, рассыпчатым, а когда впитываешь его в себя, растворяется во рту.

Откофейничав, согревшись, няня успокаивается, утирает уголки губ белой лапкой ситцевого платочка и переворачивает чашку вверх дном.

Сейчас гадать будет.

— Ну, смотри... Увидал что ай нет? — спрашивает, указывая на кофейные потеки по стенкам, на мутные коричневатые разводы в мелких семечках гущи.

— Ничего, — отвечаю чистосердечно.

— Вишь, тут вроди жирахв какой шею тянеть... Али женьшина руку подняла... Ну, а так? — Няня поворачивает чашку боком. — Так навроди клешши раскрылись... Помилуй Бох! А у тебя? Дай гляну.

Она смотрит на мой кофейный узор. Молчит. Представляет, что бы он мог означать.

— А у тебя птица летить, ишь крыльями машеть... А тут унизу будто собака притулилась.

— Ну и что — притулилась? К чему это?

— А и кто ж его знать — к чему? Предполагать можно...

Няня колышет кофейник, взбаламучивая придонную жижу. Со вздохом ставит на место:

— Человек, говорить, предполагать, а Господь располагать. Вот тебе и увесь кохвей.

ДЯДЯ МИТЯ

Крупно вижу руки его на крутой шоферской баранке: кургузые пальцы-коротышки, усеянные черными волосками и точечками от волосков, настолько пропитанные бензином, что никакое мыло не может отбить жирный, маслянистый, вьедливый запах моторного пойла. Перед красным светофором, когда фургон стоит как вкопанный, а мотор продолжает трудиться: хлебать воздух, кряхтеть, клокотать, торкать, — баранка — гладкая сверху и волнистая с исподу — отчетливо дрожит, и в такт ей так же мелко трясутся его пальцы, лежащие на разогретом руле, вибрирует каждый волосок. Потом зажигается желтый глаз, дядя Митя схватывает ручку коробки передач, торчащую сбоку от него, как палка; со скрипом, преодолевая упор, виляет ею влево, вправо, а на зеленом перемиге утапливает сношенным башмаком узкую педаль, и колымага, как следует встряхнувшись, трогается с места.

Туловище у дяди Мити вытянутое, а ножки короткие, поэтому, когда я сижу рядом с ним за лобовым стеклом, он кажется много выше меня, а когда командует: «Выходи. Приехали» — и мы оба спрыгиваем со ступенек на землю, я как будто подрастаю, и разница в росте скрадывается.

Фургон, который водит дядя Митя, — милицейский, а милиция вызывает во мне смешанные чувства. Милиционерами детей пугают («Смотри у меня! Не будешь слушаться, сдам в милицию!»); зато работа регулировщика на перекрестке восхищает картинной точностью движений. Среди потоков машин, их непрерывного гула, сигналов, то осанистых, басовитых, то резко взвизгивающих, регулировщик напоминает дирижера уличного оркестра. Он репетирует музыку улиц! А как радостно Первого мая на засыпанном цветами и флагами Арбате встретить вдруг дальнего соседа по даче, молодецкато Арнольда в парадном мундире майора внутренних дел с косым ливнем боевых орденов на груди! Шелкнув каблуками, Арнольд приветствует нас, вскинув руку под козырек, и удерживает черно-белым жезлом нетерпеливые такси, пока семья пересекает Арбат. Это уже не репетиция. Это — праздничный концерт.

Я любил наш дом на углу Соймоновского проезда и Кропоткинской набережной, молодой сквер возле дома, Москву-реку, близкий Кремль. Гордился тем, что живу если не в сердце Москвы, то в самом ее предсердии. То пространство, где ныне расположен храм Христа, занимала тогда грузовая автобаза. Ее окружал забрызганный жидким цементом и наглухо окаменевший забор, за которым постоянно ворочались тучи немых самосвалов. Мне и *это* нравилось! Мне, но не маме. Похоже, сильное впечатление произвел на нее один подгулявший механик, едва плетшийся с переломанной гармошкой после полочки вдоль забора. Время от времени он припадал к шершавым доскам, роняя гармонь, потом долго выбирал инструмент из грязи и, размазывая ее по кнопкам, жаловался нараспев всей округе:

Я потерял свое здоровье
На автобазе номер три!..

Если здоровье потерял взрослый мужчина, то, тем более опасаясь за меня, мама терпела «автососедство» лишь до лета, а в конце мая отправляла нас с Филипповной на все лето в «Заветы Ильича» — на дачу.

Готовясь к отъезду, няня брала железную канистру, и мы шли в керосинную запасаться топливом для керосинки и керосиновой лампы, всякой москательной надобностью. Скрытая от посторонних взоров, маленькая керосинная притаилась в одном из окрестных дворов. Впечатление, которое она производила на меня, достойно того, чтобы не умолчать о нем.

Керосинная посажена глубоко в землю, а сверху завалена дерном, на котором по весне распускаются одуванчики. Они, точно цветы на дамской

шляпке, придают лавочке вид неделовой, даже вполне легкомысленный, что поначалу сбивает с толку, как ловкая маскировка, ибо ничуть не соотносится со всей серьезностью заведения. Еще бы! Там, под одуванчиковой шляпкой, прячется не какая-нибудь вертушка-цветочница, а сам керосинщик. Толстый, степенный армянин с вечно сизой щетиной на округлых кошачьих щеках (няня зовет его Мурластый), со щетиной, которая, кажется, отрастает у него уже под бритвой так, что к концу бритья можно начинать бриться снова, — керосинщик этот сперва невидим. После солнечного света полумрак лавки кажется непроглядным, как будто ты вошел в кинозал посредине сеанса: переступаешь ощупью, хватаешь руками по сторонам, натыкаешься на ноги, все вокруг шикают, а ты винишься, что опоздал и не видишь своего места. Лишь постепенно темнота редет. Так и тут. Наконец-то замечаешь перед собой за низеньким прилавком хозяина в черном халате, натянутом на животе как на барабане.

— Кто крайний? — занимает очередь няня, а я — рядом с ней.

Растопырив локти, керосинщик священнодействует литровым ковшом. Очередь как будто загипнотизирована его пассами. В абсолютной тишине алюминиевый ковш стучается о борт железной бочки. Она огромна, она полупуста, но бездонна. Долгая деревянная ручка ковша потемнела и набухла не столько от пролитого керосина — хозяин аккуратен, — сколько от синеватого керосинного духа, пропитавшего все вокруг. Отчетливо слышу, как тяжелая маслянистая жидкость глухо булькнула, — это ковш проглотил первый литр питья, и он осторожной струей переливается в канистру. Взгляд керосинщика сосредоточен на струе и горлышке канистры, в которое вставлена короткая воронка. Твердая рука все же слегка подрагивает, и струя шевелится в воздухе, как туловище живого змея, рискуя проплеснуть мимо, готовая превратиться в пляшущего огненного дракона, найдись поблизости хоть одна искорка! Но это исключено. Беззвучно шелестя губами, керосинщик отсчитывает литры, объявляя вслух последний:

— Дэсят, — и обтирает теплые лоснящиеся лапы о нитяную ветошь, собранную в ком.

Теперь Мурластый считает деньги: влажную мелочь и вонючие, жирные рубли, которые хорошо бы проветрить, как бельце, на веревочке, — так они шибают в нос.

Кроме керосина, лавка торгует всякой всячиной: гвоздями — от маленьких, как патефонные иголки, до «корабельных», толщиной в палец (такие хоть в палубу заколачивай!); краской в круглых банках, олифой. На полке блестят английские замки; на прилавке липкой горкой лежит мокрая, серая замазка, похожая на промасленную халву. Сходство усилится, когда замазка подсохнет и начнет крошиться.

На губах у меня противный керосиновый налет.

Наша очередь.

Филипповна подвигает хозяину трофейную канистру.

— Нам бы красинчику... Чичас раскумбрю, — суетится няня, приподнимаемая крышку на горлышке.

— Сколко? — спрашивает Мурластый, вставляя в горлышко воронку.

— Десять литров улить можно?

— Почему — нэт? Сколко надо, столко отпущу.

И очередь с величайшим терпением, затаив дыхание, дожидается, пока керосинщик ведет свой беззвучный счет, завершая его сказанным вслух:

— Дэсят! — и облегченно вздыхает вместе с ним, обтирающим ветошью ковш.

Между тем мама накупала съестных припасов, ведь на даче никаких магазинов не было, и еду приходилось таскать из Москвы («Что потопаешь, то и полопаешь»). Вместе с няней увязывала вещи, постели. Паковала в коробки кухонный скарб. Все это нужно было *перевозить*.

В день отъезда завтракали на скорую руку. Няня спрашивала:

— Тебе яйцо умятку сварить али вбить, яешню сделать?

— Яешню.

За завтраком папа просматривал «Советский спорт», улыбаясь успехам своего любимца гроссмейстера Кереса, а мама просила:

— Отложи газету. Ну кто за едой читает? Не показывай пример.

— Сейчас, — соглашался папа и продолжал свое.

В сборах он не участвовал, на дачу не переезжал. С утра читал лекции военным юристам; днем, если удавалось, спал, накрывшись с головой пестреньким маминым халатом; по вечерам разбирал партии Пауля Кереса или встречался с хорошими, крепко пьющими друзьями (фронтовики!), а потом допоздна готовился к новой лекции, выгоняя хмель строгой статьей Уголовного права. В многолетнем матче Керес — «Херес» успех склонялся в пользу последнего. Гроссмейстер все чаще проигрывал, не в силах преодолеть искушающие аргументы староиспанской защиты. Одним словом, папе было не до дачи. Туда он заглядывал иногда по воскресеньям и с дядей Митей был едва знаком.

А я мог бы удивляться тому, как уживаются во мне любовь к папе с горячей симпатией к дяде Мите, хотя что у них общего — не понимал. Папа — ученый, преподает в академии; дядя Митя — шофер, возит милиционеров. У папы денег и на ресторан хватает (в крайнем случае займет у Филипповны из ее же няниного жалованья, которое она по-крестьянски подкапливает, почти не тратя); а дядя Митя, судя по всему, перебивается с кваса на воду. Папа всегда умен, часто остроумен плюс, когда выпьет, еще и красноречив; дядя же Митя — хоть и умный, но молчун, вина в рот не берет. Папа — подвижный, полный азарта; а дядя Митя какой-то приглушенный, как будто немного затюканный. Он основателен, хозяйствен, нетороплив; зато если какой-нибудь водопроводчик по своему обычаю назовет *папу* «хозяином», то сразу же сам смутится от неловкости. Мама — хозяйка, няня — хозяйка, да; а хозяйина у нас нет. Дядя Митя живет в мире людей и вещей, папа — больше в мире мыслей, книг и желаний. И все-таки я почему-то был уверен, что они могли бы подружиться, особенно если бы дядя Митя играл в шахматы. Мама как-то сказала о нем:

— Вот дядя Митя без образования, а какой человек интеллигентный!..

Однако это решающее замечание я по малолетству пропустил мимо ушей.

В отличие от Арнольда, дядя Митя был нашим ближайшим соседом по даче и жил там постоянно: зимой и летом, а работал в Москве. Хотя приезжал он за нами всегда в точно оговоренный срок и ждал я его с нетерпением, все-таки каждый раз возникал он передо мной неожиданно; правда, в этой неожиданности скрывалась и какая-то обычность: он был привычно неожидан. Вот его еще нет, нет, нет... А вот он уже подхватил в обе руки самые тяжелые вещи, которые я не могу даже с места сдвинуть, и понес к машине. Мама кричит ему вслед, чтобы он вместо тяжестей взял что-нибудь полегче, но дядя Митя на легкое не согласен. Если он возьмет легкое, то кому достанется тяжелое? Маме?

Ну, пора!

В дорогу «хозяйка» надевает самое простое, предсказывая, что на последних километрах из нее *всю душу вытрясет*.

Филипповна внизу дежурит у фургона, а водитель плотно ставит поклажу в крытый синий кузов, по борту которого бежит надпись: «Милиция».

Кузов утрамбован. Мама с няней устраиваются на лавке среди вещей за спущенными по окнам гофрированными шторками (необходимая маскировка), а я усаживаюсь в кабине рядом с водителем. Дорогу я, конечно, не помню — целая зима прошла! — но ее и не надо объяснять, ведь шофер едет к себе домой.

Мы медленно вырливаем на пустую набережную. Проезжаем мимо Дома правительства на том берегу. Разгоняясь, подныриваем под Каменный мост. Катим вдоль кремлевской стены.

Мама стучит нам в окошечко за спиной. Водитель останавливает фургон и идет посмотреть, что там случилось. Наверно, сдвинулись какие-то вещи: надо их потуже закрепить.

Я хорошо сознаю всю необычность места нашей остановки. Позади — угловая Водовзводная башня Кремля, а здесь, за красной стеной, в двух шагах от нас в своем рабочем кабинете трудится друг всех детей и народов. Он умудрен и всевидящ. Может быть, сейчас он смотрит на меня поверх стены, а вообще-то ему, раскуривающему у окна ароматную вишневую трубочку, ничего не стоит проникнуть взором и *сквозь* кирпичную кладку, не говоря уже о маскировочных шторках:

— Что это там за милицэйский фургон остановился? Нэ порядок. Кто разрешил на служебном транспорте дачников перевозить? Гдэ начальник гаража? У него — что? Инструкция за тумбочку завалилась? Вот я ему сэчас нос откушу!

Фургон стоит на безлюдной набережной перед Кремлем. Я сижу в кабине один. К машине, оглядываясь, слегка пригнувшись, подходит незнакомый мальчишка. Он подает мне знаки, как бы выманивая из кабины. Приоткрываю дверцу и слышу незабываемое:

— Пацан, беги!..

Парень уверен, что меня схватили и везут в тюрьму; что кузов набит милицией, но, по счастью, что-то произошло и на какое-то мгновение я остался без присмотра. Сейчас или никогда. Он открывает дверь нараспашку:

— Пацан, беги!..

Но далеко ли мы убежим? Справа — река, слева — стена. Тем более, что мне вообще не надо никуда бежать! Я ждал дядю Митю. Он приехал после ночной смены, чтобы отвезти нас на дачу. Но это наша тайна. Я не могу в ней признаться. Хотя, кому положено, тот и так знает...

Пожимаю руку мальчишке и говорю тихо:

— Я на дачу еду.

Он присвистывает, снова прочитывая надпись по борту: «Милиция» — и кивает:

— Тогда... бывай.

— Коробки поправил, — объясняет дядя Митя, отруливая от тротуара, и уже больше ничто не может остановить нас, кроме светофоров.

Никаких «вертушек» или сирен у нас нет. Все равно грузовики и легковушки сторонятся, пропуская милицэйский фургон. А вырвавшись из городского каменного кольца на Ярославское шоссе, мы и вовсе мчимся шибко-шибко, так, что кажется, у мотора прибыло сил на вольном воздухе Подмоскovie.

Прощайте, хмурые теснины! Двор-колодец, переулок-ущелье. Въедет в него самосвал на том конце, а гул уже бежит, бежит впереди: «Ждите, еду!» Прогрохотал. А эхо долго еще дрожит, отскакивая, как мяч, от стены к стене, от стены к стене...

То ли дело сельская ширь!

Сколько простора и света!

Летят поля...

Мелькают деревянные, почерневшие от нужды и старости домишки под косыми крышами, такие родные и милые, похожие на пригорюнившихся бабушек в платочках.

Город выписывает облака в проемы над головой, как хлеб по карточкам, а здесь неба больше, чем земли.

Некоторое время над нами парит одинокая птица.

— Коршун, — показывает глазами дядя Митя.

Потом птица сносится ветром, пропадает.

С утра шел дождь, а теперь выглянуло солнце, и асфальт блестит, словно туго накатанная зернистая лента.

Издалека надвигается встречная пятитонка. С нарастающим шумом пронесится сбоку, и мы опять одни под голубыми просветами дымно-серых небес.

Лицо у дяди Мити потемнело от усталости; наверно, его морит сон, потому что он просит все время с ним разговаривать. И я расспрашиваю, расспрашиваю его про старшего сына Вовку — расторопного, хозяйственного малюго, который уже ездит с отцом на том же фургоне за комбикормом для кур; про младшего сына Мишку — попрошайку и жалобщика, вечно путающегося в длинных, как вожжи, соплях; про дочку Лидочку — противную писклю, не слезающую с рук матери. Дядя Митя, как взрослому, рассказывает мне о том, что его жена тетя Клава зимой сильно болела; что прошлым летом их корова зашла в клевер и обьелась чуть не до смерти, но сейчас — слава Богу.

Мы сворачиваем к железнодорожному переезду между Пушкино и «Заветами...». Неуверенно качнувшись, колымага въезжает на дощатый настил, осторожно переваливаясь через полированные рельсы.

Шоссе кончилось — дорожная «малина» отошла. Впереди — последние километры раздрызганной вкривь и вкось, измордованной колесами проселочной колеи.

Мотор взрывает, как хороший медведь — бурый медведь-берложник; передние шины сползают в нарубцованную кашу дремучего бездорожья, и кузов начинает кидать по сторонам вместе с кабиной. Я крепко держусь за ручку на дверце, но все равно торкаюсь то в боковое стекло, то в дядю Митю. Он вцепился в баранку, сон как рукой сняло.

— Ничего... Пробьемся! На фронте хуже было.

И мы — пробиваемся, пышно раскатывая вязкие лужи; юзом скользя по краю клеклых колдобин; яростно буксуя; выбрасывая из-под колес косяе ошметки расквашенной глины.

Дядя Митя двумя руками со страшной силой вертит баранку, балансируя ею, словно канатоходец противовесом, стремясь удержать неустойчивый фургон; бьет меня локтем по ребрам. Терпи, казак! Маме с няней еще тяжелей. На них отовсюду валяются вещи. В упавшей канистре хлюпает керосин. Лишь бы не застрять! Лишь бы не застрять! А ветки колотят о крышу; буйной зеленью прохлестывают по стеклам. В приоткрытое окно потянуло свежим духом елового бора, кипящей сирени, цветущего луга... Последний поворот перед дачей артистки Орочко.

Стоп, машина! Дядя Митя вырубает мотор.

Сразу становится оглушительно тихо.

Я слышу, как поблизости за соседской калиткой ревет трехлетний Борька, а бабушка внушает ему, сама поражаясь своей прозорливости:

— Что я тебе говорила? Не будешь бабушку слушать — достукаешься. Вот и достукался. Смотри: уже милиция приехала!..



АЛЕКСАНДР ЗОРИН

*

СТВОЛ ЯСЕНЯ

* *
*

Складывать дрова в поленницу — занятие для душевнобольных.
Действует успокоительно. Свидетельствую невольно.
Земные поклоны отваживают от побуждений шальных,
в замкнутом организме блуждающих бесконтрольно.

Березовые неподъемные комли под колуном кованым
С хрустом разваливаются, как арбузы.
Свежеспиленная осина терпким пахнёт вином,
настояем лесных урочищ — подарок от праздной Музы.

Труд мой простой размером задан — от сих и до сих.
В границах его достаточных прикидываю, сочиняю...
Складываю поленницу честнее, чем акростих.
Осиновые согласные с березовыми сочетаю.

* *
*

В стерильной тишине,
где каждый звук извне
вязнет в глухих сугробах;
где с потолка — молчок —
проворный паучок
спускается на стропах;

где, слышимы едва,
потрескивают дрова
березовые в печке;
среди тепла и книг
вдруг ощутить на миг
себя в тугой уздечке.

На столике часы
стучат... Цепные псы,
ишь, стрелками оскалась...
И что вы расстучались!

Как будто я без вас
не знал, скорбями мечен,
что золотой запас
трудов и дней — конечен.
Что он от сих до сих...
У всякой стражи бзик
стращать и брать на мушку.
Но я еще не псих
вас прятать под подушку.

Родовое

Узловатый толстый обрубок корня.
Вторую топку закладываю, а он не поддается.
Не хочет гореть.

Вокруг него взахлеб веселятся,
отплясывают и выкидывают коленца
сухие полешки,
а он лежит как бульжник.

Не буду встречать, не буду ворошить железом
его стойкой неприкосновенности.
Чуть позже, чуть раньше
все равно ведь истлеет,
раскрошится на коралловое ожерелье,
провалится в поддувало...

* *
*

Рядом с мамой умирающей
меркнет все... Орган рыдающий
неуместен в этот миг.
Безучастен Божий лик —

образок над холодильником.
Вдруг царапнут, как напильником,
покаянного псалма
непонятные слова.

Тлеет плоть — скорлупка выеденная.
В миг, когда вокруг темно,
чувствуется лишь одно —
несказанное, невидимое.

* *
*

Вот уж мамины вещи
уплывают зловеще.
Исчезают как дым
по углам по чужим.

Не к тому, так к другому,
канделябром звеня,
пианино из дому
пошагало... Такому
дару рада родня.

Обнажились скелеты
стен, торчат костыли,
где висели портреты
композиторов... и
что-то вроде осколка
злополучной судьбы
память папина — полка
ворносковской резьбы.

То, что было опорой,
доброй школой, средой,
стало емкостью полой,
как скворечник пустой.

Скатерть, вазочка, бисер...
Это все не мое.
Но останется писем
горстка и голос ее.

А еще будто пленный,
болью сдавленный взгляд,
что ни вещи, ни стены,
ни слова — не вместят.

* *
*

Кладбище Востряковское.
Летом или зимой
потребность, видать, стариковская —
прихожу, как к себе домой.

Слева родители; справа разветвленная родня маминого корня:
Моисей, Роза, Фира, Абрам, Лева, Роман...
все они когда-то приезжали к нам в гости на Малую Остроумовскую,
все сидели за большим столом,
в полутемной комнатке с одним окошком,
выходящим в подворотню...
Сейчас в том доме разместился магазин «Продукты»,
а в комнате — склад стеклотары.

Не страшно на кладбище.
Подровняю землю, подмету опавшие листья,
задержусь до поздних сумерек...
Не страшно... Представить себя здесь, за оградой, и там, где
они сейчас снова вместе.

* *
*

Старость — узилище зла.
Несть бедолагам числа
и на кромешных дорогах,
и в лучезарных чертогах.

За мириадами дел,
препровожденных на ветер,
близость твою проглядел.
Явных следов не заметил.

Я ли с тобой не дружил?
Ты ли со мною не зналась?..
Маму похоронил —
вот ты когда постучалась

из потайного угла.
Самый старательный недруг...
Что-то ты мне припасла
в недрах своих — напоследок.

Голос отца Александра

С кем это я, раздирающе душу, азартно
спорил во сне? И с полночи заснуть уж не мог...

Клавишу рядом нажал — светлый голос отца Александра
смыл нанесенную смуту, как горный поток.

Цивилизация наша, конечно, порочна.
Входит в нее техногенное детище прочно.
Нету покоя нигде, даже не снится покой...
Все же хвала ей за то, что и денно и ночью
есть очистительный голос его под рукой.

Ствол ясеня

Там, где давно их величество Случай шкодит и правит,
непостижимо в чудо поверить, что Бог не оставит.

Где под ногами пучина пузырится и шевелится,
самое трудное, как на скалу, на Него положиться.

Ствол искривленный, придавлен не лучшею долей,
жив изначально подспудною верой и волей.

Волею к вере, к живительной влаге, к небесному свету.
Вера и воля — надежней помощников нету.

Ну так и что, что у ясеня ствол искривленный!
Малое гнездышко птица свела и под этою кроной.

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ



СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ И ВОКРУГ НЕЕ

Но сходным сходное всегда живет,
И чуждым чуждое питаться может.

Франческо Петрарка.

Крест, полумесяц, шестиконечная звезда

Рассматривая карту мира, вышедшую в XIV веке в Лейдене, обращаешь внимание прежде всего на то, что в самом центре круга земель (здесь это именно круг) помещен Иерусалим со Святой землей, а страны вокруг него размещаются не совсем так, как это им положено географией: почему-то близко к Иерусалиму оказывается Рим, немногим дальше — Франция и гораздо дальше — Египет. Плохое знание географии? Отнюдь. В то время в Европе уже были знакомы с античными картами, где береговая линия Средиземного моря очерчена с большой степенью точности, и уже был собственный опыт плавания в тот же Египет, где высаживались крестоносцы, хорошо знавшие, что от чего близко и что далеко. Причина искажений в другом: духовная география значила для европейцев того времени больше, чем физическая.

Святая земля и в XIV веке оставалась в центре внимания европейского мира: главные новости для него были те, что привозили из Палестины загоревшие дочерна рыцари или побывавшие там пронырливые купцы. Лишь в следующем столетии наступило «расширение горизонтов» и испано-португальские каравеллы пустились в плавание по всем морям-океанам, а с другой стороны, европейская история «понеслась вскачь», и в результате *facta domestica* («домашние дела») по важности надолго заслонили для Европы все остальное. И так продолжалось до конца XX века.

Утверждение Милоша Кундеры, что ныне Европа оказалась на задворках истории, содержит некоторое преувеличение, и все же верно, что силовые линии мировой политики сейчас располагаются главным образом вокруг Ближнего Востока. На то есть две причины. Первая — возвращение религиозного фактора в политику. Ближний Восток аккумулирует агрессивный исламизм, ставший главным «возмутителем спокойствия» на планете и грозящий гибелью всему «христианскому миру». В особой ситуации оказалась Святая земля, колыбель «авраамических» вер, которые так или иначе исповедуют народы, населяющие пять шестых земной суши; здесь исламский мир, прежде всего в лице его палестинского «авангарда», насмерть схватился с возрожденным Израилем, и конца их противоборству пока не видно.

Вторая причина: на Ближнем Востоке, точнее, в Месопотамии и в районе Персидского залива скоплена большая часть мировых запасов нефти. Без ближневосточной нефти западная экономика рухнула бы в считанные дни. Исламисты усматривают в этом перст Аллаха, давшего мусульманскому миру весомый козырь в борьбе с Западом. Думаю, что они все же ближе к истине, чем западные (теперь и российский) политики и бизнесмены, для которых нефть — средство наживы; эти политики и бизнесмены напоминают мне шумерских идолов, в глазницах которых стоит черная застывшая нефть (битум). У исламистов по крайней мере обзор более широкий.

Еще в XVIII веке мусульманские богословы высказали мысль, что нефть есть результат смешения уникально плодородной райской почвы, точнее, содержащихся в ней жирных примесей с некоторыми другими веществами. И в этом суждении (отчасти согласующемся с теорией органического происхождения нефти — из остатков растительного и животного мира) тоже «что-то есть». Оно, кстати, объясняет, почему именно райские (по легенде) места более других избыточествуют нефтью. Если его принять, тогда придется считать эту черную (или красно-коричневую) маслянистую жидкость, так сказать, побочным продуктом изгнания из рая.

Так или иначе, нефть служит для исламистов мощным средством борьбы с Западом. Особенно далеко идущие планы были в этом смысле у Саддама Хусейна (хотя он и не исламист), мечтавшего ни много ни мало о мировом господстве. Не все знают, что Саддам изначально поставил себе задачей овладение *всей* ближневосточной нефтью. После того, как попытка отторгнуть у Ирана его нефтяные поля не удалась (тяжелая для обеих сторон восьмилетняя война завершилась ничейным исходом), Саддам обратил взоры в южную сторону: захватил Кувейт, имея дальним прицелом Эмираты и Саудовскую Аравию. В случае успеха он смог бы диктовать мировые цены на нефть и уже одним этим поставил бы Запад на колени. А чтобы закрепить свое положение, постарался бы обзавестись такими видами ОМУ (оружия массового уничтожения), какими ему было бы под силу обзавестись.

Споры о том, было или не было у Саддама какое-либо ОМУ (а значит, стоило ли предпринимать против него военную операцию), мне представляются несерьезными. Ясно как дважды два, что Саддам *хотел* занять чудо-оружие той или иной его разновидности. Столь же несомненно, что он *мог* его занять (например, атомное оружие у него давно уже было бы, если бы израильтяне не разбомбили ядерный реактор в Осираке в 1981 году). Надо ли было ждать сложа руки, пока едва ли не самый отвратительный деспот рубежа веков оборужится до такой степени, что подступиться к нему станет стократ сложнее?

Между прочим, отвратительным деспотом он выглядит и в глазах мусульман, которые при ином раскладе только порадовались бы его падению. Но в данном случае сыграла роль такая вещь, как мусульманская солидарность. Многие мусульмане надеялись, что Саддам, даром что он «плохой мусульманин», сумеет стать «новым Саладином», который одолеет «новых крестоносцев». Не получилось. Очевидно, Аллах «плохим мусульманам» не помощник.

Американец же здесь оказался в роли шерифа из знаменитого вестерна «В самый полдень» (ее сыграл стареющий Гэри Купер). В этом фильме шериф спасает жителей городка от банды гангстеров вопреки их собственной воле, а потом с досады бросает свою шерифскую звезду в пыль. Возможно, что так же ему придется поступить и на этот раз.

И тем не менее англо-американская интервенция в Ираке, на мой взгляд, была достаточно оправданной — как и ранее в Афганистане. Пора было вскрыть этот гнойный нарыв, именуемый Саддамом Хусейном. Другой вопрос, что одержанная в обеих странах победа не должна внушать чрезмерную эйфорию. Deus ex machina может многое, но далеко не все. Рождения демократического общества по западному образцу ни там, ни здесь ждать не приходится. Да американцы, кажется, всерьез на это и не надеются. Одержан успех в лобовом столкновении, но дальше дело будет решаться совсем на другом уровне.

Башню Немврода, как известно, растащили по крупницам муравьи. То же может случиться и с совсем другими «башнями».

В столкновении «христианского мира» с миром ислама дело будет решаться в конечном счете на микроуровне — как в религиозно-культурном, так и в чисто силовом аспектах. Исламисты это понимают или чувствуют, поэтому успехи американцев, достигнутые в Афганистане и Ираке, не слишком их обескураживают. Они настроены на долгую борьбу и на победу, какой бы она ни казалась невероятной.

Вообще мусульман всегда отличала и отличает воинственность. Это признавал даже такой «твердый мусульманин», как Джалаладдин Руми (да благословит его Аллах и да приветствует):

Наша религия склоняется к войне и террору,
Религия Иисуса зовет в пещеру и в гору.

(То есть склоняет к отшельничеству.) Конечно, и христианские вои брались за мечи, когда находили это нужным, — вспомним хотя бы о крестовых походах. Но мусульмане делали это чаще и — до поры до времени — с большим успехом. В мусульманских массах распространена уверенность, что «наша всегда брала верх», — и значит, так будет и дальше; о своих поражениях, как водится, забывают¹. Хотя список побед мусульманского оружия и вправду внушительен. Напомню, что самое крупное и, безусловно, самое принципиальное столкновение двух миров — крестовые походы, охватившие целых два столетия (если считать от взятия Иерусалима в 1099 году до падения Акры в 1291-м), окончились безоговорочной победой мусульман.

А ведь сколько энергии, сколько поистине высоких порывов вложила Европа в это несколько сомнительное, с богословской точки зрения (недаром Рим долго колебался, прежде чем одобрить его), предприятие! И все же некоторый полезный урок из понесенной неудачи был извлечен. Его сформулировал последний из «великих крестоносцев» (которого называют также «идеальным крестоносцем») король Франции Людовик IX Святой (возглавитель седьмого и восьмого — последних «серьезных» крестовых походов): выше идеи завоевания — идея жертвы.

Впрочем, во многих иных случаях фортуна, как принято говорить, склонялась на сторону христианских армий.

Но вот что примечательно: мусульманские армии продвигались стремительно, как степной пожар, а христиане брали реванш, если это вообще у них получалось, в продолжение гораздо более длительного времени. Так, в считанные десятилетия (весьма малый срок по тогдашним временам) арабы захватили всю (тогда христианскую) Северную Африку, почти весь Пиренейский полуостров и продвинулись до Луары. На Луаре они, правда, не закрепились, но Испанию держали цепко, и обратное ее завоевание (реконкиста) заняло у христиан шесть или семь веков! Почти такая же картина наблюдалась и на юго-востоке Европы: стремительное продвижение османов до самой Вены, крепкое их сидение на Дунае в течение нескольких веков и медленное, занявшее около двухсот лет (и это несмотря на выявившееся к тому времени военно-техническое превосходство европейцев) изгнание их с Балкан².

Только договор, заключенный европейским Фаустом с его ночным посетителем, дал Европе решительный перевес над мусульманским соседом.

Но теперь европейцы уже и не думали о войне за Святые места. На исходе XVIII века, спустя пять столетий после окончания крестовых походов, на землю Палестины вновь вступили европейские (французские) войска, ведомые молодым и очень перспективным генералом. Его конные егеря появились на горе Фавор, но, как пишет французский историк Г. Мишо, «Иерусалим, от которого они были так близко, не заставил биться их сердце, не обратил даже на себя их внимания: все уже было изменено в понятиях, которые управляли судьбами Запада»³.

¹ В середине XIX века Теофиль Готье видел в турецких кофейнях такие, например, картины: герои «Шахнаме» побивают бердышами *наполеоновских* воинов.

² Оказавшееся к тому же неполным. Турки оставили на Балканах крупные мусульманские анклавы, которые в последние десятилетия стали быстро расширяться.

³ Мишо Г. История крестовых походов. СПб. — М., 1884, стр. 214. Следует уточнить, что не все европейцы к тому времени охладели к имени Иерусалима. Достаточно назвать таких романтиков, как Франсуа-Рене де Шатобриан, Альфонс де Ламартин или Жерар де Нерваль, у которых крестовые походы вызывали поэтическое восхищение и надежды на их возобновление не угадали окончательно.

К концу XIX века, когда контакты с европейцами сделались более тесными, мусульманский мир впал в ступор: культурное и научно-техническое (военно-техническое в частности) превосходство «христианского мира» стало подавляющим. Характерный вопрос со страниц «Тысячи и одной ночи»: «Вы из людей или из джиннов?» — теперь было впору адресовать «франкам» (западным людям).

Прошло время, пока мусульмане обнаружили в теле западной цивилизации некие червоточинки, а затем окончательно убедились, что предлагаемое им «яблоко соблазна» наполовину порченное. Эти открытия вдохнули новую веру в ислам и подвигли мусульман на возобновление борьбы с теми, кого они по старой памяти называют «крестоносцами», добавляя к ним еще евреев. «Крестоносцы и евреи» — так теперь определяется враг.

Странное определение, если учесть, сколь далек ныне Запад от крестоносного рвення. Особенно это относится к Европе, спешащей как можно решительнее отречься от своих крестоносных предков. Характерен в этом смысле показанный недавно по нашему телевидению документальный сериал «Крестовые походы» (BBC), где отношение к крестоносным рыцарям ироническое, ёрническое, а то и прямо издевательское, а к мусульманской стороне, наоборот, — в высшей степени предупредительное. Америка настроена несколько иначе; особенно это относится к ее «фундаменталистскому поясу». Но и американцы из соображений политкорректности всячески избегают проводить какие-либо аналогии между собственными военными акциями и крестовыми походами. Хотя религиозный Дж. Буш-младший, каждый свой день начинающий с чтения Библии, часто ссылается на Бога, чего, кажется, никто из европейских руководителей уже не делает.

Правда, в некотором расширительном смысле мусульмане вправе именовать своих противников крестоносцами — имея в виду, что те свободы, какие вызывают неприятие на мусульманском Востоке, могли быть реализованы только под знаком Креста.

Но по существу своему войны в Афганистане и Ираке не имеют ничего общего с крестовыми походами уже по той причине, что являются скорее превентивными войнами в рамках оборонительной в общем и целом стратегии. Показательно, что даже в Соединенных Штатах поднялась волна недовольства американским вмешательством в Ираке, когда не было найдено прямых доказательств того, что там было спрятано ОМУ, иначе говоря, не было найдено прямых доказательств, что Ирак мог *непосредственно* угрожать американцам.

Единственное, что сближает нынешнюю ситуацию с эпохой крестовых походов, — это то, что мусульмане утратили контроль над Святой землей. Но завладели ею не христиане, а евреи государства Израиль. Мусульмане привычно считают Израиль прозападным государством — и ошибаются чем дальше, тем больше.

«Посадить перекасти-поле корешком в землю»

Сочетание «крестоносцы и евреи» подлинным крестоносцам показалось бы парадоксальным, даже оскорбительным. Евреев они жаловали еще меньше, чем мусульман. Тех все-таки уважали как воинов, а евреев — презирали. Крестоносцы еще только направляли свои стопы в Святую землю, а уже вдоль всего пути их следования по Рейну прокатилась волна еврейских погромов. И когда был взят Иерусалим, с живущими там евреями расправлялись несколько не менее жестоко, чем с мусульманами.

И все-таки некоторая генетическая связь между крестоносным движением и еврейской *алией* — «восхождением», а в данном случае возвращением на землю предков — по-видимому, существует.

В романе Вальтера Скотта «Айвенго», всеми в детские годы прочитанном, есть такая сцена. Возвратившийся из Святой земли Айвенго и красавица Ревекка оказываются заключенными в одной из комнат замка Фрон де Бефа в момент, когда его штурмует воинство Черного рыцаря. И тут между ними

происходит чрезвычайно интересный разговор. Ревекка наблюдает из окна башни за ходом штурма и осведомляет о нем Айвенго, раненого и потому прикованного к своему ложу. Как женщину, битва ужасает ее, а рыцарская жажда славы кажется пустым тщеславием. Айвенго отвечает, что она, как еврейка, не понимает христианского рыцарства и его высоких задач. На самом деле Ревекка понимает и чувствует больше того, что предполагает в ней Айвенго. Битва вызывает в ней «ужас, смешанный с восторгом»; последний проистекает оттого, что вызывает в памяти деяния ее собственных предков. Увы, теперь, как она говорит, обращаясь к Айвенго, «звуки труб больше не оглашают Иудею, а ее униженные сыны стали беспомощными жертвами гонения. Правду ты сказал, сэр рыцарь: доколе Бог Иакова не явит из среды своего избранного народа нового Гедеона или Маккавея, не подобает еврейской девушке толковать о сражениях и о войне».

Допускаю, что эта сцена кому-то впервые подсказала идею сионизма.

Заметим, что Ревекка, пожалуй, духовно выше всех остальных героев романа. «Для баланса» в нем выведен ее отец Исаак, «презренный» служитель Мамоны⁴.

Сионизм возник в среде глубоко европеизированных евреев, проникшихся идеями и идеалами своего времени (конец XIX — начало XX века) и далеко отошедшими от религии отцов. Когда основоположник сионизма Теодор Герцль чертил свои планы возрождения еврейского государства в Палестине, в душе его, наверное, пели трубы из «Лознгрина» и «Тангейзера», а отнюдь не песнопения царя Давида; он был почитателем Вагнера и *микеланджеловского* Моисея, ренессансного человекобога, весьма далекого от подлинного Моисея (как заметил один иудейский богослов, то, что увидел Моисей на горе Синай, должно было сделать его скромнейшим из людей).

Идею сионизма выразительно сформулировал М. О. Гершензон: «Надо хоть часть евреев собрать в пучок и прижать этот пучок к земле и держать прижатым до тех пор, пока он пустит корни в землю; тогда через корни станут подниматься из почвы живые соки, ствол оживет; опять расцветет в еврействе национальный быт, а из него родится и плод — национальное творчество... Посадить перекасти-поле корешком в землю»⁵. (Сам Гершензон этой идеи не одобрял, полагая, что задача еврейства состоит как раз в том, чтобы порвать нити, привязывающие человека к земле; не мечтать о крепких стенах Иерусалима, но довольствоваться передвижными шатрами.)

Против сионизма выступил, за некоторым исключением, раввинат, где бы он ни находился. Раввины как раз мечтали о крепких стенах Иерусалима (традиционное приветствие иудеев на протяжении многих веков: «До встречи в Иерусалиме!»), но свято верили в пророчество: «Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его» (Иер. 31: 10). Не дело рук человеческих пытаться восстановить порушенное Божьим попущением.

Но сионисты не были религиозными людьми; они хотели создать на земле Палестины «нормальное» светское государство, которое заняло бы достойное место в европейской (именно европейской) «семье народов». Уж если евреи Дизраэли и Гамбетта сумели управлять великими европейскими державами, рассуждали они, то в новом Израиле тем более найдутся люди, способные встать у кормила власти и обеспечить ему всю полноту государственности. И они привезли с собою в Палестину всю цветовую гамму европейских воззрений — от идеологии пионеров, осваивающих «пустыню» (американский пример), и колонизаторского рвения до социализма, зовущего к единению с другими народами (в данном случае с арабами), и даже толстовства.

⁴ В другом месте Ревекка говорит, обращаясь к Бриану де Буагильберу: «Разве те люди, через которых Иегова творил такие чудеса среди народов, были торгаши и ростовщики?» Это противопоставление «исконных» евреев «наличным», ставшим такими, каковы они есть, волею судеб, а не в силу заключенных в них пороков, также находим позднее у сионистов.

⁵ Гершензон М. Избранное. Т. 4. М. — Иерусалим, 2000, стр. 174.

С советских времен понятие «сионизм» отягощено у нас отрицательными значениями, от которых оно с большим трудом освобождается. И не все знают, что в первые десятилетия XX века сионизм встречал в Европе и Америке почти всеобщее сочувствие. Гершензон был почти прав, когда писал, что он «вызвал всеобщую симпатию во всем цивилизованном мире»⁶. Сочувствие излучают, например, адресованные ранним сионистам строки Бунина (1908):

Но в прах отцов вы посохи сложили,
Вас обрела родимая страна.

В ней спят цари, пророки и левиты.
В блаженные обители ея
Всех, что в чужбине не были убиты,
Сбирает милосердный Судия.

Правда, на Судию, как уже было сказано, сионисты не полагались, считывая лишь на собственные силы. Редко кто из них мечтал прикинуться к Стене плача. Плачущий сионист — такая же несуразица, как и плачущий большевик. Они хотели показать миру, что еврей может быть не робким угодником и не расчетливым торгашом, но пахарем и воином, поднявшим вырванные много веков назад щит Давида и меч Бар-Кохбы. И даже если сам Б-г (как принято писать у иудеев) говорит «нет», сионист не колеблясь бросает Ему вызов. Владимир (Зеев) Жаботинский:

Пусть Божий меч на страже перевала,
Но мы пройдем ему наперекор⁷.

Будущее еврейское государство, Altneuland, Герцль представлял ближневосточным Зигфридом (а была еще в Германии сионистская организация, именовавшая себя «Германские тамплиеры»!), Жаботинский — Ильей Муромцем. Имагология стран пребывания владела их воображением даже больше, чем Книги Царств.

Десятилетия спустя, когда стали известны подробности Катастрофы, постигшей европейское еврейство, многие сионисты испытали не только возмущение и гнев, но и раздражение поведением жертв: опять эти евреи, яко агнцы, дали себя уложить штабелями трупов (что не вполне справедливо: вспомним хотя бы о восстании в Варшавском гетто). И в самом факте Катастрофы они усмотрели лишнее доказательство того, что нет никакой Высшей силы, которая призревала бы еврейский народ.

При всем том сионисты не были воинствующими атеистами на манер, допустим, большевиков. Они отдавали себе отчет в том, что религия — единственная сила, сплывавшая евреев на протяжении почти двух тысячелетий; что только благодаря ей они сохранились как народ. Многие сионисты, даже будучи безбожниками, оставались эмоционально привязаны к «вере отцов». Таков известный поэт Хаим Бялик (он жил в России и писал в основном на иврите). У Бялика нередко звучат богоборческие мотивы (например, в поэме «Мертвецы пустыни»: «Мы без Бога пойдем и взойдем без ковчега завета...» и т. п.), но вот как он писал о религиозной школе (хедере), в которой учился:

Ничтожная и жалкая картина
Для глаз чужих. Но ты почувешь сердцем,
Что предстоишь у Дома жизни нашей,
У нашего Хранилища души⁸.

Пусть иудаизм — «погасшие огни»; но тепло от них еще согревает и долго будет согревать еврейские сердца.

⁶ Гершензон М. Избранное. Т. 4, стр. 180.

⁷ Жаботинский В. Избранное. СПб. — Иерусалим, 1992, стр. 9.

⁸ Бялик Х. Песни и поэмы. СПб., 1911, стр. 63.

Подводя некоторый итог деятельности сионистов, можно сказать, что создание государства Израиль — подлинный «триумф воли». В считанные десятилетия на полузаброшенных землях (население Палестины в начале XX века было вдвое меньше, чем в древние времена) выросло современное во всех смыслах государство, обладающее высокоразвитой промышленностью, соответствующим уровнем жизни, высочайшим научно-техническим потенциалом и — last, but not least — одной из лучших в мире армий. «Осуществленная мечта»?

Одно не так: призванный быть убежищем для евреев всего мира, израильский «чертог» стал едва ли не самым опасным для жизни местом.

О пользе укрытий и доспехов

В 1948 году, незадолго до провозглашения государства Израиль, правительства ряда арабских стран призвали арабов Палестины покинуть эту страну (имея, правда, в виду, что «после победы» в ожидавшейся войне они туда вернуться). Если бы этот призыв был услышан, то палестинского вопроса сегодня не существовало бы или, во всяком случае, он не стоял бы так остро. Несколько сот тысяч палестинских арабов (никогда не считавших себя отдельной нацией) относительно легко могли бы раствориться в окружающем арабском море. Конечно, отрыв от почвы, где они успели прижиться за многие века, был бы для них болезненным. Но для евреев в свое время он был еще более болезненным — ибо им-то пришлось бежать отнюдь не к единоплеменникам и не к единоверцам. Нелегко было и тем евреям, что переселились в Израиль из мусульманских стран. Кстати, по численности они лишь немногим уступают палестинским арабам, а возможно, и превосходят их; если бы последние согласились тогда покинуть Палестину, произошел бы более или менее эквивалентный «обмен» населением между двумя противостоящими сторонами.

Увы, сегодня есть то, что есть: Израиль и палестинские арабы, подпираемые со всех сторон необозримым мусульманским миром, столкнулись лбами, не желая уступать друг другу⁹. И не стоит предаваться иллюзиям: никакая «дорожная карта» не выведет к мировой, во всяком случае в обозримом будущем. Впереди, образно говоря, дорога, белеющая человеческими костями.

Из древнего тумана выступает дельфийская Сивилла, вещающая «исступленными устами»: «В этом мире конца не будет войне».

Осадное положение, в каком фактически живет Израиль, способствует внутренней его трансформации — постепенному, но неуклонному его движению в сторону теократического государства. Хотя, наверное, движение это происходило бы в любом случае, независимо от внешних обстоятельств.

В чем его причины? «Под тонким слоем секулярной рациональности, — пишет Боас Эврон, — в мышлении многих [евреев] оставались живы мифические и религиозно-эсхатологические образцы. Возможно, именно они придавали силу их националистическому идеализму (имеется в виду сионизм. — Ю. К.). Размывание этого поверхностного слоя побудило некоторых [евреев] сознательно обратиться к иудаизму, в той или иной его интерпретации»¹⁰. Надо только уточнить, что размывание «поверхностного слоя» есть результат мирового кризиса секулярной рациональности, родиной которой является Запад.

Сионизм выполнил свою задачу: он выстроил дом для еврейского народа, но на этом выдохся. Его идеология складывалась из европейского «материала» в конце XIX — начале XX века и во многом оказывается теперь несостоятельной. Соответственно невыполнимым становится завет Т. Герцля: удерживать раввинов в синагогах, как армию — в казармах.

⁹ Впору вспомнить пророчество Захарии: «Сказал Господь: „Вот, Я... сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и всадника его — безумием...”» (12: 2 — 4).

¹⁰ Evron B. Jewish State or Israeli Nation? Bloomington, 1995, p. 201.

Со своей стороны раввинат изменил свое отношение к факту существования государства Израиль после «шестидневной войны» (1967). Блестящая победа, одержанная над войсками всех соседей Израиля, вместе взятых (хорошо подготовившихся к войне и первыми ее начавших), религиозной частью населения была воспринята как чудо, подтверждающее: Бог Исаака и Иакова — на стороне Израиля; на сионистов стали смотреть как на простое «несмышленное» орудие в Его руках. (Сохранились, правда, и такие ортодоксы, которые продолжают верить, что только Мессия может спасти Израиль, и потому отказываются принимать какое-либо участие в его военных усилиях.)

С этого момента ортодоксы¹¹ все больше сближаются с государством и все больше подчиняют его своему влиянию. Расширяется система религиозных школ, также растет число государственных школ «с углубленным изучением иудаизма»; соответственно сужается система чисто светского образования. Расширяется сфера компетенции религиозных судов. Так как в Израиле до сих пор не принята конституция, ортодоксы настаивают на том, что ее и не следует принимать; ее должна заменять Тора (Пятикнижие) — религиозный закон, для Израиля, по их убеждению, необходимый и достаточный. Министерство «духовной абсорбции» (существует такое) официально заявляет, что только религия позволяет вести борьбу «против безнравственности, бездуховности, распутства и наркомании»¹². В какой западной стране отыщется такое «мракобесное» министерство?

Укреплению ортодоксии способствует и постепенное «овостоцивание» Израиля. Сионистское государство создавали ашкеназы, европейские евреи, убежденные в том, что «еврейская улица» их новообретенной родины будет простым продолжением улиц Парижа и Вены¹³. Поэтому они не без некоторого усилия признали за своих переселенцев из стран Азии и Африки — людей, в культурном отношении гораздо более близких к мусульманам. Религия и общее (далекое) прошлое (опять же замешенное на религии) — единственное, что всех объединяло; зато религиозное рвение заметно отличало выходцев с Востока от выходцев с Запада. Восточным было непонятно, что это за такая «еврейская духовность», если она не держится обеими руками за Тору; и вряд ли можно сказать, что в этом они были не правы¹⁴.

Выходец из СССР, Александр Гольдштейн (знакомый российскому читателю по книге «Расставание с Нарциссом») смотрит на дело, со своей точки зрения, пессимистически: «Желтое марево Благодатного Полумесяца исполнителю завет ханаанцев. Восток пеленает нас, точно саван. Тают последние европейские огоньки ашкеназской души»¹⁵. Хотя, думается, ханаанцы тут совсем ни при чем.

Наши соотечественники, числом около миллиона, переселившиеся в Израиль, укрепили его демографически и в то же время привнесли в эту страну свою «иронию, тоску и отчужденность» (писатель Амос Оз)¹⁶, естественным образом замедлив процесс ее иудаизации. Но, как представляется, только на время. Ортодоксы, во всяком случае, утверждают, что «русская» молодежь гораздо более восприимчива к «религии отцов», чем старшие поколения, выросшие в атмосфере советского безбожия.

С другой стороны, нерелигиозная часть населения все больше проникается релятивизмом и скепсисом, характерными для современного западного об-

¹¹ Довольно условное понятие применительно к иудаизму, ибо в этой религии (как и в исламе) не существует верховного авторитета, стоящего на страже догматики. Но так их принято называть в Израиле.

¹² Цит. по кн.: Каушанский П. Л. На пути к третьему храму. СПб., 1997, стр. 45.

¹³ В 20-х годах В. Жаботинский писал как о чем-то само собой разумеющемся: «У нас, евреев, с так называемым „Востоком“ ничего общего нет, и слава Богу» (Жаботинский В. Указ. соч., стр. 250).

¹⁴ Артур Кёстлер писал: «...Для категории евреев, „нечетких“ в религии (кстати, сам Кёстлер относился к таковым. — Ю. К.), — непонятно, зачем нести жертвы для сохранения „еврейских ценностей“, не вписанных в религиозную доктрину» (Цит. по кн.: Солженицын А. Двести лет вместе. Ч. II. М., 2002, стр. 509).

¹⁵ Гольдштейн А. Аспекты духовного брака. М., 2001, стр. 26.

¹⁶ Цит. по кн.: Каушанский П. Л. Указ. соч., стр. 59.

щества. Здесь постепенно выветривается «уважение» к «религии отцов», которое прежде обеспечивало Израиллю некоторое единство. Учащаются откровенные призывы к борьбе с «клерикализмом»; кое-кто собирается объявить Kulturkampf по образцу Германии 70-х годов XIX века. Последний термин звучит сегодня по меньшей мере претенциозно. Бисмарк начал «борьбу за культуру» против католической церкви как-никак во имя Гёте и Шиллера. А чьи имена можно сегодня подставить на их место в таком контексте? Тарантино или Майкла Джексона?

Раздвоение Израиля между религиозной и нерелигиозной его частью углубляется, переходя в глухую борьбу. Ортодоксы уверены, что в этой борьбе они одержат победу. Залогом тому, с их точки зрения, является положение осажденной крепости, в котором оказался Израиль¹⁷. Леволлиберальное крыло политического спектра делает ставку на достижение мирного соглашения и ради этого готово идти на переговоры хоть с самим дьяволом. Но мирное соглашение чем дальше, тем больше становится миражом в пустыне. Другая сторона проявляет непреклонность, которая объективно укрепляет позиции израильских правых, опирающихся на раввинат, делающих ставку на силовую отпор.

Возрастающая религиозность осаждающих (напомню, что палестинское движение сопротивления зародилось как светское по преимуществу) оказывает в известной степени «заразительное» действие на осажденных — еще один фактор, способствующий иудаизации Израиля. То, что начиналось как спор за землю, превращается в священную войну за Сион.

Добавим, что только иудаизм сообщает определенную легитимность притязаниям евреев на Святую землю. В самом деле, мало ли в древности было народов, которые были изгнаны из мест своего проживания (или снялись добровольно) и переселились на какие-то новые места либо просто растворились среди других народов. Правда, евреи — единственный народ-изгнанник, который сохранился в рассеянии, не обретя нового местожительства. Но из этого еще не следует с железной непреложностью, что они имеют право на Палестину. В конце концов, они сами откуда-то пришли в землю Ханаан как будто в XIII веке до Р. Х. и завоевали ее в ходе двухсотлетней борьбы. Показательно, что нерелигиозные сионисты какое-то время колебались в выборе места для «национального очага»; некоторыми из них была предложена в этом качестве, например, Уганда.

И только Библия дает евреям права именно на Палестину (хотя и без указания точных границ). Только библейский «мандат» отвергает права других народов на эту страну, более того, призывает Израиль наказать их за их притязательность: «...Предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их» (Втор. 7: 2).

Еще одним залогом своей будущей победы ортодоксы считают демографию: рождаемость в семьях религиозных израильтян намного выше, чем у нерелигиозных (и в семьях восточного происхождения выше, чем в семьях западного). Если, как говорит С. Хантингтон, «демография — это судьба», то судьба Израиля — иудаистский фундаментализм; при условии, конечно, что дети, получающие соответствующее воспитание, пойдут по стопам отцов.

Dura lex, sed lex

Корректность — усугубляемая чувством вины за Катастрофу («Холокост»), — которую до сих пор проявлял Запад в отношении Израиля, заставляет его

¹⁷ «Когда человек попадает в зону боевых действий и угроз, — пишет диакон Андрей Кураев, — он начинает заново ценить полезность укрытий и доспехов (имеются в виду в первую очередь духовные „укрытия“ и „доспехи“. — Ю. К.). Стены, окружающие крепость, могут казаться стесняющими разрастание города и сужающими кругозор городских обывателей. Но появление очередной орды хорошо остужает стремления тех, кто хотел бы проложить парковое кольцо по периметру снесенных крепостных валов» (Кураев А. О нашем поражении. Христианство на пределе истории. М., 2003, стр. 560.).

сквозь пальцы смотреть на рост фундаментализма в этой стране. Хотя последний имеет бесспорно антизападную направленность, а именно он направлен против христианства (что естественно для иудаизма), во-первых, и против современной западной культуры, во-вторых.

Будучи довольно поверхностно знаком с иудаизмом, берусь судить об этом круге вопросов лишь по праву «свежей головы».

Прежде всего замечаешь, что критика Запада с израильской стороны — осторожная, часто прибегающая к обинякам (по крайней мере в тех изданиях, с которыми мне довелось познакомиться). Как-никак Запад — союзник; особенно Соединенные Штаты. Примером может служить вышедший не так давно в Москве и Иерусалиме сборник «Вавилон и Иерусалим». Вавилон в библейской традиции — символ язычества; в данном случае он обозначает Запад. Соединенные Штаты, правда, не называются; указующий перст направлен на Европу и международные организации. «В ООН и ЕС, — пишет Ян Виллем ван дер Ховен (западный автор и христианин — и это еще один знак осторожности: к делу критики Запада в сборнике привлечены, похоже, только западные авторы), — надежды возлагаются на усилия политиканства, а не усилия души. Перед человечеством открыты два пути — Вавилона и Иерусалима. Один — символ надежды человека только на свои силы, надежды на то, что если он объединится с другими на наиболее выгодных началах, то он сможет построить новый, и лучший, мир. Другой город символизирует надежду человека на Бога и веру в Бога. И этот город — Иерусалим»¹⁸.

В данном случае критические стрелы летят в адрес западной культуры, но в работах иудаистских богословов мишенью становится само христианство, по их убеждению, несущее ответственность (и тут с ними нельзя не согласиться) за современное состояние западной культуры.

Глубокое отличие иудаизма от христианства состоит, как известно, в отношении к религиозному закону. Иудаизм, по крайней мере формально, целиком основан на законе, а в христианстве отношение к нему двойственное: в Новом Завете есть тексты, настаивающие на соблюдении закона, но еще больше таких, которые зовут к превосхождению его. Вот наиболее яркие примеры: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовестуется» (Лк. 16: 16); «а до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере» (Гал. 3: 23).

Для иудаистского богословия в его основном течении все, что выше закона, — мистика, которая ни к чему хорошему привести не может. Как пишет израильский богослов Адин Штейнзальц¹⁹ (его называют одним из символов еврейского религиозного мира), «мистик живет в смещении понятий и постоянном соблазне сделать коктейль из двух вин: воображаемого и реального, мистического и виноградного»²⁰. Такая точка зрения объясняется тем, что между поту- и посюсторонним, трансцендентным и имманентным в иудаизме проведена непреходимая граница.

Об этом выразительно пишет тот же Штейнзальц: нельзя прорвать барьер между Богом и миром, ибо «Б-г сам сотворил этот барьер, Свое сокрытие, необходимое для существования бесконечного, и он не может быть прорван. Человек может пытаться проникнуть сквозь стену, может весьма рьяно биться головой об стену, пока ему не покажутся искры и даже свет Б-жественного сияния, но все это тщетно. Хотя, конечно, есть такие, которые находят нечто, что кажется им трещинкой, глазком, и делают из этой дырочки целое событие»²¹. Действительно, биться головой об стену было бы бесполезно, если бы

¹⁸ «Вавилон и Иерусалим. Ближневосточный конфликт в свете Библии». М. — Иерусалим, 2002, стр. 71.

¹⁹ По приглашению тогдашнего главного раввина России А. Шаевича в 1995 году А. Штейнзальц занимал пост «духовного раввина России».

²⁰ Штейнзальц А. Взгляд. М., 2002 (5762), стр. 57.

²¹ Штейнзальц А. Творящее слово. М., 1996, стр. 108 — 109.

(это уже точка зрения христианина) барьер не был прорван однажды с другой стороны — явлением Христа.

В иудаизме, правда, есть свои мистики — каббалисты, хасиды (тоже опирающиеся на каббалу), но в их учениях (так представляется издали) слишком силен рациональный элемент. А главное, еврейские мистики не порывают с законом; мало того, чем дальше, тем больше настаивают на его устроении. Вероятно, это не случайно, что если в первой половине XX века крупнейшим религиозным писателем, более или менее оставшимся в рамках иудаизма, был Мартин Бубер, то во второй его половине таковым сделался Якоб Тобес: первый склонялся к интимно-мистичной «религиозности» (которую он отличал от нормативной религии), второй встал на твердую почву строжайшего законничества.

Закон, согласно Тобесу, есть «Все во всем» (где первое «Все» — Бог), то есть он дан не только человеку, но и космосу (характерно для иудаизма, что космическое поглощается человеческим). Галаха (совокупность правовых норм в иудаизме, равно как и предписаний ритуального характера), пишет Тобес, «есть „путь“, предназначенный человеку, сойдя с которого он может уйти от Бога. Против всего экстатического и пьянящего Галаха выставляет повседневную трезвость рационального правосознания (Gerechtigkeit). Галаха — это фундаментальный принцип бытия. Беда экстатической и псевдоэкстатической религиозности, что она отождествляет трезвое правосознание с внешней законностью (Gesetzlichkeit), и только в кривом зеркале анархизма закон и порядок воспринимаются, как угнетение и тирания». В другом месте Тобес пишет, что «„иго закона“ возникло тогда, когда энтузиазм жизни был поставлен под вопрос. А ныне только „справедливость законов“ способна поставить под вопрос жизненный производ»²².

Противники закона — любовь, свобода, гносис, жизнь, апологетами которых, согласно Тобесу, выступает христианство (насчет «жизни» не вполне точно; апология слепой «жизни» свойственна «философии жизни», а отнюдь не христианству).

Тобес пишет, что «Церковь (христианская. — Ю. К.) признает еврейскую „тайну“, но синагога не знает никакой „тайны“ Христа»²³, и делает отсюда вывод о преимуществе иудаизма. Хотя, казалось бы, очевидно, что знающий две «тайны» имеет преимущество перед знающим одну. «Тайна» христианства в отношении к закону — антиномичность; то есть это одновременно «да» и «нет», звучащие как бы в разных регистрах. Но антиномизм, пишет Тобес, есть враг закона.

Тобес признает, что невозможно отстаивать закон, не учитывая критику, которой подверг его ап. Павел. Напомню, что ап. Павел писал, что закон необходим, но недостаточен; более того, по-своему он даже провоцирует греховное в человеке: «...я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: „не пожелай“» (Рим. 7: 7). Подлинное преодоление греховности — в Духе, а не в законе.

Но иудаизм не признает первородного греха; с его позиции, человек рождается невинным. И как же понимать в таком случае ветхозаветное: «...помышление сердца человеческого — зло от юности его» (Быт. 8: 21)? И как понимать утверждение самого Тобеса, что «злое — в детях»?²⁴ Тобесу вторит Штейнзальц: «Парадоксальным образом именно в ребенке проявляется только злое начало, доброе же развивается постепенно...»²⁵ Воспитать подрастающего

²² «Torah — Nomos — Jus» Herausgegeben von Gesine Palmer et al. Berlin, 1999, S. 158, 304.

²³ Ibid., S. 153.

²⁴ В 1968 году Тобес провел дискуссию с Г. Маркузе по вопросу конфликта «отцов» и «детей». Маркузе утверждал, что «молодежная революция» несет обновление миру, Тобес, напротив, — что она ведет к его культурной деградации. В данном конкретном случае скорее Тобес оказался прав.

²⁵ Штейнзальц А. Взгляд, стр. 221.

человека — дело закона. Никакие «воспарения» тут не нужны; достаточно оставаться в рамках «плотного» мира, к которому христианство, с точки зрения иудаистов, испытывает чрезмерное недоверие.

Нельзя отрицать, что иудаистский закон по-своему оказался высокоэффективен: на протяжении тысячелетий он вылепил еврейский характер, имеющий так много положительных черт. Традиционный еврей — богобоязненный, верный своему слову (Мандельштам: для традиционного еврея «честность — это мудрость и почти святость»), преданный интересам семьи и общины. Закон, между прочим, удерживал евреев от поклонения золотому тельцу, которого они сделали себе, стоило Моисею задержаться на горе Синай, и расстались с ним только после жестокого наказания (Исх. 32 — 34)²⁶.

Заметим, что там, где евреи выходили из-под опеки закона и подвергались ассимиляции в инородной среде, они перенимали не только положительные, но и отрицательные качества народа-«хозяина», зачастую еще усиливая их (это так же относится к отрицательным качествам, как и к положительным). Скажем, в таких космополитических центрах, как Александрия времен Птолемея или Кордова периода позднего эмирата, они замечались среди наиболее рьяных «прожигателей жизни», посетителей игорных домов и т. п.

Особенно показательна в этом смысле новейшая история, когда отпадение евреев от закона приняло (в евро-американском мире) массовый характер. Не секрет, что скептицизм и релятивизм, пересмешническое богоборчество и почитание «абсолютного нуля» более всего заметны в среде интеллигенции еврейского происхождения. Конечно, все это феномены, вышедшие на поверхность в ходе *европейской* истории, но, видимо, не случайно, что особое усердие в указанном направлении проявляют те, кто отпал от религии закона.

Христос, пишет Б. П. Вышеславцев, «не соблюдал субботы, омовений, постов, он присутствовал на пирах, пил вино, он общался с нечистыми, беседовал с мытарями, грешниками, блудницами, самарянами, — и то же делали его ученики! Наконец, он не осудил женщину, которая *по закону* должна была быть осуждена и побита камнями»²⁷. Христианство как бы открыло против закона свой основной «фронт» (и это при своем, как уже было сказано, принципиально двойственном отношении к нему). Тем более, что подзаконными были и другие народы, начиная с владычествующих римлян, у которых как раз получило особое развитие законотворчество; знаменитое *durā lex, sed lex* было отчеканено «меднозвучной» латынью (шаловливые семинаристы переводили эту фразу по-своему: «закон дура, но он закон»). Даже жители Содома жили «по закону».

Есть, однако, существенное различие между греко-римским законничеством, ставшим органической частью европейской традиции, и законничеством иудаистским. В греко-римском сознании ключевую роль в этом плане играло понятие «общественного договора» (отсылка к богам здесь не более, чем условность), в иудаистском — «Завета». Иудаистский закон не был «изобретен» Моисеем, он был *дан* ему — «черным огнем по белому огню».

Различие это, правда, не абсолютное. Дело в том, что даже «избранным народом» закон не мог быть *взят* таким, каким он был ему *дан*. Все Божье видится человечеством «как бы сквозь *тусклое* стекло» (1 Кор. 13: 12; воспользуясь выражением ап. Павла, употребленным по другому поводу); естественно, что падающие сверху лучи неизбежно преломляются, проходя через данное конкретное стекло. Иначе говоря, всякий закон несовершенен; даже тот, который «от Бога». Но по *степени* несовершенства законы сильно разнятся между собой. Что мы наблюдаем на Западе за последние два столетия? Господ-

²⁶ Преданность евреев «золотому тельцу» (в позднейшем понимании — злату), реальная или мнимая, стала притчей во языцех в средневековой Европе, где ростовщиками были почти исключительно евреи. Но суть дела в том, что профессия ростовщика была глубоко презираемой в христианской Европе, более презираемой, чем позднее профессия ассенизатора, а евреи в качестве «гастарбайтеров» вынуждены были братья за любую грязную работу. Иначе говоря, это была ниша, которую Европа сама приуголовила для евреев.

²⁷ Вышеславцев Б. Этика преображенного Эроса. М., 1994, стр. 21.

ствующее положение заняло направление, которое можно назвать прагматическим легализмом. Закон «обслуживает» общество, со все возрастающей тщательностью разграничивая личные и общественные, государственные и корпоративные интересы и т. п. Такой закон тоже, разумеется, нужен, плохо только, что он утрачивает высший смысл, сохраняя его лишь в виде рудиментов, вроде клятвы на Библии.

Это во-первых, а во-вторых, сфера действия закона резко сужена за счет расширения сферы свободы. Иудаистский закон регулирует всю жизнь человека, налагая на него множество ограничений, зачастую совсем мелких (всего Тора содержит 248 повелений и 365 запретов). Христианство постулировало принцип свободы, поставив выше закона веру. Но сегодня мы видим, что теряющий веру человек все больше использует «грозный» (по выражению о. Георгия Флоровского) дар свободы с неподобающим легкомыслием, а нередко и прямо во зло, в том числе и во зло самому себе; об этом ярко свидетельствует современный масскульт с его маниакальной сосредоточенностью на преступлении.

Сегодня иудаизм открывает «фронт» против, скажем так, Содомы; и косвенно — против христианства, на которое возлагает ответственность за состояние современного мира. Пишет Штейнзальц: «В еврейских источниках приводятся несколько любопытных описаний библейского Сдома (Содома. — Ю. К.). Сходство одного из них с нашей (то есть, разумеется, в первую очередь западной. — Ю. К.) действительностью настолько очевидно, что вызывает ужас. В трактате „Сангедрин” рассказывается, что Сдом — это город, в котором было все необходимое для безбедного существования, его жители не испытывали ни в чем недостатка и хотели найти способ постоянно поддерживать такую стабильность. Однако чужеземцы, стремившиеся поселиться в благополучном городе, угрожали нарушить существовавший баланс. Поэтому сдомитяне, чтобы избавиться от лишних проблем, прибегли к довольно жестокому и бесчеловечному способу достижения „равенства”, используя тот же метод, что и легендарный Прокруст. При этом их намерения оставались самыми благими: сохранить стабильность общества. Талмудическое описание Сдома наглядно иллюстрирует принципы тоталитарного государства. Такой режим не может сам по себе измениться, и поэтому, как рассказывается в книге „Брейшит” („Бытие”. — Ю. К.), Б-гу пришлось уничтожить его»²⁸. Примерно о том же еще раньше писал Тобес: западные либертены и либертинки — «актеры против исторической драмы, развязка которой будет заключаться в уничтожении» (вмешательством Бога)²⁹.

Здесь многое близко к истине; за исключением, пожалуй, того, что «такой режим» не может измениться сам по себе. При всем сходстве современного Запада с древним Содомом есть между ними по крайней мере одно существенное отличие: на Западе жив неутомимый «фаустовский» (от христианства оттолкнувшийся) дух поиска. Сейчас он устремлен (если иметь в виду главное — сферу человеческой души) скорее по наклонной плоскости; но, может быть, достигнув определенных пределов, он начнет восходящее движение? Не говорю уже о том, что действительность Запада, как и его культура, метафорой Содомы никоим образом не охватывается.

Законники же, выступающие в защиту истории, являют собою некоторый парадокс. Иудаизм в целом скорее производит впечатление «неподвижности». Образы Библии (в гораздо большей степени, чем описанные в ней исторические события) «стоят перед глазами» у иудея; «царь Давид играет на лире во Псалтири», как и три тысячи лет назад. Конечно, иудаизм — это не только закон, но и пророки (предвосхищающие христианскую эсхатологию). Но что касается закона, он противостоит движению времени, можно сказать, чурается его. Для Штейнзальца, например, современность слишком мистична, а мистика, как мы помним, вызывает у него неприятие. Точка зрения, отчасти близкая шиллеровской (в стихотворении «Мистикам»):

²⁸ Штейнзальц А. Взгляд, стр. 90 — 91.

²⁹ Цит. по кн.: «Torah — Nomos — Jus», S. 169.

Тайной поистине то я зову, что у всех пред глазами,
Что окружает вас всех, только невидимо вам.

С тем отличием, однако, что здесь стремятся не постигнуть тайну, но противопоставить ей закон.

Но закон, восставленный, так сказать, поперек истории, сам оказывается фактором истории. Тем более если «агентом» его становится (если уже не стало) государство, играющее далеко не последнюю роль в современном мире. Ортодоксы не скрывают, что их целью является полное подчинение государства. Тобес писал: иудаизм есть «политическая теология» (христианство, для сравнения, по крайней мере в идеале метаполитично, как и метаюридично), которая «должна преобразовать Израиль таким образом, чтобы в конечном счете он явил собою целокупное единство»³⁰.

Представляется совершенной загадкой, что в этом случае явил бы собою Израиль в культурном отношении. Что стало бы конкретно с науками и искусствами? Закон «укорачивает руки» человеку, и это можно понимать как в позитивном смысле, так и в негативном — нечем «срывать звезды с неба». Стоит, правда, заметить, что в основе традиционного еврейского воспитания была и остается не только Галаха, но и Аггада — корпус текстов, который может быть отнесен к художественной литературе. Уже упоминавшийся Х. Бялик считал, что в отличие от Галахи, замыкающей еврейский народ на самого себя, Аггада демонстрирует живое воображение этого народа и его открытость внешнему миру. Есть, однако, другая точка зрения: Аггада просто дополняет собою Талмуд (собрание толкований Библии), давая ему как бы художественное обрамление³¹. Если это так, то дальнейшее развитие культуры Израиля в русле Аггады будет означать весьма любопытный поворот в истории народа, который своими достижениями (зачастую блестящими) в науках и искусствах до сих пор обязан был главным образом или даже почти исключительно тем, кто вышел из-под опеки закона.

Как они понимают свою задачу

Есть высокая вероятность того, что Израиль и дальше будет развиваться в направлении фундаменталистского государства, и минет не так уж много лет и зим, как вырастет на древней земле — «Святой Израиль». Это обстоятельство не сможет не сказаться на мировом раскладе сил; и прежде всего оно внесет существенные коррективы в ситуацию великого противостояния «христианского мира» с миром мусульманским.

Объективно «крепость Израиль» останется, конечно, союзником Запада в борьбе с агрессивным исламом, мало того, самым надежным его оплотом — более надежным, чем какой-нибудь Крак де Шевалье (кажется, это самый мощный из замков, выстроенных в Палестине крестоносцами) в былые времена. Израиль настолько силен, что способен одолеть, как это уже не раз случилось за последние десятилетия, соединенные армии своих непосредственных соседей; а если обратится к своим тайным арсеналам (где, по оценкам экспертов, хранится от 100 до 300 ядерных зарядов вместе со средствами их доставки), то, пожалуй, и мусульманского мира в целом. И если израильтяне и даль-

³⁰ Цит. по кн.: «Torah — Nomos — Jus», S. 18.

³¹ Такой точки зрения придерживался С. С. Аверинцев, написавший предисловие к новому изданию Аггады: «Перед нами снова все тот же длящийся урок (после Галахи. — Ю. К.), но вот учитель, глядяваясь в лица учеников, опытным взглядом примечает падение интереса — и безошибочно знает, что должен хотя бы шоком пробудить утомленные, одолеваемые дремотой умы... Аггадическая стратегия очень глубоко связана с культурой школы, с формами религиозного (разрядка моя. — Ю. К.) учительства. Острый взгляд наставника, заглядывающий в глаза учеников, чтобы возбудить умы и побудить их к зоркости и пониманию, — вот от чего в конечном счете идут и сюжеты, и метафоры повествовательной аггады». («Вавилонский Талмуд. Антология Аггады». Т. 1. Иерусалим — М., 5761 — 2001, стр. XIX).

ше будут поражать у мусульман любые инсталляции, вызывающие подозрение на производство ОМУ, то такое положение сохранится еще неопределенно долгое время.

В этом отношении израильяне не идут ни в какое сравнение со своими далекими предшественниками. Древние евреи могли время от времени колошматить амалекитян с филистимлянами, но великие империи, когда им не сиделось на месте, утюжили еврейские царства в любом направлении, пока одна из этих империй не раздалась с ними так, что не оставила от них камня на камне.

Со своей стороны Запад не только и, может быть, даже не столько помогает Израилю, сколько мешает ему. Израильяне помнят, как в «войну Судного дня» (1973) их схватили сзади за локотки и не дали добить противника. И кто это сделал — Соединенные Штаты, ближайший их союзник и опекун!

Что касается Европы, то, похоже, она готова вообще отречься от Израиля. Во всяком случае, антиизраильские настроения там постоянно усиливаются и соответственно усиливаются проарабские. Последнее происходит отчасти вынужденно: тут играют роль и растущая доля арабского, вообще мусульманского населения в Европе, и зависимость ее от ближневосточной нефти, и несчетанные «арабские деньги», идущие на подкуп политических деятелей, СМИ и т. д.

Героическая некогда Франция, однажды сумевшая разгромить арабов в битве при Пуатье (если бы не эта победа, они дошли бы до берегов Северного моря, а может быть, и Балтийского), а позднее возглавившая фактически все восемь крестовых походов, ныне лидирует в части потакания арабскому «мирному нашествию». Алармисты указывают на тот неоспоримый факт, что даже в случае полного прекращения иммиграции (что маловероятно) громадная разница в уровнях рождаемости у пришлого и коренного населения приведет к тому, что в Париже, например, уже в близком будущем большинство жителей составят арабы и прочие мусульмане (еще раз приходится вспомнить о том, что «демография — это судьба»). Недаром к нему уже примеривают новое название: «Багдад-на-Сене». За Парижем последует Лондон. Слишком много стало в Англии мужчин, которым можно было бы предъявить «четыре пера» (старинный английский обычай: четыре белых пера посылаются тому, кто проявляет трусость и приспособленчество)³².

Европа демонстрирует, если воспользоваться словами Гюго, «жеманство вырождения... упадок, преподнесенный так, что его и не узнать». Да и не Европа это уже, а «общий рынок». «Святая хозяйственность», как ее назвал Леон Баттиста Альберти в XIV веке, вытесняет все иные святости, прежде почитаемые. Истинными предшественниками современных европейцев представляются венецианские и генуэзские купцы Кватроченто, которые, стоя за конторками, заботились о своих прибылях, равно как и «правах и свободах», и других звали «жить корректно», с опаской поглядывая на любые заварушки, где бы те ни возникали; напротив, рыцари-крестоносцы воспринимаются нашими современниками как прискорбное недоразумение³³. Интеллектуальные круги требуют «терпимости» любой ценой; толпа готова осмеять все высокое, вообще любые общие идеи, если они мешают ее «маленьким радостям».

³² Английский фильм «Четыре пера» (поставленный, что тоже показательно, неангличанином — неким Ш. Капуром), недавно бывший у нас в прокате, пытается оборотить смысл этого послания из отрицательного в положительный. Современный беззубый пацифизм перенесен в викторианскую эпоху: герой отказывается воевать против суданцев, окруженных в фильме ореолом праведности. Английская колониальная политика односторонне расценивается как завоевательная; полностью выпадает из поля зрения цивилизаторская миссия англичан.

³³ Интересно сравнить с наступательным духом (и соответственной оценкой крестовых походов), который пронизывал Европу еще в 30-х годах прошлого века. «XI век, — писал тогда французский историк Луи Альфен, — чреватый угрозами для молодых народов Европы, совершенно неожиданно завершился разгромом азиатских варваров (тоже, впрочем, примета времени: считать мусульман XI века варварами. — Ю. К.). По всему побережью Средиземноморья, в Испании, на Сицилии, в Сирии, даже в Африке, Европа укрепляет свои позиции, сильная, бдительная, готовая к борьбе, но также и к удивительным свершениям в сфере искусства и мысли <...> Из этого мощного творческого порыва вышла и наша современная Европа...» (Halphen L. L'essor de l'Europe. Paris, 1932, p. 1).

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит.

Веками Восток считался «сонным». Теперь Восток проснулся, зато Европа впала в истому. Круглая чувственная луна Содома светит ей, внушая, что отныне ничто не должно меняться. Восток кажется ей совсем не таким страшным, каким его малюют. Европа ленится распознать суть исламского вызова, а о терроризме (представляющем собою его заострение и фальсификацию в одно и то же время) про себя думает, что его «пронесет», и, во всяком случае, этот вопрос должен заботить в первую очередь Израиль и Соединенные Штаты. Даже мадридский теракт не заставил ее по-настоящему расшевелиться.

Хотя в боевой песне исламистов «Сначала победим людей субботы» прямо указывается, кто будут следующие.

В Соединенных Штатах недаром называют Европу «клубом стариков»; хотя луна Содома давно уже заглядывает и в эту страну. Но Соединенные Штаты еще сохраняют энергию сопротивления, многими принимаемую за энергию экспансии. Я не утверждаю, что у американцев угасло стремление к экспансии, но в основу их внешнеполитической активности все-таки положена необходимость *защитить себя* от «нового мирового беспорядка». И если они не дали зарости «Траяновой тропе» (ведущей в Месопотамию, по следам императора Траяна), то только потому, что было 11 сентября. Если бы не излучал угрозы острый серп мусульманского месяца, если бы не было прямого нападения на Соединенные Штаты, не последовали бы ответные походы на Афганистан и Ирак.

Нынешняя американская армия — по-своему великолепный механизм, не только в техническом смысле, но и в том отношении, что она наиболее полно воплощает собою американскую гражданственность, дух Вашингтона и Линкольна. Но армия есть неотъемлемая часть общества; поэтому и она оказывается не без пятен. Влияние «новых диких» подросткового возраста или не желающих выходить из такового сказывается и здесь.

К тому же медийные круги, считающие себя наиболее либеральными, как правило, косо смотрят на армию и на все, что с нею связано. Если взять, например, Голливуд и попытаться суммировать его отношение к армии, то оно будет скорее отрицательным, чем положительным, особенно когда дело касается армейского руководства. Даже походы в Афганистан и Ирак, прошедшие, казалось бы, в обстановке патриотического подъема, ведущими СМИ освещались зачастую двусмысленно; не обходилось без иронически-критических замечаний и даже откровенных ухмылок. «Презрительный Терсит» успешно вживается и здесь; он, конечно, хочет, чтобы его защитили от внешней угрозы, и в то же время не способен принимать всерьез свои гражданские обязанности.

Как-то забывается, что истоки либерализма (к которым постоянно апеллировали те же Вашингтон и Линкольн) весьма далеки от того, что теперь вкладывается в данное понятие. Истоки — это Афины «Периклова века», где эстетика жизни сочетается с определенной строгостью нравов и культом воинских доблестей, особенно когда речь заходит о борьбе с деспотизмом; где ценятся, по словам самого Перикла, «красота без прихотливости и мудрость без расслабленности». Это суровый Рим времен ранней республики: Юний Брут, ради спасения республики обрекающий смерти своих сыновей, Валерий Публикола, который разрушает собственный дом, когда узнает, что народ находит его чересчур роскошным, и так далее, и так далее.

Только «фундаменталистский пояс» проявляет устойчивую волю к борьбе с агрессивным исламом. И здесь, кстати, Израиль вызывает наибольшее сочувствие, довольно естественным образом вытекающее из протестантской традиции. Протестантизм, как известно, имел сильный ветхозаветный уклон; особенно это касается американских протестантов, которые отождествляли себя с евреями Исхода, давали детям библейские имена, а Книги Царств знали гораздо лучше, чем историю «старой родины», то бишь Англии. Что-то от этого «избирательного сродства» остается и сегодня: фундамента-

сты твердо стоят на том, что Святая земля должна принадлежать евреям, согласно обетованиям Библии.

Хотя, конечно, их симпатия к евреям не распространяется на иудаизм. Как говорит один из персонажей Шолом-Алейхема, в Америке любят евреев, но не любят еврейские бороды и пейсы.

Американцы тоже ленятся (или не умеют) распознать суть исламского вызова, но решительно настроены на борьбу с исламским терроризмом и в Израиле видят не без оснований своего самого крепкого союзника.

Между тем в духовном плане Израиль посылает миру свой message, звучащий чем дальше, тем громче, который имеет много общего с исламским вызовом.

В самом деле, иудаизм и ислам по многим признакам близки — как *шалом* и *салам*. Хотя, как считается, ислам основан на самостоятельном Откровении, *израилийят*, иудейское наследство, сыграл в его становлении огромную роль. Если христианство от иудаизма отталкивается, в полном смысле этого слова, то есть одновременно опирается на него и отвергает его, то позиция ислама по отношению к нему может быть охарактеризована как подражание-соперничество.

Я не буду задерживаться на всех сходствах и отличиях двух великих религий. В данном случае важно, что иудаизм и ислам — в равной мере религии закона. Возводимого, заметим, к одному и тому же источнику — Моисею (Мусе). Есть сведения, что арабы проявили интерес к еврейскому закону еще до Мухаммеда. В доисламских арабских сказаниях фигурирует некто Булукия, внимательно изучающий Тору с целью насадить ее среди своих соплеменников. А для мусульманских ученых мужей Тора, наряду с Псалмами, является обязательным чтением.

Конечно, между иудейским законом и шариатом существует целый ряд отличий: у арабов свое собственное «тусклое стекло»; притом, насколько я могу судить, регламентация поведения человека в шариате еще более жесткая: регламентируется все — как ходить или сидеть, говорить и жестиковать etc. Но самый принцип опоры на закон одинаков (говоря о мусульманах, я имею в виду суннитское большинство; у шиитов дело обстоит несколько сложнее). В обоих случаях не столько важна ортодоксия, вера, опирающаяся на догматы, сколько ортопраксия, правильное поведение. Как и иудаизм, ислам — «бытовая религия» в первую очередь.

Как иудаизм, так и ислам — «политические религии». И в обоих случаях политическим идеалом выступает номократия (власть закона; термин Иосифа Флавия), которая в определенном плане может быть противопоставлена демократии, «ежедневному плебисциту», по известному определению Э. Ренана. Потому что номократия ставит закон выше «воли народа».

Как иудаизм, так и ислам настаивают на возможности построения более совершенного общества, чем христианское (в кавычках или без). Потому что обе религии отрицают первородный грех.

Таеет сионистская мечта о том, что Израиль станет народом в семье европейских народов, «не хуже других», но и без каких-то специфических претензий. «Еврейский народ, — пишет раввин Давид Палант, — отличен и отделен от других народов. Его задача — сохранить свою обособленность, ибо она — функциональна, она необходима для того, чтобы Израиль выполнил свою задачу в мире (разрядка моя. — Ю. К.)³⁴. Задача эта — явить образец служения Всевышнему в самом «чистом» и «неискаженном» виде.

Обособленность, которая будет расти в случае, если Израиль и дальше станет развиваться в направлении религиозного фундаментализма (что, как я уже сказал, в высокой степени вероятно), еще усилится ослаблением связей с диаспорой. Точнее, диаспора может исчезнуть вообще. Такую возможность допускал в свое время А. Кёстлер. Вполне вероятно, что это произойдет еще

³⁴ Палант Д. Беседы о недельных главах Торы. Иерусалим — М., 5761 (2001), стр. 109.

до конца настоящего века. В Соединенных Штатах (где проживает подавляющая часть евреев диаспоры), как, впрочем, и в других странах, ускоряется процесс ассимиляции евреев, еще подгоняемый ростом смешанных браков. Только ортодоксы (среди американских евреев составляющие 10 — 12 процентов) будут противиться дальнейшей ассимиляции. В своем неприятии американизма как культурной силы ортодоксальные иудаисты в США все больше сближаются (конечно, объективно, а не субъективно) с мусульманами. С их точки зрения секуляризм на сегодня — большая опасность, нежели антисемитизм. Но ортодоксы рано или поздно могут переселиться в Израиль, к чему их там настойчиво призывают. И наоборот, может произойти (уже происходит) бегство светски мыслящих евреев из Израиля. Непереходимая грань проляжет между живущими в Израиле «настоящими евреями» и теми, кто не сумел «выдавить из себя гою» и обречен раствориться в иноплеменной среде.

В истории еврейского народа это будет драматический разрыв. Впрочем, нечто подобное уже имело место в древности: некоторые колена Израиля считаются безнадежно утерянными на чужбине.

Разрыв может повести к ослаблению Израиля в его противостоянии с мусульманским миром. Тот же эффект может дать иссякание (если оно произойдет) ашкеназской воли. Ввиду такой перспективы ортодоксы отвечают, что они не на внешнюю силу полагаются, но на волю «Б-га Исаака и Иакова», который обязательно поможет евреям.

Можно, правда, допустить и грядущее примирение Израиля с мусульманским миром. Оно произойдет, если последний перестанет видеть в Израиле «агента Запада», а спор о земле утратит остроту, когда энное поколение палестинских беженцев окончательно растворится в среде близкородственных арабских народов.

Но все это вопросы отдаленного будущего. Пока что значимым фактом является нарастающий звук вызова, который израильский фундаментализм адресует «христианскому миру». «Религиознейший на земле народ» (В. Розанов) возвращается к собственным истокам, пытаясь сбросить с себя чужие одежды, прежде всего культурного свойства. Иерусалим в его исконном качестве восстает против Афин, от которых ведет свою генеалогию западная культура. «Еврейский мир, — говорит Штейнзальц, — это суперсерьезный взрослый мир, греческий — мир юности»³⁵. Читай — мир юношеского легкомыслия, «игр Вакха и Киприды». Действительно, в собственно религиозном плане греки, при всем их обаянии, были довольно-таки ребячливы (если не считать их поздней эволюции — в направлении элевсинских таинств, стоицизма и т. д.). Иерусалим дал западному миру «прививку серьезности».

В некотором смысле иудаистский вызов «доходчивее» исламского. Все-таки ислам — явно «чужая» религия, в Европе всегда рассматривавшаяся как позднее ответвление от иудео-христианского древа в ложном направлении. Напротив, иудаизм — лоно, из которого вышло само христианство и с которым оно сохраняет неразрывную связь³⁶. Каноническая христианская точка зрения хорошо известна: Израиль — «богоизбранный сосуд» и одновременно — без Христа — «дом пуст». Можно, однако, переставить характеристики: «дом пуст», но — «богоизбранный сосуд». И все, что с ним происходит, имеет принципиальное значение в плане Священной истории; более того, последняя ее драма должна быть разыграна опять-таки на земле Израиля.

Кроме того, в отличие от исламского вызова, иудаистский вызов никак не связан с агрессивными действиями и агрессивными замыслами, направленными против Запада, в глазах западных людей самый ислам превращающими в стра-

³⁵ Горелик М. Разговоры с раввином Адином Штейнзальцем. М., 2003, стр. 136.

³⁶ Святейший патриарх Алексей II: «Полнота христианства обнимает собой и иудейство, а полнота иудейства есть христианство» (Цит. по кн.: «Вавилон и Иерусалим», стр. 60).

шилище. Иудаизм выступает как позитивная сила, «восстанавливающая в правах» закон, искони общий для евреев и христиан. Можно, наверное, сказать, что закон — это «фон», на котором разыгрывается христианская мистерия и который остается неизменным, что бы ни происходило на переднем плане.

Закон проступает сквозь думы истории, являя собою преимущества вечного перед временным. И если дела на исторической «сцене» начинают идти плохо и она все больше напоминает «передний план ада» (М. Бубер), закон обретает (для тех по крайней мере, кто отдает себе отчет в том, насколько плохо идут дела) магнетическую притягательность. Можно сказать, что закон, в том объеме, в каком он принят в иудаизме и в исламе, представляет (и, наверное, еще больше представит в будущем) соблазн для «христианского мира», как, впрочем, и для христианства без кавычек (подобно тому, как Христос считается соблазном для иудаистов). В западном (а теперь и российском) обществе ощущаются две противоположные тенденции. Одна из них в том, чтобы найти последние границы свободы, как бы низко ни пришлось для этого опуститься. Другая состоит в возрастающей усталости от свободы — усталости, которая рано или поздно может привести в объятия закона.

Такой острый критик закона, как Вышеславцев, пишет тем не менее: «Не так легко избавиться от „Закона“, ибо вся наша жизнь состоит из дел и опутана законами. Сознание трагической несовместимости ветхого и нового Адама должно еще оставаться. Антиномия еще не решена, и ее решение нельзя себе представлять столь легким. Решение в одну сторону (в сторону антитезиса) есть рассудочное решение, недиалектическое, т. е. обрывающее цепь мысли, идущую далее (разрядка моя. — Ю. К.)»³⁷. Нельзя, опираясь на закон, «остановить историю». Но нельзя и «оставить позади» закон.

Выход — в *творческой интуиции* (в равной мере это относится к творчеству истории и к творчеству культуры), служащей «образу и тени небесного» (Евр. 8: 5).

Христианская вера, писал где-то Г. Честертон, полна опасностей, как книга для мальчиков. В культуре она приводит к допущению свободного соревнования добра и зла, в котором зло имеет некоторое заведомое преимущество: есть в нем особая притягательность, побуждающая грешного по своей природе человека к встречному движению, иной раз заставляя его переступить «через не хочу»³⁸. Нарочитое разбереживание злого в человеке (что мы наблюдаем в современной массовой культуре) может повести и к тому, что все пять добрых чувств окажутся в нем «заблокированы». Похоже, однако, что, изгаляясь на все более изощренный манер, нечистый перебрал: нередко зло достигает такой густоты, что способно внушить только отвращение. Не естественно ли ждать *ре-акции*, действия в противоположном направлении? Во всяком случае, есть надежда, что образы добра, имея за собою столь крепкую традицию (в этом, между прочим, радикальное отличие нашего времени от времени раннего христианства), еще раз способны победить в свободном соревновании с образами зла.

Самое интересное, что ждет нас в наступившем веке: *чем* ответит «христианский мир» на двойной вызов, брошенный ему «авраамическими» соседями — миром иудаизма и миром ислама.

³⁷ Вышеславцев Б. Указ. соч., стр. 28.

³⁸ Ап. Павел: «...Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7: 15).

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ — ДРАМАТИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ И ДРУГОЕ

Из «Литературной коллекции»

Но сперва — **Князь Серебряный** (роман, 1850 — 1861).

Очень долго писался. Зато Алексей Толстой вжился в эпоху и удачно подготовился к трилогии.

Пишут: «сильно и даже детально использовал Карамзина» (впрочем же — и Пушкин). Как источник Толстой использует (и указывает) исторические песни. Это смело, хорошо.

Слишком лобовой эпиграф из Тацита (но тогда принято было). В предисловии излагает свой метод: «Из уважения к искусству и нравственному чувству читателя... набросил тень» на ужасы эпохи. (После пережитого теперь нами это вряд ли кажется правильным, хотя край злодейства в искусство не вмещается, да.) «Допускал вольность в обращении со второстепенными историческими происшествиями» (на пять лет перенёс казнь двух Басмановых и Вяземского). Для того уровня исторического романа, который был до «Войны и мира», мне кажется это допустимым — зато такой ценой автор сгущает сюжет в меньшем отрезке времени.

Убеждения Алексея Толстого совсем не консервативны, не почвенны, наоборот: в единственном прямом от автора обобщении он высказывает, что злодейство Иоанновой эпохи «подготовлено предыдущими временами», «переходило от поколения к поколению», и без снисхождения осуждает тогдашнее русское общество, что оно терпело такую гнусную тиранию. (Видно, что автор жил в свободную эпоху, а гнетущей не испытал.)

Этот роман закончен за несколько лет до «Войны и мира» — и ясно, что не мог быть написан после.

Лёгкость обращения с историческими событиями и лицами как декорациями для действия избранных персонажей, витание — среди подлинных событий? — Алексея Толстого сравнивают с Загоскиным, а я поставил бы его значительно выше.

Живость и динамизм. Однако сюжетность — искусственно взбодренная, взвинченно-драматичная, порой с ухватками приключенческого романа, в который сильно и сбивается (иногда и на оперность). Сам князь Серебряный — вполне типичный герой приключенческого романа, легко проходящий сквозь опасности. Это жаль, тут роман эпохи много потерял.

Впрочем, характер Иоанна уже являет следы долгого авторского обдумывания, глубокой проработки: психологию его Алексей Толстой объясняет довольно основательно и правдоподобно. Например в главе 11: Иоанн считает своё покаяние — малодушием, от сатаны, и напряжением воли толкает себя к новым злодействам для укрепления престола. К сожалению, Грозный и показан только как тиран, мучитель и лицемер, но ни разу — в государственных заботах, — очевидно, это неизбежная черта «облегчённых» исторических романов.

С большим пониманием (да и с большой симпатией) дан Годунов. Незаурядность его — уже убедительно видна нам.

Рязанский парень Митька-«рассержусь» и мельник — хороши, живы, видны, хотя колдун-мельник и традиционен. Это — «мужской» роман; единственная Елена — схематична. Да колоритна нянька царя.

Серебряный не зря, видимо, назван Никитой Романовичем — в честь Н. Р. Захарьина, родоначальника династии Романовых. (Хотя черты его — совсем не совпадают с Захарьиным в драме. Да были же при Иоанне и два реальных князя Серебряных — Пётр и Василий Семёновичи.)

А оглядеться — так все элементы того времени показаны: царь, бояре, опричники, монахи, казаки, крестьяне. Неестественно, что «станичники» гнездятся уж под самой Москвой — но это для сгущения действия, а и несомненно, что по всей Руси казаки гуляли. Глава 4 — очень убедительное описание Москвы тех лет. Яркая обстановка пира у Грозного в Александровской слободе — и веришь. Зато битва с татарами — оперная, декоративная. Чего же стоит Иваново государство, если татары идут от Рязани к Москве — а он не знает, и не высылает регулярного войска, спасает одна самодеятельность подмосковных разбойников?

Условность повествования: вдруг некстати кто-то рассказывает о далёком прошлом. В полной ночи видны (кому?) «дымчато-бурая шерсть собаки, умные глаза». Давая развёрнутую наружность Серебряного — истолковывает её и как черту характера. — Повышенное внимание к подробностям всех одежд — но этим он нам добывает эпоху.

Лихое использование фольклора, но неправдоподобно, что разбойник так владеет им. В диалогах автор соскальзывает (портит роман) на фольклорно-историческую стилизацию («Закипело в нём ретивое»). При смерти Максима Скуратова вдруг от простой авторской манеры переходит на былинный пафос: «...Спела тетива, провизжала стрела, угодила Максиму в белу грудь, угодила каленая под самое сердце» — это очень режет.

Бывают (нечасто) и затасканности:

- «судорога пробежала по всем членам князя»;
- «вся душа её обратилась в красноречивый умоляющий взор»;
- «негодование в нём уступило место строгим понятиям долга».

А народного истинного языка — и нет, только у оруженосца князя повторные: «провал их знает», «тётка их подкурятина».

Алексей Толстой — ещё в поисках верной манеры исторического повествования.

Драматическая трилогия.

Это — действительно трилогия, связанная, но и притом каждая драма вполне закончена. Большое достижение русской драматургии, недостаточно оценённое, кажется. Проблема цели и средств — единый стержень трилогии.

Замечательны три сопроводительных поясняющих статьи (1866, 1868, 1868) — в них Алексей Толстой проявляет глубокое понимание характеров, событий и элементов своих пьес, не всякий драматург может дать такие разъяснения театрам. Они — уже последний зрелый плод его долгой работы над эпохой.

Смерть Иоанна Грозного (1862 — 1864).

Лаконичная динамичность. Как сумел столь многое вместить на таком малом пространстве? Стремительное действие и естественное притом деление на акты. Смотрится — захватывающе, и легко интересно читается.

Как яркие характеры! Мастерское обоснование психологических переходов Ивана (их много). Многогранно показан Борис Годунов — и как увёртливый царедворец, и как дальновидный политик, и как искренний сын Руси, и как безжалостный волк в интригах. Убедительны и запоминаются Захарьин-Юрьев, Сицкий. И Василий Шуйский — уже весь тут.

Великолепен разговор Иоанна со схимником. А с волхвами и пересмотр сокровищ Иоанном перед смертью (лобово и не очень веришь) — отдаёт Шекспиром, и это ощущается как снижение. Вообще же эта драма — не ниже никакой шекспировской исторической хроники, а сплочена — и лучше иных.

Очень доподлинная речь — и вообще русский дух. Хороший, естественный чистый стих, пятистопный ямб (по-моему, не уступает пушкинскому).

Царь Фёдор Иоаннович (1864 — 1868).

Вершина трилогии. (И из лучших пьес русской драматургии.) Действие всё время напряжено, попеременные перевесы борющихся сторон (автор прекрасно владеет интригой), всё психологически безупречно — и ещё всё увенчано высокой светлой идеей.

Пронзительно верна разработка царя Фёдора. Получился — из самых значительных образов русской литературы.

Меня во всех делах
И с толку сбить, и обмануть не трудно.
В одном лишь только я не обманусь:
Когда меж тем, что бело иль черно,
Избрать я должен — я не обманусь.

И пророчески предвосхищает Николая II (последний царь первой династии — и последний царь второй!):

А я —
Хотел добра, Арина! Я хотел
Всех согласить, всё сгладить — Боже, Боже!
За что меня поставил Ты царём!

Рядом с ним — так же поразительно удалась (ещё меньшим объёмом и средствами) светлая христианка Ирина, — тоже из лучших женских образов русской литературы.

У т а к о й сестры — и брат не может быть примитивным злодеем. Годунов (особенно если взять всю трилогию в целом) разработан так ярко и убедительно, что невозможно забыть и трудно сопротивляться этой трактовке.

Сцена примирения Шуйских с Годуновым, может быть, и передлинена — но искупается грозным концом.

Так же врезается навсегда и благородный Иван Петрович Шуйский. (Вероятно, легче дался автору по прямолинейности образа.)

А толпа — так себе, поверхностно.

Любопытно, что для передачи толпы автор начинает использовать п р о з у.

Царь Борис (1868 — 1869).

Из трёх пьес — наименее удачная. И потому что композиция растянутая (на семь лет) и раздёрганная, и включены вовсе не обязательные для действия сцены:

Картина 4-я. Что царица против жениха-датчанина — не влияет на действие и никого не характеризует, кроме жены Годунова, дочери Скуратова.

Картина 5 (в лесу у разбойников) — дана по-пейзански, упрощённо (и даже прямо из «Князя Серебряного» позаимствованы Хлопко и Митька).

Картина 7 (арест Романовых) — почти только иллюстративна.

Сперва кажется сторонней, лишней и картина 3 (Фёдор младший — Ксения — Христиан), хотя сама по себе вполне хороша. Но её оцениваешь позже, по картинам 6 и 8: вместе три они дают мрачному Годунову живительный подсвет от юного поколения, делают и ощутимей его жажду удержать трон для сына. (Однако из истории мы знаем, что Христиан и Ксения вообще не встречались.)

Следовало ли растягивать пьесу на семь лет и включать день коронации Бориса? Здесь — Алексей Толстой повторяет такое же решение Пушкина, и, видимо, оба правы, без этого — нет рисунка царя Бориса. У Толстого это искупается ещё и тем, что картина 1 (приём Борисом послов) открывает нам широкий исторический и международный взгляд. У Пушкина на приятие Борисом короны отведено четыре первых картины подряд, щедро (весь смысл — в уговаривании уклончивого Бориса).

Продолжается тщательная разработка образа Бориса (он участвует в девяти картинах из четырнадцати). Толстой удерживает его в большом диапазоне чувств: разумного мудрого государственного деятеля, полного интересами всей русской земли, с намерениями великодушными и благами,

Прослыть боится слабым
Лишь тот, кто слаб; а я силён довольно,
Чтоб не бояться милостивым быть, —

даже прямо — хотел бы править «одной любовью», но опасности его трону и отпадения многих заставляют прибегать снова к карам.

Когда придёт пора — я к милости вернусь.

В русском духе — и сила покаяния — картина 12, ночное свидание с Луп-Клешниным (хотя сцена эта несколько уже повторяет встречу Грозного со схимником, а по ночной лунной обстановке и кажущемуся призраку отдаёт и «Гамлетом»).

Алексей Толстой не только принимает без оговорок, что царевича Дмитрия убил Борис — но прямо и вкладывает ему это в уста.

В картине 6 хорошо передано, как бурно растут у всех сомнения о Самозванце (быстрота действия).

Снова на месте высокая духом Ирина, теперь монахиня.

Пусть будет только жизнь
Запятнана твоя — но дух бессмертный
Пусть будет чист — не провинись пред ним!

В разных местах белый стих ненадолго переходит в рифмованный. Это усиляет звучание (например, монолог Бориса в картине 1). Но непонятна система, верней, её нет.

Невольное сопоставление. Сопоставление с «Борисом Годуновым» Пушкина — трудно себе запретить: и по совпадению темы и охвата «Царя Бориса» и «Бориса Годунова», и потому, что они следуют одним источникам (почти только Карамзин?), поминают, с разной степенью подробности, одни и те же даже второстепенные события. (И они совпадают, кроме разве: по Пушкину сестра Ирина уже умерла — и это верно: в 1604 г., перед самым входом Самозванца в Русь, по А. Толстому — ещё жива, и вот перед нами.) И притом Толстой пишет трагедию через 35 лет после Пушкина, с несомненностью имея её в виду постоянно, и где расходится с ней, то с полной сознательностью (и дерзостью?). Удивительное ощущение: прочесть один и тот же сюжет у двух столь выдающихся авторов. Увеличивает стереоскопичность твоего восприятия.

Правда, подобное сопоставление нам как бы и запрещается. — Углублённые, многоопытные пушкинисты (как В. С. Непомнящий) настоятельно предостерегают нас, что пушкинский «Борис Годунов» — «величайшая проблема, требующая иной, чем прочая драматургия, точки обзора», что это — и не «историческая хроника», как у Шекспира; и не картина данного периода, события, момента истории; и не трагедия о «заглавном герое» (Борис умирает в 4-й сцене от конца, Самозванец исчезает ещё картиной раньше, — а «процесс Истории продолжается»); это не «одна из исторических драм, где действуют причинно-следственные связи», но — нечто «изо всякого ряда вон выходящее», предмет

изображения в ней «сам ход Истории, История, тесно привязанная к обстоятельствам духовным»; в драме этой «иконная композиция, с планом земным и небесным», «обратная перспектива».

Никак не упустим и такое веское суждение (И. Сурач и С. Бочаров): что если у Шекспира «действия сильных личностей вершат трагедию», то «трагедию Пушкина вершит незримая сила»; «„Тень Димитрия” как незримое главное действующее лицо — олицетворение этой силы»; оттого-то, «на шекспировском фоне», в «Годунове» «герои выглядят <...> пассивными, а структура трагедии — децентрализованной»¹.

С уважением относясь к подобным трактовкам и видению, мы, однако, не можем запретить себе и более привычные мерки, не можем вовсе отказаться от распространённых представлений о сценичности (хотя и сильно расширенных в XX веке), от сравнений исторической выверенности.

Конечно, объёмом *трилогии* Алексей Толстой избрал себе возможность последовательней, разносторонней, глубже и значительней разработать Годунова, чем Пушкин. А Пушкин, даже и в объёме одной своей трагедии, не захватывает побольше места для Бориса: из 24 пушкинских сцен Борис участвует всего только в шести, а Самозванец (видимо, по ходу работы, сильно увлекший Пушкина) — в десяти. У Алексея же Толстого — Самозванец вне пределов показа, он только слух и символ возникшего движения, не реальный персонаж. Толстой не занимается им и даже отвергает идентичность его с Гришкой Отрепьевым. (Это совпадение Пушкин, напротив, принимает безоговорочно.)

Пушкин только мельком упоминает о смерти жениха Ксеньи, самих молодых мы почти не видим, не ощущаем, они почти картонны. Как недостаток это ощущается не само по себе, а именно сравнением с Алексеем Толстым: без жены (её нет) и без взрослых детей в своей жизни, без сестры Борис Пушкина совсем одинок и оттого менее реален. Эту упущенную нить и подхватил Алексей Толстой, как прямой — и во многом — последователь Пушкина.

У Пушкина не досвечена глубина в отношениях Годунова с Василием Шуйским: Годунов как будто не проникает его хорошо, и вот только когда замечает, как о чём-то новом (правда, в наставлении своему наследнику):

А Шуйскому не должно доверять.

Обратно и Шуйский как будто не в курсе замыслов и дел Бориса? По поводу убийства Димитрия:

Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью неожиданной.

Почему — «нежданной»? — хотя бы после удушения остальных Шуйских в тюрьме? (Или это — только лукавый словесный ход его?)

У Алексея Толстого (правда, глубиной в предыдущую пьесу) убедительно показано, что оба они друг другу цену знают, но Шуйский давно и полностью в руках Бориса и посылался в Углич как соучастник. (Да Шуйский-то по его стойкости в царение Самозванца — ещё окажется ой как глубок!)

Что касается убийства царевича Борисом — до последнего времени, кажется, считалось, что и Пушкин (как и А. Толстой) вполне уверен в этой вине. Но, например, не так давно появилась работа (О. Арановская, «Вестник РХД», № 143 /1984/), предлагающая другую трактовку: Борис не убивал Димитрия, а все муки его связаны с высокой болезнью совести: он виновен не в убийстве, а в том, что желал этой смерти, — и именно так, дескать, понимает и трактует Пушкин, и только эту высокую совесть повышенно нравственного человека выражают

мальчики кровавые в глазах.

¹ Сурач И., Бочаров С. Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества. М., 2002, стр. 59 — 60.

Из главных аргументов тут: что Пушкин не вложил в уста Бориса прямого признания в убийстве Дмитрия.

Да, Пушкин не сделал так — и кому бы у него в пьесе остаётся такое сказать? Только прямо к публике? Но это — слишком грубый приём, он претит Пушкину (хотя Шекспир делал так). Даже не сомневаясь, что царевича убил Борис, — Пушкин из одного чувства вкуса не мог бы вложить Борису такую тираду.

Да, Пушкин не переступил прямо юридической черты, как она и не проведена в истории. Однако и в пушкинской пьесе практически все убеждены, что Царевича убили по поручению Бориса, — и сам Пушкин не только не наводит тени сомнения ни на одно из этих высказываний, но, наоборот, всегда усиливает и подтверждает их репликами других персонажей (как Борис бледнеет) и даже прямыми авторскими ремарками, как в картине 16: в продолжение речи Патриарха «Борис несколько раз оттирает лицо платком». Да и вся эта сцена с разумнейшим предложением Патриарха — перенести чудотворный гроб Царевича в Москву, — вся против Бориса: не будучи прямо виновен в убийстве — из каких изощрённых душевных движений он бы отказался от такого метода обороны, абсолютно весомого в глазах русских людей того времени?

Впрочем, указанная журнальная статья исходит из образа какого-то придуманного невинного человека, не знавшего никаких других тяжких преступлений, а не из реального Бориса Годунова, сделавшего карьеру при дворе Иоанна Грозного, зятя Малюты Скуратова, самое малое — удушителя клана Шуйских в тюрьме (что подтверждает и Пушкин), а затем же — и направителя многих преследований (Романовы), затем и казней при своём царствовании (даже: по Пушкину они начались ещё раньше, чем по Толстому, — ещё до возникновения слухов о Самозванце). Именно по Пушкину, сравнительно с Толстым, движения Бориса к добру — исчезающе слабы. Пушкинская трактовка совсем не благоприятна для оправдания Бориса. Не будем уже опираться на косвенное соображение, что именно Борис-то и нуждался в этом убийстве, а не кто другой:

Но я достиг верховной власти... чем?
Не спрашивай.

Сыграло ли роль, что предки Пушкина действовали именно при Самозванце, а Годунову «противен род Пушкиных мятежный»? В сцене у фонтана Пушкин приписывает Самозванцу большую искренность, чистоту и высоту чувства, которую мы никак не ожидаем в честолюбивом монахе Гришке. Дальше, в боях, выделяет и рыцарский характер его и (картина 15) душевную тяжесть, что ведёт Литву на Русь, братьев на братьев, — кажется, в келье Чудова монастыря автор и сам ещё не предполагал такого в Отрепьеве.

Но и устами Бориса Пушкин не упускает высказать свои горькие и справедливые мысли о народе. Два-три монолога Бориса и Пимен сами по себе создают отдельную историософскую вертикаль, которой не видим ясно у Алексея Толстого. (А «безмолвствие» народа — прямо взято из Карамзина, это мало кто помнит.)

Однако у Толстого — выдержаны законы драматического действия, как мы к ним привыкли (хотя как раз в «Царе Борисе» оно несколько ослаблено). Трагедия же Пушкина уверенней воспринимается в чтении, нежели как реальная сценическая постановка. Она дробится на множество эпизодических сцен, и некоторые из них не кажутся обязательными (например, картина 12, Марина с горничной, — так как вообще Марина повисает дальше в бездействии; в иных редакциях она и исключена).

У Толстого в трилогии немало стихов, ставших афоризмами, — это самый высокий признак. (И рядом с этим выглядит небрежностью, как в картине 9, — вдруг замена одной-другой стихотворной строфы — крохотными кусочками прозы. Или совсем произвольное появление рифм, вовсе не в ударных местах.)

Ещё к историческим пьесам примыкает **Посадник (1870 — ...)**. При малом объёме пьесы (3 действия, 5 картин) — несколько ярких образов (посадник Глеб Мироныч, надменная вдова бывшего посадника Мамелфа, воевода Чермный, его полюбовница истеричка Наталья);

— общая яркая картина Новгорода, и как собирается, принимается решение, и корыстные расчёты купцов (не ссориться с Суздалем);

— напряжённый драматизм действия, хотя как будто и нехитрый, даже традиционный сюжет. И сверх него автор успевает втиснуть чисто бытовые сценки.

Общий девиз:

Не за тебя, за Новгород гублюсь, —

долг выше собственной жизни, как высоко.

И не снижает, не портит какой-нибудь ложно благополучной развязкой: нашли бы, скажем, что ключ украла Наталья, и помиловали посадника.

Действие даже как бы не кончается, Новгород остаётся в том угрожаемом положении, как мы его застали. И это — особенно сильно: перед нами прошёл лишь эпизод, совсем не исторического масштаба.

— В пятистопном ямбе — не всё, есть и проза.

— Тут же и знаменитое: «Не слыть, а быть».

— В комментариях сообщают, что пьеса просто не кончена. Но вот что: это и замечательно, что она не продолжена! В этом большой урок искусства! И — достаточно материала для жизненных уроков.

Лирическая поэзия А. К. Толстого.

Его стихи открыты, совсем не притязательны. Он вовсе не знает никакой сложности, метафор, намёков. Не найдёшь и отточенных кратких афоризмов. Не ахти какие мысли, а форма бывает и вовсе расслабленная. Но как только сдвигает к фольклорным формам — сразу лучше, струя от фольклора много обогатила его интонации. (Это — недоиспользованная линия в русской поэзии.) Алексей Толстой — как бы средний между Кольцовым и классической строгой поэзией.

Поток его лирических стихов (большая часть обращена к будущей жене Софье Андреевне, а от женитьбы — почти пресекаются) — скорей бесхитростные душевные откровения, они вовсе не сделаны. Ему важно исповедаться, а не произвести впечатление на читателя.

Например:

Бывают дни, когда злой дух меня тревожит.

Он как будто всё время в жалобах — в споре со своей судьбой. Большая часть стихов передлинена. Обычно нет чёткости образа и чувства — размыты в общепринятых словах и обилии их. В этих стихах есть романсная поверхностность, отчего их так охотно разбирали на романсы.

Но и — изрядно лёгкого виршесложения.

Баллады, былины, притчи.

А вот в балладах — А. Толстой свеж, оригинален и, конечно, фольклорен. Он же и историю как хорошо чувствует, даже когда немного трансформирует.

Очень хороша знаменитая «Правда» (с семи сторон) и «Песня о походе Владимира на Корсунь» (1869), где взвешенно соседствует лёгкое посмеивание над варварством — с чистой передачей крещения.

— «Поток-богатырь» слишком публицистичен, грубо.

— Великолепен «Садко», хорош «Слепой» (опоздал ко княжескому обеду и поёт в лесу никому).

— Нигилистов и начинающих борцов против искусства Алексей Толстой разгадал вовремя и пришил крепко («Порой весёлой мая», 1871).

Сатирические, юмористические.

— Сатирическая струя у него настойчивая и, видно, не давала ему покоя. Для смеха он не жалел никого.

«История государства Российского» — очень зубоскально, и в лад радикалам. (И тут дал много метких стихов.)

Но и: большинство сатир его недолговечно, новые времена потребовали новых.

Поэмы.

«Грешница» как бы недотягивает. Неубедительное исполнение.

«Иоанн Дамаскин» сильно затянут и потому маловыразителен (но тропарь — хорош).

А «Портрет» — по-моему, очень мил: поэтично, молодо и хорошая доза юмора, который А. К. Толстому всегда удаётся.



ИЗ НАСЛЕДИЯ

ОСИЯ СОРОКА

*

КАК ЧЕХОВ ПИСАЛ СТИХИ

Осия Петрович Сорока (1927 — 2001) — один из самых известных переводчиков англоязычной литературы. В списке его основных переводов повесть У. Фолкнера «Медведь» и романы «Шум и ярость», «Непобежденные»; романы Дж. Ле Карре «Убийство по-джентльменски», Дж. Олдриджа «Горы и оружие», С. Фицджеральда «Последний магнат», О. Хаксли «О дивный новый мир»; новые переводы десяти пьес У. Шекспира («Буря», «Мера за меру», «Король Лир», «Кориолан», «Сон в шалую ночь», «Отелло», «Антоний и Клеопатра», «Ромео и Джульетта», «Как вам угодно», «Венецианский купец» — см. книгу: Уильям Шекспир. «Комедии и трагедии». М., «Аграф», 2001).

За перевод «Короля Лира» О. П. Сорока удостоился Премии Москвы в 1992 г. (спектакль режиссера С. В. Женовача в Московском драматическом театре на Малой Бронной) и такого отзыва в журнале «Театр» (1992, № 10): «...Перевод Осии Сороки — это крупнейшее событие не только в истории шекспировских переводов, но и в истории взаимоотношений между русской культурой и Западом».

Книгу пьес У. Шекспира в переводе О. П. Сороки завершает эссе переводчика «Загадки Шекспира». Это серьезное литературное исследование под шутиливой беллетристической оболочкой.

Предлагаемая статья «Как Чехов писал стихи» написана в той же беллетризованной форме «вечеров» с участием сердитого старичка Евсея Луничка, что и «Загадки Шекспира». Это — вторая глава из неопубликованной книги переводчика «В поисках спасения» — о страсти творчества (см. журнал «Современная драматургия», 2002, № 4 — «В моей пьесе видят положительно не то...»). В автобиографии О. П. Сорока писал: «Перевожу англоязычных прозаиков — по преимуществу беру прозу, так сказать, поэтическую. Стремлюсь сохранить ритм, мелодию фразы, потею над этим и мучаюсь».

Пусть эти слова о «мелодии фразы» станут понятны широкому читателю на примере строк Антона Павловича Чехова в год столетия со дня его смерти.

Вечер первый. Два признания

Я пожаловался как-то Евсею, что не знаю вкуса икры.

— То есть не находите в ней вкуса? — с живостью переспросил он.

— Нет, просто никогда не ел икру.

— Да, для нас, малоденежных смертных, она ушла в возвышенную сферу мифов. Скудеет земное меню. А я помню еще довоенные икорные времена. Да что там, в году даже пятьдесят шестом Ленинград наводнили, помню, крабовые консервы. Небольшие такие жестяночки с красивой золоченой надписью «Чатка». Латинскими буквами. Эти камчатские крабы были деликатно, тончайше вкусны. Действительно деликатес. Бело-розовое мяско, завернуто причем в пергаментную бумагу — чтоб избежать соприкосновения с металлом банки. И баснословно дешево — шестьдесят копеек. С каких небес упала эта манна, не знаю. Эти консервы явно предназначались для Запада. Возможно,

Публикация, подготовка текста и вступительная заметка дочери автора *ЕЛЕНЫ ВОЛКОВОЙ* (из семейного архива).

Запад объявил им бойкот, поскольку их производили заключенные. А возможно, их забраковали отчего-то... Я-то их ел с удовольствием. Но я не зря спросил, находите ли вы вкус в икре. Как ни совестно сказать, сам я не нахожу. Моченую антоновку, капусту квашеную люблю, даже сейчас вот ощущаю во рту их со всеми оттенками вкуса. Как хорош острый рассольный сок красного помидорчика из бочки! А вот к икре я постыдно равнодушен — что красной, что черной. У Чехова описан дьячок... (Евсей порылся в пухлом бумажнике — там у него не деньги, а именно бумажки, склад бумажек.) Вот послушайте: «Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно околел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре». Это несколько больше полутора килограммов... Таким как бы эпиграфом начинается страшная повесть «В овраге» — о катастрофе, нависшей над Россией. И вот этому несчастному дьячку я не способен сочувствовать. По мне, хоть бы и вовсе икры не было. Иммунитет это или уродство, но я готов признать, что это не совсем нормально.

— Ну уж, перегибаете.

— Да нет, в каждом, вероятно, человеке есть странности — есть своя если не изюминка, то безуминка. Раз уж пошло на признания, то откроюсь вам еще в одном: представьте, я не ощущаю разницы между поэзией и прозой.

— Не отличаете ямба от хоря? — пошутил я.

— Очень даже отличаю. Но в прозе слышу те же ритмы. Ситуация с поэтическими размерами такая. В ямбе и хорее чередуется ударный слог с безударным. В трехсложных размерах — ударный с двумя безударными. В дольнике ударный слог чередуется то с двумя, то с одним безударным. А в тактовике между ударными слогами — самое разное число безударных. И вот меня в прозе преследуют дольники, а еще более — тактовики, и нет от них спасения. Читаю, скажем, тургеневское «Довольно». В нем человек-творец, художник безвозвратно прощается со своим творчеством:

Так скупой, в последний раз налюбовавшись
своим кладом, своим золотом, своим светлым сокровищем, —
засыпает его серой сырой землей;
так светильня истощенной лампы,
вспыхнув последним ярким пламенем,
покрывается холодным пеплом.

Взглянул зверек в последний раз из своей норки
на бархатную травку, на солнышко, на голубые ласковые воды —
да и забился в самую глубь, свернулся калачиком —
и заснул.

Будут ли ему хотя во сне мерещиться
и солнышко, и травка, и голубые ласковые воды?

Здесь три предложения. Для меня это три поэтических строфы. В первой шесть строк, то есть она — шестистишие. Затем четверостишие и двестишие. И слышится в этих строках тактовик.

Четырехударный: вспыхнув последним ярким пламенем;

трехударный: покрывается холодным пеплом;

пяти- и шестиударный, — скажем, в заключительном двестишии вторая строка — пятиударная.

— А в поэзии русской есть подобные строфы?

— Да. Вот у Блока — четырехударное двестишие:

Медленный, белый подходил рассвет,
Вместе с человеком взбирался на лестницу.

— Простите, Евсей, но для меня это звучит как-то расхлябанно. Я привык к более строгим стихам. А так любую прозаическую фразу можно объявить поэзией.

— В том же и вся штука, в том же и безумие. Для меня любая прозаическая фраза есть поэзия. Хорошая или плохая, но поэзия. А вам хотелось бы дать строже, устранить, как вы говорите, расхлябанность? Жил во времена Тургенева, а потом Чехова известный поэт и еще более известный судебный оратор С. А. Андреевский. И вот он задумал внести поэтический порядок в прозу Тургенева, — весьма прилежно переложил на строгий размер (амфибрахий) десять главок тургеневского «Довольно». Тургенев воспротивился опубликованию этих стихов. Но после его смерти Андреевский все же напечатал свое переложение в «Вестнике Европы». Видимо, считал его достойной данью памяти умершего. Вот послушайте наш отрывок в переложении поэта Андреевского:

Так точно, над кладом скупой
 Дрожит и любитесь золотом милым,
 И с ним расставаясь, в молчанье унылом,
 Его засыпает землей!
 Так точно фитиль истощенной лампы,
 Встречая повсюду горенью преграды,
 Сверкает последним лучом —
 И меркнет, скрываясь в пепле холодном!
 Так точно, печалась о лете свободном,
 Звезок выползает тайком
 Из маленькой норки и смотрит на воды,
 На солнце, на травку, на синие своды
 Пред долгим и тягостным сном, —
 Взглянул — и свернулся, и в норку забился...
 О, если б ему хоть однажды приснился
 Тот луг, озаренный лучом!..

Какое здесь у Андреевского обилие слов-затычек, вставленных единственно ради рифмы или чтобы не сбиться с размера: «в молчанье унылом», «выползает тайком», «озаренный лучом»... И странная перестановка действий: «и свернулся, и в норку забился». Естественной ведь, как в оригинале: забился, а затем свернулся. И даже целая пустошорочная строка: «Встречая повсюду горенью преграды». Нужна была большая, мягко говоря, наивность, чтобы предложить этот монотон взамен богатой, сложной ритмики Тургенева. Чтобы предложить этот балласт взамен тургеневских эпитетов и торжественных утроений:

...своим кладом, своим золотом, своим светлым сокровищем —
 засыпает его серой сырой землей.

Слышите вы скорбные удары тургеневского ритма? А ведь Андреевский искренно считал, что преображает прозу в драгоценный перл поэзии! Смех да и только... Тургенев, между прочим, начинал со стихов. Писал свои поэмы изысканными строфами сложней даже онегинской. Другого такого поэта-ритмиста у нас не было до Чехова.

— Ну уж, вы опять загибаете. Чехов стихов не писал.

— Не писал, говорите? Завтра я с вами поспорю.

Вечер второй. Влюбленность.

— Есть у Чехова очень сильный рассказ «Святою ночью» — о монахе, сочинителе акафистов — хвалебных духовных песнопений. Так вот, и сам Чехов в 1896 году написал своеобразный акафист в честь двух девушек. Я говорю о «Доме с мезонином». От первой до последней строчки это поэзия — не в переносном, а в самом прямом смысле. Предложения-строфы этой чеховской поэмы разнообразны. Здесь и одностишия, и двустишия, трехстишия, четверостишия. Вот вам пример двустишия:

Зеленый огонь погас,
 И не стало видно теней.

Сравните у Блока:

Снежная мгла взвилась,
Легли сугробы кругом.

Вот пара чеховских трехстиший:

И тут тоже запустение и старость;
прошлогодня листва печально шелестела под ногами
и в сумерках между деревьями прятались тени.

Направо, в старом фруктовом саду,
нехотя, слабым голосом пела иволга,
должно быть тоже старушка.

А вот пара блоковских:

Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.

- Это откуда? — спросил я.
- Из стихотворения «Она пришла с мороза...».
- Там так и напечатано трехстишиями?

— Да. А у Чехова и у Тургенева ритм приглушен, строфы и строки не подчеркнуты, не разделены графически. Это я их сейчас подчеркиваю и разделяю. Но если чеховская ритмика уступает здесь блоковской, то я тупой профан, лишенный слуха, — или же сумасшедший. Но перейдем к четверостишиям. В «Доме с мезонином» это важнейший, стержневой вид строфы (как и вообще в поэзии).

Они всегда вместе молились,
и обе одинаково верили,
и хорошо понимали друг друга,
даже когда молчали.

Когда одна уходила в сад,
то другая уже стояла на террасе
и, глядя на деревья, окликала: «ау, Женя!»
или: «мамочка, где ты?»

Заметим, что третья строка удлиняется в поэзии чаще других строк. Например, у Блока:

А берег опустелой гавани
Уж первый легкий снег занес...
В самом чистом, самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?

А иногда она и укорачивается. Вот у Чехова:

Мы подбирали грибы и говорили,
и когда она спрашивала о чем-нибудь,
то заходила вперед,
чтобы видеть мое лицо.

Сравните в «Пузырях земли» у Блока:

И шишак — золотое облако —
Тянет ввысь белыми перьями
Над дерзкой красою
Лохмотий вечерних моих.

Уходя в этот вечер от Волчаниновых,
я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня,
с грустным сознанием, что все кончается на этом свете,
как бы ни было длинно.

Сравните эту плавную строфу со строфой из блоковской «Влюбленности»:

Уж в стремнинах туман, и рога созывают стада,
И заветная мгла протянула плащи и скрестила мечи,
И вечернюю грусть тишиной отражает вода,
И над лесом погасли лучи.

Обратите внимание на краткость последней строки. Это особая краткость просветленной печали... Я готов цитировать бесконечно. Чехов говорил о Лермонтове: «Я бы так сделал: взял бы его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, — по предложениям, по частям предложения... Так бы и учился писать». Вот так надо разбирать самого Чехова — по строфам и строкам. Вы послушайте:

Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может,
что она провела со мной весь день, от утра до вечера,
я почувствовал, что без нее мне как будто скучно
и что вся эта милая семья близка мне,
и в первый раз за все лето мне захотелось писать.

Какая красивая и сложная строфа! Строки этого пятистишия имеют как бы паузу (цезуру), а за паузой следует краткое окончание строки: «и оттого, быть может», «от утра до вечера», «как будто скучно», — и это создает особый эффект отзвука, эха. Замечательны эти живущие в строфах рассказа короткие перекликанья, отголоски. Ау, Женя! Мисось, где ты?..

Есть в «Доме с мезонином» строфы в семь, восемь и более строк. Я приведу вам только длинную великолепную строфу:

Одна из них, постарше,
тонкая, бледная, очень красивая,
с целой копной каштановых волос на голове,
с маленьким упрямым ртом,
имела строгое выражение
и на меня едва обратила внимание;
другая же, совсем еще молоденькая —
ей было 17 — 18 лет, не больше —
тоже тонкая и бледная,
с большим ртом и с большими глазами,
с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо,
сказала что-то по-английски и сконфузилась,
и мне показалось, что и эти два милых лица
мне давно уже знакомы.

Эти четырнадцать строк — словно онегинская строфа о двух прелестных, светлых девушках.

— А как в других рассказах? Тоже, по-вашему, стихи?

— О да. У зрелого Чехова в каждой вещи своя музыка. Скажем, в «Анне на шее» задают тон летящие, вальсирующие шестистишия:

Она имела успех у мужчин,
это было ясно,
да иначе и быть не могло,
она задыхалась от волнения,
судорожно тискала в руках веер
и хотела пить.

Для «Ариадны» характерно описание «монотонного времени» на заграничном курорте: «Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством» — три фактически равносложных одностопных подряд. Монотонность усугублена анапестическим ритмом.

Знаете, Чехов писал одной подававшей надежды беллетристке: «Вы не работаете над фразой; ее надо делать — в этом искусство. <...> надо заботиться об ее музыкальности <...>». Как же сам Чехов работал над фразой?

Сохранилась черновая рукопись «Невесты», и это дает редкую возможность заглянуть в процесс работы Чехова над ритмом. Чехов уничтожал черновики, но когда писал свой последний рассказ, не до того уж, видно, ему было. Сравним описание утреннего сада в черновиках второй главы с окончательным текстом. Вот самый ранний вариант начала:

Под окном и в саду стали шуметь птицы,
туман ушел к реке,
все кругом засияло, заблестело.

Следующий вариант:

Под окном и в саду зашумели птицы,
туман ушел из сада,
все кругом засияло, заблестело.

Печатный текст:

Под окном и в саду зашумели птицы,
туман ушел из сада,
все кругом озарилось весенним светом,
точно улыбкой.

Чехов ставит «зашумели» вместо «стали шуметь», и ритм первой строки сразу обретает четкость; «засияло, заблестело» Чехов расширяет в «озарилось весенним светом, / точно улыбкой» и ставит точку, оформляя первую строфу. Вторая строфа продолжает ритм:

Скоро весь сад, согретый солнцем,
обласканный, ожил,
и капли росы, как алмазы,
засверкали на листьях;
и старый, давно запущенный сад в это утро казался
таким молодым, нарядным.

Обратите внимание: в окончательный текст Чехов вставил слова «давно запущенный», чтобы приглушить этот ритм, чтобы не походило на «стихоплетство». Финальная затушевка ритма — прием очень характерный.

— А правильных размеров Чехов избегал?

— Что значит «правильные размеры»? Разве чеховский дольник здесь менее поэтичен, чем традиционные анапесты и ямбы? Но и они случаются у Чехова. В «Палате № 6» — в момент кульминационный, в минуту невыносимого ужаса — звучит чистейший ямб: «Затем всё стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть». А вот Чехов пишет Плещееву о смерти брата, и скорбные слова сами ложатся анапестом: «во всю жизнь не забыть мне ни грязной дороги, ни серого неба, ни слез на деревьях»... Ну, убедились, что Чехов — поэт? Что Чехов — ритмист?

— Убедился.

— Что ж, я рад. Я в Чехова влюблен навеки.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА СУРАТ



ПРЕВРАЩЕНИЯ ИМЕНИ

«Трижды блажен, кто введет в песнь имя...»

Этими словами из «пиндарического отрывка» «Нашедший подкову» (1923) Мандельштам выдал одну из глубоких тайн своей поэтической речи. Эта тайна — трепетное и трудное, почти сакральное отношение к имени, к возможности его произнесения в стихе, но вместе с тем и насущность имени для песни, и блаженство, в имени обретаемое.

Вообще-то имен в лирике Мандельштама немало, и порою он рассыпает их легко. Таковы имена мифологические, весь пантеон античности, унаследованный через посредство поэзии золотого века, — некоторые из них (Психея, Прозерпина-Персефона, Одиссей) играют существенную роль в поэтическом мире Мандельштама, но в целом это имена-условности, традиционный общепоэтический багаж. Столь же многочисленны у него имена исторические, чаще из истории культуры — живописи, музыки, литературы. Кругом этих имен означена питательная среда культуры, на которой возростала мандельштамовская поэзия. Еще более избирательно и все же свободно упоминаются в ней имена библейские.

Совсем иное дело — заветные имена, не покрытые бронзой, интимно-близкие, а иногда и далекие во времени. Такие имена Мандельштамом редко произносятся, но живут в тексте — как душа живет в теле. Одно из них — имя Пушкина. Известно, что оно и в жизни для Мандельштама было почти неизречеваемо, в стихах же прямо названо лишь однажды: «Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов...» На этом имени — табу. Всех русских поэтов, в том числе и любимейших, можно подряд по именам перечислить, только Пушкина ни в каком ряду почти невозможно назвать¹ — но и не называть нельзя:

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь почему!
Веневитинову — розу.
Ну, а перстень — никому.

Боратынского подошвы
Изумили прах веков,
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

(1932)

Сурат Ирина Захаровна — исследователь русской поэзии; доктор филологических наук, автор книг «Пушкин. Биография и лирика» (1999), «Пушкин. Краткий очерк жизни и творчества» (в соавт. с С. Г. Бочаровым; 2002) и ряда других. Постоянный автор и лауреат двух премий «Нового мира».

Статья печатается в продолжение цикла «Мандельштам и Пушкин» (см. «Новый мир», 2003, № 3,11).

¹ Ср.: «По неписаному, но непреложному закону имя Пушкина никогда среди нас не употреблялось в одном контексте с другими...» (Мандельштам Надежда. Книга третья. Paris, 1987, стр. 34).

«...Ну, а перстень — никому», то есть не скажу кому. Перстень — пушкинский, тот самый заветный золотой перстень с сердоликом и еврейской надписью, подарок любимой женщины, оставшийся в стихах («Сожженное письмо», «Талисман», «Храни меня, мой талисман...»), после смерти Пушкина перешедший к Жуковскому, затем к И. С. Тургеневу, затем пропавший и не доставшийся в итоге никому. Перстень — знак любви и верности, интимной тайны — замещает в стихах Мандельштама непроизносимое главное имя, заветное, как перстень, драгоценное. И даже прямого, однозначного намека это имя не допускает — тот же перстень вроде можно отнести к названным в стихах Веневитинову (ему перстень из Помпей был положен в могилу) или Баратынскому (автору повести «Перстень»). Наша догадка о сокрытии здесь имени Пушкина бездоказательна и при этом безусловна — по эксклюзивному месту перстня-умолчания в мандельштамовском стихотворении².

Так же неявно, но несомненно присутствие Пушкина в «Кассандре» (1917). Имя его вроде и названо, но названо так, что остается гадать и спорить, Пушкин это или его тезка — император Александр I. И подсказка — не только в образе солнца («Сияло солнце Александра»), но и в рифме с именем другим (Кассандра — Александра), в котором спрятано еще одно дорогое имя — той, к кому обращены стихи (ударное *ан*). Срифмовать Анну Ахматову с Пушкиным, то есть означать средствами стиха глубокую историческую рифму в культуре, — так же естественно для чуткого поэта, как противоестественно было бы срифмовать Ахматову с императором. Но только туманная двойственность этого имени позволила «ввести» его «в песнь».

Имя Пушкина живет и в тех пушкинских мотивах, какие Мандельштам подхватывает, развивает, оживляет новым поэтическим дыханием: «зеленый пух», «голубой пунш» — эти устойчивые образы мандельштамовской поэзии, идущие от Пушкина, содержат анаграммы любимого имени, расцвеченные оттенками любимых цветов — зелени и лазури. Но не просто анаграммы: варьируя звуки имени, «пух» и «пунш» одновременно являют образы пушкинского духа, легкого и пламенного. А уж когда «голубой пунш» превращается в «пунш голубоглазый» («Кому зима — арак и пунш голубоглазый...», 1922) — тут присутствие неназванного имени становится очевидным.

Так же скрыто присутствует имя Марины Цветаевой в мандельштамовских стихах московского цикла (1916). Ни разу не произнесенное, оно выносит в текст пушкинские годуновские подтексты, по которым достраиваются отношения лирического героя и его героини — царевича-самозванца и Марины Мнишек:

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил...

Все дело в неназванном имени — оно и порождает лирический сюжет с теми его историческими и пушкинскими ассоциациями, которые идут, видимо, от самой Цветаевой, от ее самосознания и осмысления собственного имени в стихах³. В другом стихотворении цикла — «В разногласии девического

² Имя Пушкина многозначно опущено и в «Стихах о русской поэзии» (1932); см. об этом: Сурат Ирина. Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин. — «Новый мир», 2003, № 3, стр. 159 — 160.

³ См.: Тарановский Кирилл. О поэзии и поэтике. М., 2000, стр. 166 — 168. Первая об этом писала Лидия Гинзбург, см. ее кн. «О лирике» (2-е изд., Л., 1974, стр. 381).

хора...» — фамилия Цветаевой калькирована в названии города — Флоренция, и это тоже подсказано ее тогдашними стихами из цикла «Бессонница» («После бессонной ночи слабеет тело...», 1916). И при этом все мандельштамовское стихотворение — тоска «по русском имени», которого он не называет:

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Выходит, что и здесь скрытое имя героини дает ключ к скрытой любовной теме стихотворения, а другой ключ — пушкинские реминисценции, собранные с удивительной даже для Мандельштама плотностью, из четырех стихотворений Пушкина сразу («Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает...», «Вертоград моей сестры...», «Зима. Что делать нам в деревне?..», «Зимнее утро»). В третьем стихотворении мандельштамовского московского цикла любовный сюжет выходит на поверхность и тема имени звучит уже как открыто любовная и в то же время пушкинская тема расставания с возлюбленной:

Нам остается только имя:
Чудесный звук на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

У Пушкина имя связано с памятью, а значит, его можно забыть — оно сохраняется памятью и вместе с памятью может умереть:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

У Мандельштама имя не умирает, оно бессмертно, как душа, оно и есть неумирающая душа любви — время просыпается, как песок, а имя остается. Любимое имя, хранящее в себе тайну личности и судьбы, почти сакрально, и его произнесение — столь же затрудненное и значимое действие, как произнесение имени Божия. «Легче камень поднять, чем имя твое повторить» — эта строка из стихотворения «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» (1920) в первоначальном варианте звучала иначе: «Легче камень поднять, чем вымолвить слово: „любить”», но впоследствии по совету друзей была заменена как неудачная на вариант, предложенный якобы Гумилевым⁴. Важна сама возможность для Мандельштама такой замены: повторить имя — то же, что вымолвить слова любви, и это так же трудно, почти непреодолимо. Недаром появляется здесь неподъемный камень, напоминающий известный богословский парадокс: может ли Бог создать такой камень, какой он не может под-

⁴ См.: Одоевцева Ирина. Избранное. М., 1998, стр. 358 — 359.

нять? Так и поэт: он не может поднять этот камень — и не может его не поднять. Собственно, об этом, хотя и не только об этом, стихотворение 1912 года:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

«Вполне возможно, хотя совершенно не важно, что образ — женский»⁵. Усилия назвать его, то есть поймать ускользающий образ, — тщетны, и вместо того имени произносится имя Божие — «по ошибке», всуе, а значит — в нарушение общей библейской заповеди, начертанной на скрижалях («Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»), и особого иудейского запрета на главное сакральное имя. И эта экзистенциальная ошибка, чреватая неизвестно какой катастрофой, выдает всю меру душевного напряжения, сопутствующего именованию.

Мандельштамовское отношение к имени индивидуально, органично — и при этом соотносится с большими движениями эпохи — эстетико-философскими и богословскими. Понимание природы слова, в частности — слова поэтического, стало в первые десятилетия XX века в России средоточием интеллектуальных и духовных усилий поэтов символистского, а затем и постсимволистского круга и — параллельно — философов русского религиозного Ренессанса. Мандельштам об этом много думал, читал, писал. В его суждениях о природе слова просматривается воздействие идей филолога А. А. Потемби о внутренней форме слова: «Самое удобное и [в научном смысле] правильное — рассматривать слово как образ, то есть словесное представление. Этим путем устраняется вопрос о форме и содержании, буде фонетика — форма, все остальное — содержание. Устраняется и вопрос о том, что первичнее — значимость слова или его звучащая природа? Словесное представление — сложный комплекс явлений, связь, „система“. Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и, обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре» («О природе слова», 1921 — 1922). С этим самым «бумажным фонарем», изнутри светящимся, с нерасторжимым «словесным представлением», соединяющим «значимость слова» с его «звучащей природой», и работал Мандельштам в стихе. Другая особенность этой работы определялась характерными для акмеизма отождествлением слова и означаемой им сущности — представлением о реальности, «бытийственности» слова как «плоти деятельной, разрешающейся в событие» («О природе слова»). Так что пресловутая мандельштамовская «звукопись» — не формально-эстетская игра, а нечто ей противоположное: как правило, за фонетическими вариациями и повторами стоят у него усилия по выявлению внутренней формы и всех смысловых потенциалов слова. Чисто формальные фонетические упражнения в стихе вызывали у «смысловика»⁶ Мандельштама решительное отторжение:

.....
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье — суета, и слово — только шум,
Когда фонетика — служанка серафима.

(«Мы напряженного молчанья не выносим...», 1913)

⁵ Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. — В кн.: Мандельштам О. С. П. Сочинения в 2-х томах, т. 1. М., 1990, стр. 27.

⁶ Так называл себя сам Мандельштам, см.: Мандельштам Надежда. Воспоминания. М., 1999, стр. 220.

Это — впечатление от чтения Владимиром Пястом по-английски стихотворения Эдгара По «Улялюм». Для Мандельштама фонетика — не «служанка серафима», а родная сестра «значенья», и слово — не «шум», а явление смысла. Все это имеет особую силу в отношении имени собственного, в котором кроется судьба, жизненная тайна человека. Отсюда — особое внимание к именам и особая их роль в мандельштамовской поэзии.

Говоря об этом обо всем, стоит напомнить, на каком фоне формировалась индивидуальная поэтическая номенология Мандельштама. Начало века было озаменовано неслышанным по ожесточенности, но в то же время и по своей религиозной и культурной значимости догматическим спором вокруг имени Божия. Начало ему положил схимонах Иларион брошюрой 1907 года о молитве Иисусовой⁷ — мысль о Божественном сопричастии в молитве он довел до утверждения тождества имени Божия с самим Богом. Это вызвало резкие возражения в церковной печати. К 1913 году спор с особой силой разгорелся в русских монастырях на Афоне, «где он принял неистовое и мятежное течение, и все богословские доводы были помрачены страстью и раздражением. Спор пришлось оборвать силою, почти насилием. Последователи Илариона были объявлены еретиками, под именем „имябожников“ (сами они называли себя „имяславцами“, а своих противников „имяборцами“), и несколько сот монахов были насильственно выдворены и вывезены с Афона и расселены по разным обителям в России (определение Св. Синода от 29 августа 1913 г.). Вопрос по существу, однако, остался недораскрыт»⁸.

Имяславие было горячо поддержано русской философской мыслью и имело на нее огромное воздействие — о. Павел Флоренский редактировал присланную с Афона для издания книгу иеросхимонаха Антония (Булатовича)⁹, Н. А. Бердяев откликнулся на репрессии против афонских монахов статьей «Гасители духа»¹⁰, в полемике участвовали также С. Н. Булгаков и Вл. Эрн. Начавшись с богословского спора вокруг имени Божия, это движение породило общую философию имени, разработанную в трудах Флоренского («Общечеловеческие корни идеализма», 1909; «У водоразделов мысли», 1917 — 1922; «Имена»,), о. Сергия Булгакова («Философия имени», ок. 1920), А. Ф. Лосева («Философия имени, 1927).

В стихах Мандельштама есть непосредственный отклик на «афонскую смугу»:

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спастись не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

(1915)

⁷ «На горах Кавказа. Беседа двух старцев пустынников о внутреннем единении с Господом наших сердец чрез молитву Иисус Христову, или Духовная деятельность современных пустынников. Составил пустынножитель Кавказских гор схимонах Иларион». Баталпашинск, 1907 (2-е изд. — 1910, 3-е изд. — 1912).

⁸ Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Paris, 1988, стр. 571 — 572.

⁹ «Апология веры во имя Божие и имя Иисуса». М., 1913.

¹⁰ «Русская молва», 1913, 5 августа.

Мандельштам, поэтически интерпретируя имяславие, вторит ему в главном: имя Божие он отождествляет с «древом чудным» — Древом Жизни, одним из образов Христа, и тем как будто удостоверяет присутствие Божие прямо на Афоне, среди «имябожцев-мужиков». Стихотворение все проникнуто радостью веры, ересь названа «прекрасной» — но последняя строфа загадочна, она неожиданно переводит богословский вопрос в другую область, в личную жизнь от первого лица. Ересь оказывается всечеловеческой, насколько всечеловеческой является способность любить, тема Божьего имени расширяется до имени вообще — и вновь, как и в других, уже рассмотренных нами стихах Мандельштама, имя неразрывно связано с любовью. Но что значат последние, не вполне внятные два стиха? Их понимают по-разному. То ли: любовь безымянна, не называйте ее по имени, а то погубите¹¹, — то ли наоборот: не оставляйте любовь безымянной, чтобы не погубить ее. Первое чтение имеет свои основания в уже описанном трепетном отношении Мандельштама к имени, в сакральности и труднопроизносимости любимых имен. И все же второе чтение имеет основания большие — в общем контексте темы, объединяющей имя с любовью в целостную номенологию любви во всей поэзии Мандельштама. Дать имя — означает дать жизнь, отнять имя — обречь на небытие. Есть у Мандельштама странное стихотворение, тематически связанное с рядом других стихов о полетах в небо, но по внутренней, глубинной своей теме стоящее особняком:

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось
И зажигательное стеклышко
На эмпиреи загорелось.

Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку пенъем жужелиц
В лазури мучилась заноза:

— Не забывай меня, казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя!
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини.

(1923)

Стихотворение неожиданным образом сходно с «Недоноском» Баратынского: в нем вопиет как будто недовоплотившаяся жизнь — между бытием и небытием. Мольба об имени звучит как мольба о душе, о спасении — имя может поддержать и спасти эту хрупкую, ненадежную жизнь, зависшую между небом и землей. Безымянность у Мандельштама — синоним бездушности, она гибельна, родственна небытию, как в стихах 1910 года:

Мне стало страшно жизнь отжить —
И с дерева, как лист, отпрянуть,
И ничего не полюбить,
И безымянным камнем кануть...

Это — одно из ранних пророчеств собственной судьбы, оно отзовется незадолго до смерти в «Стихах о Неизвестном Солдате», в их центральной теме безымянной гибели «с гурьбой и гуртом». Но помимо пророчества здесь слышатся онтологически важные темы: имя соединяет человека с жизнью, и так же соединяет его с жизнью любовь, — так что если вернуться теперь к стихотворению об имябожцах-мужиках, к его двусмысленной концовке, то смысл ее становится яснее: безымянность губит любовь, а прославление любимого

¹¹ См.: Паперно И. О природе поэтического слова. Богословские источники спора Мандельштама с символизмом. — «Литературное обозрение», 1991, № 1, стр. 31.

имени так же животворно, как прославление имени Божия. И при этом — «Легче камень поднять, чем имя твое повторить».

Еще в одном раннем стихотворении Мандельштам прямо сравнил именование с любовной лаской:

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен...

(«Как облаком сердце одето...», 1910)

Вещи жаждут «заветных имен», чтобы таким образом в словах поэта воплотиться, — но поэт затрудняется ответить на эту жажду любовным именованием. Все та же коллизия: назвать имя так же трудно и так же жизненно важно, как любить, и потому — «Трижды блажен, кто введет в песнь имя...». Такова главная проблема поэтического имяславия Мандельштама.

Поразительны и не всегда объяснимы прямым влиянием совпадения поэтической номенологии Мандельштама с ключевыми идеями философии имени о. Павла Флоренского. У поэта и философа несомненно было какое-то родство интуиций, «избирательное сродство»¹² — во всяком случае, в понимании природы слова, и в особенности — природы и статуса личных имен. Некоторые высказывания Флоренского, с которыми Мандельштам не был знаком, могут служить органичным комментарием к его стихам. Вот суждение из книги «У водоразделов мысли» (из главы «Магичность слова», писавшейся в 1920 году): «Ведь слово столь же внутри нас, сколь и вовне, и если мы правы, почитая слово событием нашей сокровенной жизни, то должно нам не забывать, что оно есть нечто уже переставшее быть в нашей власти и находящееся в природе оторванно от нашей воли. Пока мы над словом еще вольны — его нет, а лишь только оно возникло, — мы потеряли свой произвол. „Слово, что воробей: выпустишь — не поймашь”, — поучает народная мудрость»¹³. Вряд ли Флоренский, когда писал это, держал в памяти стихотворение «Образ твой, мучительный и зыбкий...» (трижды к тому времени опубликованное), но описывает он как будто то самое, что и Мандельштам, — отделение слова от говорящего, превращение его из внутреннего, сокровенного во внешнее, свободное, как птица. Флоренский, как и Мандельштам, воспринял идеи Потебни о внутренней форме слова, которую он, впрочем, понимал по-своему — как «постоянно рождающуюся, как явление самой жизни духа»¹⁴, и это вошло в его философию имени. Но главное, что роднит эту философию с поэтической номенологией Мандельштама, — убеждение в реальности, в метафизической природе и магической силе личных имен: «Человечество мыслит имена как субстанциальные формы, как сущности, образующие своих носителей <...>. Это — категории бытия»; «...всякое имя непременно действенно, не может остаться без действия на своего носителя»; «имя собственное <...> являет познаваемую реальность и есть самая реальность»¹⁵. Впервые эти идеи были высказаны Флоренским еще в ранней статье «Общечеловеческие корни идеализма» (1909), где он писал, в частности: «Имя есть сама мистическая личность человека, его трансцендентальный субъект»; «по своему происхождению имя небесно»¹⁶. Мандельштам своих представлений об имени нигде так понятийно не формулировал, но кажется, что его исходная интуиция имени совпадает с этими идеями Флоренского, — и прежде всего в этом убеждает поэтическая история познания и осознания им своего собственного имени.

¹² О том же см.: Роднянская И. Б. Свободно блуждающее слово. К философии и поэтике семантического сдвига. — В сб.: «Литературоведение как литература». М., 2004.

¹³ Флоренский П. А. [Сочинения в 4-х томах], т. 2. У водоразделов мысли. М., 1990, стр. 252.

¹⁴ Там же, стр. 233.

¹⁵ Там же, стр. 266 — 267.

¹⁶ «Богословский вестник», 1909, № 3, стр. 416 — 417. Цит. по сб. «Studia Slavica Hungaria». Budapest, 1988, № 1-4 (34), p. 11.

Но прежде чем перейти к этому центральному сюжету, в котором явила себя судьба поэта, рассмотрим некоторые случаи работы Мандельштама с чужим именем в стихе. Может, самый яркий такой пример — стихотворение «Соломинка» (1916), адресованное Саломее Николаевне Андрониковой, в которую Мандельштам, по признанию Н. Я. Мандельштам, был «действительно влюблен», и свидетельством тому жена называет эти стихи¹⁷:

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, — что может быть печальней, —
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка — быть может, Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

Все это стихотворение (характерная мандельштамовская двойчатка, целое из двух равноправных вариантов) — любовное проникновение в тайну имени, тайну личности; оно строится как раскрытие внутренней формы имени, высвобождение ее, разгадывание заключенной в имени судьбы. Внешнему, как бы застывшему в своей библейской монументальности имени Саломея Мандельштам противопоставляет живое, интимное, внутреннее имя Соломинка — так и озаглавлено стихотворение. Вначале «соломинка» — что-то вроде любовного прозвища, оно и пишется с маленькой буквы, но постепенно во втором фрагменте превращается в подлинное имя и пишется уже с большой:

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.

Это — знаменательный ряд литературных имен, героинь Эдгара По и Бальзака, смертельно больных любовью, в этом контексте и переосмыслено имя героини. Когда Мандельштам говорит: «Не Саломея, нет, соломинка скорей», — он отталкивается от евангельского образа дочери Иродиады, потребовавшей за исполненный танец головы Иоанна Крестителя. В евангельских эпизодах (Мф. 14: 6 — 11; Мр. 6: 22 — 28) имя не названо, но оно известно по преданию, а в сознании Мандельштама опосредовано, скорее всего, известной пьесой Оскара Уайльда «Саломея». В своей героине Мандельштам видит не ту, что безжалостно принесла смерть Иоанну Крестителю, а, напротив, хрупкую «соломинку», беззащитную перед смертью и вызывающую жалость. Любовь открывает в имени нарицательном («соломинка») — имя собственное, в имени внешнем — интимное внутреннее имя. Внешнее имя вывернуто наизнанку, из него поэт извлекает подлинное имя как квинтэссенцию подлинной судьбы — но и оно, это имя, оказывается «убито жалостью» вместе с героиней-«соломинкой», оно проходит через метаморфозу смерти и обращается в Лигейю, «чья в саркофаге спит блаженная любовь» (по имени героини одноименной новеллы Эдгара По, воскресшей в чужом саркофаге)¹⁸. Любовное познание судьбы и личности через имя составляет сюжет этих стихов.

¹⁷ Мандельштам Надежда. Вторая книга. М., 1999, стр. 263, 255.

¹⁸ О внутренних метаморфозах стихотворения см.: Гаспаров М. Л. «Соломинка» Мандельштама: поэтика черновика. — В его кн.: «Избранные статьи». М., 1995, стр. 185 — 197.

В каком-то смысле противоположный случай — стихотворение «Жил Александр Герцевич» (1931), построенное на очевидной, общепонятной семантике имени-патронима:

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наворачивал,
Как чистый бриллиант.

.....
Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич, —
Чего там? Все равно!

.....
Все, Александр Герцевич,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцевич,
Чего там! Все равно!

Здесь Мандельштам не познает человека через имя — человек этот был ему далек, сосед брата по коммуналке, — а, напротив, эксплуатирует семантику его патронима (*Herz* по-немецки означает «сердце»), играет на созвучиях (сердце — скерцо), путем звуковых вариаций вживляет имя в фоническую плоть стиха. Такая игра избавляет его от прямого произнесения слова «сердце» — в это слово превращается имя собственное, которое таким образом становится нарицательным. Все дело в отношении к человеку — если человек любим, его имя заключает в себе огромный, таинственный, любовно познаваемый мир; если человек далек, его имя — только звук, который можно использовать в стихе.

«Собственное имя <...> охватывает полный круг энергий личности», — писал Флоренский в книге «Имена»¹⁹. Именно в таком энергетическом смысле имя «Франсуа» формирует сюжет стихотворения 1931 года:

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Поэт Семен Липкин, когда Мандельштам прочел ему эти стихи, предложил улучшить рифму и заменить Франсуа на Антуан. Мандельштам пришел в негодование. Позже Липкин писал: «В самом деле, думаю я теперь, может быть, он слышал так, как не слышим мы, смертные, ему в данном случае важна была не школьная точность рифмы, а открытый, ничем не замкнутый звук в конце строфы — Франсуа»²⁰. Да, наверное, это так, но еще важнее само имя — с ним в стихи вошел один из любимейших героев Мандельштама поэт Франсуа Вийон («Любимец мой кровный, / Утешительно-грешный певец», «Несравненный Виллон Франсуа», — будет сказано о нем в стихотворении 1937 года), а с именем вошел в стихи и самый дух Вийона, провоцирующий на «вийоновское» поведение как утверждение жизненной свободы. Этот жизненный стиль Мандельштам активно предьявлял в юности, за что заслужил тогда прозвание «современного Виллона»²¹, но и в предсмертный год от него не отрекся:

¹⁹ Флоренский Павел, свящ. Малое собрание сочинений. Вып. I. Имена. Кострома, 1993, стр. 27.

²⁰ Липкин Семен. Угль, пылающий огнем. — В сб.: «Осип Мандельштам и его время». М., 1995, стр. 306.

²¹ См. об этом: Мандельштам Надежда. Вторая книга, стр. 94.

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучы права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.

(«Чтоб, приятель и ветра и капель...», 1937)

Дух бродяжничества и имморализм, игра и духовное веселье — вот, пожалуй, главное, что было дорого Мандельштаму в личности Вийона. Обо всем этом он писал в статье «Франсуа Виллон» (1910), по поводу которой Надежда Мандельштам заметила: «Мандельштам <...> рассказывая о Виллоне, неожиданно вставляет несколько автопризнаний или слов о том, в чем он чувствует свою родственность Виллону. „Он любил город и праздность“, „жил в Париже, как белка в колесе, не зная ни минуты покоя. Он любил в себе хищного, сухопарого зверька и дорожил своей потрепанной шкуркой...” Именно таким сухопарым и потрепанным зверьком ощущал себя сам Мандельштам и действительно был на него удивительно похож»²². Здесь ключ к стихам о «парикмахере Франсуа» — теперь ясно, кто «как будто» вымыл «в корень голову шампунем», и что это значит, и почему после этого тянет «набедокурить». Но под магическим воздействием имени поэт не перевоплощается в Вийона, он остается собой — вот что важно. Пробудившийся в нем свободный дух Вийона ставит его на *свое* место — место поэта, твердо сознающего свою жизненную задачу, свой путь:

Не волноваться. Нетерпенье — роскошь,
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку —
Я сохранил дистанцию мою.

Что касается слов о Вийоне «Он любил город и праздность», то они помогают обнаружить сильный вийоновский субстрат во всем цикле московских стихов 1931 года, близких по времени, материалу, настроению к стихотворению о «парикмахере Франсуа», — «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...», «Еще далёко мне до патриарха...», «Сегодня можно снять декалькомани...». Ореол единожды названного имени распространяется на все эти стихи.

Любимое имя не может быть названо случайно — но может вырваться как будто внезапно тогда, когда именно оно, и только оно, говорит о главном:

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

.....
Маком бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, — гибнушим подмога,
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

²² См. об этом: Мандельштам Надежда. Вторая книга, стр. 309.

Это стихотворение 1934 года, которое Анна Ахматова назвала «лучшим любовным стихотворением 20 века»²³, обращено к Марии Петровых. Имя ее возникает лишь в последней строфе²⁴ — и резко меняет все течение стиха. В предыдущих строфах проступает во внешних чертах облик соблазнительной «турчанки» и возможность измены; «„глухой мешок” — это, по преданию, форма казни неверных жен в Турции. Причем в мешок зашивали и бросали в море не только изменницу, но и ее соблазнителя», — пишет об этом Э. Г. Герштейн (со слов С. В. Поляковой) и продолжает: «В образе „кривой воды” прочитывается ясная мысль — это обман, измена жене»²⁵. И вдруг: «Ты, Мария, — гибнущим подмога». Этот стих вызывает совсем другой круг ассоциаций, в нем есть и неожиданная патетика, и некоторая несовместимость с образом пленительной «мастерицы виноватых взоров». От внешней фактуры образа с восточным, мусульманским («полумесец губ») и даже гаремным колоритом поэт как будто пришел через имя к глубинной сути личности: «турчанка» обращается Марией-заступницей, помощницей, защитницей — тут очевиден богородичный отсвет имени. И этот новый образ, в имени заключенный, получает развитие в мотивах вскоре написанного второго стихотворения, обращенного к Марии Петровых:

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком, да кровавым песком.

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

(1934)

Раздвоившийся в первом стихотворении образ здесь уже полностью перешел в круг христианских ассоциаций — страдание, заступничество, молитва, свеча. Только заступничество теперь обратное: сам поэт из «янычара», соблазнителя «турчанки» превратился в молитвенника и заступника. Почему «черной свечкой гореть да молиться не сметь», убедительно объяснила Эмма Герштейн — чувством личной вины поэта за поступок, который мог принести женщине великие страдания и самую жизнь ее поставил под угрозу: после ареста, на следствии Мандельштам назвал Марию Петровых в числе слушателей антисталинского стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...» и не скрыл, что она записала текст²⁶.

В отклике на роман А. Серафимовича «Город в степи» (1931?) Мандельштам поставил ношение имени в первый ряд экзистенциально важных жизненных дел человека: «...Стоило рожать, умирать, любить, носить имя...» Воспринимая имя как средоточие судьбы, средостение личности, он свое собственное имя носил с полной ответственностью, с памятью о его значении и глубоких библейских корнях. Имя удостоверяло его прямую связь с «наследством овцеводов, патриархов и царей» и «почетное звание иудея», которым он гордился («Четвертая проза», 1930). К имени своему Мандельштам относился ревностно: «О, как противен мне какой-то соименник, / То был не я, то был

²³ Ахматова Анна. Сочинения в 2-х томах, т. 2. М., 1990, стр. 204.

²⁴ Впрочем, в автографе имя отсутствует, стих имеет другой вариант; причина, по-видимому, та, что Мандельштам боялся ославить Петровых (она была замужем).

²⁵ Герштейн Эмма. Мемуары. СПб., 1998, стр. 437.

²⁶ Там же, стр. 431 — 433. Двоющийся образ двух этих стихотворений вызывает далекую, но вполне возможную для ассоциативного сознания Мандельштама параллель с парой двух «гаремных» женских образов русской поэзии — Марии и Заремы (которая, напомним, «в пучину вод опущена») из пушкинского «Бахчисарайского фонтана».

другой» («Нет, никогда, ничей я не был современник...», 1924). То же сказано и шулки ради, но решительно, в «Антологии житейской глупости» (1925): «Никакой другой Иосиф не есть Осип Манделъштам». А когда Енукидзе, тогдашний секретарь ВЦИК, спутал его по телефону с другим Манделъштамом, поэт долго возмущался, как будто этой ошибкой была всерьез затронута его честь²⁷.

По метрике и по семейной традиции Манделъштама звали Осип. Высокий библейский аналог этого имени — Иосиф — и прообраз своей судьбы Манделъштам видел в Иосифе Прекрасном, числа его своим покровителем в том смысле, в каком христианин почитает своего святого. В общехристианском плане об этом проникновенно писал Флоренский в книге «Имена» — об «избирательном сродстве со святым, чье имя носишь, о покровительстве именно этого святого и о подражании не вообще святым, а именно *этому*, определенному. Но первое предполагает особливую благодатную близость к нему, а второе — сродство духовного типа и общего пути жизни...»²⁸. Подобные отношения связывали Манделъштама с его библейским соименником; история Иосифа, рассказанная в книге Бытия, сыграла в самосознании поэта сильную роль. «Манделъштам ведь всегда помнил об египетском тезке, в честь которого был назван»²⁹, — пишет Надежда Яковлевна и ссылается при этом на стихи 1913 года:

Отравлен хлеб, и воздух выпит,
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

В «Путешествии в Армению» (1931 — 1932) Манделъштам так описал «емкий денек» подъема на гору Алагез: «Я в нем запутался, как в длинной рубашке, вынутой из сундуков праотца Иакова». «Рубашка» — тот самый кетонет, разноцветный хитон, которым Иаков одарил своего любимого сына — Иосифа и тем отличил от остальных братьев, вызвав их ревность (Быт. 37: 3 — 4); это и есть завязка истории Иосифа, момент избранничества, исходная точка скитаний, и Манделъштам не просто вспомнил об этой рубашке, а примерил ее на себя как судьбу. Принадлежность к роду еврейских патриархов, богоизбранность и благословенность, изгнание и тюрьма, пророческий дар, драматичная биография — наиболее существенные слагаемые судьбы библейского Иосифа, и ее отголоски слышны в ряде манделъштамовских стихов. «Комплексом Иосифа обусловлена египетская тема в творчестве Манделъштама»³⁰, — если не полностью, то отчасти. Столь важная для него тема звезд одним из источников может иметь символический сон Иосифа о том, как поклонились ему солнце, луна и звезды, — во всяком случае, в двух стихотворениях, непосредственно с Иосифом связанных, звезды значимо присутствуют. Первое — «Отравлен хлеб и воздух выпит», где поэт, сравнивая себя с Иосифом, переносится в архаичное пространство пустыни:

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает — остается
Пространство, звезды и певец!

Второе — «Сохрани мою речь навсегда...» (1931), в сложнейшей семантике которого есть и тема Иосифа, прежде всего — в центральной для этого стихотворения и в целом для самосознания Манделъштама 30-х годов автохарактеристике: «Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье». В библейском повествовании отторжение Иосифа братьями символизирует и практически

²⁷ «Осип Манделъштам и его время», стр. 305.

²⁸ Флоренский Павел. Имена, стр. 35.

²⁹ Манделъштам Надежда. Вторая книга, стр. 561 — 562.

³⁰ Микучевич В. Ось. (Звуко-символ О. Манделъштама). — В сб.: «Сохрани мою речь...» Манделъштамовский сборник. М., 1991, стр. 72.

означает его отторжение от народа, но не разрывает их глубокой внутренней связи — и в итоге Иосиф, уже наделенный властью в Египте, оказывается спасителем и отца, и братьев, и всего рода. У Мандельштама самый сильный эмоциональный момент в стихотворении — это готовность «непризнанного брата» служить народу, принося себя в жертву, и тоже отец, как Иаков для Иосифа, символизирует весь народ, к которому поэт и апеллирует: «И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый...» Библейская тема страданий отверженного брата перерастает у Мандельштама в христианскую тему добровольной жертвы, и в колоде, куда братья бросили Иосифа (в русском переводе «ров без воды»), отражается у него Вифлеемская звезда — «Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, / Чтобы в ней к Рождеству отразилась семья плавниками звезда»³¹. Так художественная интуиция приводит поэта к тому же, к чему давно пришла христианская богословская традиция: «Христианские авторы видели в Иосифе как невинном и целомудренном страдальце прообраз Иисуса Христа»³². И все это, напомним — поэтические проекции собственной судьбы, данной вместе с именем. В стихах последних лет они будут радикально переосмыслены.

Имя «Иосиф» на иврите означает «Бог да умножит», — Мандельштаму наверняка это было известно. Но для него важнее оказалась внутренняя форма русского варианта имени Осип — она дала гроздь особых мандельштамовских звукообразов, в которых он разгадывал свое назначение, свое место в мире, предопределенное именем. «Имена человеческие написаны в небесах»³³, Иосиф и было такое небесное имя его, идеальная матрица судьбы; Ося — реально носимое имя, ежедневно звучащее и в созвучиях своих таящее для поэта сокровенные смыслы. Ося — осы — ось — этот смысловой звукоряд проявлялся в лирике Мандельштама постепенно и в стихах последних лет зазвучал со всею силой, наполнившись драматизмом уже проявившей себя судьбы³⁴. В стихотворении о поэзии и смерти, о поэзии и времени он к традиционно поэтической метафоре «поэт-пчела»³⁵ добавил свой индивидуальный образ: «Медуницы и осы тяжелую розу сосут...»³⁶. Оса — тоже метафора поэта, но особая, Мандельштам разъяснил ее в одном из вариантов статьи «Письмо о русской поэзии» (1922), говоря об Ахматовой: «Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развивала с оглядкой на психологическую прозу <...> а жало узкой осы приспособлено для переноса психологической пыльцы с одного цветка на другой»³⁷. Пчела производит мед — «узкая оса» разносит пыльцу поэзии. А еще у осы-поэта особое, сверхострое зрение — по этому поводу Надежда Мандельштам рассказала, как ее муж и Ахматова играли в игру «кто лучше видит»³⁸. Из всего этого и выросло потом стихотворение 1937 года:

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую все, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и все...

³¹ См. об этом: Капинос Е. В. О «Рождественской звезде» у Мандельштама. — В сб.: «Пушкин в XXI веке: вопросы поэтики, онтологии, историцизма». Сборник статей к 80-летию профессора Ю. Н. Чумакова. Новосибирск, 2003, стр. 72 — 73.

³² Аверинцев С. С. София — Логос. Словарь. Киев, 2001, стр. 94.

³³ Булгаков Сергей. Философия имени. — В кн.: Булгаков Сергей. Первообраз и образ. Соч. в 2-х томах, т. 2. СПб. — М. 1999, стр. 145.

³⁴ См.: Миклушевич В. Ось. (Звукосимвол О. Мандельштама). — В сб.: «Сохрани мою речь...» Мандельштамовский сборник, стр. 69 — 74.

³⁵ См. у К. Ф. Тарановского: «Образы поэтов-пчел и поэзии-меда у Мандельштама не новы; они тоже имеют свои литературные источники». — В его кн.: «О поэзии и поэтике». М., 2000, стр. 126 и далее.

³⁶ «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» (1920).

³⁷ Мандельштам О. Э. Собрание сочинений в 4-х томах, т. 3. М., 1991, стр. 34.

³⁸ Там же, стр. 549 — 550.

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить, сон и смерть минуя,
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

Осы и раньше летали в поэзии Мандельштама («Черепаша», 1919; «Не говори никому...», 1930), но теперь они сошлись с центральной для лирики 1937 года темой земной оси и, таким образом, оказались в центре мироздания, а вместе с ними и поэт, соединенный с осами и осью звуками своего имени. Надежда Мандельштам писала Борису Кузину в январе 1939 года (Мандельштама уже не было в живых, но она об этом не знала): «Я рада, что вы полюбили „Осы“». Ося тоже считает их своими лучшими стихами. Мы много смеялись в свое время, играя словами „Осип“, „Оса“...»³⁹. Много смеялись, а при этом само созвучие и стихи, на нем построенные, составляют тот самый «узел жизни, в котором мы узнаны / И развязаны для бытия»⁴⁰. Вспомнив о трещине мира, прошедшей через сердце поэта (Гейне), можем сказать, что у Мандельштама через имя поэта, дело поэта, через его личную судьбу проходит сама «ось земная» — аналог мирового древа, Древа Жизни⁴¹. Так через двадцать с лишним лет отзываются его ранние «имяславские» стихи, в которых «древо чудное» тождественно «имени Божию»...

С Древом Жизни связан и еще один звукосимвол, производный от имени Осип, — это посох, столь значимый образ Мандельштама, но тот же образ выявляет и символический, библейский смысл его фамилии. «Немецко-еврейская фамилия „Мандельштам“ переводится с идиш как „ствол миндаля“ и заставляет внимательного читателя Библии вспомнить о процветшем миндальном жезле первосвященника Аарона (Числа, 17: 1 — 10) и о видении пророка Иеремии: „Я сказал: вижу жезл миндального дерева“ (Иер. 1: 11)»⁴². Сухой посох Аарона за ночь расцвел в скинии откровения — это было «знамение, которое указывало на полноту духовной жизни, дарующую избранному и через избранного всем верным сынам Израиля»⁴³. Расцветший миндальный посох — чудо Божие, знак торжества Его воли и силы пророчества. Сходный смысл имеет и видение пророка Иеремии. «Ты верно видишь, — говорит ему Господь, — ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось» (Иер. 1: 12). «Миндальное дерево по-еврейски называется *бодрствующим* деревом, очевидно, потому, что оно раньше других расцветает после зимнего сна <...> Иегова бодрствует, и слово Его исполнится, придет в полное осуществление все, что он определил народам и царствам»⁴⁴.

Посох вообще — широкий библейский символ (посох Моисея, два посоха Иезекииля), но Мандельштам помнил именно о цветущем посохе Аарона — прообразе своего родового имени, о нем и писал:

Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.

(«Есть ценностей незыблемая скáла...», 1914)

³⁹ Кузин Б. С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Мандельштам Н. Я. 192 письма к Б. С. Кузину. СПб., 1999, стр. 554 — 555.

⁴⁰ «Может быть, это точка безумия...» (1937).

⁴¹ О «связи образа [мирового] древа с мировой осью» см.: Гаспаров М. Л. О Мандельштаме. Гражданская лирика 1937 года. — В сб.: «Чтения по истории и теории мировой культуры». Вып. 17. М., 1996, стр. 91.

⁴² Лежманов О. А. Жизнь Осипа Мандельштама. СПб., 2003, стр. 11.

⁴³ «Толковая Библия». Под ред. А. П. Лопухина. Т. 1. Пб., 1904, стр. 546.

⁴⁴ «Толковая Библия». Т. 6. Пб., 1909, стр. 15.

Эти стихи — о русской трагической поэзии XVIII века, о цветении поэтического слова; в этом контексте очевидно, что для Мандельштама расцветший миндальный посох был метафорой чуда поэзии. Такое понимание заложено в Библии — ведь Аарон был призван в помощь косноязычному Моисею за свой дар слова, и Бог говорил его устами (Исх. 4: 14 — 15). Глубочайшим образом проник в эту тему Андрей Белый: свою статью «О слове в поэзии» он назвал «Жезл Аарона» и в ней объединил одной метафорой поэтическое слово, Древо Жизни и процветший Ааронов жезл: «Слово-жезл, слово-термин, как жезл Аарона, исходит цветами значений; трезвость логики, не теряя лучей, наливается соками жизни, чтоб стать деревом жизни»⁴⁵. Чудесно расцветший Жезл Аарона понят обоими поэтами как символ Божественной природы слова, как образ присутствия Божия в поэзии.

Итак, Мандельштам вместе с фамилией получил призвание к поэтическому слову — мог ли он не придавать этому промыслительного значения? Потому такую роль играет посох и в стихах его, и в жизни, начиная со стихотворения 1914 года «Посох» (в котором «каждое слово выбрано так, что оно приложимо и к самому Мандельштаму, и к Чаадаеву»⁴⁶) — и вплоть до «белорукой трости» («И с белорукой тростью выхожу...») в стихотворении «Еще далёко мне до патриарха...» (1931), где само слово «патриарх» дает библейский отсвет на пестрые картинки московского житья. В 30-е годы в облике Мандельштама отмечали черты патриарха и пророка, им самим акцентированные при помощи той же «белорукой трости». Н. И. Харджиев так описал его на творческом вечере в ноябре 1932 года: «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в продолжение двух с половиной часов. <...> Это были такие страшные заклинания, что многие испугались»⁴⁷, а Наталья Штемпель вспоминала о Мандельштаме в Воронеже: «В руках неизменная палка, на которую он никогда не опирался, она просто висела на руке и почему-то шла ему»⁴⁸. В той «неизменной палке» он осознанно нес память о библейских корнях своего имени — это мы знаем от самого Мандельштама: «Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзал в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой — моим еврейским посохом — в другой» («Четвертая проза»). В корзине — мужество, в когда-то обретенной и вскоре утраченной шубе — недостижимое житейское благополучие⁴⁹, в «еврейском посохе» — достоинство и призвание.

Мандельштам не просто жил в соответствии со своим даром — он осуществлял заповедь: «По имени и житие»⁵⁰, однако не все получалось «по имени» — так, во всяком случае, почувствовал он сам в какой-то момент жизни. В одно воронежское стихотворение, которое Надежда Яковлевна считала «шуточным»⁵¹, он вписал свою фамилию неожиданным образом:

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова —
Как ее не вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

⁴⁵ Белый Андрей. Жезл Аарона. (О слове в поэзии). — «Скифы». Сб. 1. Пг., 1917, стр. 158.

⁴⁶ Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. — В кн.: Мандельштам Осип. Сочинения в 2-х томах, т. 1, стр. 31.

⁴⁷ Цит. по кн.: Лекманов О. А. Жизнь Осипа Мандельштама, стр. 158.

⁴⁸ Там же, стр. 159.

⁴⁹ См. очерк «Шуба» (1922) и сквозную тему шубы у Мандельштама.

⁵⁰ См. на эту тему: Флоренский П. А. У водоразделов мысли, стр. 267; Флоренский Павел, свящ. Имена, стр. 34 — 35.

⁵¹ Мандельштам Осип. Собрание произведений. Стихотворения. М., 1992, стр. 446.

Мало в нем было линейного,
 Нрава он не был лилейного,
 И потому эта улица
 Или, верней, эта яма
 Так и зовется по имени
 Этого Мандельштама...

(1935)

Мандельштамы жили тогда на 2-й Линейной ул., кривой и ухабистой, — это и обыгрывается в характеристиках фамилии, которая «криво звучит, а не прямо», да и названа к тому же «чортовой» — врез с пророческим самосознанием и «жезлом Аарона», хотя понятно, что поэт говорит здесь с чужого голоса, имитирует будущего воронежского обывателя, пришедшего на улицу Мандельштама. «Яма» имени Мандельштама демонстрирует большой разрыв между провиденциальной судьбой и социальной реальностью. Матрица судьбы, заложенная в имени, как будто сломана, имя включается в другие контексты, жизнь идет по другой колее. Эта «яма», с одной стороны, напоминает о злоключении библейского Иосифа, брошенного братьями в ров и пережившего смерть и второе рождение. С другой стороны, рифма «яма — Мандельштама» звучит пророчески и зловеще для нас, знающих, каков был конец поэта — в погребальной лагерной яме. В 1937 году «яма» появляется в стихах все чаще — и несет в себе тему смерти («Куда мне деться в этом январе?..», «Стихи о Неизвестном Солдате»).

Богоданная фамилия вдруг оказалась «чортовой», но и с именем что-то случилось в 1937 году — бесовское начало и его не обошло:

Влез бесенок в мокрой шерстке —
 Ну куда ему, куда? —
 В подкопытные наперстки,
 В торопливые следы...

.....
 Скучно мне: мое прямое
 Дело тараторит вкось —
 По нему прошло другое,
 Надсмехалось, сбило ось.

Эта вариация пушкинских «Бесов» и «Зимней дороги» кончается анаграммой имени — тем самым звуко-символом, в котором имя поэта соединилось с «прямым делом» поэта. Но «влез бесенок» — и ось жизни сбита, матрица-судьба поломана. Весь «аккорд имен»⁵² как будто зазвучал диссонансом, «прямое» осевое дело поэта, данное ему вместе с именем, теперь «тараторит вкось».

История отношений Мандельштама со своим именем имеет драматический финал — он прочитывается в двух наиболее значительных, монументальных текстах 1937 года: в «Оде» Сталину и в «Стихах о Неизвестном Солдате».

В мандельштамовском восприятии Сталина решающую роль сыграло имя вождя, но раскрыл Мандельштам для себя это имя не сразу. Первые стихи о Сталине, за которые поэт был арестован и сослан в 1934 году, кончаются со-звучием с именем Ося: «Что ни казнь у него — то малина / И широкая грудь осетина»; в первоначальном варианте было якобы «грузина» и не грудь, а другое, во что слабо верится, и все-таки Мандельштам предпочел «осетина». Знал он или не знал, что Джугашвили означает «сын осетина», сказать трудно, в любом случае версия об осетинском происхождении Сталина была достаточно распространенной, — но вряд ли только этим определяется выбор поэтического слова, да еще стоящего в сильной, ударной позиции. К «осетину» вело имя Сталина — их общее с Мандельштамом имя. Мандельштам никогда не был равнодушен к этому факту, и особое значение соименность со Сталиным приобрела тогда, когда он вступил с ним в личное единоборство — этим са-

⁵² С. Н. Булгаков писал, что имя, отчество и фамилия человека составляют «аккорд имен» (Булгаков Сергей. Первообраз и образ, стр. 131).

мым стихотворением: «Мы живем, под собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не слышны, / А где хватит на полразговорца, / Там припомнят кремлевского горца...» А дальше последовал арест и — история с тремя тезками, один из которых, конвоир Оська, сопровождал другого Осипа в ссылку по указанию третьего — Иосифа⁵³. Тут и выявился провиденциальный смысл этой соименности, и Мандельштам уже в Воронеже в конце 1935 года нашел последнюю строчку для своего давнего пророческого стихотворения о будущей ссылке: «И меня только равный убьет»⁵⁴. Учитывая, что Мандельштам всегда акцентировал в своей биографии аналогии с биографией Пушкина, можно тут вспомнить и двух других исторических соименников, двух Александров — поэта и его венценосного гонителя, двусмысленно объединенных Мандельштамом в 1917 году в образе «солнца Александра».

Постижение Сталина, проникновение в образ шло последовательно — от гротеска — к мифологизации («Внутри горы бездействует кумир...», 1936)⁵⁵ и дальше — к космическому историзму «Оды», в процессе писания которой выяснились личные отношения двух Иосифов — выяснились через их общее библейское имя. Его созвучия появляются в первых же стихах, кристаллизуясь в теме земной оси — «Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось...», — но земная ось проходит не через имя и дело поэта, а через имя и дело другого — того, кого чуть ниже поэт назовет «близнецом»⁵⁶:

И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему, — вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.

Отец «ста сорока народов» — он же и соименник-близнец, небесное имя которого непроизносимо («какого не скажу»), но однозначно прочитывается в созвучиях первых стрóf оды, как прочитывается в ее подтексте «близнечный миф» (В. Микушевич)⁵⁷ о взаимоотношениях двух мистических братьев-соименников. «Другой» Иосиф, отец и спаситель народов, воплотил в своей жизни царственную судьбу библейского Иосифа, это он — *настоящий* Иосиф, это ему поклоняются народы: «„И каждое гумно и каждая копна / Сильна, убориста, умна — добро живое“, — так и вспоминаются снопы братьев, кланяющихся в пророческом сне снопу Иосифа»⁵⁸. А что ж поэт? Он уступает свое библейское имя и уходит в небытие, растворяясь в толпе: «Уходят вдаль людских голов бугры: / Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят...» Самоумаление — добровольное, чтоб «не огорчить отца», и доходит оно до предела — до физической смерти. Двум Иосифам как будто нет места на одной земле; вспомним: «И меня только равный убьет». Такова логика «Оды», и по этой логике в конце ее прямо звучит тема имени:

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сжатых губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

Поэт ушел — но останется его славословие вождю. Только обыгрывается здесь не имя, а фамилия, и не настоящая, а псевдоним, кличка — в стихах 1937 года Мандельштам неоднократно ее повторяет: «Сталина имя громовое»,

⁵³ См.: Мандельштам Надежда. Воспоминания, стр. 61 — 64.

⁵⁴ «За гремучую доблесть грядущих веков...», 1931.

⁵⁵ См. статью М. Б. Мейлаха «„Внутри горы бездействует кумир...“ К сталинской теме в поэзии Мандельштама». — В сб.: «Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама». Воронеж, 1990, стр. 416 — 426.

⁵⁶ О традиции давать близнецам одинаковые имена см.: Успенский Ф. Б. Имя и власть. Выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. М., 2001, стр. 109 — 110.

⁵⁷ Микушевич В. Ось. (Звукоимпульс О. Мандельштама), стр. 73.

⁵⁸ Там же.

«Будет будить разум и жизнь Сталин», «Дорога к Сталину — не сказка...»⁵⁹. Ничего, кроме очевидной семантики тяжести, «стали», это имя не открыло ему — псевдоним скрывает личность, замена подлинного имени — как подмена личности, она противоположна переименованию человека при крещении и новом рождении в духе. «Как все имеет свою пародию у князя мира сего, этой обезьяны Господа Бога, как преобразование имеет свою пародию в актерстве, так и священное, мистическое переименование, преобразование имени имеет свою пародию в псевдонимности...», — писал об этом Сергей Булгаков⁶⁰. (Известно, как Ахматова пыталась избавиться от псевдонима, вернуться к своей родовой фамилии или взять фамилию мужа⁶¹.) Мандельштам в «Оде» делает попытку пробиться через кличку к настоящей фамилии: «Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили!» — но это невозможно.

Стремление слиться с народом⁶² приводит поэта к отказу от личности и отказу от имени. Сколько было в этом его собственной воли, сколько неизбежности и судьбы — не нам судить. «Утеря имени общественно всегда означала гражданскую и историческую смерть»⁶³ — растворение в безымянном общем бытии и было осознано Мандельштамом как смерть; линия «Оды» продолжилась в «Стихах о Неизвестном Солдате», в теме безымянной гибели «с гурьбой и гуртом», каковая и настигла вскоре Мандельштама. В финале «Стихов о Неизвестном Солдате», на переключке смерти имя поэта символически заменяется числом:

Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором... —
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Имя и число — антонимы, число противостоит имени, как вещь противостоит личности⁶⁴, замена имени безликим числом и есть смерть личности. Страх «безымянным камнем кануть», выраженный в стихах 1910 года, здесь развился в прямое пророчество, вскоре исполнившееся. И в этом поэтическом откровении Мандельштама, в грандиозной эсхатологической картине массовых смертей появляется новый отзвук все того же имени:

...За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченный — пасмурный, оспенный
И приниженный — гений могил.

«Оспенный» «гений могил» — тот, кого Мандельштам назвал «рябым чертом» еще в 1930 году, в «Четвертой прозе»; народная кличка Сталина⁶⁵ совпала с поэтическим его познанием через имя. Как слился Мандельштам с народом в попытках поклонения вождю, так слился и в постижении его исторической и мистической сути, и в собственной гибели.

⁵⁹ В стихотворениях: «С примесью ворона — голуби...», «Если б меня наши враги взяли...», «Стансы».

⁶⁰ Булгаков Сергей. Первообраз и образ, стр. 141.

⁶¹ См. об этом: Мандельштам Надежда. Вторая книга, стр. 455.

⁶² См. об этом: Гаспаров М. Л. О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года, стр. 94 — 97.

⁶³ Флоренский Павел. Имена, стр. 64.

⁶⁴ Об этом см.: там же, стр. 85 — 86.

⁶⁵ Ср. у вдовы поэта: «Здесь я впервые услышала, что Сталина в народе называют „рябым“» (Мандельштам Надежда. Воспоминания, стр. 409).

Р Е Ш Е Н И Я И. О Б З О Р Ы

ГУЛАГ. ДО ВОСТР.

Евгений Федоров. Проклятие. М., «Практика», 2003, 475 стр.;
Евгений Федоров. Поэма о первой любви. Исповедь бывшего диссидента. —
«Континент», 2003, № 3 (117);
Евгений Федоров. Поэма о первой любви (исповедь диссидента). — «День и ночь»,
Красноярск, 2003, № 6-7.

Евгений Федоров без конца пишет и переписывает собственную жизнь. Пере-сказывает, пересочиняет, договаривает и выговаривается.

Евгений Федоров рассказывает нам о нас самих. ...Кому это — нам? Ясно кому: болтунам и бражникам, а если выразиться высоким стилем — свободным интеллектуалам извечно (увечно) несвободной страны. Ё-мое: Бог и быт, эрос и его сублиматы, власть и воля, политика и мистика, еврейский вопрос, черная сотня, диссида и лабуда. Непременность этих сюжетов представлена у Федорова и как итог пути из никуда в никуда, и как неостановимый процесс, способ жизни духа, объективировавшегося на Русской равнине. Стол накрыт, вкушайте яства.

Такой уж это писатель. И к такому Федорову мы уже привыкли. К его раскованному балагурству и почти беспрецедентной в современной русской словесности эрудиции, к играм его ума и ветвистому строению его фразы.

В нашей литературе его проза — явление, безусловно, примечательное и незаурядное. Я с начала 90-х, когда только стали появляться в печати его занятные сочинения, считал Федорова интеллектуалом высокой пробы и одним из крупнейших современных русских писателей. Федоровский «Бунт» (М., Изд. фирма Soba, 1998, в 2-х томах: т.1 — 301 стр., т. 2 — 335 стр.) — это редкостное событие современного русского философского романа — роман-симпозиум, грандиозный полилог, оригинально эксплицирующий примерно то, что думал, быть может, Бахтин о романной полифонии в своей когда-то жутко модной книжке. Не зря, может статься, фамилия Федорова соотносится с именем Достоевского! К тому же «Бунт» является еще и лирической исповедью, и романом воспитания, замечательным экстрактом жизненного опыта, культурных накоплений и творческой свободы.

И вот новость с сорочьего хвоста: Евгений Федоров изменил святому знамени и в последние годы сделался крайним государственнымником. Может ли так быть вообще? И что означает этот замысловатый творческий зигзаг? О таком и спрашивать-то скучно, не то что собирать на сей счет досье и вести об этом прю. Тем более что Федоров — хитрый, травленный лис — ни за что нам не признается в своей измене. И лишь причудливые скрещения смысловых теней, лишь замысловатая игра мотивов в последних его вещах скажут нам нечто о случившейся смене вех. Кстати, исчерпывающая документация по этому поводу удачно собрана в его последней большой книге повестей.

Само собой, попала туда и «Поэма о первой любви». Скандальная, в принципе, вещь. Так мне и сказал один ее читатель: скандальная повесть. И добавил: автор был обделен общественным признанием в минувшие пятнадцать лет и теперь, очевидно, решил наверстать упущенное.

Едва ли это вполне справедливо. Но факт есть факт: упрямый, гадина, как моя кошурка Маша. На «Поэму о первой любви» Федоров поставил. Достаточно указать, что за год он распечатал ее в двух журналах — московско-парижском и сиби-бирском¹ — и почти одновременно в сборнике своей прозы. Не хило, правда?

¹ От редакции. В новомирской «Периодике» (2004, № 5) уже отмечалось, что красноярский вариант повести не вполне совпадает с журнальным московским; редакция журнала «Континент» сочла необходимым сопроводить публикацию следующим предупреждением: «Печатаемая новая повесть Евгения Федорова, примыкающая к традиции, начало которой положили когда-то „Записки из подполья“ Достоевского, мы надеемся, что нашему читателю не нужно напоминать, сколь сложная, не допускающая ни малейшего тождества диалектика связывает обычно автора и героя в литературе этой традиции. Впрочем, социально-психоло-

...Громкого скандала после публикаций федоровской повести, однако, кажется, не случилось. Не знаю, право, почему. Вероятно, те, кто потенциально могли бы приветствовать этот опус, не читают сочинений Федорова. А если читают, то боятся его бесконтрольной внутренней свободы, с которой, подними его, голубчика, на шит, еще наживешь себе хлопот.

Всяко бывает. Знали мы людей, от которых осталась одна плесень. Даже и мракобесие мракобесию — рознь. К тому же ты и сам себя иной раз ловишь на противоречиях, безуспешно совмещающим романтико-анархический строй духа с волей к гармонической форме, каковая на плоскости общественного благоустройства испытанным маршрутом доводит у нас в исхилившемся Отечестве до цезарепапизма и прочих прелестей сугубой византийщины. Чем же Федоров хуже? Мало ли чего можно предположить в горячке спора, в угаре политического разболтая! Но всему есть мера. От писателя мы ждем не сумбурных восклицаний, а мудрого понимания истинной ценности вещей. И странно же и нелепо ему вставать во фрунт и петь михалковские гимны лагерной охране, будто страна не исчезла лишь потому, что ее хорошо караулили. Ведь слишком часто не благодаря, а вопреки разномыслию вертунхайству существовала Россия — и состоялась она в истории человечества именно как Россия творческого духа: не тесными формами государственности, не мундиром и формуляром, а совершенными явлениями искусства, событиями экзистенциальной и художественной аскезы.

«Поэма о первой любви» — это, если коротко определить, монолог аутсайдера, который когда-то в простодушной молодости, пришедшейся на середину 50-х годов, сначала полюбил прелестную девушку Катю из рафинированного интеллигентного семейства, а потом полюбил также свободу и диссиду — и на всем этом сильно обжегся.

Интеллигенты, как быстро уяснил мальчик из простонародья, высокомерны и в быту невыносимы, чуть что — сразу переходят на мат. Катина мамаша-интеллектуалка — человеконенавистница, пятнает его душу циничными подозрениями и упреками. Но это еще ничего бы, да вот и девушка внезапно охладела, дала ему отставку. Не задался и роман со свободой. В один прекрасный день всю компанию *сгребли*. И тут приятели из юношеского кружка вольнодумцев слишком охотно приняли жертву нашего героя, который заранее объявил о своей готовности взять все грехи на себя. Не усомнятся, начали во время следствия валить на него вину.

...Один оказался среди всего этого бедлама хороший человек — умный, гуманный. Следователь, *Павел Иванович*. Докопался до истины. «Это рыцарь высокой государственной идеи: идеи России».

И вот теперь, три эпохи спустя, герой, который когда-то отбыл свой срок от звонка до звонка, страстно и красноречиво обличает и никчемно-сволочную интеллигенцию, и эгоистичных предателей диссидентов. Словом, всю эту вашу *интеллигунью*. Мелькают имена далеко не безвестные. Руководитель кружка, в который разлетелся наш герой, назван *Красноцветцевым*. Далее появляются и Красин с Якиром. И обличаемый с особым рвением *Андрей Сахаров*. Но обличение идет дальше отдельных личностей, приговор выносится явлению в целом, движению как таковому («Я не с ним и не с вами, диссидентствующими мудозвонами, мастерами плетения словес, одержимыми всеразъедающей иронией, демоном разрушения, фени на вас не хватает, суки позорные, правозащитная шайка-лейка, дружная семья мерзавцев!») Такие вот пироги.

Вникая в поток речи персонажа и пытаясь дать себе на ее основе отчет в том, что этот герой собой представляет, проще всего прийти к выводу, что человек злой, злопамятный, ядовитый. Да. Есть у нас еще арсенал реальной критики: старое, но грозное оружие.

гический тип „разочарованного диссидента“, так пришедший ко двору новым временам, схвачен Е. Федоровым столь точно во всей изверченности и ненависти его к своему прошлому и нынешнего натужно-злобного его патриотизма, что образ этот способен все сказать о себе сам. Во всяком случае, нам, надеемся, не нужно объяснять, в каком отношении находится та мировоззренческая вера, которую исповедует герой, к той, которую всегда исповедовал „Континент“».

Но характеристикой только персонажа в данном случае, увы, не обойдешься. Возникает вопрос: а где же был при этом автор? Увы. Метод автора и содержание пришли здесь — уже, кажется, не в первый раз — в странное сочетание. Автор словно бы солидарен. Он растворился в герое. Влип в него.

...Проза Федорова антропоцентрична. В ее фокусе — человек. Причем нередко даже не столько то, как он поступает, сколько то, что (и как) он думает. Иногда мысль идет вглубь, иногда вширь, а иногда и вовсе причудливым маршрутом, который пространственно неопределим. Это такой раблезианского размаха пир духа, где на стол неразборчиво мечут что попало. Что нашлось и в печи, и в запечке. В результате возникает мир насквозь субъективный, состоящий из самого зыбкого, что только есть, из бредней и гипотез, из неустойчивых фантазий пламенного духа, — сфера максимального риска относительно истины. К таким текстам непросто писать комментарии: начинаешь ощущать себя одним (всего лишь) из персонажей многоголосого хора.

Кажется, Федоров с самого начала ощущал, что отдельное слово не может быть окончательным, а самодостаточная отдельно взятая мысль — бедна и ущербна. Что истина, если уж найдется ей место в нашем грешном мире, рождается где-то на скрещении разнонаправленных смыслов. Отсюда — изошренность в создании таких перекрестков, рождающая впечатление новейшего плетения затейливых словес. Возможно, именно предлагая неокончателность плоских истин, писатель любит фиксировать полярности. На одном полюсе — крайний идеализм и спиритуализм, на другом — цинизм и скепсис. И все в одном сознании, у одного персонажа. Рядом высокое и низменное, вершины творения и грубая вещественность быта, полеты в небеса и копанье в дерьме.

Правда, иной раз и прежде удивляла настойчивость этого копанья. Что с того, что человеческая вонь и свинья — идентичны. Сказать можно еще и не то. Но когда это на разные лады повторяется зачем-то несколько раз, то поневоле воспринимаешь такой нажим как знак не просто авторского участия, а и авторского видения.

Серьезный, высокий смысл взрывается за счет неблагополучного соседства. Но иной раз писатель все-таки выводил нас в итоге к духовному позитиву. (А в другой раз — не выводил.) Смушала ли эта тенденция к релятивизации истины, появляющаяся в фелетонизме, в памфлетных интонациях, которые зачастую доминировали? Смушала. Вино обращалось в уксус, пламя перегорало в пепел.

Когда-то в своем повествовании Федорову в конечном счете вроде бы удавалось умерить вопиющий субъективизм отдельных голосов за счет создания диалогической среды, когда каждый голос оказывался не абсолютным, каждое мнение не могло претендовать на значение последней истины, а если и представлялось справедливым, то лишь на какое-то время. Голос автора сложно сплетался с головами персонажей, за некоторыми из коих виделись реальные люди. Это был мир, где ничего не предрешиено, мир тотальной свободы, к которой подключался — волей-неволей — и читатель. (Неслучайный парадокс состоял в том, что максимум интеллектуальной свободы достигался в тюрьме и лагере, *русских Афинах*, где человеку принадлежит, по Федорову, только его мысль. Аукнулось в романе «Бунт» — откликнулось в последних повестях, а как — еще увидим.)

В новой прозе у Федорова мир творческого риска, мир свободного поиска резко сокращается в размерах. Многоголосие разлагается на отдельные партии. Отдельные голоса начинают солировать. И тогда вдруг проявился совсем другой эффект.

Во-первых, оказалось, что Федоров не весьма умеет рассказывать историю. Она утопает у него в мелочах, ветвится почти без движения вперед. Что-то похожее, скажет читатель, есть в прозе Фазиля Искандера. Да, похожее. Но не слишком. У Искандера элемент лирический или связанный с экстравагантной позицией рассказчика все-таки почти никогда не доминирует, он сплетается с самодовлеющей стихией органической жизни. А федоровское ветвление есть в первую очередь прихоть автора-рассказчика-персонажа (иной раз поди их раздели). Причем Федоров не всегда избретен, и часто эти случайные побеги выглядят не более чем капризом. Он принуждает жизнь идти туда, где примстилась ему удача. Принужденность такого рода достигает максимума в «Тайне семейного альбома», где автор всерьез завязывает происходящее в повести на фантазмагорический мотив — один

из персонажей сменяет свою половую принадлежность усилием воли. Вот так и в «Поэме...» нить духовной эволюции персонажа прихотливо следует за тем, что можно назвать причудами женской логики (любила — разлюбила), с нужными автору сюжетными случайностями. Концы с концами сходятся как-то не так, за счет упрощений, сюжетного произвола (сюжетной принужденности), банального символизма, экспрессии тона. Иной раз мерещится, что это балаган. К тому Федоров был и прежде склонен, но это входило у него в более сложную систему координат. И вот теперь ее нет, а есть, что ли, самодостаточная шутовская игра, замешенная на злости.

Но это еще полбеды. Важнее другое. В чем тихий ужас положения: писатель подпадает под логику героя-рассказчика и в какой-то момент начинает сожительство с ним. Открывает шлюзы, дает разгуляться во всю ширь безумно-болтливому персонажу. В результате единственное сознание, которое нам предъявлено, — этот гибрид. Как самодостаточная величина. Что там теперь говорят нам, будто герой и автор — не одно и то же! Мы эти кислые щи не лаптем хлебали и сами все про это знаем. Но видим-то иное: оказывается, Федоров — принципиальный полилогист — в режиме монолога работает с двусмысленным результатом.

И в «Поэме...», и в той же «Тайне...» речь рассказчика предельно сближается с авторским взглядом, потому как автор дарит рассказчику всего себя, вместе со своей эрудицией, своим интеллектом, своим вокабуляром... Этот шлейф авторского присутствия придает персонажу свойство конгениальности автору, наделяет его значительностью несоразмерно реальному качеству его жизненной позиции, его понимания сути вещей. Поэтому персонажи новой прозы Федорова часто выглядят измышленными, очевидно неправдоподобными. Вот и Сталин у Федорова благодаря такой процедуре становится умудренным мыслителем («О Ленине, о завещании Сталина и не только»). А с другой стороны, в речи рассказчика ощущаешь уже какую-то чрезмерную напряженность, профессиональное, скаморшье усилие увлечь и развлечь игрой слов. Солист является носителем слишком скудной, слишком односторонней истины. Зато она замечательно оркестрована, тщательно просмакована. Не то чтобы к позиции героя прибавлялось от этого глубины — но она получает новые ресурсы поддержки за счет словесной эквилибристики, которая вообще в высшей степени свойственна Федорову.

В общем-то Федоров не скрывает того, что ориентируется на человековедение Достоевского, прежде всего на «Записки из подполья». Федоровский герой ощущает себя близким родственником персонажу Достоевского. Это вроде бы все тот же подпольный герой-парадоксалист с восьмьюдесятью тысячами километров вокруг себя, с раздвоенным сознанием, с неразличением искренности и самообмана... Герой-подлец, моралист-циник.

Тот, да не тот. Опыт героя Достоевского имеет важность для всякого человека, который жил и мыслил, терял и находил. В той мере, в какой мы осознаем отсутствие гарантий смысла бытия, мы испытываем чувство родства (пусть даже и болезненное чувство!) с парадоксалистом Достоевского. Этот экзистенциальный парадокс оказывается и нашим опытным достоянием. Мне кажется, федоровскому персонажу в принципе чужда экзистенциально-смысло-жизненная глубина, которая придает значительность открытому Достоевским герою. Его гнетет не экзистенциальный кошмар смыслоутраты, которым у Достоевского болен рассказчик, а более мелкие комплексы. У Федорова (при всей его изощренности) пропадает общезначимость опыта героя Достоевского. Все в основном сводится к социальному выбору и выводу. По итогу повествования герой в «Поэме...» оказывается лучшей из лучших «наших сов», что-то между Прохановым и Бушиным. И такой вот социальный вывод, смею утверждать, лишен строгой доказательной силы, лишен глубинной истинности, он является только головной причудой упражняющегося сочинителя.

Книга «Проклятие» начинается с повести «Былое и думы». Вещь эта еще 1981 года, так она датируется. Что ли, по тем временам, травестия Герцена. Но в контексте нового сборника ей придается, пожалуй, актуальное значение. Случился текст о неизбежности и даже о необходимости менять убеждения.

Дедушка-священник их не поменял, а поэтому, по версии рассказчика, красиво и бесполезно пострадал и в итоге умер в лагере, причем уже не только беспо-

лезно, но и безобразно, страдая диареей. А вот бабушка в дни Великой Отечественной войны стала из антисоветчицы патриоткой, и это правильно, это красиво и нужно. Хорош здесь и комментарий: «Линька убеждений под натиском времени, идеологических эпидемий, моды — это вполне закономерный, естественный процесс, признак здоровья и роста. Олени сбрасывают рога, слоны — бивни, черепахи — панцирь, змеи — кожу. Человек меняет убеждения».

Центральный, подробно и ярко выписанный эпизод повести, названный заодно и главным событием в жизни рассказчика-автора, — наблюдаемое мальчиком совокупление лошадей. Он интерпретируется как грехопадение, тождественное зарождению сексуального соблазна, и как своего рода инициация, приобщение ребенка к взрослому миру. Следствием такого приобщения оказывается и способность к творчеству. Выходит, что творчество — результат грехопадения и путь греха? Федоров на этом не сильно настаивает, это у него выходит как-то само собой. Но альтернативной логики в повести нет. (Замечу, что в романе «Бунт» у Федорова она таки была: тюрьма и лагерь определяют там как место духовного, «второго рождения» для большинства его героев. Можно согласиться с наблюдением сетевого критика Ольги Орловой: человек, оказавшийся замкнутым — в прямом смысле слова — в жесткие обстоятельства тюрьмы и лагеря, у Федорова открывал для себя внутренние, духовные горизонты свободы — а окружающая его действительность обретала для него смысл, глубину, вертикаль.)

Вообще, эротическая распаленность, гиперсексуальность в прозе Федорова есть характерное проявление его мышления антитезами, полярностями. Это антипод социального ангажмента, общественной призванности. Ход довольно распространенный, отчасти и банальный (возьмем хоть работу подобной логики в последних рассказах Владимира Маканина) — но не всегда убеждающий. К тому же в «Поэме...» из низин позднего и зряшного опыта старый циник посматривает на юного романтика-шалопая; и это не назовешь слишком продуктивным решением.

В подзаголовке «Поэмы...» предположена исповедь. Перед кем же? Взамен Бога в повести выведен идеальный следователь былых, советских времен. И поток речи персонажа начинает напоминать судорожные, нетрезвые признания вконец расхристанного человечки на допросе. Притом жертвами такой психической атаки, такой слепой словесной раскрутки оказались реальные лица, реальные исторические общности.

Да, предсмертная диарея дедушки-священника много достойнее этого вербального поноса *бывшего диссидента*.

Кстати, только в варианте «Континента» он — *бывший*. В двух других публикациях повести, согласно подзаголовку, — вполне настоящий, что едва ли точно. Персонаж повести ныне едва ли плюет против ветра. Он своими взглядами скорее совпадает с настроением момента, когда иные-другие так дружно расчесывают советскую память. Свежая повесть Федорова оказалась до странности гладко вписана в новейшее мифотворчество, в советско-чекушный реабилитанс, в попытки ревизии исторического значения и духовной сути правозащитно-диссидентского движения. Очень — как бы так — своевременная получилась книжечка. Как если бы патентованный вольнодумец Федоров, воспевавший свободных людей в самой не-свободной среде обитания и именно тем прежде всего составивший себе имя, только и ждал поворота руля, который развернет корабль на 180 градусов — к благам регулируемой социальности, — чтобы выступить в новом амплуа.

Наш автор — он оправдывает хорошо ему известную характеристику, данную еще одним персонажем Достоевского. Широко-де русский человек. Да уж. Но возникает и стойкое ощущение, что Федоров подхватил модную идеологическую чешотку. Куда-то уходит из прозы Федорова Бог, и уже цепляет тебя мысль: а был ли Он там прежде?

Я хотел было уклониться от предметной полемики с персонажем Федорова (да хоть бы и с самим автором) именно сейчас. Но потом подумал, что это может быть неверно понято. Все-таки нам предьявлен весьма характерный мыслительный отстой сумбурных 90-х годов.

Легко отдавать предпочтение государству, противопоставляя его пугачевщине, блатному беспределу лагерного бунта, войне всех против всех. Примерно такое ве-

щает нам со скоморошным зажимом *некто* в смыслонесущем финале повести «Николай Павлович» (законченной в 2002 году). «...Бердяев... дивится... почему самый безгосударственный народ создал такую огромную и могущественную государственность... почему свободный народ как будто не хочет свободной жизни? А вот мы, мазурики и сукины дети, кадры бюрократически прекрасного, полезного, вечного ГУЛАГа... нам, обыкновенным недоумкам, чурающимся повседневной крутой работы разума, представляется просто очевидным, как дважды два: если бы не было могучей государственности, эта „странническая“ Россия неизбежно и давно бы растворилась и исчезла. Не будет большой натяжкой сказать, что мы, оставшиеся случаем в живых после кровавой бани, испытываем заметное отрезвление. Ввели войска, влндыли нам, постреляли нас, как куропаток и рябчиков, усмирили блатную вольницу: язык свинца очень понятен. Урок всем, живи и помни: плохой порядок лучше лихой блатной вольницы, разгула криминала... Другой альтернативы пугачевщине нет...»

Ау, беззаветные товарищи Зиновьев и Кара-Мурза. Братский привет вам, Эдурд Вениаминович Лимонов! ...Тем хорошо русское государство, что плох русский бунт. Есть прелести рабства, вытекающие из опасностей свободы. И ГУЛАГ не просто тебе житейское обременение, не просто место испытания, — он существенно полезен и как школа жизни, и даже как русский вариант античного александрийского музейона (вот таков обещанный отклик на былой апофеоз духовной свободы в «Бунте»). Да и вообще, покруче с нами нужно, пожестче...

После таких пассажей понятнее, почему у Федорова и Сталин нынче выведен мыслителем, заботящимся о благе мира.

А вот по-моему, здесь напрочь сбиты и тональность, и логика. Из того, что русский человек недаровит в делах государственного строительства, еще не вытекает неизбежность (полезность) свирепого московско-ордынского государства. Есть надобность в жизнеустрояющем государстве, но есть и знание того, что нет ни идеальных государств, ни идеальных обществ. Да и из отдельно взятых преимуществ положения, в котором тебе нечего терять, кроме своих цепей, не извлекается вывод о том, что лучший удел человека — рабство. И были, и есть «другие» альтернативы, ответственно заявляю об этом как потомок-преемник вольных землешцев, мореплавателей и отшельников нестяжательского Севера.

Персонаж «Поэмы...» упоенно подбирает аргументы в пользу той мысли, что правозащитники 50 — 80-х годов мелки и ущербны. Показать их ущербность проще всего на бытовом уровне, фарсово оттеняя изъяны характера и обнаруженные поведенческие слабости. И у федоровского героя доминирует именно такой оголтело-обывательский критицизм. Кто бы спорил, подобных аргументов можно набрать и больше. Все люди не идеальны: одни лучше, другие хуже. Фокус в том, что от слабостей отдельно взятого человека, от его ошибок или даже провалов федоровский персонаж резво переходит к большим обобщениям, обличая поголовно всех деятелей российского освободительного движения и отвергая историческую миссию этого движения в принципе. Повествователь упоенно порочит духовный резистанс советскому режиму.

Это, во-первых, вопиюще несправедливо по отношению ко многим персонажам нашей недавней истории, которые явили все-таки убедительный опыт жертвенности и пример стойкости и верности идее в мире лицемерия и фальши. Пусть даже не всякая идея потом себя оправдала, сам по себе беззаветный идеализм *лучших из поколения* сохранил свое обаяние. Такой опыт существования вполне актуален сегодня, когда поразившая нас духовная анемия лишь увеличивает значение творческой самореализации русского человека в сфере свободного духа. А главное, был у движения общий вектор, определяющий его непреходящее историческое значение как силы активного сопротивления богоборческому и бесчеловечному строю. И только от глубокого разочарования и отчаяния в возможностях человека, в перспективах свободной России можно, во-вторых, отказать в значимости и значительности не только всему поколению русских борцов за свободу и достоинство личности, противопоставив им в качестве эталона фигуру человековеда в штатском, но и самому смыслу этой борьбы.

«Эмма — это я» — так, если помните, заявлял Флобер. Федоров мог бы сказать наоборот: «Я — это Эмма». Но в придачу возникает впечатление, что и сам автор не вполне отдает себе в этом отчет. Или уж слишком казуистично, лукаво и двусмысленно выстраивает эшелоны обороны, как будто и сам себе не во всем верит, с удивлением обнаруживая себя где-то на перегоне между раскаянием в былом вольнодумстве и неспособностью искренне вдохновиться идеалом казармы и барака. Гони свободу в дверь, она стучит в окно. И вот талантливое многословье, грандиозное половодье слов оборачиваются разболтанностью, разбродом мыслей и шатаньями авторской воли...

Евгений ЕРМОЛИН.

Ярославль.

*

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРФЫ

Инна Кабыш. Детство. Отрочество. Детство. Стихи, поэмы, пьеса. Саратов, Региональное Приволжское издательство «Детская книга», 2003, 368 стр.

Меня всегда волновал вопрос: почему иные стихотворения со временем превращаются в «визитные карточки» автора? Откуда берется в них это свойство? По какому принципу происходит отбор? Уж явно не по воле автора. И всегда ли «визитные карточки» — лучшие стихи того или иного поэта?

На мой взгляд, «Я устал от двадцатого века» — далеко не самое проникновенное стихотворение Владимира Соколова. И «Атомная сказка» — отнюдь не самый яркий текст Юрия Кузнецова. Так в чем же дело?

Ответ прост. «Визитными карточками» становятся те стихотворения, которые обладают, во-первых, афористичностью, а во-вторых, четко выраженным социальным звучанием. Такие стихотворения можно процитировать в публицистической статье; они — не столько весомый, сколько изящный, но все же аргумент в политическом споре. Политика интересует современного человека куда больше, чем поэзия, и то, что привлекает современного человека в поэзии — тоже политика, другая ее форма.

У Инны Кабыш есть несколько «визитных карточек» подобного рода: «Кто варит варенье в июле», «Екатерина Великая», «У, Москва, калита татарская», «Любовь бессюжетна, как Феллини». Все эти стихотворения были написаны давно — более десяти лет назад, во всяком случае. Они пришлись к *тогдашнему* двору своим надрывным стоицизмом и парадоксальным — вопреки всему — патриотизмом. В то время было модно возвышать «частного человека» в пику «государственным интересам». С той поры утекло много воды, стало ясно, что «частный человек» — вовсе не ангел во плоти. А стихи Кабыш остались в памяти, поскольку были диво как хороши.

Кто варит варенье в июле
в чаду на расплавленной кухне,
уж тот не уедет на Запад
и в Штаты не купит билет,
тот будет по мертвым сугробам
ползти на смородинный запах...
Кто варит варенье в России,
тот знает, что выхода нет.

В свое время я провел эксперимент — заменил в строфе Мандельштама одно слово: «Вспомнишь на даче осу, детский чернильный пенал или *бруснику* в лесу, что никогда не собирал» — получилось очень смешно, хотя, казалось бы, что та ягода, что эта, без разницы... Вот что такое — настоящая поэзия. В стихотворении Кабыш «смородинный запах» немыслимо заменить на иной, согласующийся с размером, положим — «крыжовенный запах»; выйдет чудовищная пошлость (при том что варенье можно варить как из смородины, так и из крыжовника). Как к месту

здесь сухой, черный, живой и трепетный запах смородины на фоне белых, стерильных, убитых, адских — именно что мертвых сугробов! Мастерство Кабыш настолько захватывает, что, потрясенный им, пропускаешь без должного внимания отлакированный пафос двух последних строк. В иных же случаях — подобный фокус не удастся.

Лучше уж слоняться в затрапезе и,
делая мужчине бутерброд,
понимать, что ЭТО — жанр поэзии,
что мужчина — он и есть народ.

(«... Чем глотать блевотину газет...»).

Есть вопросы. Делать бутерброд лучше, чем что? Чем читать газеты? Странная дилемма: бутерброд или газеты. И зачем в строфе такой интонационный нажим, выражаемый даже графическими средствами? Поневоле вспомнишь героев Аверченко и Тэффи, готовых превратить в источник вселенских символов селедку с луком. Приготовление бутерброда тоже может стать поэзией. Вся жизнь может стать поэзией. Но отменяет ли это собственно поэзию? Ничуть не отменяет.

Теперь я понимаю, что беспокоило меня в ранних стихах Инны Кабыш, которыми так я восторгался. Неизбежное присутствие *тяжкого* быта — как присутствие страшного зверя за спиной. По моему глубокому убеждению, быт не должен быть тяжким. Он может быть каким угодно: бедным, нищим, неустроенным, трагическим — но при этом он должен быть *легким*. Как у диккенсовских разорившихся аристократов — красивая бедность. Или как у бесштанной богемы — столько всего интересного, что, собственно говоря, не до бесштанности. Самое ненавистное мне слово — это «выживание». «Выживание» и «жизнь» — антонимы; там, где выживают — не живут. Есть порода «выживающих», которая будет заниматься «выживанием» даже в царских палатах; и как же тяжело всем, кто имел неосторожность оказаться рядом с ними. Еще бывает расхожий пафос «выживания», от которого меня всегда пробирает мороз. В стихах Инны Кабыш можно увидеть этот пафос — если захотеть. Можно полюбить стихи Кабыш *только* за пафос выживания — и ни за что больше. Подозреваю, что многие так делают...

И все же: почему с такой неизменностью вспоминают и цитируют исключительно неполную дюжину ранних стихотворений Инны Кабыш? А где остальное?

А остальное — слишком *страшно*, чтобы о нем думать.

Инна Кабыш — вовсе не политический поэт (несмотря на то, что часто откликается на политические события). Она — не социальный поэт. Но и не бытовой поэт также (хотя непременно отталкивается в своих стихах от стихии быта). Творчество Кабыш имеет определенный шанс заинтересовать феминисток (скорее — российских феминисток, хотя я не исключаю интерес со стороны западных феминисток). Найдутся те, что назовут Инну Кабыш «поэтом гендера». Я не стану делать этого.

Потому что Инна Кабыш — метафизический поэт.

Сердцевина, суть её метафизики — несколько простых слов: дети, боль, любовь, дом, Бог. Именно в таком порядке. Не иначе. Даже Бог — «на периферии», «на линии круга». Все остальное — «за кругом». Государство? Бесчеловечная машина, которая извечно приносит горе матерям, отбирая у них детей. Страна? «Никакая родина не стоит / тех, кто умирает за неё». И еще четче, еще беспощадней: «Прочь от калитки моей, родина!» Поэзия? «Поэзия — такой же труд, / как ловля рыбы, поиск руд». Напрасно поэт мнит, что стихи спасут его на Страшном Суде. «И не возьмет с собой ТУДА / никто земных плодов труда». Кабыш чутка и непримирима к любым отрывам от реальности. Все, что отвлекает человека от его предназначения — от любви, от детей, от продолжения рода, — бесовский морок. Волконская — та самая, жена декабриста — будет осуждена за то, что «между мужчиной и дитём единогласно выберет мужчину». А вот — о боярыне Морозовой — «...о женщине, что выберет Христа — не сына...». И о комиссаршах: «Какие ж сатанинские стихии нужны, чтоб крест поставить на святом!» Да что там комиссарши... Даже пушкинская Татьяна — и то получит укор: «И опять не выбрано дитя, которое могло б (к чему лукавить?)». Кажется, Кабыш здесь перегибает: муж Татьяны, генерал — изранен, но разве Пушкин писал о том, что у генерала не может

быть детей? Полагаю, Кабыш так обострила все, потому что почувствовала непере-носимый для нее привкус отвлеченности — идеи выполнения долга. А там, где есть отвлеченность, там нет любви. Какой контраст, кстати, с Пушкинской речью Достоевского!

Инна Кабыш часто прекословит классикам. Порою может показаться, что она смахивает на Ахматову — какой-то мраморной, римско-античной исчерпывающей афористичностью, характером психологического жеста. Но это — иллюзия. «Отыми и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар... чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей» — такие слова чудовищны, кощунственны в мире Кабыш. «Таинственным песенным даром» можно пожертвовать в трудную минуту... но ребенок...

Я знаю, что такое голос
и что спасает он один,
но голос я отдам за колос,
когда попросит хлеба сын.

У любви, высшей ценности в мире Кабыш, всегда есть оборотная сторона. И это — боль. Любовь без боли так же сомнительна, как жизнь без труда. «Всякое царство берется силой духа, ладоней, ног...»

Стихи Инны Кабыш преодолевают болевой порог, предначертанный для поэзии, они смело идут в те зоны человеческого бытия, в которые другой поэзии обычно путь заказан — Кабыш пишет про гинекологическое отделение, про подростковую психбольницу, про страдания девочки, умирающей от рака. Сиротство, ненависть падчерицы к «доброй мачехе», дочь, обезумевшая от мучений уходящей из жизни матери и готовая дать ей яд, потому что больше нет сил видеть эти мучения... И еще: преступная страсть учительницы к школьнику, любовь малолеток — для Кабыш нет запретных тем.

И конечно же, своевольная лава этой поэзии, этой боли должна была натолкнуться на перегородки и выгородки церковных догматов. Ведь всякая конфессия, всякая Церковь — это лампада, хранящая в себе огонь Веры. Это — границы, пределы, устои, мера. Что делать с безмерностью в мире мер?

...После того как я услышал «православное» высказывание о том, что некрещеные дети и жертвы аборта попадают в ад, мне приснился нелепый сон: высокие и светлые стены нездешнего заводского цеха, длинный конвейер, по которому едут младенцы; затем конвейер раздваивается: часть потока младенцев уходит вверх, а другая часть — вниз. Все это совершалось под преувеличенно бодрые и издевательски убыстренные звуки «Вальса венского леса». Потом картинка сменилась — я увидел ржавые ворота детского сада с табличкой наверху. Первая буква надписи на табличке отвалилась — «Детский сад» превратился в «Детский ад»... Как выяснилось позже, Инна Кабыш обрисовала *тот же самый* мир. Совпало все — ворота, отпавшая буква... Читайте поэму «Детское воскресение». Детское воскресенье — это родительский день. Но в детском аду — нет родительского дня; нет воскресенья — у детей, от которых отреклись матери и отцы. Этим детям предназначено воскресение.

...воскресение вовсе не родительский день,
а день, когда дети встречаются со своим
детством,
потому что воскресение —
это не когда каждый встречается с другим,
а когда каждый встречается с собой.

Если «Детское воскресение» я принял безоговорочно — настолько эта поэма совпала с моими мыслями и чувствами, то пьеса Кабыш «Иисус Христос — безотцовщина» вызвала у меня многие сомнения. Начну с того, что я вообще не уверен — стоит ли выводить Христа в качестве персонажа драматургии. Роман, поэма — иное дело, но ведь пьесу обычно инсценируют, превращают в спектакль. Это означает, что Христа кто-то должен *сыграть*. Далеко не случайно в дореволюционной России был однозначный запрет на сценическое изображение Христа... А в пьесе Кабыш показан не только малолетний Христос, но еще и Христос поносимый,

Христос осмеиваемый, Христос, усомнившийся в себе. «Ладно, — подумал я, — на кресте Он был поносим, осмеиваем, да и гефсиманский миг сомнения тоже имел место, чего скрывать»... Но эти анахронизмы, рассыпанные по лексике пьесы щедрой рукой! Но св. Елизавета, изрекающая: «У каждого из нас житуха» — или рас-суждающая об *оргаме!*.

Думаю, что автору не до этих мелочей...

Вечная боль Кабыш, вся ее мучительная метафизика оказалась повернута по отношению к Евангельской реальности под слишком острым углом. Я даже подумал о том, что существуют такие моменты, когда деятельная любовь и вера — обречены катастрофически столкнуться. Догмат о Непорочном Зачатии — самый иррациональный догмат в Христианстве. Непорочное зачатие объяснить рациональным путем нельзя — никак! В него можно только поверить. Действительно, верую, ибо абсурдно. Но подобный тертуллиановский ход мысли для Кабыш — слишком умозрительен, а она — ненавидит всяческое умозрение. Для нее — все гораздо проще. Есть двенадцатилетний мальчик, которому очень тяжело. Есть отсутствие реального отца (муж Марии, Иосиф, — не может быть отцом, об этом знает всякий). Есть невнятные слухи о каком-то странном, не таком, как у всех, происхождении. И есть *здоровомыслящие* соседи, для которых вся эта история — явный позор, прикрытый смехотворной байкой. Собственно говоря, авторская позиция такова: от Святого Духа или от кого другого происходит мальчик *на самом деле* — дело десятое. Важно, чтобы он *поверил* в свое божественное происхождение, в свою Миссию. Бог как бы выстраивается из глубины личности. Подобная версия далеко не безупречна в теологическом плане (мягко говоря), но Кабыш не интересуют богословские тонкости. Вот ребенок, и он несчастен — значит, ему необходимо помочь...

...осушить слезинку ребенка
может только высшая гармония,
то есть сказка,
потому что она самая большая правда,
которая принимает форму маленькой лжи,
чтобы ребенок мог ее вместить...

(«Полет шмеля»).

Далее следует вывод — «Евангелие — это, конечно, сказка, но ведь нас предупредили: „Будьте как дети“...». В пьесе «Иисус Христос — безотцовщина», надо сказать, нет такой ренановской договоренности до конца. Действие балансирует на грани, на лезвии бритвы, на агностическом острие. Нет подтверждения тому, что Христос — Сын Божий, но нет и подтверждения тому, что это не так. Есть только молчаливые небеса — и непонятно: то ли они молчаливы оттого, что *не могут* говорить, то ли оттого, что *не хотят*.

...Я думаю о том, как слова Христа были странны для Марфы.

«Марфа же заботилась о большом угощении, и подойдя сказала: Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне.

Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом.

А одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк., 10: 40 — 42).

Марфа могла бы подумать: «Какой Он все же чудак. Ведь если бы я, так же как и моя сестра Мария, избрала бы благую часть, тогда Он и Его Апостолы остались бы голодными».

И вправду, кому, как не Марфе, знать, что гостя подобает накормить, а плачущего ребенка — утешить? И о многом другом Марфа знает; ей ведомы темные глубины женской судьбы, ведь она — женщина. Но только Марфа об этом никому не скажет.

Я представил в своем воображении «Евангелие от Марфы» — свиток, испещренный помарками, заляпанный пятнами, взлохмаченный...

Ибо Марфа верует и любит не меньше Марии. Почему бы Марфе не записать свое Евангелие? Ведь она видела Его и даже беседовала с Ним...

Кирилл АНКУДИНОВ.



ЖИЗНЬ + ТВОРЧЕСТВО: СЛИТЬ В ОДНО?

Екатерина Орлова. Литературная судьба Н. В. Недоброво. Томск — М., «Водолей Publishers», 2004, 320 стр.

Помните рассказ Чехова «Пассажир 1-го класса»? Немолодой уже инженер, построивший «на Руси десятка два великолепных мостов», написавший множество специальных работ, вдобавок еще и химик, чье имя — «во всех заграничных учебниках», жалуется попутчику, что на родине совершенно неизвестен. На «торжестве» открытия движения по новому мосту газетчики окружают вниманием не строителя, а сожительствующую с ним певицу; да и публике он любопытен лишь как любовник певчей «дивы».

Каюсь, описанная Чеховым ситуация невольно приходит на память, когда, читая и перечитывая жизнеописания, воспоминания и записки об Анне Ахматовой, пытаешься составить представление о творческом (и человеческом) потенциале адресатов ее лирики. Злой воли «эккерманов» тут, разумеется, нет. Таков закон жанра, не говоря уж о том, что самовластная харизма Ахматовой затмевает «славой лучшей» самостийность ее спутников, хотя сама А. А. в этом практически не виновата. Если не считать нескольких жестких фраз, — допустим, о Владимире Шилейко: «мудрец и безумец, дурной человек», — или о Борисе Анрепе: «наездник и игрок», — скорее ее можно заподозрить в преувеличении достоинств и достижений людей своего круга, особенно «друзей первого призыва». Ежели, к примеру, как в случае с Лурье, по той или иной причине возникла надобность выбрать одно из двух полярных суждений о *музыке Артура*, А. А. не колеблясь выбирала «хвалу», а не «хулу». То же самое и с Лозинским. Близко общаясь с Лидией Корнеевной Чуковской и наверняка зная через нее, что Корней Иванович не слишком высокого мнения о шекспировских переводах Михаила Леонидовича, неколебимо продолжала считать Лозинского переводчиком номер один. И вовсе не по причине хорошего воспитания, а потому что — *так велела* «души высокая свобода, что дружбою наречена». Но просточитающей публике подобные высоты противопоставлены, и ежели на широком «экране знаний» возникает двучлен: AAA + X, или Y, или Z, она, публика, тут же преобразует это уравнение так, что иксы, игреки, зеты становятся всего лишь фигурами свиты, играющей королеву серебряного века...

Не утверждаю, что именно этим обстоятельством вызвано решение Екатерины Орловой разгадать парадоксы литературной судьбы Николая Владимировича Недоброво, не прибегая к помощи Анны Ахматовой. Однако факт есть факт: роль А. А. в драме героя книги «Литературная судьба Н. В. Недоброво» не прописана вовсе, а ее присутствие в пространстве его творчества свернуто до минимума. Это особенно бросается в глаза в сравнении с главками, где речь идет о связях (и переключках) Недоброво с В. М. Жирмунским, Андреем Белым, Максимилианом Волошиным — уж тут-то каждое *скреещение* и высвечено, и отрефлектировано. Такая раскадровка, учитывая недостаточность материалов к его творческой биографии, могла бы показаться своего рода жеманством, если бы и в предисловии, и по ходу дела Орлова не разъясняла: ее интересует не «личная биография» Недоброво, а «история идей» предвоенного десятилетия — «как она отразилась» в его «поэтическом, критическом и научном творчестве», и задачу своей работы она видит в том, чтобы, во-первых, «очертить... круг эстетических интересов Н. Недоброво», а во-вторых, дать научное описание его литнаследия в связях и отношениях как с предшественниками, так и с современниками.

Оба самозадания Е. Н. Орлова выполнила, причем сделала это «без притязаний на успех», с той спокойной, не эффектной обстоятельностью, какую еще несколько лет назад считали безнадежно старомодной и которая теперь снова входит в зону востребованности.

Разумеется, и стихи, и критические опыты, и стиховедческие штудии Недоброво в книге Орловой не просто описаны и систематизированы. Определяя выбранный метод работы с текстами и документами как «научную опись», исследова-

тельница явно преуменьшает степень собственного пристрастия к герою исследования. *Тайный сей жар* сильнее всего ощущается там, где она вслушивается в разноголосицу стиховедческих сшибок десятых годов, стараясь определить корень разногласий. Сделать это нелегко, ибо уже через несколько лет, *после всего*, даже для такого уникального знатока поэтики, как В. М. Жирмунский, непосредственного, кстати, участника предвоенных филологических баталий, разность взглядами, скажем, А. Белого и Н. Недоброво редуцировалась почти до неразличимости. Орловой головоломная операция по возвращению невнятного гула в значные слова и реконструкция «оттенков» их «смысла» удалась вполне, если не считать нескольких натяжек. К примеру, такой момент.

Вслед за М. Гаспаровым Орлова утверждает: общепринятый ныне термин: *силлабо-тоническое стихосложение* (вместо ломоносовского: *метрико-силлабическое*) ввел в литературоведческий обиход именно Н. В. Недоброво. Дескать, как и все авторы тогдашних учебников, он уже не помнил (?!), что честь этой инвенции принадлежит Н. Надеждину, автору статьи «Версификация» в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара. Доказательство (не помнил!), на мой взгляд, сомнительное. Плюшаровский многотомник был обязательной принадлежностью университетских библиотек, даже мне — и в университетские годы, и позже — приходилось туда заглядывать. В том же разделе Орлова сочувственно цитирует тезисы доклада С. И. Гиндина (изданы М., 1989) на конференции «Анна Ахматова и русская культура начала XX века», утверждавшего: между «Символизмом» (1910) Андрея Белого и изысканиями литературоведов конца века предыдущего, в частности Ф. Е. Корша, надо искать некое промежуточное звено. Вроде бы соглашается она и с выводом докладчика: промежуточным *звеном* являются стиховедческие разработки Валерия Брюсова («Между Коршем и Белым» С. Гиндин справедливо помещает Брюсова, приводя признания самого Белого, что «статьями в „Символизме” обязан, конечно же, Брюсову»).

После столь четкой посылки читатель, естественно, ждет от автора сопоставления «знаменитой» (так характеризует ее Е. И. Орлова) статьи Недоброво «Ритм, метр и их взаимоотношения» если и не со всеми штудиями Брюсова по вопросам русской поэтики, то хотя бы с хрестоматийной его работой «О русском стихосложении», опубликованной в самом начале XX века. Однако вместо ожидаемого сопоставления, хотя бы беглого, нам предлагается такой вывод: «...В статье Н. Недоброво (речь идет все о той же работе о взаимоотношениях ритма и метра. — А. М.) был заново открыт термин, укоренившийся в русской науке о стихе, и тем самым восполнен пробел между Коршем и учеными XX века, если следовать уже упоминавшейся формуле С. Гиндина».

Далее. В главе II с провокативным названием «Две любви НВН» Орлова предупреждает: «две любви» не обозначают двух главных адресатов любовной лирики Недоброво: Л. А. Ольхиной-Недоброво и Анны Андреевны Ахматовой. *Две любви* в понимании автора — некий шифр к тайнам замкнутой души героя книги, изнемогавшей «в порывах между земным и надмирным». Под этим углом зрения анализируется, к примеру, одно из первых нешкольных произведений НВН — датированное 1903 годом стихотворение «Стеснилось сердце болью сладкой...». Между тем ничего сугубо личного в данной антиномии нет: это расхожий типовой сюжет не только любовного чувства¹, но и университетских заданий той поры. Вот что пишет в своих мемуарах филологический студент Петербургского университета Вл. Пяст, рассказывая об одном из «заседаний» университетского литературного кружка, на котором, кстати, «председательствовал» Недоброво, тогда еще тоже студент: «...Мне легко было „проблестеть” речью по заготовленному конспекту. В этой речи длинно повествовалось о заимствованной мной на семинарии Зелинского у Платона Афродите Урании (любви небесной) и Афродите Пандемос (любви вульгарной)...»²

¹ См. в письме Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от 2 марта 1907 года: «...Вячеслав узнал для себя только две реки жизни, Эросом рожденные, — Духовная Любовь и Страстная Любовь». (Цит. по кн.: Богомолов Н. А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995, стр. 96).

² Пяст В. Встречи. М., 1997, стр. 89.

Разумеется, все это — «отдельные неточности», и если я за них цепляюсь, то только потому, что через них сподручнее подступиться к разрешению той главной мысли, на которую наводит рецензируемая книга: переводится ли на бесстрастно-объективный научный язык *судьба* — главное событие *жизни творчеством*? (С умыслом строю фразу со сдвигом — по аналогии с пастернаковским: «так начинают жить стихом...».) И шире: возможно ли понять (и рассказать) парадоксы литературной судьбы, не сливая ее в одно с личной биографией? Особенно ежели, как у Недоброво, судьба эта, как говорится, не задалась? Для наглядности задержусь на одном эпизоде этой незадачливой литературной судьбы — двухлетней (1913 — 1915) истории «Общества поэтов».

Собирая и систематизируя немногочисленные и крайне противоречивые свидетельства о нем, Орлова с особым вниманием всматривается в те, что высвечивают фигуру Недоброво, наконец-то осуществившего юношескую мечту о значимой внешней деятельности, о лидерстве на важнейших участках культурного строительства. Всматривается, цитирует, но... к размышлению принимает только то, что имеет отношение к «борьбе идей», оставляя без «психологической обработки» и породившие их, и порожденные ими страсти. В результате возникает не слишком комфортная для вдумчивого читателя ситуация: необработанные факты говорят больше, чем обработанные. При всей ее «вглядчивости», Орлова, к примеру, почему-то «не видит», что неспособность Недоброво к крупномасштабной культурной деятельности выявили уже первые два заседания нового литературного предприятия. Пригласив на открытие «проекта» Блока (с «Розой и крестом»), следующее заседание Недоброво посвятил... обсуждению поэмы никому не известного Анрепа — той самой поэмы, которая, по иронии судьбы и с легкой руки Вл. Пяста, оказалась намертво сцепленной с «Обществом поэтов» — именем заглавного ее персонажа мастера Физы. Правда, сам Пяст на этом заседании то ли не присутствовал, то ли слушал вполуха, так как обмолвился (в мемуарах): *Физа* не герой, а героиня — «какая-то скандинавка».

Однако, кроме Пяста, на первых сходках «Физы» бывали многие из людей блоковского соседства, к примеру Федор Сологуб. Не нужно быть знатоком человеческого сердца, чтобы представить себе глухую ярость Блока, когда выяснилось, что его грубо и глупо *употребили* в качестве «свадебного генерала»!

Справедливости ради надо отметить, что приводимые Орловой выдержки из дневников и писем Недоброво свидетельствуют: ни элементарным карьеристом, ни напористым и победительным честолюбцем он не был. Но он знал за собой некую странность, род хронического недуга: «...Все то же и то же, чему нет имени... и что сказывается всегдашней готовностью к грустному бездействию при очевидном сознании большой способности к деятельности». И далее в том же письме: «Я попросту нуждаюсь в непрестанных возбуждениях извне; хорошо поняв это, я стараюсь обставлять себя соответственно».

Судя по имени адресата: *Б. В. фон Анрепу* и по дате — 29 октября 1913 года, процитированная исповедь — реакция на сообщения друга о его достижениях: публикация поэмы в престижном английском журнале, подготовка к выставке не во всеядном Париже, а в «щепетильном» Лондоне! В отличие от Недоброво, при первой же неудаче погружавшегося в «грустное бездействие», Анреп оказывался готовым к действию при любых обстоятельствах. Ничем иным неожиданный его успех, не громкий, но явный, объяснить невозможно: способности к искусству средние, а рисовальный карандаш взял в руки в возрасте, когда другие кончают Академию художеств... Недоброво же чуть ли не с дней младенчества жил для литературной карьеры, и что? На дворе — 1913-й, ему уже тридцать, а он все еще в ранге подающего надежды. Было отчего упасть духом, тем более что даже «Общество поэтов» организовано не лично им: автор идеи — Александра Чеботаревская, коммерческий директор, администратор и председатель — Лисенков. В ведении Товарища председателя — лишь творческие вопросы, и, как мы уже убедились, он оказался неготовым и к этому виду внешней деятельности...

Формально: соус на скатерть пролит не был, поскольку сработанная Н. В. Н. программа «Общества» включала в себя *открытие новых поэтических имен*. Однако, учитывая открытость и массовость публичных собраний «Общества», разумнее

было бы сконцентрироваться на ознакомлении околосредственной публики с текстами, уже замеченными критикой, что в ситуации 1913 года было совсем не трудно. Авторитетным издательством «Гриф» объявлен к выходу северянинский «Громокопящий кубок» с предисловием Федора Сологуба. Широко публикуются стихи Вл. Ходасевича из «Счастливого домика» (1914), Маяковский уже начинается и т. д. Словом, у Недоброво было из чего выбирать, чтобы вот так — сразу же! — не опустить художественную часть своего начинания до уровня почти графоманского. Но он, увы, начал с «Физы»...

Не спорю: в роли документа, опровергающего расхожее представление о Борисе фон Анреле как бонвиване и отступнике, варварский этот текст интересен чрезвычайно. Недаром Ахматова, по свидетельству автора «Физы», зашила рукопись в специально сшитый шелковый мешочек и пообещала «беречь как святыню». Оснований не доверять данному свидетельству у нас нет, так как его подтверждает известное стихотворение А. А., посвященное Б. В. А., «Не хулил меня, не славил...». Но все это — ахматовские стихи, шелковый мешочек и т. п. — к «великолепному» проекту великолепного Недоброво никак не относится. Но вот к резкому неприятию Блоком происходящего в «Обществе поэтов», а значит, и к парадоксам литературной судьбы Товарища председателя, имеет, думаю, самое прямое отношение. Вот как описал Блок характер сего собрания: «Вчера я читал „Розу и крест” среди врагов, светских людей, холодных „нововременцев”... Всего было человек до ста, в актовом зале Шестой гимназии... Думаю, что был вчера живым среди мертвых». Но, может быть, Блок несправедлив? Вряд ли. Сравнение дневниковой записи (1905) Недоброво с его же письмом 1913 года, в котором он сообщает Анрелу, что они наконец-то «открыли поэтическое общество, вроде того, о котором мы с тобою не раз гадали», подтверждает: присутствие светских людей на собраниях «Общества поэтов» (куда, как вспоминал Б. М. Зубакин, «как будто бы для танцев — салонные съезжались львы»), — запланированное, а не случайное.

Подробный разбор дневникового фрагмента 1905 года (цитируя его, Е. И. Орлова признается, что делает это «не без смущения») не входит в мои намерения. Хочу проработать в глубину лишь одну подробность, Орловой также не отрефлектированную. Среди «приятных женщин», которые, по замыслу Недоброво, должны были украсить его академию («собрание талантливых мужчин» «с главенством Бори и моим», с Блоком — в качестве фигуры общего плана), Н. В. Н. называет Кузнецову-Бенуа. Заглянув в примечание, читатель может узнать, что Кузнецова-Бенуа — солистка Мариинского театра и жена одного из племянников А. Н. Бенуа. Все. Между тем госпожа Кузнецова-Бенуа не просто солистка и родственница, а эталон изыска и шика, не столько живая женщина, сколько «символ». Вот как описывает ее Вл. Пяст: «...У Головина позировали иногда по утрам... На портрет Шалапина в роли Годунова мне случилось только любоваться, — а быть свидетелем самих сеансов не довелось. Но при мне в уютной кчалке расположилась однажды знаменитая тогда М. Н. Кузнецова-Бенуа... Была, конечно, с модною тогда микроскопической собакой на руках. Была в изумительно прозрачном утреннем наряде, с длиннейшими рукавами, в каких-то сверхбезукоризненных лакированных с острейшими концами и бесконечной величины каблуками на ногах. Производила впечатление явления из какого-то другого (впрочем, совершенно реального) мира...»³

Не просто допускаю, знаю наверняка: выхваченные из контекста и подчеркнутые мной подробности — в рамках строго-литературоведческих установлений неприличны, а способ их соображения беззаконен. Готова согласиться с тем, что в рассуждении заявленной автором «Литературной судьбы Н. В. Недоброво» проблематики: не люди и страсти, а борьба идей — портрет пенно-кружевной «львицы» — вульгаризм, кунштюк, «голова от другой собаки». Но разве не верно и то, как сказал не последний из наших классиков, что страсти не что иное, как идеи при первом своем рождении? Другое дело, что *слить в одно* идеи и страсти, жизнь и творчество ничуть не легче, чем создать жизнеспособное произведение словесного искусства путем скрещенья Франца Кафки с Агатой Кристи. Даже для такого универсала, как Юрий Николаевич Тынянов. Я имею в виду его дипломную работу «Тютчев и Гейне», где он, кажется, попытался объединить научную постановку вопроса о фено-

³ Пяст Вл. Встречи, стр. 139.

мене Тютчева с биографическими подробностями. На нынешний разболтанный вкус, этот замечательный, но, увы, забракованный автором текст (опубликован в 1977-м) богаче смыслами и нюансами, чем выжимка из него — одноименная статья в журнале «Книга и революция». Но это сегодня, а по правилам двадцатых годов в эпоху доминирования «левополушарного стиля» в науке о литературе уступки «биографическому методу» проходили по статье: недостаток профаницизма.

Сегодня, слава богу, можно все. Но в теории. А на практике... А на практике: либо замечательное творчество (для узкого круга специалистов), либо жизнь замечательных людей (для широкой публики). В лучшем случае, как у Е. И. Орловой: про творчество — подробно, дельно, основательно, а про жизнь — по касательной: лишь в тех документах и письмах, которые автор исследования привлекает для своих сугубо филологических надобностей.

По убеждению японцев: написать стихотворение, которое нравилось бы всем — нетрудно, а написать такое, которое нравилось бы одному, — трудно. Но мы не японцы, да и томские «водолеи», решившись на публикацию явно некоммерческого издания, ориентировались не только на узкий круг специалистов, но и на ту часть «читающей интеллигенции», для которой русский серебряный век — ближайшее «наше все». (Роман Тименчик именуется их «любителями новой русской старины».)

Разворот этот — от золотого века к серебряному — первой *предсказала* Анна Ахматова. Ее «очень зорко видящий глаз» разглядел признаки бума уже в середине шестидесятых: «За последние 20 лет произошло нечто удивительное, т. е. у нас на глазах происходит почти полный ренессанс 10-х годов. Этот странный процесс не кончился и сейчас. Послесталинская молодежь и зарубежные ученые слависты одинаково полны интереса к предреволюционным годам <...> Почти никто не забыт, почти все вспомнены. Все это я говорю в связи с моей поэмой, потому что, оставаясь поэмой исторической, она очень близка современному читателю, который втайне хочет побродить по Петербургу 1913, хочет сам узнать всех, кого он так любит (или не любит)».

Странный процесс не кончился и сейчас⁴, хотя, конечно, видоизменился. Набирает популярность еще недавно маргинальный прикладной литературоведческий жанр — жанр развернутого комментария, настолько подробного, что в соединении с комментируемым текстом образует и еще один паражанр: мозаичного историко-филологического документального романа. Блистательными образцами такого жанрового симбиоза, на мой взгляд, могут служить комментарии Романа Тименчика к мемуарной книге Вл. Пяста «Встречи» («Новое литературное обозрение», 1997) и Татьяны Дудиной и Надежды Рейн к воспоминаниям кн. Сергея Щербатова «Художник в ушедшей России» («Согласие», 2000).

Наряду со специализацией (и углублением) интереса к действующим лицам литературы и искусства предреволюционных лет происходит и расширение его — за счет увеличения добровольческой армии просвещенных дилетантов, которым по-прежнему очень хочется побродить по Петербургу десятых годов. Группа эта не велика числом, последовательно-постоянна в культурных предпочтениях, но слишком уж затеоретизированные книги, где только про идеи и тексты и ничего про людей и страсти, хотя и покупает, но читает наискосок.

Е. И. Орлова противопоставляет свою работу «беллетризованному литературоведению», где «свободный полет фантазии исследователя выстраивает историю из жизни скорее, чем концепцию творчества, так что трудно бывает отделить действительно ценные биографические данные, новые введенные в обиход материалы от домыслов, не находящихся фактического подтверждения». В общем виде справедливо. Вот только где же разность-граница между плохим «беллетризованным литературоведением» и вполне хорошим (общепризнанным) «литературоведением фамильярным»? Термин, давным-давно предложенный Сергеем Бочаровым? («Вопросы литературы», 1977, № 2, «круглый стол» «Нужны ли в литературоведении гипотезы?»)

⁴ Ср.: Николенко В. В. «Письма о русской филологии»: «...Проверьте по любому номеру „НЛО“ — книг о Серебряном веке неизменно больше, нежели о временах более ранних» («Новое литературное обозрение», 1997, № 26, стр. 285).

А кроме того: *домышлять, домыслить*, по Далю: доходить размышленьем, своим умом, догадываться, а *домысел* — не только догадка, но и разумное заключение... Отсюда и *домыслитель* — то есть угадчик и открыватель.

Алла МАРЧЕНКО.



ПРОТОЯЗЫК XXI ВЕКА

Проективный философский словарь. Новые термины и понятия.
Под редакцией Г. Л. Тульчинского и М. Н. Эпштейна. СПб., «Алетейя», 2003, 512 стр.

Еще каких-нибудь десять лет тому назад ничего не стоило встретить доктора филологических наук, искренне полагающего, что «Деррида» — что-то вроде синонима слова «абракадабра». Сегодня «новые» имена западной филологии (давно уже переставшие быть новыми на Западе) освоены, но для большинства лучших представителей старой филологической школы такие явления, как постструктурализм или постмодернизм, по сути своей остались абракадаброй, бессодержательным «вывертом» современного сознания. Если говорить о нынешнем кризисе гуманитарных наук, то русская его особенность, пожалуй, состоит в том, что старшее поколение не желает замечать смены парадигмы, а младшее платит ему забвением накопленных навыков. Ситуация, в общем, весьма традиционная для истории культуры — тем интереснее нетрадиционные варианты выхода из нее. Думается, что один из таких вариантов заявлен авторами «Проективного философского словаря».

Словари обычно фиксируют то, что уже вошло в оборот. Этот словарь дает имена тому, что уже родилось, но еще не успело стать нареченным. В то же время в нем присутствуют вполне привычные термины: «Любовь», «Мудрость», «Осмысление», «Остранение», «Ответственность» или, скажем, «Модальность», «Лиминальность»... Их толкование иногда отклоняется от общепринятого, но в конфронтацию с ним не вступает. Мирное соседство привычного и непривычного — только внешнее проявление сосуществования старого и нового на страницах рецензируемой книги. Что же касается их внутреннего сопряжения, то оно действительно осуществляется достаточно необычным способом. Дело в том, что авторы словаря, явно принадлежащие к «родительскому» культурному поколению, заявляют готовность стать генерацией «усыновленных» тем поколением, которое сравнительно недавно вступило в пору зрелости. Еще не состарившиеся родители решаются стать детьми своих детей. Это не заявлено декларативно, но постоянно ощущается в самых разных статьях и, как кажется, затеяно ради того, чтобы на деле продемонстрировать возможность перехода через ту пропасть, которая открывается там, где происходит обрыв преемственности.

Неприятие постмодернизма людьми традиционной филологической культуры неудивительно. Постмодернизм не просто смещает ценности и акценты смыслов, выработанные за последние 50, 100 или 200 лет. Он взрывает базовые основания всей европейской культуры — ее смысловоразличительные основания. Отказа от субъектно-объектных отношений, от дуальных оппозиций и связи означаемого и означающего уже достаточно, чтобы рухнуло все здание прежней культуры, возводившееся в течение нескольких тысячелетий. Если учесть, что эта «революция духа» сопровождается научными новациями, чреватými уничтожением *homo sapiens* как биологического вида, неприятие надвигающихся перемен трудно назвать ретроградностью мышления. Гораздо труднее найти аргументы в их пользу. У авторов «Проективного философского словаря» такие аргументы находятся. Более того: они патетически приветствуют начавшееся перерождение мира и человека. В словаре есть статьи «Постчеловеческая персоналогия» и «Постчеловечность»; в статье М. Эпштейна «Гуманология» (она определяется как «наука о трансформациях человека и человеческого в процессе создания искусственных форм жизни и разума») говорится: «Гуманология рассматривает человека в ряду не только внеразумных форм жизни, но и внебиологических форм разума, как элемент некоей более

общей парадигмы, как «одного из»: в ряду животных, гуманоидов, киборгов (кибер-организмов), роботов». Человек, ставший «биовидом» наряду с возможными «техновидами» теперь должен быть рассмотрен не как внесистемный, единственный в своем роде феномен, но как одна из фигур ноосферы. «Происходит одновременное истощение, исчерпание человека как отдельного вида — и распространение человеческого за его биологический предел. <...> Кенозис Бога, его самоистощение в человечестве — дальше переходит в кенозис человека, его самоистощение в новейших технологиях». Человек утрачивает тождество с собственным телом. Пол может быть изменен, трансплантация органов и частей тела осуществляется уже на грани киборгизации. Это ставит перед персонологией новые проблемы: «Если начать раскрывать матрешек идентичности, доставать их одну за другой, если срывать один за другим листья с кочана личности, то что же останется в конце?» Человек «всегда больше суммы своих качеств и свойств. И именно этот остаток, этот „человек без свойств“ и есть главное в личности» (статья Г. Л. Тульчинского «Постчеловеческая персонология»).

Как видим, утраты интерпретируются здесь как условие новых обретений — и это принципиальная позиция авторов словаря¹. Она-то и позволяет им оптимистически глядеть на происходящие перемены — духовные и технические.

Очередной «конец истории» не случайно был объявлен в эпоху постмодернизма. Тотальная ризоматическая бесструктурность еще более активно, чем гегелевская структурность, ведет к исчерпанию событийного движения. Сознание, отвергающее принцип оппозиций, эту самую примитивную клетку структурности, самый простой способ различения «этого» и «иного», лишает себя возможности перехода как трансформации качества, ему остается лишь бесконечная модификация собственных свойств, текучая метаморфоза, не позволяющая пересечь границу собственной самождественности. Сознание обновленной постмодернистской вселенной уже только поэтому обречено навсегда остаться равным себе, никогда не стать «иным». Энтузиастически принимая массу новаций современной культуры, авторы «Проективного философского словаря» решительно игнорируют эту ее особенность. Категория границы как условия событийного, а значит, и продуктивного перехода от «одного» к «другому» постоянно у них в ходу².

Проводя границы, мы структурируем мир, ограничиваем себя и свое пространство. Переходя границы, мы теряем себя, нарушаем собственную самождественность — и, рискуя погибнуть, так и не восстановив ее, все же получаем шанс на то обновление, которое сообщает жизни сюжетную составляющую. Это архаический механизм, модель, заложённая в обряде и из него позаимствованная теми словесными жанрами, которые интерпретируют жизнь как сюжет. И эта архаическая модель имеет бесспорную актуальность для авторов словаря³. Вот почему так необходимо в нем старое понятие «лиминальность». В посвященной ему статье Тульчинского читаем: «Новое осмысление всегда катастрофично, всегда апокалипсис <...>. Условием смыслообразования оказывается разупорядочение старых смысловых структур, их дезинтеграция, хаос. <...> смысл — это всегда какой-то порог и какой-то предел. То, что не имеет конца, — не имеет смысла, а осмысление связано с сегментацией недискретного пространства. В каждом смыслообразовании зало-

¹ Едва ли не единственное исключение — статья В. Савчука «Постинформационное общество», где говорится, что мы пока все еще остаемся в рамках общества информационного, которое позволяет человеку, лично не участвующему в ходе событий, компенсировать это неучастие постоянным пребыванием в потоке информационных событий. Такой модус взаимодействия с историей, удерживая *архивную* память, «разрушает *память архаическую*, опирающуюся на опыт боли, отчаяния, радости, встречи с сакральным». Не восстановив опыта личного участия в том, что воспринимается нами как событие, «мы получим выброшенного из истории субъекта».

² В словаре неоднократно подчеркнуто: «...все границы для того и устанавливаются, чтобы их можно было пересекать, то есть *генерировать* смысловое событие»; «Смысловое событие — пресечение границы между мыслительными полями» (статья М. Эпштейна «Концептивизм»); «Для возникновения нового смысла <...> необходима неоднородность информационной системы, наличие в ней по крайней мере двух гетерогенных подсистем» (статья Г. Л. Тульчинского «Идеи»).

³ Особая ценность архаического опыта подчеркнута в статье В. Савчука «Новая архаика».

жена катастрофа существования, выход за рамки его границ в „недискретное”, чтобы сегментировать его заново».

Собственно, вся культура постструктурализма и постмодернизма трактуется в «Проективном философском словаре» как лиминальная ситуация, как тот момент бесструктурности, который возникает при переходе от одной структуры к другой⁴. Вот почему «конец истории», объявленный в рамках этой ситуации, не смущает авторов словаря: чувство конца — одна из обычных составляющих лиминального состояния.

Подобная интерпретация современной культуры, по-видимому, почти недопустима тому, кто принадлежит ей одной. Такой человек чем-то подобен члену «*communitas*» — бесструктурного сообщества, описанного В. Тернером (Г. Тульчинский не случайно вспоминает об этой социальной форме — см. стр. 200). Человек, воспитанный в «*communitas*», не имеющий опыта иных форм бытия, едва ли будет воспринимать собственный статус-кво как зыбкий момент перехода. Настоящее может казаться ему вечным, а иное, лишь понаслышке известное «родительское» прошлое — навсегда утраченным. Гораздо проще тому, в чей духовный опыт входит и «вчерашняя», и «сегодняшняя» культура. Как ни парадоксально, «родительскому» поколению сейчас легче открывается перспектива в иное, отличное от настоящего, «завтра». Уже знакомое с переходом от «вчера» к «сегодня», оно способно с уверенностью ждать следующего перехода. И с легкостью объявлять, что приставка «пост-», имевшая принципиальное мировоззренческое значение в интеллектуальных движениях 70-х — 90-х годов (постмодернизм, постструктурализм, постколониализм, посткоммунизм), в начале XXI века уступит свое место префиксоиду «прото-». «„Конец реальности”, о котором так много говорили агностики всех оттенков, от Деррида до Бодрийара... Оказывается, что это только начало виртуальной эры. Наши теперешние нырки в компьютерный экран — только выход к пенной кромке океана. Дальнейшее плавание в виртуальный мир, виронавтика, предполагает исчезновение берега, т. е. самого экрана компьютера, и создание трехмерной среды обитания, воздействующей на все органы чувств» (статья М. Н. Эпштейна «Прото-»).

Оптимистичными утверждениями дело не ограничивается. Осознание своего настоящего как лиминальной фазы, предвещающей неизведанное будущее, требует готовности к утрате, мужества и смирения. Обо всем этом недвусмысленно сказано в статье М. Эпштейна «Протеизм». Слову придан здесь двойной смысл: восходящий к греческому *prōtos* — первый, начальный и одновременно — к имени изменчивого морского божества. Протеизмом в этом новом значении назван «тип мировоззрения, сложившийся к началу XXI века и открывающий собой третье тысячелетие». «Протеизм, — говорится в статье, — это смиренное осознание того, что мы живем в самом начале неизвестной цивилизации; что мы притронулись к каким-то неизвестным источникам силы, энергии, знания, которые могут в конечном счете нас уничтожить; что все наши славные достижения — это только прообразы, робкие начала того, чем чреваты инфо- и биотехнологии будущего». Поскольку протеизм взаимодействует с явлениями в самой начальной, еще не оформленной, текучей стадии их развития, он предполагает «сознание своей младенческой новизны, незрелости, инфантильности, далеко отодвинутой от будущего, от развитых форм того же явления». Так, объявляя себя носителем «протоинтеллекта», старшее поколение признает, что вместе с тем принимает черты детскости, инфантильности, что становится в позицию младших по отношению к тем, кто привнес в нашу культуру приставку «пост-».

Подобное впадение в детство имеет оттенок эйфории, но это чувство скорректировано вполне трезвым и безусловно зрелым пониманием: «Протеизм — это элегический оптимизм, который в миг рождения уже знает о своей скорой кончине. <...> Протеизм уже обладает достаточным историческим опытом, чтобы поставить себя на место: не в отдаленное будущее, а в отдаленное прошлое <...> являе-

⁴ Ср., например: «...деконструкция есть только промежуток между двумя формами сознания — рационально-позитивистской и креативно-позитивной...» (статья М. Эпштейна «Конструкционизм»).

ний, которые он предвещает и которые вскоре превратят его в архивный слой, в „задник” истории». (В этом — отличие протеизма от авангарда, который ощущает себя передовым отрядом, вырвавшимся далеко вперед.)

Внебиологические формы, инфантилизм, скоротечность предвкушаемого бытия... Все это, вместе взятое, невольно напоминает фантастические мотивы второй части «Фауста», связанные отчасти с Эвфорионом, но еще больше — с Гомункулом, который устремляется к своей последней гибельной (или сулящей возрождение?) метаморфозе, усевшись верхом на Протея-дельфина.

Смирение, умаление, даже обреченность — такой ценой оплачивается переход в «завтрашнюю» культуру. Но зато сфера творческих возможностей удивительно расширяется. М. Эпштейн вводит понятие «культуроники» — изобретательской и конструкторской деятельности в области культуры. Культуроника призвана реализовать трансформативный потенциал гуманитарного мышления и, в отличие от культурологии, заниматься тем, чего еще нет, — проектировать, моделировать, продуцировать. Так гуманитарная сфера раскрывается в сторону будущего. Неудивительно, что М. Эпштейн включает в словарь такие понятия, как «концептивизм» (философия зачинающих понятий), «семиургия» (создание новых знаков), «футурологизм», или «будесловие» (создание слов, денотаты которых расположены в возможном или будущем), «кенотип» (познавательно-творческая структура, в которой общее не предшествует конкретному, как в архетипе, и не сосуществует с ним, как в типе, а служит конечной перспективой конкретного, «которое вырастает из истории и перерастает ее»). Впрочем, подобного рода понятия скорее выражают пафос устремления в будущее, чем реально совершаемые шаги в еще неведомый завтрашний день. Проба таких реальных шагов во многих словарных статьях тоже осуществлена. Укажем хотя бы некоторые.

По мнению авторов словаря, на смену прежнему типу рационального мышления, склонного к обобщениям и абстракциям, приходит внимание к единичному и конкретному. Философия определенности, артикулированности вещей получает название «тэизма» (от английского определенного артикля «the» — «the-ism»). «The указывает на любую вещь как на *эту*, отличную от всех других вещей в мире, и это свойство „этости” является начальным и всеопределяющим» (в скобках заметим, что для восточной философии подобная установка — далеко не новость). К тому же комплексу идей относится понятие «универсики» («universics, буквально „вокруг одного”): «В отличие от категории „всеобщего”, универсальное не есть общее, присущее многим предметам, но многое, присущее одному предмету.<...> Именно переход от абстрактно-общего к конкретно-универсальному составляет перспективу современного движения мысли». Отсюда — внимание к малому, обыкновенному (в этом тоже проявляется принцип смирения, умаления). Выдвигается метод «квантовой метафизики» — метафизики «предельно малых, логически узких, конкретных понятий и непонятных единичностей, элементарных мыслимости. Это метафизика не духа или бытия, а сада, дерева, кухни, посуды...». Такому методу соответствует «микроника» — наука о малом — и «тривиалогия» — изучение тривиального, незаметного, второстепенного. «Тривиалогия — приглашение каждому стать теоретиком самого себя и тех единичных вещей, которые мы избираем в спутники своей жизни». Для изучения единичных вещей выделяется особая гуманитарная дисциплина — «реалогия» («вещеведение»). Конкретная вещь предстает синтезом бесконечного множества абстрактных определений, а мышление единичностями — высшей ступенью восхождения от абстрактного к конкретному⁵.

Отказ от логики тождества, от «регулярного тождества» ведет к «топологической рефлексии» — она совершает шаг от субъекта к сингулярности, которая собирается здесь и сейчас, уникальным образом. «Топологическая рефлексия, — пишет В. Савчук, — предполагает актуализацию ценностей *близи и окрестности*. Интенция к высказыванию из пространства своего переживания реализуется в том, что человек следует ближайшим целям, рефлексивирует свое реальное *местоположение*».

⁵ Статьи «Тэизм», «Универсика», «Квантовая метафизика», «Микроника», «Тривиалогия», «Реалогия» написаны М. Эпштейном.

Г. Тульчинский связывает персонологический поворот современной гуманитарной парадигмы со стремлением человека как конечного и конкретного существа постичь бесконечный универсум с какой-то определенной позиции. По мнению М. Эпштейна, особую ценность получает эссеизм как жанровая форма «слабого знания», которое не вырастает из могучей метапозиции по отношению к миру, а исходит из понимания своей ограниченности и признает свою приблизительность.

Крушение аристотелевской парадигмы, состоявшееся в рамках постмодернизма, несомненно нашло свое отражение в «Проективном философском словаре» — но не в виде «минус-приема», не в виде отрицания традиционных для европейского рационализма категорий и постулатов мышления. Авторы словаря пытаются нащупать тропинки, выводящие из фазы отрицания. Нельзя сказать, что на этих путях они предлагают нечто новое и неслыханное. Скорее они придают центристское движение тем направлениям мысли, которые до сих пор существовали на периферии культурного поля.

Как известно, аристотелевская логика базируется на основе всего одного типа речи. Аристотель назвал этот тип высказывающей речью, указав, что наряду с ней существует и множество других. Мольба, приказ, вопрос, восклицание, диалог имеют иную структуру, чем утверждающая существование тех или иных фактов высказывающая речь. Эта иная структура предполагает и иное построение логических связей. Один из примеров тому — логика диалога, разработанная Бубером и Бахтиным (имя последнего то и дело возникает на страницах «Проективного философского словаря»). Но потенциально существует целый спектр других логик — на них и указывает М. Н. Эпштейн, выделяя наряду с информативными и перформативными высказываниями такие типы речи, как высказывания трансформативные и контраформативные. Трансформатив меняет сами условия речевого акта. Как правило, трансформативное высказывание сообщает об отношении говорящего к собеседнику нечто такое, что меняет само это отношение (например: «Я — твой отец», «Я — убийца твоей сестры»). Соединение перформативности и трансформативности порождает «контраформатив» — высказывание, которое, в отличие от перформативного, осуществляет противоположное тому, что сообщает (например: «Не слушайте ничьих советов!»).

Выделение подобных понятий указывает на уже неоднократно возникавший в культуре сдвиг интереса от сущности к отношению. С этим же интересом связано повышенное внимание к служебным словам — самым употребительным словам языка, которые возводятся в ранг философских терминов, тесня существительные и прилагательные. Слова с грамматическим значением, лишенные лексической определенности, выражают прежде всего существующие в языке и мире связи и отношения. Их призвана изучать «грамматософия» — «раздел философии, который рассматривает фундаментальные отношения и свойства мироздания через грамматику языка». Не случайно поэтому предлог «в» или «союз-философема» «как бы» попадают в словник философского словаря. Попадает в него даже знак пробела, необходимый фон знаковой деятельности, прерыв письма, который делает возможным различие знаков. Знаменующий собой границу языка, знак пробела становится тем понятием, которым выразительным образом открывается «Проективный философский словарь»⁶.

Особое внимание уделено «иконическому повороту» — сдвигу в сторону визуального, которое становится все более мощным средством воздействия на современное сознание. Власть визуальных образов названа термином «видеократия», идеологии сопоставлена «видеология», «логомахии» (словесной битве) соположена «имагомахия» — война образов⁷.

Грядущее категориальное, мыслительное обновление ставит перед завтрашним человеком множество личностных проблем, нуждающихся в новых решениях.

⁶ Статьи «Служебные слова как философские термины», «Частотный словарь как философская картина мира», «„В”» (как философема), «Как бы», «, ” (знак пробела)» написаны М. Эпштейном.

⁷ Статья «Иконический поворот» написана В. Савчуком, статьи «Видеология», «Видеократия» — М. Эпштейном, статья «Имагомахия» — Ю. Романенко.

Сами границы личности, по-видимому, будут проведены по-новому, и в связи с этим в словаре обсуждаются вопросы любопытства и отвращения, власти и тела, телесности (как защиты от симулякров и текстоцентризма), вменяемости и невменяемости, ответственности и поступка⁸... Для авторов словаря будущее связано с «космической» рациональностью: «Найти себя можно только в мире, — пишет Г. Тульчинский. — Открыть и вверить себя безгранично открытому динамизму творческих перемен мира. Не самоотречение как неволеенье духа, а самоотдача великому единству. Самоосмысление возможно только на путях выхода из себя, как странничество в мирах и проекциях. Как ответственность за свой путь, за себя как иного, чем другие. Как собственное иночество, как инаковость, как возможность находить уникальные смыслы».

Не буду, однако, претендовать на то, чтобы исчерпать содержание объемной книги. Завершу ее краткий обзор самым, быть может, смелым из содержащихся в ней пророчеств о будущем: «XX век — век грандиозных физических экспериментов, но XXI век может стать лабораторией *метафизических экспериментов*, относящихся к свободной воле, к роли случая, к проблеме двойников и возможных миров» (статья М. Эпштейна «Концептивизм»). Здесь снова вспоминается фаустовский пафос, его старческая жажда метафизического обновления. Дело, разумеется, не в старости персонажа. Стара сама европейская культура — когда-то это чувствовал Гёте, теперь это чувствуют почти все. Старость — предвестие конца. Кто-то пытается избежать его, объявив, что история уже завершилась и мы пребываем в остановленном мгновении. Авторы «Проективного словаря» предпочитают рассматривать конец как начало, собирают накопленное предшественниками и стремятся, преобразовав, упаковать его так, чтобы переправить на другой берег будущей, *другой* истории. Можно было бы обсуждать, насколько удачны предложенные в словаре неологизмы, насколько оригинальны те или иные мыслительные ходы... Как кажется, это второстепенно на фоне конструктивных усилий вступить во взаимодействие с тем «завтра», которое решительно отвергнет инерцию сегодняшней культуры.

Мария ВИРОЛАЙНЕН.

С.-Петербург.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ВИКТОРА КУЛЛЭ

+8

Константинос Кавафис. Проза. Составление, вступительные статьи С. Б. Ильинской, Т. В. Цивьян. М., «Итака», 2003, 348 стр. («Греческая библиотека»).

Явление Кавафиса широкому русскому читателю произошло с подачи Бродского. Он по мере сил стремился заполнить белые пятна в нашем культурном сознании, преодолеть подневольную провинциальность отечественной литературы. И, похоже, преуспел в этом больше, нежели мог надеяться при жизни. Успех «Русской Кавафианы», выпущенной три года назад издательством «О.Г.И.», превзошел самые смелые культуртрегерские ожидания. Кавафис пришелся по сердцу и «продвинутым» читателям (половина из которых сама грешит стихотворством), и серьезным исследователям. Более того, в ситуации с «русским Кавафисом» мы едва ли не впервые за последние десятилетия опередили западных филологов, с момента открытия «последнего александрийца» Э. М. Форстером довольствовавшихся переизданиями избранных стихотворений в переводах Филипа Шеррарда и Эдмунда Кили. Плюс — книгой последнего «Александрия Кавафиса»; плюс — популяризаторскими эссе У. Х. Одена, Бродского и Чеслава Милоша.

⁸ Статья «Любопытство и отвращение» написана Д. Голынко, статьи «Власть и тело», «Невменяемость», «Ответственность (вменяемость)», «Поступок» — Г. Тульчинским.

Представительный том прозы Кавафиса вышел к двойному юбилею — 140-летию со дня рождения и 70-летию со дня смерти поэта. Вышел параллельно с греческим изданием, впервые объединяющим под одной обложкой разрозненную и неопубликованную прозу поэта; параллельно с юбилейным «Полным собранием стихотворений» Кавафиса, выпущенным афинским издательством «Нарцисс» под редакцией той же С. Б. Ильинской. Именно ей и Т. В. Цивьян обязаны мы «русским Кавафисом». Нелишне напомнить, что и сам Бродский некогда узнал о Кавафисе из переводов Ильинской в «Иностранной литературе».

Достаточно взять в руки эту книгу, чтобы понять, что соучастники ее подготовки и издания были движимы не только общекультурными либо научными соображениями, но — в первую очередь — любовью. С любовью выполнены переводы, с любовью и вкусом, в сложном переплетении жанрового и хронологического принципов составлена книга. Ее композиция необыкновенно продуманна и выигрышна — и как самостоятельная культурная ценность напоминает о понятии «паратекста», введенном Жераром Женеттом в его замечательных (и по сей день не изданных на русском языке) «Порогах». Дополнительный объем книге придают переведенные с английского «Дневник» первого путешествия Кавафиса в Грецию и впервые (!) публикуемая переписка поэта с Э. М. Форстером.

Том прозы Кавафиса, состоящий из разрозненных рецензий, газетных статей, дневниковых записей и заметок о поэтике, провоцирует возвращение к вопросу о прозе поэта как жанровом определении. Недаром его касаются в своих вступительных статьях и С. Б. Ильинская, и в особенности Т. В. Цивьян — крупнейший исследователь этого отнюдь не маргинального жанра¹. Замечательно, что проза Кавафиса — вовсе не приложение к корпусу стихотворений, не собрание автокомментариев и эскизов, не пища для толкователей или биографов, но — в первую очередь — увлекательное интеллектуальное чтение, приоткрывающее масштаб личности поэта. Если, по Мандельштаму, верно, что жизнь и судьба поэта являются его наиболее удачным и значимым произведением, то без этой прозы, даже без ранней заметки «Коралл сквозь призму мифологии» (1886 год — кстати, вообще первая публикация Кавафиса), *это* произведение едва ли не самого «непубличного» из великих поэтов XX века окажется вопиюще непрочитанным.

Читатель, ожидающий в прозе Кавафиса лакомых гомоэротических мотивов, будет разочарован. И дело не в том, что поэт, даже в явно не предназначенных для публикации дневниковых записях, целомудренно оберегает свою частную жизнь, — известно, что в стихотворениях на эту тему он гораздо откровеннее. Просто в своих заметках он касается в первую очередь того, что для него особенно важно. Это — чрезвычайно органичное для грека осознание себя частью единого потока культуры, непрерывной преемственности от античности до современности, пресловутой «греческой диахронии». При этом «неоклассик» Кавафис, рассматривая во многих заметках («Ламия», «Конец истории Одиссея», «Шекспир о жизни») античных героев либо античные сюжеты в контексте европейской литературы, не только с удивительной свободой чувствует себя в кругу великих теней (Гомер, Данте, Шекспир), но и, по замечанию Т. В. Цивьян, всегда ощущает себя *следующим* в этом ряду. Эта унаследованная от великих легкость — с какой Данте позволял себе общаться с обитателями Лимба — перекликается с пониманием традиции Т. С. Элиотом (поэтом, с которым сравнивал Кавафиса другой великий грек — нобелевский лауреат Георгос Сеферис), когда «существующие памятники искусства находятся по отношению друг к другу в некоем идеальном порядке, который видоизменяется с появлением нового (действительно нового) произведения. Для того, чтобы уже обусловленный порядок по-прежнему существовал, он весь должен быть хотя бы немного изменен, и, таким образом, значимость и ценность каждого произведения по отношению к целому изменяются. Это и есть преемственность старого и нового».

Тем же пониманием традиции пронизано кавафисовское отношение к жизни как к путешествию — на нашей почве укорененное Мандельштамом и развитое

¹ См. хотя бы работу: Цивьян Т. В. Проза поэтов о прозе поэта. — В ее кн.: «Семиотические путешествия». СПб., 2000, стр. 206 — 219.

Бродским. Мне, как «бродсковеду», неизмеримо интересно было проследить изобилие параллелей и перекличек Бродского с прозой Кавафиса. Скажем, сторож с колотушкой из ранней зарисовки «Ночь в Калиндери» предстает у Кавафиса «бесстрастным измерителем Времени», а в позднейших «Схолиях к Рёскину» поэт роняет: «Когда мы говорим „Время“, то имеем в виду-саших себя». Бродский, озаглавивший свое эссе о Кавафисе «Песнь маятника», как известно, стремился приблизиться в своих позднейших стихах к «монотонности звучания времени». Или в рецензии на издание «Народных песен острова Карпатос» Кавафис цитирует апокрифический разговор Богородицы с распятым Сыном, живо напоминающий финал «Натюрморта», — это 1971 год, и Бродский читать этого по определению не мог.

Замечательно историческое и эстетическое проникновение Кавафиса в творчество византийских поэтов, в первую очередь Романа Сладкопевца (V в. н. э.), введшего, как знают немногие, рифму в византийскую поэзию. Рассуждения Кавафиса, виртуоза свободного стиха, о рифме поражают своей основательностью. Трогательная подробность: поэт чрезвычайно гордится греческим происхождением самого слова «рифма».

И последнее. Сколь ни бессобытийную внешне жизнь прожил Кавафис, сколь поздно ни пришла к нему известность, последние десятилетия поэта были согреты признанием и уважением таких замечательных его почитателей, как Т. С. Элиот, Вирджиния Вульф, Арнольд Тойнби и в первую очередь Эдвард Морган Форстер. Переписка с последним, завершающая том прозы, дает некоторое представление о конгенности Кавафису его адресанта.

Мифологи Серебряного века. В 2-х томах. Составитель Н. Гончарова. М. — СПб., «Летний сад», 2003 (Библиотека девяти муз). Т. 1. Ф. Зелинский, А. Кондратьев — 462 стр.; Т. 2. Д. Мережковский, В. Брюсов — 336 стр.

В одной из статей упомянутой выше «Русской Кавафианы» С. Б. Ильинская писала об «отчасти параллельных» путях развития Кавафиса и поэтов русского серебряного века. Книга, подготовленная известным ахматоведом Ниной Гончаровой, является едва ли не идеальной иллюстрацией этого тезиса. Античность, характеризующая во вступительной статье составителя как «некая универсальная пракультура, культура на все времена», стала для творцов серебряного века если не второй родиной, то чрезвычайно мощным катализатором. Она провоцировала философские и богословские искания, культурологические построения и филологические споры, экзистенциальные стратегии поведения и археологические открытия. О феномене «гиперборейской античности» на русской почве, как и о «дионисизме/аполлонизме» Вяч. Иванова и прочих символистов, написаны тома и диссертации. С известной долей наглости параллель можно отыскать разве что в итальянском Возрождении — но на то оно и было золотым веком европейской культуры.

Как тут не припомнить мысль Бродского о том, что наиболее плодотворным для творчества Кавафиса было стремление к органическому слиянию античной и христианской традиций? Причудливым образом интерес Кавафиса к фигуре Юлиана Отступника аукается с аналогичным обращением к нему Дмитрия Мережковского.

Для творцов серебряного века античность была категорией вневременной, породительницей универсальных архетипов — и одновременно потрясающая современную. Отнюдь не эстетским стремлением к архаике либо экзотике продиктованы «Аттические сказки», изданные замечательным филологом-классиком Ф. Ф. Зелинским в начале голодных 20-х годов ничтожным тиражом на скверной оберточной бумаге. Только умственной глухотой большевиков можно объяснить тот факт, что в зловещих Красных Гарпиях, терзающих голодом гиперборейского (!) князя Финея (сказка «Царица Вьюг»), они не узрели несслыханной по тем временам карикатуры. Слава Богу, автор остался жив и еще едва ли не четверть века мог писать свои глубокие и умные книги, прозревая в «задушевном символизме» и сакральной эстетике греческого мифа корни христианства.

Александр Кондратьев, в отличие от Зелинского, не следует древним мифам, но творит собственную мифологию — почти неотличимую от «настоящей», ибо она пронизана тем же благоговейным восторгом и ужасом перед повседневным,

едва ли не бытовым присутствием в жизни божества. Созданные Кондратьевым мифологические герои чрезвычайно пластичны и живописны — они лишены отчуждающего флера волшебной сказки и движимы тем же накалом страстей, что и персонажи великих греков.

Для Дмитрия Мережковского мифология является, похоже, прежде всего чрезвычайно удобным (если не универсальным) инструментом. Путь Мережковского к строительству «Третьего Завета», к познанию Бога через крито-микенскую архаику, его отождествление Адониса и Таммуза, всех умирающих и воскресающих богов с Христом выглядят кощунственными для воцерковленного читателя. Однако масштабность исканий автора, исследовательская интуиция и живописный талант, отличающий исторические романы Мережковского, по-прежнему впечатляют.

Если предыдущие авторы обращались к рождению богов и деяниям героев греческой мифологии, то «Рея Сильвия» Валерия Брюсова — плач по миру, этими героями и богами оставленному. Написанная незадолго до смерти признанным мэтром серебряного века, отрехшимся в угоду новым варварам от собственного прошлого, она описывает давно утративший былое величие Рим века VI. Осколки поруганной великой культуры ведут здесь призрачное подземное существование. Жутка судьба бедной полубезумной девочки, осмелившейся в них поверить. Более того, ее смерть предстает в финале повести едва ли не благом — перед лицом грядущего, еще более жестокого разрушения Рима лангобардами.

Впервые собранные под одной обложкой, творения четырех «мифологов» серебряного века не столько, на мой взгляд, демонстрируют разные подходы к творческому освоению «мифологического материала», сколько напоминают о различных путях поведения человека, пишущего перед лицом неотвратимой катастрофы.

Приапова книга Сагрина Приареа. Перевод с латинского и комментарий М. Амелина. М., «Летний сад», 2003, 122 стр. (Билингва).

Еще один пример античности живой и универсальной. Мне уже доводилось писать на страницах «Нового мира» (2004, № 4) о развитии античной традиции в оригинальном творчестве Максима Амелина. Однако здесь мы имеем дело с переведенным Амелиным литературным памятником (отнюдь не первым — вспомним книжку его переводов Катулла). В годы Средневековья «Приапова книга» уцелела, вероятно, лишь потому, что ее авторство веками приписывали Вергилию. Одна из ее рукописей выполнена рукой великого Боккаччо. Она обрела печатный вид более полутысячелетия назад — почти сразу же после открытия книгопечатания. Отечественная литература, однако, хватало хлопот и со своим Барковым. Ныне, когда в сугубо научном «Ладомире» издана едва ли не вся «потаенная» российская словесность, пришло время и для «Приаповой книги».

Похабщины в «Приаповой книге», впрочем, практически нет — есть виртуозная филологическая и лингвистическая игра (недаром ее Вергилию приписывали), есть изощренная метафорика и простодушный, прямо-таки частушечный юмор. К сожалению, читателям, не владеющим латынью (а таких большинство), трудно оценить прямо-таки титанические усилия переводчика по адекватной и скрупулезной передаче оригинала. Отчасти представление об этом дают подробные и весьма обстоятельные комментарии.

Чрезвычайно удачной представляется и попытка Амелина перевести анонимного автора «Приаповой книги» со здоровой оглядкой на отечественную фольклорную традицию — на сборник Кириши Данилова и «Заветные сказки» Афанасьева. То есть пересадить его на отечественную почву. Пусть даже в роли пугала — ибо в древности статуя Приапа и выполняла роль пугала в садах и огородах, отпугивая своим сучковатым непомерным орудием воров. Глядишь, пересаженный на почву любезного отечества, отпугнет самый бесхитростный из античных богов и нынешних воров в саде словесности.

Обременен торчащим ты, Приап, удом,
Чем попрекнуть решил тебя в своих виршах
Пиит наш, — не смущайся же ничуть этим:
Ты нашего пиита тяжелей навряд ли.

Сигизмунд Кржижановский. *Собрание сочинений. Составление и комментарии В. Перельмутера. Т. 1—3. СПб., «Симпозиум», 2000 — 2003. Т. 1 — 701 стр.; т. 2 — 701 стр.; т. 3 — 673 стр.*

От веселого перейдем к трагическому. Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887 — 1950), в отличие от анонимного автора «Приаповой книги», ожидал печатного станка «всего лишь» полстолетия. С невероятной, фантастической (впрочем, это вполне в духе Кржижановского) скоростью мы получаем готовенького, причем образцово прокомментированного гения. Гения, по выражению Георгия Шенгели, «прозванного». Тома его собрания по своей фундаментальности ничуть не уступают фундаментальному «симпозиумовскому» же Набокову. С выходом третьего тома публикация всего корпуса прозы завершена. Полное собрание Кржижановского продолжают еще два тома статей, эссеистики и записных книжек. Издание собрания сочинений Кржижановского — огромная, без преувеличений, заслуга «Симпозиума» перед отечественной культурой.

О трагической судьбе Кржижановского уже написано, и не раз. Можно провести параллель с тем же Кавафисом, практически не печатавшимся при жизни и обретшим в посмертии славу одного из самых значительных поэтов XX века. Это послужит своеобразным утешением — ибо уже сегодня можно с уверенностью сказать, что Кржижановского ожидает слава не меньшая. Вспомним, однако, что тихое прозябание Кржижановского в журнале «В бой за технику» отличается от тихой службы Кавафиса в Управлении мелиорации приблизительно в той же степени, в какой Москва отличается от Александрии. Если поэт отказывался публиковать стихи из гипертрофированной требовательности, «сверхкритичности», то прозаик (лишенный, кстати, в отличие от поэта, шанса существования изустного) такой возможности попросту не имел.

По воспоминаниям современников, он был довольно невезучим человеком. Зато повезло посмертно. В первую очередь — с комментатором. Комментарии Вадима Перельмутера, иной раз многократно превышающие по объему авторский текст, являют собой редкий пример не только любовного и адекватного прочтения, но и глубокого проникновения в творческую лабораторию автора. За основательностью комментария стоит титанический четвертьвековой труд Перельмутера — годы архивных разысканий, собирания и изучения рукописей, тщетных попыток их публикации. Особо отмечу и оформление собрания, выполненное одним из лучших наших книжных художников Андреем Бондаренко.

После похвал изданию — несколько соображений о собственно прозе Кржижановского. Его сравнивали с Гоголем и Свифтом, Уайльдом и Кафкой, Гофманом и Майринком. Наиболее часто возникающая параллель — Борхес. Плотность письма у «русского Борхеса» действительно фантастическая. И дело даже не в том, что едва ли не из каждого несколькостраничного текста Кржижановского можно сотворить полноценный роман. Такое впечатление, что слова в его прозе задыхаются — им не хватает воздуха. При завидной изощренности его сюжетов, эта проза крепится не действием, но в первую очередь мыслью. Недаром автор столь часто опускает глаголы — лингвистический эквивалент действия. Его работа на уровне слогов и букв чревата едва ли не безумием: «Взбесившийся алфавит ползал вокруг меня по афишным столбам, по стенным плакатам, по крашеной жести, торчал из папок газетчиков, терся об уши концами и началами слов». Подобное равенство человека и «части речи» станет знаковым как для литературы, так и для философии второй половины XX века. Вспомним у Бродского: «Как ты жил в эти годы? — Как буква „г“ в „ого“».

Замечательно, что подобный метод работы не только предвосхищает будущее литературы, но и оказывается опрокинут в ее прошлое. Так, для Данте, по замечанию Бродского, «красота зависела от способности смотрящего различить в овале человеческого лица лишь семь букв, составляющих слова *Homo Dei*». Данте сказал об этом в песни XXIII «Чистилища» — для Кржижановского, лишенного возможности прозреть в лицах окружающих именно *эти* семь букв, «взбесившийся алфавит» стал вполне реальным эквивалентом собственного Ада.

Даже не к Данте, а к последней книге трактата «О музыке» Блаженного Августина апеллирует следующий фантастический пассаж из повести «Воспоминание о

будущем»: «Согласно записям, прошлое является результатом вытеснения восприятия А восприятием Б. Но если усилить сопротивление А, Б будет вынуждено стать не на место А, а *рядом*. Так, нотный значок может присоединиться к предыдущему и по горизонтали, и по вертикали: в первом случае мы будем иметь дело с мелодическим временем, во втором — с гармонической его формой». Августин, будучи одним из последних представителей античной традиции (прежде всего стоицизма) и одним из зачинателей традиции христианской, в равной степени принадлежал двум разным эпохам. Можно предположить, что подобный взгляд на природу времени становится возможен исключительно на переломе эпох — и, по Кавафису, именно у человека, соединившего в себе два противоположных мироощущения.

Рискну озвучить очевидное: проза Кржижановского строится по законам поэзии. По степени эстетического и экзистенциального провидения рядом с ним можно поставить разве что Хлебникова и позднего Мандельштама. Уникальным сочетанием философской интуиции, глубокого понимания музыки и поэтического слуха единственно могут быть объяснены многочисленные и разносторонние экскурсии Кржижановского в будущее культуры. В противном случае придется предположить, что наш автор и впрямь каким-то чудом исхитрился там побывать — и подсмотреть модели, изобретенные грядущими гениями XX века. К их числу можно отнести переплетение музыкального и философского начал в рассказе «Сбежавшие пальцы», предвосхищающем «Доктора Фаустуса» Т. Манна, и даже походя оброненное в «Возвращении Мюнхгаузена» определение «Меньше единицы».

Впрочем, на то он и Гений.

Ж а п о и а л и я. Этнографические мемуары. Авторы-составители Д. Бандура, А. Фесюн, И. Федоренко. М. — СПб., «Летний сад», 2004, 336 стр.

От великого сделаем обратный шаг к смешному. Полуприличное название этой книги на деле означает всего лишь производную от английского *Japan* — по сути, то же самое, что вайль-и-генисовская «Американа». Многочисленный авторский коллектив принадлежит к замкнутой и довольно-таки экзотической касте профессиональных японистов — по преимуществу выпускников Института стран Азии и Африки. Авторы честно рассказывают о причинах, побудивших их на время отвлечься от иероглифического письма: «Любая профессия имеет свой фольклор. Пока профессия живет и процветает, все эти байки, предания и апокрифы успешно бытуют в изустной традиции и в письменной кодификации не нуждаются. Мы не хотим сказать, что профессия „японист“ уже умерла. Но некоторые тенденции все-таки налицо. Особенно если сравнить с тем, что было раньше...»

«Тому, что было раньше», и посвящена эта на первый взгляд непритязательная книга. На красочной обложке родные «Охотники на привале» травят свои байки на фоне священной горы Фудзи. Байки уморительно смешны — с уместным и японски точно дозированным налетом абсурда. Абсурда советского, несколько в меньшей степени абсурда японского и — самое главное — абсурда, с неизбежностью возникающего из непрогнозируемого столкновения этих двух абсурдов. Так что слезы временами наворачиваются не только от смеха, но и — довольно часто — от смущения и стыда. «За державу обидно».

Но содержание книги не исчерпывается языковыми казусами и житейскими анекдотами — она в строгом соответствии с законами жанра снабжена не менее уморительными, но вполне познавательными очерками: лингвистическим и кулинарным, культурным и экономическим, психологическим и социальным, очерком нравов и очерком двусторонних отношений. В зеркале этих отношений читатель не только углубляется в экзотические бездны «загадочной японской души», но и прозревает бездны никак не менее экзотические в собственной «загадочной русской».

Шеймас Хини. Школа пения / *Singing School*. Стихотворения 1966 — 2002. М., «Рудомино», 2003, 224 стр. (Билингва).

Выход отечественной билингвы Шеймаса Хини для меня стал праздником не только поэтическим, но и человеческим. Личным. Знакомство произошло лет за

пять до его Нобеля, с подачи того же Бродского — и неутомимой пропагандистки творчества их обоих, профессора Валентины Полухиной. Едва ли не к тому же времени относятся и мои первые робкие попытки переводить Хини. Главный опыт, вынесенный из того фантастически насыщенного лета в Англии, — разительный контраст между англосаксонским и кельтским менталитетами, прихотливо уживающимися в рамках единой английской поэзии. Англосаксонская дикция персонифицировалась, естественно, в великом У. Х. Одене и его полномочном полпреде (в англоязычной своей ипостаси) — Бродском. Кельтская — в У. Б. Йейтсе, Дилане Томасе и, конечно же, Шеймасе Хини.

С того времени я продолжаю упорствовать в убеждении, что метафорика ирландской поэзии несоизмеримо ближе отечественной традиции, нежели неимоверно притягательный, но несколько дидактичный метонимический дискурс Одена. Фантастическая любовь ирландцев к поэзии сопоставима разве что с любовью к ней поляков и русских. Помню, как меня, с грехом пополам изучавшего язык по поэтическим антологиям, поразили несомненные параллели между Йейтсом и Мандельштамом. Поразила и случайная, но, как всегда, точная проговорка Бродского, что Мандельштама следует переводить на английский язык позднего Йейтса.

Ощущение глубинного родства с ирландской традицией обрастало множеством подтверждений. И едва ли не всякий раз они были связаны с очередной попыткой вжиться в стихи Хини. В моем случае попытки оказались скорее неудачными — тем с большей признательностью отношусь я к гораздо более успешным трудам Григория Кружкова и покойного Андрея Кистяковского, из чьих переводов составлена «Школа пения».

Слуху и сердцу отечественного читателя, конечно же, многое скажут тетраметры посвященного памяти Бродского стихотворения «Размером Одена» («Audenesque»), переведенного Кружковым. Размер этот, которым в год рождения Хини Оден откликнулся на смерть Йейтса, которым Бродский почтил память Т. С. Элиота, восходит к предсмертным стихам самого Йейтса и далее — к Блейку, еще далее — к песне второй ведьмы из «Макбета». Эти стихи Хини, порожденные «соединением эмоционального шока и неизбежности стихотворного ритма», служат для меня замечательным примером упомянутого выше родства наших поэтических традиций.

В предисловии к своему первому русскому сборнику Хини подчеркивает, что поэзия «должна быть честной перед Богом и верной земле». Темы предназначения поэта, гармонии в нем жизни и творчества, долга и свободы десятилетиями проходят, видоизменяясь, через все его стихи. «Будучи сыном фермера, — сказал поэт в одном из интервью, — я был убежден, что человек обязан зарабатывать себе на хлеб <...> и всегда с недоверием относился к тому, что было связано с полной свободой. Жизнь ушла на то, чтобы поверить в эту свободу, положиться на нее как на то, что оправдывает и ее саму, и жизнь любого художника, всегда и полностью свободного. При этом, однако, очень опасно глубоко в себе копать и анализировать такие вещи».

Профессия стихотворца, похоже, и заключается в каждодневной эксплуатации подобной опасности.

Умберто Эко. Поэтики Джойса. Перевод с итальянского А. Коваля. СПб., «Симпозиум», 2003, 496 стр.

Ранняя, 1966 года, работа, принесшая Эко литературоведческую славу. Его базовые лингвистические и семиологические труды еще впереди — как впереди и проза, через призму которой читатели моего поколения приучены всматриваться в труды Эко-ученого. Подобный взгляд, некорректный по определению, обладает тем не менее странной убедительностью. Ведь именно в романах Эко оказались сфокусированными все его многогранные научные интересы. И недаром имя Джойса неоднократно всплывает в «Заметках на полях „Имени розы“». «Возможно, подсознательным образом мне служил „Улисс“ с его железной разбивкой по часам дня, — признается Эко. И продолжает: — Искусство есть побег от личного чувства. Этому учили меня Джойс и Элиот».

Обращение к великому ирландцу, похоже, носит для Эко характер именно «личного чувства». Вычленив из юношеского сочинения Джойса три элемента его грядущей поэтики (точнее, поэтик), Эко на всем дальнейшем пространстве книги прослеживает их сложное взаимообремененное противостояние. «Три источника и три составных части» интеллектуальной биографии Джойса, по Эко, таковы: а) схоластический католицизм Аквината, каким-то чудом выдержавший испытание мистической ересью Джордано Бруно; б) воспринятый через Ибсена «призыв к более тесной связи между искусством и нравственным долгом»; с) «влияние символистских поэтик, все искушения декадентства, эстетический идеал жизни, посвященной искусству, и искусства как заместителя жизни».

Чтение Эко, как всегда, увлекательно. Его эрудиция, механизм его логики, устройство его зрения поражают, если не подавляют.

Парадоксальным образом сформулировав едва ли не на первых страницах исследования вождельный вывод, Эко позволяет себе нешуточную пристрастность: «Как мы хотели бы показать, у Джойса окончательный выбор так и не совершается, и его диалектика, будучи более чем медитацией, предстает перед нами как развитие постоянной полярности и напряжения, так и не нашедшего удовлетворения».

О ком это: о Джеймсе Джойсе или о самом Умберто Эко — «человеке современном, который чувствует потребность создать новую среду обитания, но еще не находит для этого устойчивых правил»?

Е. Петрушанская. Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб., Журнал «Звезда», 2004, 352 стр.

В преддверии выхода этой книги ее автор рассказала автору данной рецензии следующую замечательную историю. Случайно столкнувшись с профессором Эко на миланском вокзале и разговорившись с оным о собственных студиях, она услышала от почтеннейшего синьора Умберто (почти дословно) следующее: «Стихи Бродского меня никогда особенно не привлекали. Но однажды мы вместе с ним оказались рядом на концерте классической музыки, и я понял — так может слушать музыку только великий поэт».

Этот эпизод, к сожалению, не успел войти в монографию, написанную не литературоведом, но именно музыковедом и посвященную роли музыки в жизни и творчестве Бродского, по определению автора — «одного из самых музыкальных поэтов XX века». Любая работа, написанная на стыке дисциплин, потенциально плодотворна. Данная же монография, похоже, не только открывает, но и закрывает заявленную тему. Во всяком случае, роль музыки в личностном и эстетическом становлении Бродского, следы музыкальных пристрастий в его зрелой поэтике, музыкальные подтексты конкретных произведений и значение музыкальных реалий в его словаре подвергнуты инвентаризации и проанализированы с максимальной возможной добросовестностью.

Открывает книгу ранее не публиковавшееся интервью поэта «О музыке», данное автору весной 1995 года. Бродский высказывал свои музыкальные пристрастия (любовь к Баху, Гайдну, Вивальди и Моцарту; нелюбовь к Чайковскому и Вагнеру) и ранее. Однако во всех его бесчисленных интервью музыкальная тема являлась, как правило, побочной. Здесь же, попав в руки целенаправленного и профессионального собеседника, поэт договаривает до конца, суммирует многие полуслучайные намеки и оговорки.

Следующий текст Бродского, маленькое эссе «Remember her», — единственный в его жизни опыт музыковедческой рецензии, посвященный двум лондонским постановкам оперы «Дидона и Эней» Генри Пёрселла. Опера эта связана не только с одноименным стихотворением Бродского 1969 года — она входила в устойчивую мифологию ахматовского кружка (к которому принадлежал молодой Бродский), сложившуюся вокруг посвящения цикла Ахматовой «Шиповник цветет» сэру Исаяе Берлину. Пластинку с записью этой оперы отправил с Ахматовой из Англии в подарок Бродскому Стивен Спендер: «Получатель подарка слушал пластинку месяц за месяцем, пока не понял, что знает ее наизусть. Пластинка находилась на диске проигрывателя и 5 марта 1966 года, в день смерти Ахматовой, владелец диска по-

ставил иголку на предпоследнюю дорожку — и зазвучала ария Дидоны „Remember me”, „Помни меня”».

Цитированного, вероятно, уже достаточно, чтобы привлечь к книге Петрушанской внимание не только узких специалистов, но и просто благодарных читателей. С точки зрения узкого специалиста скажу, что наибольших успехов автор добивается не в описи музыкальных реалий и подтекстов Бродского, а в анализе тонких, еле уловимых соответствий между поэзией и музыкой. Причем музыкой не только в этом случае очевидной (барокко, джаз), но и Бродскому не столь уж близкой (Шостакович, Шнитке). С точки же зрения благодарного читателя добавлю, что монография Елены Петрушанской подтвердила для меня вещь и без того несомненную: Бродский, как юный, так и поздний, при всей декларируемой монотонности был и остается поэтом несомненного мелического начала. Недаром Шеймас Хини озаглавил эссе, посвященное его памяти, «Песнеслагатель».

±1

А. П. Люсый. Крымский текст в русской литературе. СПб., «Алетейя», 2003, 314 стр. («Крымский текст»).

«Гиперборейская античность», о которой пишет в предисловии к «Мифологам Серебряного века» Нина Гончарова, на отечественной почве обрела наглядное воплощение в форме «петербургского» и «крымского» текстов. Автором термина «петербургский текст» является В. Н. Топоров, а самому термину, если не ошибаюсь, не менее трех десятилетий². Появление зеркального понятия «крымский текст», давшего название серии, вполне логично: если Таврида для античных греков олицетворяла крайний север, то для гиперборейского Питера Крым воплощает крайний юг, таящий следы не сумрачной Киммерии, но скорее солнечной Эллады.

Провести анализ этого «крымского текста» и взялся в своей новой книге А. П. Люсый. Автор, известный монографией о творчестве «гениального, но полузабытого» (по определению Ю. М. Лотмана) поэта конца XVIII века Семена Боброва, и здесь избирает его в качестве отправной точки. Бобров в «крымском тексте» занимает, по Люсому, место Гомера. Утверждение хлесткое, но в данном случае, вероятно, справедливое. Увлекательное филологическое путешествие, соучаствовать в котором приглашает читателя Люсый, начинается от берегов бобровской «Тавриды», минуя слезы «Бахчисарайского фонтана», сладкозвучные напевы Батюшкова, Вяземского и Фета, морские бури Тютчева и Манделъштама, делает неспешную остановку в доме Волошина, утверждавшего, что в основу топонимики Крыма и Киммерии (как, впрочем, и Кремля) заложен «один и тот же основной корень *к_рм*, который в древнееврейском языке соответствует понятию неожиданного мрака, затмения и дает образ крепости, замкнутого места». Далее, помахав рукой «Даме с собачкой» и отсалютовав «Острову Крыму», автор устремляется уже в некий «детерриториализованный» и «ретерриториализованный» постмодернистский «Посткрым».

Ощущение по прочтении книги довольно противоречивое. С одной стороны, автор по мере сил систематизировал и перелопатил громадный материал. Многие страницы написаны живо и увлекательно, наблюдения же и выводы вполне основательны. С другой — то и дело, как чертики из табакерки, выскакивают то явно притянутые за уши Фуко с Гадамером, а то и вовсе Эпштейн с Ямпольским. Я, собственно, не против, вязываться в спор о терминах не собираюсь, но читать, что неистовый Виссарион «предстает основоположником — нет, не развенчания,

² См.: Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Сны Блока и петербургский текст начала XX века. — В кн.: «Тезисы I Всесоюзной конференции „Творчество А. А. Блока и русская культура XX века”». Тарту, 1975, стр. 129 — 135. Более подробное раскрытие термина см.: Топоров В. Н. Петербург и петербургский текст русской литературы. — В кн.: «Семиотика города и городской культуры». СПб. — Тарту, 1984.

но превращения образа Тавриды в симулякр, образ, утративший свою реальность, своего референта, и в то же время в „машину письма” — как-то диковато.

Главная, на мой вкус, беда А. П. Люсого в том, что в его книге невозможно найти различий между «крымским следом» в творчестве многих и многих замечательных авторов — и собственно «крымским текстом». Беда, впрочем, вполне простительная — ибо даже строгого научного определения «петербургского текста» по сей день, насколько мне известно, не существует. Все определяется на уровне интуиции конкретного исследователя.

И уж конечно, огромное удовольствие получаешь от возможности вчитаться лишний раз в стихи (повторюсь) гениального Семена Боброва. Его описание природы Крыма поражает своей геологической точностью и масштабностью взгляда. Вот уж воистину замечательный пример «крымского текста»:

Твои слои, листам подобно,
 Как бы обрезаны рукою,
 По направлению берегов
 Все сложены, взгромождены
 Пред пасмурным лицом Нептуна.
 Они, конечно, суть ничто,
 Как книга с тайными словами,
 Где испытатель естества
 Очами может то прочесть,
 Что служит к разрешенью тайны,
 Как сей составлен шар земной.

Между прочим, многие современники ставили его в один ряд с Державиным и Ломоносовым.

-1

Дмитрий Бобышев. Я здесь. (Человекотекст). М., «Вагриус», 2003, 400 стр.

«Между симулякром и надрывом» — так называлась одна из глав книги А. П. Люсого. Не суть важно, о чем там шла речь, — в данном случае цитата может послужить наилучшей жанровой характеристикой мемуаров Дмитрия Бобышева. Участник знаменитого ахматовского кружка, автор самого термина «ахматовские сироты», Бобышев, безусловно, занимает свое место в истории нашей поэзии второй половины минувшего века. Другое дело, что место это какое-то не совсем удобное, а сам автор явно полагает, что при раздаче билетов его затерли и обжулили.

Всерьез разбирать содержимое данных мемуаров едва ли возможно: неприлично. При том, что вряд ли кто-либо из реальных участников тех событий будет настолько неумен, что, оскорбленный Бобышевым, опустится до печатной склоки с ним. Забрызганными грязью оказались в буквальном смысле слова все — за исключением разве что второй «ахматовской сироты», Анатолия Наймана. Почему так? Да потому, что обоих участников концессии объединяет уже не славное прошлое, но нестерпимое настоящее. И в настоящем этом доминирует единственная, всё и вся выжегшая страсть — обида на покойного друга: ведь ноздря в ноздю шли, он у нас младшеньким считался, как же так?! Разница заключается в том, что Найман, будучи человеком более тонким, все-таки пытается соблюдать какие-то правила этикета. Бобышев в ослеплении обидой прет напролом — он более простодушен и этим интересен в качестве анализируемого персонажа. Смесь эстетической глухоты и неупрятого тщеславия поражает даже название бобышевских мемуаров: «Я здесь». Не хватает разве что трех восклицательных знаков.

Чтобы не пересказывать лишний раз эту некрасивую историю, поведаем читателю маленькую грустную сказку. Жили-были на свете четыре верных друга, четыре мушкетера русской поэзии. И все бы хорошо, но эффектный Портос увел подругу у д'Артаньяна. Чуть позже подругу у Атоса увел лукавый Арамис — и четверка окончательно распалась. Д'Артаньян сдурю попал в Бастилию, но потом дослужился аж до маршала Франции и вскоре погиб в сражении. Заслуги Атоса тоже были по достоинству отмечены. А потом старик Дюма написал обо всем этом сказку — и все

неожиданно стали ужасно знаменитыми. Вот только ходят теперь Арамис в обнимку с Портосом и сочиняют под псевдонимом А. Бушков альтернативные сказки, в которых прежние друзья оказываются как правило, негодяями и агентами кардинала, а сами они — белыми и пушистыми. Сказкам, почитай, никто не верит — и нашим друзьям беспричинно грустно.

Мысль, высказываемая Бобышевым публично и неоднократно, гласит: «Бродский на Западе запретил мою славу» — как будто славу поэта запретить возможно! В финале своего «человекотекста» Бобышев откровенно проговаривается:

«Набравшись духу и чуть разыгрывая пушкинского Евгения, я погрозил ему (бронзовому бюсту Бродского в музее. — В. К.) пальцем:

— Ужо веди себя здесь хорошо!»...

Подводя печальный итог, добавлю, что испытание славой и Нобелевской премией Бродского слишком для многих отечественных стихотворцев стало «проверкой на шивовость».

«Скучно жить, мой Евгений...»

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА

УРАЛЬСКАЯ АНОМАЛИЯ

1. «Евразия»

В мае в Екатеринбурге во второй раз подвели итоги драматургической премии «Евразия», существующей при покровительстве Николая Коляды, его «Коляда-театра» и его же литературного журнала «Урал». Несложно догадаться, что премии сегодня структурируют пространство — в данном случае пространство для нового театра, обязанного иметь новую пьесу в своем основании. Так или иначе, конкурсы имеют прежде всего информационно-утилитарное значение: создав некий шум вокруг церемонии, призов и статуса лауреатства, они обладают мощными рекомендательными механизмами. Что прочесть, что поставить, что посмотреть, что выбрать.

На сегодняшний момент театральный рынок располагает двумя такими «водосборниками», или аккумуляторами современной драмы. Оба весьма крупные, общероссийского масштаба, — молодые конкурсы, переживающие в 2004 году только свою вторую годовщину. Это московские «Действующие лица» — премия театра «Школа современной пьесы» — и уральская «Евразия» (для заинтересовавшихся даю ссылки: <www.neglinka29.ru> и <www.kolyada-theatre.ur.ru>). Столичный конкурс с солидным призовым фондом и отличным пиаром собирает около 450 пьес в год, екатеринбургский — около 350. Это серьезная цифра.

Конкурс новых пьес «Евразия» был, очевидно, задуман Николаем Колядой как проект, расширяющий границы познания. Для него, уже реализовавшего себя в качестве человека, пишущего для современного театра, и в качестве создателя собственной школы драматургов, важно не свариться в собственном соку. Премия, на которую каждый год претендует несколько сотен текстов, позволяет соотносить мощный пласт уральской литературы с другими течениями и веяниями современной пьесы.

Для автора статьи, который по совместительству состоял в жюри «Евразии», в этом потоке хороших пьес случилось два открытия. Прежде всего это «Дембельский поезд» Александра Архипова, ученика Николая Коляды, пьеса которого на момент получения 1-й премии в номинации «Пьеса о подростках» уже была поставлена в трех театрах страны. Этот дембельский поезд никуда не едет, стоит на запасных путях истории, служа даже не больницей, а реабилитационным центром для трех искалеченных войной юнцов — тяжело раненных, контуженых, но и больших нравственно. С кем эта война — неизвестно, но имеет ли вообще смысл напоминать обществу о том, *какая* война имеется здесь в виду?! Кто знает — догадается, кто не желает знать — едва ли захочет дознаваться. Архипов — уральский журналист, намеренно подчеркивающий, что на фронте не был, всячески бежит

правдоподобия и публицистической откровенности; реалистичная картинка здесь предельно мимикрична, все время смазывается. То самопародией на «афганскую тему» с разрыванием тельняшек и судорожными припадками, то синефильской игрой в самурайский кодекс воина, напоминающей идеи фильма Джармуша «Пес-призрак», то, наконец, густой «театральщиной» в солдатских монологах, где актерской игры, каботинства, навязчивой арлекинады, репризности, кажется, побольше, чем реальных человеческих ощущений. В этой размытости быта и игры заключен определенный парадокс. В тыловом госпитале, как некогда в «раковом корпусе», сосредоточились вообще все «состояния» современного общества: самолюбование и пьяная болтовня, безнадежное ожидание, затянувшееся выздоровление, исключительная брошенность человека, неспособность быть коллективом даже в замкнутом пространстве лазарета и военное положение как норма бытия. Над всей пьесой облаком висело ощущение бредовой морфийной галлюцинации, будто и нет вовсе этой столь наглядной реальности, будто растворилась она в фантомных болях деморализованной дембельской тройцы — жертв политического просчета.

Второе открытие «Евразии» — пьеса начинающего белорусского драматурга Николая Халезина «Я пришел» (спецприз жюри). В Халезине — опальном политическом журналисте, известном галеристе и бывшем сценографе, решившем реализовать свои литературные и прочие способности в пространстве театра, чувствуется зрелость, эмоциональная сдержанность, даже привлекательная скудость средств, сразу бросающихся в глаза на фоне пьес совсем юных максималистов. Текст пишется цельно, блоком, продуман во всех его частях. Попытка самоструктурирования и саморежиссуры, которая пригодится ленивым постановщикам. Сразу же, в первой ремарке, — моментально зримый сценический ход: анфилада из семи разноцветных комнат, соединенных дверями и расходящихся по спирали. Из верхней, последней, комнаты видно нижнюю, первую. Для умных — отсыл к дантовской структуре ада. Подымающуюся вслед за этим метафорику венчает имя главного героя, который «пришел» к магической спирали, — Гвидо. От имени героя — еще один моментальный выстрел, в сторону всего итальянского Ренессанса. Пугающее обаяние Ватикана и высокий строй католической морали — редчайший «интерьер» для современной пьесы, более обеспокоенной «здесьностью», чем диалогом с вечностью. Халезин ввергается в небанальный разговор о нравственности, о жизни после смерти и бесправии человека перед кодексом неземных сил. Еще не старый Гвидо не по своей воле является в мир иной, и Ангел обучает «бывшего» человека правилам жизни после жизни. Пройти всю спираль снизу вверх, переживая встречи с самыми близкими людьми, в скоростном режиме несколько раз повторяя свою жизнь и только исключительной искренностью открывая себе двери на высшие этажи. Адская душевная работа по восхождению к «седьмому небу», где тот же Ангел поджидает героя, чтобы провести в еще более загадочные интерьеры или вернуть назад, к исходной точке мироздания. Религиозная интонация и житийность для новой драмы — не новость. Взять хотя бы насквозь агиографичный «Пласталин» Василия Сигарева (см. наш отклик в № 3 «Нового мира» за 2002 год) или «Психоз 4.48» Сары Кейн. У Николая Халезина традиция «моральной», религиозно-учительной литературы не только осовременивается за счет реалий и ритмов наших дней, но и самым отменным образом театрализуется, превращается в сценический притчевый парадокс. Серьезность темы и ответственность замысла корректируются бодрими, крепкими диалогами, пронизанными внутренними конфликтами, бытовой трескотней и милой речевой мелочевкой, которую с удовольствием озвучит любой актер. Разговорная драма «Я пришел» — не простая, не на уровне «семечек» — так и просится на сцену, и надстройки смыслов никак не могут помешать театрам реализовать свежо и по-новому написанную «человеческую комедию» о небесах, которые ждут от человека прежде всего поступков.

Надо сказать, что новые пьесы из Минска сегодня лучше всего отвечают культурным интересам союзного государства, в полной мере представляя на российском рынке альтернативную национальную культуру. Стоило молодому и плодовитому драматургу Андрею Курейчику стать известным в Москве и отныне ответственность в российских театрах за белорусскую драматургию, как за ним — подвижником и пас-

сионарием, кстати, высоко ценимым на родине, — тут же выстроилась очередь драматургов, потенциально готовых завоевывать культурное пространство Большого Соседа. В этой связи важно отметить, что пьесы белорусского мастера Алексея Дударева до сих пор составляют заметную часть репертуара российских и белорусских театров. Редкий случай: это драматург, не только оказавшийся творчески способным и востребованным театрами и до, и после перемены власти в стране, но и перенесший в новое время все лучшие традиции, имевшиеся в советской драме.

С таким наследством белорусские драматурги мощно заявляют сегодня свою волю на «Евразии». Андрей Курейчик получает 3-ю премию в основной номинации «Пьеса на свободную тему» за текст «Три Жизели», написанный по заказу московского театра «Современник». Отменная документальная драма о Жизели Купес — француженке, после войны переехавшей жить в Россию. В тексте смешались три эпохи — военная, когда юная Жизель встречает бойца освобождения, белорусского солдата Сергея Буряка; 1957 год — Жизель работает дояркой в пьяном колхозе; и наши дни — обнищавшая пенсионерка спустя десятилетия встречается с сестрой и подводит итог жизни.

Молодой белорус Павел Пряжко, совершенно зря скрывающийся под эпатажным псевдонимом Афродита Дубовик, взял спецприз жюри за актуальный «Серпантин» — драматическое вариации на тему телевизионных реалии-шоу, завершающихся бунтом человеческой природы, зажатой в тиски чудовишного бизнеса. Вслед за Курейчиком и Пряжко идет Константин Стешик, пока отмеченный только вниманием жюри, — легкий на слова автор, пишущий «короткометражные» трэшевые страшилки с потрясающими диалогами в духе Хармса и чернушного европейского кино.

У Коляды так много вполне успешных учеников, чьи пьесы составляют сегодня весомую часть российского репертуара, что уральская драматургия и ее победы стали легендой; недаром в пьесе Виктора Тетерина, представленной на конкурс, один из героев даже афористично взывает к собратьям, используя названия ключевых пьес Василия Сигарева: «Мы все едим Пластилин, мы все пьем Черное молоко».

В русле сигаревского «Пластилина» развивается драматургия совсем молодого автора Антона Валова. «Рецидив трусости» (2-я премия в номинации «Пьеса о подростках») — городская сага о тинейджере с неопределенным поэтическим настроением и удивительной способностью попадать в приключения. Особый уральский авантюризм заключается в насущной потребности пребывать на грани поэтического восторга, где то и дело грезится призрак несравненного Виктора Цоя или же народного философа Митрича, — или на грани смерти, где в каждом празднующемся прохожем можно встретить своего невольного убийцу. Причем для подростка Валеры Шатова обе грани равно привлекательны. Форма пьесы — все та же, сигаревская — заимствует модный принцип европейского арт-хаусного кино — мелко-мелко дробить эпизоды, более подходящие на вспышки фотокамер, чем на звенья цельного сюжета. Более сильное впечатление, граничащее с отторжением, оставляет второй текст Валова «Качели за окном», удостоившийся попадания в шорт-лист. Жуткая до омержзительности реальность пьяной раздолбанной семьи взрывается ярчайшими театральными диалогами в духе капитана Лебядкина, превращающими проклятую жизнь алкоголиков в карнавал бесовских сил, в тошнотворный праздник булькающей, хихикающей, гогочущей гадкой плоти, корчащейся на своей последней тайной вечере, на своем домашнем Страшном суде. Где финальной расплатой явится семилетний ребенок-инвалид, словно распятый на костылях, смиренно выслушивающий подловатую песенку взрослых о «белокрылых лошадках, что мчатся без оглядки».

Острое женское слово в русле «Пластилина» звучит в пьесах «Русская рулетка» Юлии Максимовой и «Выхода нет» лауреата спецпремии жюри Гульнаны Ахметзяновой. Две пьесы о девушках-подростках демонстрируют весьма страшную вещь: социальное отчаяние и отчуждение становится абсолютной нормой не только для героев пьес, но и для их авторов, отказывающихся даже от намека на возможную победу добродетели в мире, подчиненном законам насилия и произвола. В «Русской рулетке» у двух отчаянных девушек есть только два варианта, как вступить во

взрослую жизнь: подчиниться навязчивому домогательству «чурки» (в конце пьесы уведомление: «Автор не имеет никаких расовых предубеждений») или быть растоптанными и изнасилованными его же дружками. В пьесе «Выхода нет» примерно та же ситуация приводит выводок семнадцатилетних подружек к третьему варианту — лесбийской любви, в данном случае дающей героиням шанс освободиться от навязчивого круга жизни, в который попадают их сверстницы, — пьяная семья дома и чудовищные уличные отношения с сильным полом. Сексуальная аномалия становится глубоко продуманным и самым надежным шагом к отчуждению от взрослого мира, от которого не придумано иной действенной защиты. «Нас не догонят» — имеют полное право сказать уральские «татушки», принявшие решение «уйти из этого мира», где и взаправду «выхода нет», как пишут в московском метрополитене — этом недостижимом для девочек с уральских улиц достижении цивилизации.

2. Братья Пресняковы

Братья Владимир и Олег Пресняковы — уральские авторы, развивающиеся параллельно колядовской школе, — будучи в статусе мэтров, в конкурсе не участвовали; но в рамках разговора об уральской драматургической аномалии невозможно не сказать коротко об их двух последних пьесах, уже принятых к постановке в Москве, — «Изображая жертву» и «Воскресение. Супер».

В конце 80-х уральский рок был сочетанием переливов новой музыки, близкой к скупому свечению уральских самоцветов, и ударной волны перестроечных откровений, газетной правды, разводов реализма по сырому месиву родной земли. Екатеринбургская драматургия сегодня возродила тогдашнее всероссийское влияние уральской культуры. Она продолжает дело и славу уральского рока: рвать и жечь души, волновать и корезить сознание зрителя, делать красиво и больно одновременно. Пресняковы, авторы прославленных пьес «Терроризм» и «Пленные души», — сегодня едва ли не главные драматурги страны. И если это кого-то не устраивает, то претензии лучше направлять сразу к самой жизни российской. Она такова, как показывают ее летописцы наших дней братья Пресняковы — умные и злые, жутко ироничные и в то же время видящие все в каком-то правильном, двойном освещении. Ни одного провального текста за всю карьеру, феноменальный творческий рост, признание в России и на Западе.

Главный герой пьесы «Изображая жертву» Валя — подросток с андрогинным именем, ускользящий от характеристик, без свойств и запаха, — возбуждает гневное любопытство старших. Живет и спит не снимая бейсболки. Дома кушает китайскими палочками, провоцируя дядю на дико смешной монолог о том, что «мы к палке приделали черпалку. В России, чтобы жить, нужно загребать побольше». Работает в милиции, «изображая жертву» на следственных экспериментах с подозреваемыми. Человек-призрак, человек без имени. Криминальные дела подбираются, как назло, самые идиотские — алкаш пошел мусор выносить, хлопнул дверью, от порыва ветра снесло вниз жену, мывшую окна; кавказец решил отомстить любовнице и утопил ее в бассейне, схватив за ноги. В самом финале следователь в чине капитана раздражается длинной матерной тирадой, в которой заключено ядовитейшее раздражение по поводу жизни вообще. Мир сошел с ума, и новая Россия не дает поводов понять ее умом. Только по матери.

По сути, «Изображая жертву» — это фильм Карена Шахназарова «Курьер», переименованный для наших дней. В свое время это был фильм целого поколения, пьесы Пресняковых должны стать таким же «мессиджем» современникам от современников.

Пьесу «Воскресение. Супер», которую некоторые неосведомленные знатоки считают инсценировкой толстовского романа, проще назвать извращенной фантазией по его (романа) поводу. На самом деле это гигантское по своей масштабности полотно, цель которого — спародировать и дозволенным литературы способами прищучить миф о российской интеллигенции. Причем миф как шестидесятилетний, советский, так и миф XIX века, выработанный всем корпусом классической отечественной словесности. От «Воскресения» остался, пожалуй, только Нехлюдов — двоюродник, влюбленный в народ, готовый ему благодетельствовать и ему же покровительствовать, твердо уверенный в том, что народ жертву эту поймет и примет как

должно. В первой же сцене Нехлюдов проявляет чудеса режиссуры — тщательно организует бутафорскую народную массовку, чтобы запечатлеть на холсте для истории свою первую знаменательную встречу с Масловой. Больше всего Нехлюдову удаются сцены публичного самоедства: «Понимаешь, Катюша, мне стыдно и гадко. Да! Мне тошно... Я думаю, все время думаю, что вот зачем я живу, а зачем живу, если все равно умру?! Зачем Николенька Иртенев умер, а я живу?» (*Заваливает Катюшу.*)»

Сотня персонажей, исторические декорации и масленичная ширь пародийного эпоса. Еще не доводилось видеть такого монументального пасквиля на российского джентльмена с его кричащей демагогией и неколебимой верой в собственную исключительность, с его любовью к народу, в которой сублимируется безделье и праздность, с его многоэтажным лицемерием и малограмотным русофильством. Словечко «супер» в названии текста и в болтовне главного героя — это присказка-паразит, нечто вроде нехлюдовского девиза, фирменное клеймо нехлюдовского человеческого типа, у которого острые приступы меланхолии и человеколюбия сочетаются с самым сытым и развеселым барством.

КИНОБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

«ВОЙНА И МИР»-2

Новый фильм В. Тодоровского «Мой сводный брат Франкенштейн» — своеобразный ответ «Войне» А. Балабанова и его же «Брату» и «Брату-2»

Тот же герой — мальчик, демобилизовавшийся из Чечни и принесший в мирную жизнь лишь навыки ближнего и дальнего боя. То же простое сознание: мир делится на «своих» и «чужих»; «чужих» надо мочить, «своих» — защищать, не спрашивая, хотят они этого или нет. Только у Балабанова подобное сознание было признаком некой спасительной «правды» и «силы», а у Тодоровского оно — клинический симптом несовместимого с дальнейшей жизнью повреждения психики. И война здесь — не пространство национального самоутверждения, где мы можем показать европейцам и азиатам, чего стоит русский человек, а национальный кошмар, мина замедленного действия, подведенная под хрупкий мир социума.

Казалось бы, с такой пацифистской позицией трудно не согласиться. Однако, по мне, «Франкенштейн» — фильм еще более страшный и безысходный, нежели «Война», ибо вольно или невольно Тодоровский обнаруживает полную нищету либерализма, гуманизма, пацифизма и прочих цивилизованных «измов» в нашем несчастном сообществе.

Балабанова в «Войне» мир как таковой не интересовал. Несколько дежурных, картонных планов: бездушные чиновники в кабинетах, словно срисованная с плаката семья героического капитана Медведева, бессмысленные друзья-приятели, ненужная девица в постели, мать и отец с их совершенно непонятными отношениями... От всего этого герой при первой возможности убежал туда, где его мироощущение было адекватно реальности, туда, где кругом враги, с которыми надо биться, где рассуждения о правах человека — несусветная ересь и прав тот, кто стреляет первым.

Тодоровский разворачивает конфликт двух типов сознания — милитаристского и гуманно-цивилизованного — исключительно на фоне мирной жизни. Перед нами интеллигентное столичное семейство — папа-физик (Л. Ярмольник), мама-риэлтор (Е. Яковлева), сын-подросток, трогательно лопухая дочка лет девяти, — на голову которому вдруг сваливается невесть откуда побочный сын и сводный брат по имени Павлик — плод давнего и прочно забытого папиного приключения. Двадцатилетний инвалид войны — нескладный, одноглазый, весь израненный. В отличие от балабановского Ивана, который, как человек вменяемый, понимал, что принятый на войне способ существования как-то территориально локализован, Павлик привозит свою войну в голову, и пространство столичного мегаполиса для

него точно так же населено «духами», полно опасностей и подчинено законам прифронтовой полосы, как какой-нибудь Ножай-Юрт.

Сосуществование в едином пространстве людей с абсолютно несовпадающей картиной мира — многообещающая завязка. Первые двадцать минут фильма авторы извлекают из нее множество трагикомических аттракционов. Вот дети приходят ночью посмотреть на спящего родственника; сестра трогает его ногу, нога отваливается, точнее — не нога, а торчавший из-под одеяла ботинок. С криком: «Ой! Это не Павлик» — девочка бросается к брату, а тот обнаруживает свернутую под одеялом «куклу». Павлик тут же, улыбаясь, вырастает у них за спиной: «Я чердак проверял. Кажется, там — „духи“».

Вот на приеме у окулиста Павлик просит, чтобы ему вставили бриллиантовый глаз. «Зачем?» — «Так ведь красиво. Чтобы девушкам нравилось». Вот брат Павлика с компанией приятельниц, хихикая, смотрят классического «Франкенштейна» с Борисом Карлоффом. Присоединившийся Павлик спрашивает: «А чего он такой?» — «Его никто не любит», — отвечает барышня посерьдобольнее. «Да кто ж такого полюбит?» — ухмыляется Павлик. И т. д.

Есть происшествия более тревожные. В подворотне на «Франкенштейна» нападают подростки. Повалив одного на землю и почти придушив, Павлик хрипит: «Кто вас послал?» — «Да брат твой». Придя к брату, Павлик заявляет авторитетно: «Тут меня хотели на тебя развести. Ты, это, будь осторожнее». Или же в один прекрасный день Павлик уводит сестренку из школы. Родители в шоке, бегают, ищут и находят обоих на Киевском вокзале, где Павлик собрался встречать боевого друга Ваську Тобольцева, который, как выясняется впоследствии, погиб чуть ли не у него на глазах.

Операцию калеке меж тем не делают — очередь. А без очереди — только за деньги. Перспектива прожить полгода бок о бок с несчастным подталкивает родственников на отчаянные шаги, вплоть до просьбы к свекрови продать дачу, на что свекровь, понятное дело, отвечает отказом. В военкомате разводят руками: «Ничем не можем помочь». Правда, в коридоре военкомата случайно обнаруживается бывший командир Павлика — Тимур Курбатович (С. Гармаш). Серьезный, седой, обстоятельный, рассказывающий о странностях в поведении Павлика; тот степенно кивает, сочувствует... Идея с бриллиантовым глазом ему нравится: «А что, красиво!» Тимур Курбатович докладывает о смерти Васьки Тобольцева, и в какой-то момент в странноватом сине-зеленом освещении он тоже кажется мертвецом, выходцем с того света. Начинаешь подозревать, что, может, не только Васька, но и Тимур Курбатович, да и сам Павлик с его паранойей — «духи» и нам сейчас покажут мистический триллер — что-то вроде «Шестого чувства». Но нет, это не смерть, это болезнь. Наутро прибегает соседка с криками, что Павлик влез к ней в окно, на смерть перепугав заночевавшего хахалю. Родители бросаются к окнам и видят, как Павлик с Тимуром Курбатовичем сосредоточенно пробираются по карнизу: соседкин гость им обоим показался весьма подозрительным. Полковник, в общем, — тоже больной на всю голову.

Обозначив таким образом неодолимую пропасть между «военным» и «мирным» восприятием наличной действительности, фильм... останавливается. В принципе, герои, принадлежащие к разным мирам, по всем законам драматургии должны начать как-то взаимодействовать. Этого, однако, не происходит.

Предъявленный в завязке конфликт можно было бы развивать разными способами. В комическом ключе: Павлик втягивает все семейство в свою войну с «духами»; они осматривают чердаки, учатся стрелять, роют окопы на даче и, пройдя «курс молодого бойца», обретая готовность в любой момент дать отпор «условному противнику», как-то освобождают сводного брата от мучительной тревоги за близких. В мелодраматическом ключе: Павлика, несмотря на странности, все в семье любят и принимают, но вмешиваются какие-то посторонние обстоятельства, и Павлик гибнет. В ключе бытовом: научившись справляться с приступами его паранойи, семья находит Павлику место и занятие в жизни; он сидит в задней комнате, починяет часы и примусы, имеет вставной, пусть и не бриллиантовый, глаз и

время от времени отправляется на Киевский вокзал, чтобы дать по радио объявление: «Василий Тобольцев! В центре зала вас ожидает ваш боевой друг Павел Захаров!» В ключе трагическом: несмотря на все усилия родных, трагическая вина — воспоминания о зачистках, убийствах женщин и детей, гибели товарищей — разрушает героя, он сознательно ищет смерти и находит ее. И т. п.

В фильме есть эпизоды, намекающие на каждую из этих возможностей, но последовательно, до конца не реализована ни одна из них. Какого-либо устойчивого контакта между людьми «мира» и человеком «войны» так и не возникает. Павлик наглухо замурован в своей фантомной реальности, и поступки близких — вплоть до откровенного предательства — решительно не производят на него впечатления. Близкие, конечно, реагируют, но на что? Маму с папой смущает, к примеру, не то, что сын, больной калека, влез на карниз, а то, что соседка явилась с претензией. Именно после этого эпизода мама настойчиво предлагает папе поместить Павлика в стационар. Но там — жутко: здоровые молодые мужики мычат и блеют, как бараны. Папа на такой шаг не решается. Вместо этого они с сыном отправляются в баню, где Павлик героически выигрывает битву за веник (какой-то здоровый хам решил позаимствовать, не спросив, заветный атрибут банного ритуала и тут же получил шайкой по кумполу).

Воодушевленные победой над хамом, папа с сыном являются домой, а там — гости, свой круг, светская, интеллигентная вечеринка... Ледяной взгляд жены: «Зачем ты его привел?» И тут еще, как на грех, Павлик выступает с рассказом, как они с Васькой Тобольцевым «утюжили» чеченское село, после чего ему два дня пришлось отмывать кровь с колес. Гости фраппированы. Папин лучший друг доктор на прощание не подает папе руки... Конфуз и ужас. Мир рушится. Тут и срывается эта семья: истерика, бурная семейная сцена с битьем по лицу, с вываливанием всего, что копилось под спудом интеллигентских приличий: «Ты — ничтожество! Ты ничего не можешь!» — и проч. Затем — примирение, жена умоляющим голосом просит: «Пожалуйста, огради нас от этого!» — «Хорошо! — говорит папа, вывозит сына, как собаку, в чисто поле, дает денег на дорогу: — Уезжай к тете». Самое трогательное, что сразу после этого следует эпизод, где на вопрос дочери: «А где же Павлик?» — оба родителя наперебой, фальшивыми голосами предлагают купить девочке таксу.

Собственно, на этом фильм можно было бы и закончить. Зарисовка на тему: предательство покалеченного народа со стороны «вшивой интеллигенции» — готова. Но, видимо, не это входило в планы создателей, и кино продолжается. Павлик возвращается. Точнее, его возвращают — благожелательно выдают из милиции: он опять кого-то избил, но «пострадавший (лицо, видимо, не той национальности) претензий не имеет». У папы от этого дрящегося наваждения тоже начинает потихонечку съезжать крыша. Забравшись в поисках «духов» вместе с Павликом на чердак, он чуть не до смерти забивает обнаруженного там бомжа; и уже Павлик останавливает отца: «Ты чё, батя? Это ж бомжи».

А сразу вслед за тем без всякой связи с предшествующими сюжетными «крючками» и «петлями»: бомжами, происками и ревностью брата, девочками, подозрительными соседскими гостями и проч. — практически на пустом месте вдруг начинается бешеный триллер. Павлик похищает детей. Родители в панике находят записку, где тот велит им сесть в такую-то электричку и при встрече делать вид, что они — незнакомы. В ужасе они несутся в вагоне куда-то в ночь, не смея взглянуть на смертельно перепуганных отпрысков... Выскакивают вслед за детьми на станции, теряют из виду, умирают от страха... Но Павлик, как заправский разведчик, подает знак из-за припаркованной в тени поодаль машины. И снова они мчатся в крошечную неизвестность. «Куда мы едем?» — «В безопасное место». — «Зачем? Что они нам сделают? Ведь тут женщина, дети?» — «Для них нет ни женщин, ни детей. Как и там для нас не было. Только враги». Машина останавливается: дачный поселок — их собственный, Павлик открывает ворота, велит бежать к участку; на беду подвернувшийся охранник кричит: «Стой! Вы куда!» — Павлик разворачивается, стреляет... И вот уже темный дом превращен в осажденную крепость, со всех сторон наступают омоньцы с автоматами, металлический голос взывает: «Павел Захаров! Сдавайтесь! Вокруг свои!» — куда там свои! Пули свишут, дети на

чердаке тихо плачут: «Мама, мне страшно!» Отец лихорадочно пытается открыть забитое слуховое окно. Наконец ему это удается, он выпускает жену и детей и обреченно-устало, привалившись к стене, последний раз говорит: «Павлик, не стреляй. Здесь нет врагов. Это — свои». — «Не бойся, батя! У меня патронов хватит. Мне командир три обоймы дал». Махнув рукой, отец тоже покидает дом через крышу, открыв ОМОНу путь к штурму.

Под прикрытием громил в бронезилетах семейство торопливо покидает поле сражения. И финальная сцена: окраина поселка, выстрелы за кадром стихают, милицейские чины поздравляют друг друга с успешным проведением операции, а спасенная семья стоит, обнявшись, возле машины: кошмар закончился, жизнь продолжается... «А был ли мальчик?»

Во время пресс-конференции на фестивале «Кинотавр» актрису Елену Яковлеву спросили: «Как же эта семья будет жить дальше?» И умная, тонкая актриса, замечательно сыгравшая свою роль, ответила: «Если бы они сразу сдали Павлика в психушку, не знаю, как они жили бы дальше. А тут просто так сложились обстоятельства. Ничего нельзя было поделать. Это — тупик».

Так про что же все-таки это кино? Про родственные чувства к человеку с «другим» сознанием или про обстоятельства, которые сильнее родственных чувств? Про сказочного монстра, гомункулуса, «доброе внутри», но обреченного гибели как существо, представляющее смертельную опасность для окружающих, или про человека из плоти и крови, сына и брата, попавшего в беду, которого близкие в критический момент просто «сдали», как собаку на живодерню?

«Война» Балабанова — при всей ее антипацифистской риторике — картина, которой не откажешь в мифологической и эмоциональной последовательности. Фильм Тодоровского, по ощущению, шатает из стороны в сторону. Здесь одни точно и убедительно решенные эпизоды противоречат другим, жанровые эффекты взаимно аннигилируются, эмоциональные акценты расставлены так, что сбивают с толку, и единственное чувство, которое испытываешь после просмотра, — раздражение. Ну нельзя же так! Нельзя так писать сценарии, особенно если дело касается крайне болезненных ценностных и психологических проблем современности! Ведь кино манипулирует эмоциями, давая зрителям возможность пройти определенный внутренний путь и — в идеале — обрести психологический опыт овладения ситуацией. Здесь зритель обретает лишь опыт безысходности и предательства. Лишь чувство вины — непонятно, впрочем, за что. Поскольку выбора героям — и соответственно зрителю — не оставлено.

Авторы возразят: мы и снимали про безысходность, про ситуацию, где нет выбора... Но мне почему-то кажется, что причиной эмоционального тупика, в который заводит картина, является не глубина экзистенциального отчаяния режиссера В. Тодоровского и сценариста Г. Островского, а какая-то изначальная порочность драматургической конструкции. Конфликт двух типов мировосприятия подан в картине как сшибка двух мнимостей, как столкновение безумия с фальшью — двух пустых оболочек, из которых при всем желании не вышелушить ядро человечности. И никакой режиссерский талант Тодоровского, виртуозно извлекающего из потока экранных образов всю гамму эмоций — от смеха до ужаса и сострадания, никакие самоотверженные усилия Л. Ярмольника и Е. Яковлевой, с невероятной отдачей и филигранной точностью изображающих на экране все оттенки интеллигентского ханжества, то и дело срывающегося в истерику, ни сверхъестественная органичность Д. Спиваковского, сыгравшего несчастного Павлика так, что его не забыть, как раненую собаку, не искупают недостатков сценария, отмеченного странной нечувствительностью к человеку как таковому, а не просто как к средоточию фобий, маний, комплексов и социальных стереотипов.

Та же проблема была и в предыдущем фильме Тодоровского и Островского «Любовник». Два мужика — муж и любовник умершей женщины — всю дорогу выясняли, кого же она любила, да почему изменяла, да чего же ей не хватало, — но так ни к чему и не пришли. Слово женщины и не было вовсе, словно бы пятнадцать лет они прожили рядом с фантомом, занимаясь исключительно самими собой и своими переживаниями.

В фильме «Мой сводный брат Франкенштейн» предмет рефлексий — мальчик — присутствует на экране: живой, убедительный, трогательный, несчастный. Прочие же герои — интеллигенты и гуманисты — озабочены своими деяниями по отношению к нему и оценкой этих деяний со стороны окружающих; но никакой абсолютной, неповторимой ценности этот самый Павлик для них не представляет. Оттого и сдают его так легко, несмотря на благие намерения и хорошее воспитание.

Вот и получается у нас кино про то, что соль — не соленая, мыло не мылится, а гуманизм лишен человечности. И понятно, что в конфликте с ментальностью, замешенной на зовах крови и почвы, такой гуманизм — обречен.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

«WE'RE ALL IMMORTAL»

Я наткнулся на эту заметку, готовя новости HiTech. Я даже помню, что именно искал, — описание беспроводной мыши.

Форум, на который я забрел, — довольно известное место в Сети. Здесь печатаются в основном статьи и обзоры, посвященные новому программному обеспечению, новым аппаратным средствам и разным прочим сетевым примочкам, «фишам» и «багам» — то есть неожиданным возможностям и досадным ошибкам. И здесь идет не прекращающийся ни в какое время суток разговор. Это известный форум, но подобных ему в Сети очень, очень много. Профессиональный разговор прерывается суждениями вполне отвлеченными, бывает весело, бывает и занудно. Все как везде.

Заметка Эндрю Томаса — одного из постоянных координаторов форума — полный «офтопик», то есть совершенно не в тему. Но именно она остановила мое внимание и заставила задуматься уже не о беспроводных мышках и прочем новостном соре, а о Сети как о пространстве-времени, в котором человек живет, живет и продолжает жить после смерти. Заметка называется «We're all immortal»¹ («Все мы бессмертны»).

Она показалась мне настолько серьезной, что я приведу ее в своем переводе почти полностью. Один термин, я думаю, следует объяснить: «пост» — в этой заметке — это запись в гостевой книге. Эндрю пишет:

«Около двух лет назад этот человек умер. Я никогда не встречался с ним, никогда не видел его фотографий, никогда не говорил с ним по телефону. Он жил на другом краю планеты. Почему же я плачу?»

Я общался с ним только одним способом: мы обменивались электронными письмами и постами на нашем форуме — то есть обычными текстовыми сообщениями, в которых иногда мелькали смайлики. Мы переписывались года два, и он стал моим другом. И я почувствовал, что знаю его лучше, чем многих людей, которых встречаю каждый день.

Когда он вдруг перестал появляться на форуме, я и несколько других постоянных участников обсуждения почувствовали, что произошло что-то плохое. И через несколько дней мы узнали, что он умер. И мне не стыдно признаться, что слезы навернулись на глаза. Я никак не ожидал, что его смерть произведет на меня такое впечатление, самое сильное после смерти моей матери. Многие участники форума почувствовали то же, что и я. И мы переименовали наш форум и в честь ушедшего назвали его „Пещера отшельника”.

Есть что-то очень личное и даже интимное в электронной переписке. И это чувство действительно теряется при реальной встрече лицом к лицу. Многие участ-

¹ <http://www.theinquirer.net/?article=11601>

ники нашего форума встречаются в разных точках Великобритании, некоторые, но гораздо реже — в Соединенных Штатах. Письма и посты от людей, живущих в Боме забытых местечках — в Люксембурге или Дании, имеют даже особую тонкую пикантность по сравнению с теми, авторов которых мы можем реально встретить. Это общение немного напоминает чтение книги или прослушивание радиопередачи, когда мы должны мобилизовать наше воображение, чтобы заполнить пробелы, чтобы представить лицо человека.

Но, конечно, важно и то, что мой умерший друг — Дон — был очень интересным человеком. Вот его собственные слова:

„Совсем кратко. Сын фермера. Два года в колледже. Пришлось бросить — на ферме нужно работать, чтобы платить за нее. Мы с приятелем установили 6 камер для систем мониторинга дамбы Даллеса. Много оборудования. Кабели. Усилители. Работа на монтаже кабелей и репитеров кабельного телевидения. Ферма, ферма — целый день. Но два плохих года — и ферма вылетела в трубу. Механик — где только можно. Тракторист. Рабочий на чужих ранчо. И так всю неделю. Наконец вернулся в школу. Закончил колледж. Работа в госпитале невропатологом. Бросил. Ушел. Программист и координатор. Писал программы для умственно отсталых. Ушел. Послал все это к черту. Проектирование и разработка программ для поддержки умственно больных, наркоманов и алкоголиков на дому. Рабочее время дробится на части, но нужно как-то сводить концы с концами. Детей нужно растить, и какие-то деньги для этого нужны. Несколько лет — здесь. Несколько лет — там. И так всегда — снова и снова”.

Прошлой ночью новичок нашего форума попросил рассказать о том, кем же был на самом деле Дон Мартин. Когда я начал просматривать мою старую электронную почту, я был потрясен тем, что все было в точности таким, как если бы Дон все еще был жив. Ничего не изменилось.

У меня был только один способ общения с этим парнем, и Дон остался в электронной переписке совершенно живым. Один из постоянных участников форума написал: „...того человека, которого я никогда не видел, чей голос я никогда не слышал, голый текст выражает гораздо сильнее, чем моя память того, с кем я реально встречался”.

Когда я читаю материалы Дона, комок подкатывает к горлу. Это сильнее того чувства, с которым я смотрю на фотографию моей матери, умершей несколько лет назад. Лицо на снимке — это только тень человека, а человек, который раскрывается за письмами и постами, — до сих пор абсолютно живой.

Так я наконец понял, чем Интернет может помочь нам. Мы останемся жить навсегда. На форуме „Пещера отшельника” — 300 000 постов. Не удаляйте их».

Я не переписывался с Доном. Я не являюсь постоянным участником этого форума. Но заметка Эндрю Томаса меня глубоко тронула.

Человек, выходя в Сеть, становится производителем текстовой информации — он пишет, и пишет много, иногда в сотни раз больше, чем до своего подключения к Интернету. Но письмо — это средство обмена конфиденциальной информацией. Пост — это публичное высказывание. Это может быть короткое замечание на форуме, написанное под псевдонимом и содержащее всего-то смайлик :)). Но, сделав этот шаг, человек становится тем, кем в эпоху Гутенберга были избранные, — он становится писателем.

Разница между устной речью и речью письменной огромна. Даже ерундовое публичное письменное высказывание требует совершенно другой сосредоточенности, требует отчетливой формулировки своих мыслей, если мы хотим, чтобы нас понял не один человек, который хорошо нас знает, а любой, кто составит себе труд прочесть наше сообщение. И это усилие, несомненно, сохраняется в тексте. Но есть и встречное движение. Человек, читающий пост в гостевой книге, тоже совершает усилие — усилие понимания. И это иное усилие, не совпадающее с тем, которое мы прикладываем, чтобы понять реального собеседника. Мы не видим мимики, не слышим голоса. Мы сосредоточены только на тексте. Как точно отметил Эндрю Томас — включается наше воображение, мы стремимся достроить образ человека, довообразить его. Это усилие очень похоже на то, которое мы проделыва-

ем при чтении книги, когда мы представляем себе героев Достоевского и Толстого, встретить которых в жизни у нас шансов вроде бы нет.

Но человека, который живет на другой стороне планеты, встретить тоже вряд ли удастся. Это в принципе не исключено, но настолько маловероятно, что такую возможность можно и не рассматривать. И что совершенно точно — мы никогда не встретим всех людей, с которыми нам доводилось поговорить на форумах.

По мере развития Сети мы пишем все больше и все больше читаем. Мы учимся видеть человека за скупыми строчками форумных постов и помогаем другому увидеть себя.

Конечно, можно обменяться фотографиями или поговорить по телефону, но это, как ни странно, не всегда необходимо. Написанное слово богаче. Слово оставляет нам гораздо больше свободы. Мы можем представить себе нашего собеседника таким, каким нам удобно. Представить его более соответствующим тем словам, которые он написал на форуме.

Встретив человека, нам его еще нужно разговорить, а у него может быть плохое настроение. Он может просто по характеру оказаться молчуном, и нам не удастся вытянуть из него ни слова. А на форуме он будет говорить тогда, когда ему удобно, о том, что ему интересно. Он раскроется перед нами по собственному желанию, а не потому, что будет вынужден к этому разговору краткостью встречи.

Эндрю Томас с горечью пишет о том, что фотография матери — это только тень человека. Это — лицо без слов. Если человек очень близок нам, общение практически не вербализируется. С самыми близкими говорить, в общем-то, особенно не о чем. Здесь работают другие каналы передачи информации: взгляд и улыбка говорят настолько много, что словами уже трудно что-то существенное добавить. И в результате, когда человек уходит, ты смотришь на его фотографию, в отчаянии пытаешься припомнить его слова, и не можешь. А помнишь? Не помню. Почти ничего не помню. Солнце пронизывает березняк. Синее небо. Мы с бабушкой идем собирать «огоньки». Оранжевые цветы по зеленому склону... Чем дальше — тем больше оранжевого... А ведь она рассказывала мне о своем детстве, о церковно-приходской школе, о том, как читала Писемского из приложения к «Ниве»... Много ли я помню из этих рассказов? Даже из тех, что слышал, уже будучи взрослым? Почти ничего. Речь умолкла.

Несчастный бесписьменный XX век! Век молчания! Век часов и телефона! Самого ненавистного мне изобретения человечества. Звонок врывается в твой мир, рвет ход твоих мыслей, разговор, требует ответа. Ничего не останется, сказанное слово смолкнет, а вот написанное...

Мир Интернета кажется ближе даже не XIX веку с его длинными обстоятельными письмами, а XVIII — веку романов в письмах, в которых письменное общение полностью моделирует и замещает невербальную реальность. Все, что мы читаем в этих романах, подано в виде прямой письменной речи персонажа и потому субъективировано и приближено к человеку — к читателю. Он читает чужую переписку так, как будто подглядывает через плечо. Конечно, роман в письмах строится по жестким композиционным правилам, сюжет строго просчитан. Но форма письма остается.

Сегодня человек пишет письмо, оставляет пост на форуме, кто-то ему отвечает. Чьи-то слова остаются без ответа. И вся эта огромная масса текстов на множестве языков выглядит как бесконечно длиющийся роман в письмах. Но если писателей всегда было мало и от народа они всегда были страшно далеки в силу того, что литературный талант — это редкость в любом обществе и языке, то сегодня каждый писатель своей судьбы. Ему не надо выдумывать персонажа — он может сосредоточиться на собственных реальных интересах и похождениях. Но человек может еще и выдумать героя — дать ему имя и вообразить судьбу. А это уже настоящее творчество. И выдуманный персонаж, и реальный письменный человек реализуются через посредство создаваемых текстов. И остаются в виде созданных текстов.

Человек уходит в Сеть. Уходит, чтобы остаться там навсегда. Он оставляет в Сети свои статьи, заметки, финансовые отчеты, свои письма, свои посты, странички... Он выражает себя все более и более полно. Он пишет каждый день. Он ведет публичный дневник. И часто даже не один. Он обнаруживает свои вполне домашние сочинения, например стихи на сайтах самопубликаций. Число мест, где человек оставляет все больше и больше информационных следов, увеличивается не по годам, а именно по часам.

We're all immortal. Бессмертны.

Конечно, то бессмертие, которое предлагает Интернет, — это ничто по сравнению с телесным и духовным бессмертием христианства. Но чтобы христианское бессмертие стало подлинной опорой в ежедневной жизни нужно быть крепким в вере. Конечно, тогда все эти игры с Интернетом покажутся паллиативом и подменной. Но Интернет не требует таких серьезных мировоззренческих предпосылок, он ограничивается куда более скромными. Та информационная форма бессмертия, которую дает Интернет, — это уже много. А это бессмертие сегодня дано практически каждому, а не только избранным и великим, как это было в прошедшие века. Информационная форма бессмертия — это шаг по направлению к мечте. Хотя на этом пути она и недостижима.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Максим Голицын. Глядящие из темноты. Хроники Леонарда Калганова, этнографа. Роман. М., «Эксмо», 2004, 480 стр., 4100 экз.

Новая, в жанре фантастического романа написанная проза Марии Галиной, выступающей на этот раз под именем Максима Голицына. Сюжетная завязка — люди будущего, изучающие в качестве наблюдателей чужие миры, в частности инопланетный вариант нашего, земного Средневековья, — обещает поначалу разработку хорошо знакомых по роману Стругацких «Трудно быть богом» мотивов. Но романист не ограничивает себя социальной проблематикой, он обращается к проблематике философско-нравственной и отчасти «теологической» — на материале достаточно традиционного для фантастики XX века остросюжетного повествования автор выстраивает сюжет, который позволяет поразмышлять о зыбкости наших внутренних «цивилизационных основ», о могуществе и беспомощности разума, а также над образом одиночества разума во Вселенной, как это обозначено в романе.

Александр Гольдштейн. Помни о Фамагусте. Роман. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 464 стр.

С прихотливой изощренностью написанная проза, в которой пересекаются несколько повествовательных потоков, связанных с «разновременными пространствами» — Средиземноморье, Россия, прошлое и современность, приключения мысли и чувства, «толкование идей и исповедальные приключения плоти». «Пленники диковинных, экзотических обстоятельств на сломе эпох, герои романа жаждут поступка и преображения, чтобы чудесным деянием расшевелить ткани мира, поколебать жесткую неподвижность материи», — из издательской аннотации, стилистика которой повторяет стилистику романа.

Евгений Гришковец. Рубашка. Роман. М., «Время», 2004, 288 стр., 20 000 экз.

Дебют в качестве романиста одного из самых популярных сегодня драматургов — книга, уже в момент выхода рассматривавшаяся издателями как претендующая на статус интеллектуального бестселлера. Журнал предполагает отрецензировать эту книгу.

Шеймас О'Келли. Могила ткача. Повесть и рассказы. Перевод с английского Людмилы Володарской. М., «Текст», 2004, 189 стр., 1500 экз.

Впервые на русском языке проза одного из классиков ирландской литературы Шеймаса О'Келли (1880 — 1918).

Кен Кизи. Демон Максвелла. Рассказы. Эссе. Перевод с английского М. Ланиной. СПб., «Амфора», 2004, 523 стр., 10 000 экз.

Книга короткой прозы автора знаменитого романа «Пролетая над гнездом кукушки» посвящена «переходу от бунтарских хипповых 60-х к эпохе, озаменованной глубоким сомнением в достижимости идеалов всеобщего братства и единения» (из аннотации).

Ольга Кучкина. Другие голоса. Романы, записки. М., «Эксмо», 2003, 3100 экз.

«Маленький роман» «Голос перехода на Пушкинской», «большой роман» «Голос золы» и записки «Голос меня» — создававшиеся как реальный дневник и одновременно как литература записи с 1954 по 1992 год.

Юрий Лейдерман. Олор. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 416 стр.

Новая книга в издательской серии «Soft Wave», на этот раз проза известного современного художника (а также поэта и художественного критика), одного из основателей группы «Медицинская герменевтика». «Персонажи Лейдермана — это герои мифов, потерявшие первоначальную цельность и вновь ищущие свою судьбу в разорванном современном мире, где реальность и тексты неразрывно переплетены» (из аннотации).

Юкио Мисима. Несущие кони. Роман. Перевод с японского Е. Струговой. СПб., «Симпозиум», 2004, 448 стр., 5000 экз.

Перевод еще одной книги классика японской литературы XX века — второго романа из тетралогии «Море изобилия».

Марина Пикассо. Дедушка. Перевод с французского Дмитрия Савосина. М., «Текст», 2004, 173 стр., 1500 экз.

Воспоминания внучки Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, написанные при участии Луи Валентина, — скорее художественная проза, нежели мемуары; основная тема книги — несовместимость гениальности и абсолютной внутренней свободы творца с нормальными отношениями в семье. Речь идет о тяжелейших психологических комплексах, которые сломали жизнь большинству близких Пабло Пикассо, придавленных темпераментом и всемирной славой художника. «Если при мне говорят о гениальности Пикассо, мне так и хочется ответить: да, он был гений. Но — гений зла». Изображая драму своей семьи, в конце книги автор делает попытку взглянуть на ситуацию беспристрастно: «Он, этот маленький человечек ростом чуть больше метра шестидесяти, был „Я — Пикассо“. Как у тореро, блистающего на песке арены, его единственной тоской и страстью была смерть. Его шпагой — кисть. Его мулетой — девственный холст. Ни мой отец, ни мать, ни мы с Паблито не сумели понять одиночество, в котором бился этот матадор. Никто не был допущен к этой корриде. <...> В конце жизни, пожелав остаться в одиночестве и творить из последних сил, он отринул мир. Частью которого были мы. <...> Я ожидала, что он приподнимет решетку, за которой укрылся. Быть может, он хотел этого. Я так никогда и не узнаю. Быть может, в тот момент, когда он мог это сделать, решетка оказалась слишком тяжелой, а он слишком устал».

Йозеф Рот. Направо и налево. Роман. Перевод с немецкого Анатолия Кантора. М., «Текст», 2004, 253 стр., 5000 экз.

Роман классика австрийской литературы Йозефа Рота (1894 — 1939), написанный в 1929 году на материале немецкой (берлинской) жизни 20-х годов.

Северный эпос. Памятники сибирского фольклора XVIII — XX веков. Составление, перевод, переложение, предисловие, комментарии А. В. Преловского. М., Академия поэзии; «Московский писатель», 2003, 616 стр., 1400 экз.

По-своему уникальное издание, представляющее широкому читателю и специалистам малую часть работы, проделанной за десятилетия современным исследователем и переводчиком эпического наследия народов Сибири. Вышедший том содержит поэтические переводы сказаний ненцев, долган, юкагиров, якутов, эвенков, телеутов, нганасан, забайкальских тунгусов и других аборигенов Сибири.

Ольга Токарчук. Правек и другие времена. Послесловие П. Чаплинского. Перевод с польского Т. Изотовой. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 336 стр.

Роман современной польской писательницы, ставший литературным событием 90-х годов. Произведение, по многим внешним признакам относящееся к так называемому авангарду, но в основе своей воспроизводящее жанр семейной саги. «Правек — это место, которое лежит в центре вселенной» — этой фразой начинается повествование; история польского местечка становится у автора метафорой истории Польши, историей Европы XX века.

Форд Мэдокс Форд. Солдат всегда солдат. Роман. Перевод с английского, вступительная статья, комментарии Н. Рейнгольд. М., «Б.С.Г.-ПРЕСС», 2004, 336 стр.

Впервые на русском языке самый известный роман писателя, имя которого до сих пор было знакомо нам благодаря комментариям к «Фиесте» Эрнеста Хемингуэя, написавшего своего Роберта Кона во многом с Форда. «Книжное обозрение» представляет роман как «своего рода иронический антидетектив, сюжет которого смонтирован в раму исторических событий в Европе XIX — XX веков».

Макс Фриш. Ното faber. Перевод с немецкого Л. Лунгиной. Монток. Человек появляется в эпоху голоцена. Из дневников. Опросные листы. Перевод с немецкого Е. Кацевой. **Фридрих Дюрренматт.** Судья и его палач. Перевод с немецкого Е. Кацевой. Подозрение. Перевод с немецкого Е. Факторовича. Авария. Перевод с немецкого Н. Бунина. Обещание. Перевод с немецкого Н. Касаткиной. Поручение. Перевод с немецкого Н. Федоровой. **Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт.** Переписка. Перевод с немецкого Е. Кацевой. М., НФ «Пушкинская библиотека»; «АСТ», 2004, 997 стр., 7000 экз.

Свое предисловие составитель книги и автор примечаний Евгения Кацева назвала словом-понятием «Фришидюрренматт», обозначив этим неологизмом некое литературное явление, существовавшее от имени швейцарской литературы второй половины XX века. Содержание предложенного составителем историко-литературного термина раскрывает состав этой книги.

Борис Хазанов. К северу от будущего. Русско-немецкий роман. М., «Вагриус», 2004, 255 стр., 1000 экз.

Новый (2003 года) роман Бориса Хазанова, главным героем которого стал бывший моряк-подводник с той самой подводной лодки «С-13», которая потопила в 1945 году «Вильгельма Густлофа». Повествование относится к послевоенным годам героя, ко времени его учебы в МГУ конца 40-х — это роман «о наследстве войны, о первых послевоенных годах, о юности этих лет на пороге ослепительного будущего, которое стало прошлым, так и не сбывшись. О холодном, словно из подземелья, северном, как сама Россия, дыхании, которым веяло от этого будущего» (от автора).



Людмила Алябьева. Литературная профессия в Англии в XVI — XIX веках. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 400 стр.

В монографии, написанной на обширном историко-литературном материале, рассматриваются различные аспекты социально-экономического положения литераторов и юридического статуса литературного авторства в Англии. Особо подробно автор останавливается на истории XIX века, в частности на литературной деятельности В. Скотта, Байрона, Вордсворта, Диккенса. (Из процитированного в книге письма Диккенса от 1839 года: «Огромная прибыль, которую „Оливер“ доставил и продолжает доставлять издателям; жалкая, нищенская сумма, которую я за него получил <...> сознание, что мне предстоит такой же тяжелый рабский труд на тех же условиях поденщика; сознание, что мои книги обогащают всех, кто с ними связан, кроме меня самого, и что в самом zenите своей славы и в расцвете сил я вынужден бархатиться все в тех же цепях и тратить свою энергию понапрасну для того, чтобы другие могли набить себе карманы, в то время как своей семье я с трудом обеспечиваю образ жизни, мало-мальски приличествующий ее положению, — все это удручает меня и лишает бодрости...»)

Михаил Ардов. Монография о графомане. М., «Захаров», 2004, 528 стр., 5000 экз.

«У меня — судьба несчастливая <...> священнослужители меня считают писателем, а писатели — священнослужителем, притом как те, так и другие не высказывают мне ни малейшего уважения. Мало того, я даже ощущаю неприязнь, которую испытывает ко мне кое-кто из собратьев по перу, а потому дерзаю повторить вслед за Александром Васильевичем Сухово-Кобылиным: „Класс литераторов мне чужд, как и остальные четырнадцать“. А коли так, мне приходится признать себя графоманом». Детство и отрочество на Ордынке — родители, друзья семьи, Ахматова, московские литературные и артистические нравы 50-х и 60-х в лицах и ситуациях, работа на радио, путь к Церкви, жизнь в Церкви и так далее — повествование заканчивается началом 90-х годов, смертью Бродского. Материал книги частично известен новомирскому читателю по публикациям Ардова в нашем журнале (в № 4, 5 за 1994, № 7 за 1997, № 1 за 1998, № 5, 6 за 1999, № 5 за 2000, № 5, 6 за 2002 год), но в данном случае перед нами не коллаж из уже опубликованного, а попытка целостного повествования.

Николай Богомолов. От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 624 стр.

Статьи разных лет одного из ведущих современных литературоведов, составившие три основных раздела книги: «От Пушкина до конца модернизма» (о Пушкине, Батюшкове, Гумилеве, Кузmine, Г. Адамовиче, Ахматовой, Мандельштаме, Пастернаке, Брюсове и других); «Бардовская песня глазами литературоведа» (Галич, Окуджава, Высоцкий); «Ерофеев, Бродский, Кибиров». Журнал намерен отреставрировать эту книгу.

Валерий Брюсов, Нина Петровская. Переписка. 1904 — 1913. Вступительные статьи, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова, А. В. Лаврова. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 776 стр.

Впервые издаваемая в полном объеме переписка, являющаяся, по мнению литературоведов, одним «из ключевых документов истории русского символизма», при том что письма эти посвящены прежде всего любви — «почти бесполезно искать в них извещий о внешней жизни и о литературных событиях, хотя оба корреспондента — писатели, один из которых просто не мыслил себе жизни без литературы и литературной политики». Тем не менее Брюсов впоследствии оставил письменное распоряжение о сроках и форме посмертной публикации этих писем — «личную жизнь он осознавал как весьма важную составляющую часть своего единого литературного облика и поэтому заботился о том, чтобы она была надлежащим образом документирована» (из вступительных статей).

Юрий Буртин. Исповедь шестидесятника. Под редакцией В. Г. Хороса. М., «Прогресс-Традиция», 2003, 648 стр., 1000 экз.

Собрание (далеко не полное) текстов одного из ведущих литературных критиков и публицистов 60-х и 90-х годов, сотрудника редакции «Нового мира» времен Твардовского Юрия Григорьевича Буртина (1932 — 2000). Статьи сгруппированы в три раздела: «Литература. Критика», «Политическая публицистика», «Теория и история». В Приложении воспоминания о Буртине И. Виноградова, Д. Фурмана, Л. Баткина, В. Савченко, В. Хороса, Г. Водолазова. Предисловие к книге Г. А. Явлинского.

Екатерина Ефимова. Современная тюрьма. Быт, традиции и фольклор. М., О.Г.И., 2004, 398 стр., 3000 экз.

Монография, посвященная субкультуре постсоветской тюрьмы. Разделы: «Тюремные мифы и ритуалы», «Символика тюремной субкультуры», «Устная словесность», «„Письменный фольклор“ и „наивная литература“». Половину объема книги занимают образчики творчества заключенных — стихи, песни, рассказы, фотографии наколок, рисованных открыток и т. д.

Вячеслав Иванов. Между Святым Писанием и поэзией. «Europa orientalis» XXI/2002:1 — Avellino, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Università di Salerno, 2004, 413 стр.

Вячеслав Иванов. Между Святым Писанием и Поэзией. «Europa orientalis» XXI/2002: 2. — Avellino, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari Università di Salerno, 2004, 398 стр.

Материалы международного, восьмого по счету, симпозиума, посвященного творчеству Вячеслава Иванова, состоявшегося в Риме (28.11 — 01.12. 2001.), изданные в двух томах. Среди участников конференции и соответственно авторов двухтомника С. С. Аверинцев, А. Архипов (США), Михаил Меерсон (США), Иван Голуб (Югославия), Памела Дэвидсон (Англия), Л. Гогатишвили, Джон Малмстад (США), М. Павлова, М. Вахтель (США), Марко Ронкалли (Италия), А. Л. Топорков, Н. А. Богомолов. Первый том посвящен теме «Между Библией и Поэзией», второй том — взаимоотношениям поэта с современниками. Тексты докладов на русском, а также английском, итальянском и немецком языках.

Александр Раппопорт. Девяносто девять писем о живописи. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 344 стр.

Известный философ и историк архитектуры в данном случае предлагает именно письма, позволившие автору в достаточно свободной форме сформулировать основные представления о современном (и не только) изобразительном искусстве, его эстетической идеологии, языках, истории и динамике, о внутренней логике в смене живописных стилей.

В. Н. Топоров. Исследования по этимологии и семантике. Том I. Теория и некоторые частные ее приложения. М., «Языки славянской культуры», 2004, 816 стр., 800 экз.

Первый том из трехтомной монографии, предназначенной специалистам в области индоевропейских языков, типологии, культурной антропологии, мифологии и ритуала. «Исследуемый материал — лексика индоевропейских языков. В центре книги — этимология славянских, балтийских, индоиранских, итальянских языков; предлагаются также и этимологии лексики древнегреческого, фракийского, иллирийского, тохарского, хетского языков. Объединяющей идеей исследования является реконструкция и семантика, т. е. определение смысловой мотивации обозначения анализируемого слова.» (Из предисловия.)

И. С. Шмелев и О. А. Бредиус-Субботина. Роман в письмах. В 2-х томах. Том I. 1939 — 1942. [Предисловие, подготовка текста и комментариев О. Л. Лексиной, С. А. Мартьяновой, Л. В. Хачатурян.] М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003, 760 стр., 2000 экз.

В том вошли 195 писем из более чем тысячи составивших переписку известного русского писателя Ивана Шмелева, жившего в Париже, и Ольги Александровны Бредиус-Субботиной (1904 — 1959), русской эмигрантки, ученицы философа И. А. Ильина, жившей с мужем в Голландии. К этой переписке Шмелев относился впоследствии как к своему последнему — очень личному, почти интимному — художественному произведению. Содержание писем кроме сюжета личных взаимоотношений двух адресатов включает также размышления Шмелева о литературе, воспоминания о России, описание жизни Парижа и эмигрантского литературного быта.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«АПН», «Время новостей», «Газета», «День и ночь», «День литературы», «Дети РА», «Еженедельный журнал», «Завтра», «Известия», «ИноСМИ.Ру», «Книжное обозрение», «Левая Россия», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературный европеец», «LiveJournal», «Москва», «Московский литератор», «Народ Книги в мире книг», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Польша», «Новое время», «Новые Известия», «Новый Журнал», «Огонек», «Октябрь», «Подъем», «Политический журнал», «ПОЛИТ.РУ», «Посев», «Русский Журнал», «Сетевая словесность», «Сибирские огни», «Складчина», «Спецназ России», «Страна.Ру», «Топос», «Труд», «Toronto Slavic Quarterly», «Футурум АРТ»

Лев Аннинский. Любить фантомы? — «Литературная газета», 2004, № 22, 2 — 8 июня <<http://www.lgz.ru>>.

«Да, человек, попадающий в Россию и желающий в России жить, должен обрусевать. Я говорю это без всяких колебаний, извинений и оговорок, что я не расист. Живете в России — становитесь русскими. Читайте Пушкина, Достоевского, Толстого. Включайтесь в образ жизни. Вживайтесь в контекст культуры. Вы не „лучше“ русских, вы — русские».

Здесь же: «Четвертому [Риму] не быть? Нет, дорогие, быть и четвертому, и пятому. История человечества идет вперед бросками Империй, Союзов, Содружеств, Согласий, в паузах между которыми этносы, племена и нации опоминаются от мировых штормов». Аннинский не знает, что значит «Третий Рим»?

См. также: Лев Аннинский, «Немертвые души» — «Литературная Россия», 2004, № 16, 23 апреля <<http://www.litrossia.ru>>; о романе Бориса Евсеева «Отреченные гимны» — в рубрике «А если это событие?».

См. также: «Я уважаю Льва Аннинского, он сделал хорошие публикации по нашим поэтам, в частности по Исаковскому. Но зачем он прицепился к безобразной строчке у Блока: заплеванной пол в церкви, заплеванная пол в церкви? Давай мы с тобой, миленький, обойдем 50 московских церквей. Если хоть в одной увидишь заплеванную пол, то плюнь мне в лицо. А не увидишь, тогда уж за мной будет право плевка...» — говорит Владимир Круппин («Литературная Россия», 2004, № 23, 4 июня).

Максим Артемьев. После «Собранного». Новые стихотворения Льва Лосева. — «Литературная Россия», 2004, № 23, 4 июня <<http://www.litrossia.ru>>.

Апология.

Армен Асриян. Как один Витицкий двух Стругацких поборол. — «Спецназ России», 2004, № 4, 5 <<http://www.specnaz.ru>>.

«Борис Натанович Витицкий, выдающий себя за Стругацкого. Самозванец».

Виктор Астафьев. «Расскажу о себе сам». — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. Красноярск, 2004, № 1-2, январь — апрель <<http://www.din.krasline.ru>>.

«Свою „автобиографию“ Астафьев написал в октябре 2000 года, за полгода до сразившего его инсульта. „Когда я его спросила, зачем он это написал, — вспоминает Мария Семеновна, — Витя мне ответил: „Пока жив, расскажу о себе сам, чтобы другие потом не врал...“» (из редакционной врезки). Здесь же — разные воспоминания о писателе.

См. также большую мемориальную подборку материалов в журнале «Урал» (2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/ural>>).

См. также: Вячеслав Сукачев, «Книга памяти» — «Литературная Россия», 2004, № 15, 16, 17-18 <<http://www.litrossia.ru>>.

Павел Басинский. Челкаш № 1. Горький: версия судьбы. — «Топос». Литературно-философский журнал, 2004, 3 июня <<http://www.topos.ru>>.

«[Петра] Крючкова расстреляли вместе с другими „врагами народа“ — Н. И. Бухариним, А. И. Рыковым, Г. Г. Ягодой, лечащим врачом Горького Л. Г. Левиным (всего 18 человек), причастными к „делу“ так называемого „правотроцкистского блока“. В 1988 году Петра Петровича реабилитируют вместе с остальными фигурантами этого процесса. Впрочем, за исключением почему-то бывшего шефа ОГПУ-НКВД — Генри-

ха Ягоды. Ягоду не реабилитировали за участие в „преступлениях Сталина”. Но это решение абсурдно с точки зрения лингвистической. Если Ягода единственный не реабилитирован *по тому делу*, значит, он *единственный* представлял собой „правотроцкистский” блок. Кстати, одной из задач этого блока, как это отчетливо прозвучало на процессе, было именно свержение сталинского режима и убийство Сталина».

См. также: «В сборнике документов „Генрих Ягода”, который издан в Казани в 1997 г., приводится его политическая программа. Это программа Ельцина, господа! По всем пунктам. Вплоть до развала СССР и возвращения к частной собственности», — пишет Павел Басинский («Памяти Генриха Ягоды» — «Политический журнал», 2004, № 18 <<http://www.politjournal.ru>>).

См. также: Павел Басинский. Челкаш № 2, 3, 5, 6, 7, 8. Горький: версия судьбы — «Топос», 2004, 8, 10 и 24 июня; 1, 6 и 8 июля.

См. также: Павел Басинский. Челкаш № 4. Горький: версия судьбы — «Топос», 2004, 17 июня; «Тем не менее загадочная фраза П. П. Крючкова („Если бы не лечили... может быть, и выздоровел бы”), а также та поспешность, с которой делали вскрытие врачи, наводит на очень нехитрую мысль. Да в самом деле — не залечили ли Горького? Не по приказу Ягоды (официальная версия 1938 года) и не по желанию Сталина (позднейшая, неофициальная, версия). Из-за чрезмерного энтузиазма. Из-за той чудовишной нервозности, которая творилась вокруг больного. Из-за почти неизбежного столкновения врачебных амбиций (17 врачей, и всё лучшие, все „светила”). Из-за понятного страха ошибиться или „недолечить” государственно важного пациента, за которого им „головы снимут”».

См. также: Сергей Шаргунов, «Горький не ел конфет» — «Независимая газета», 2004, № 12, 18 июня; это беседа с внучками Горького — Марфой Максимовной, которая многие годы работала в Государственном музее А. М. Горького, и Дарьей Максимовной, актрисой Театра им. Евг. Вахтангова; в частности — «Д. М.: Убили ли дедушку? В печати промелькнула дурацкая версия. Якобы ему принесли коробку отравленных конфет. Начнем с того, что дедушка конфеты не ел. А если бы ему подарили, нас бы угостил...»

Владимир Батшев. И один в поле воин. Интервью вел Сергей Дебрер. — «Литературная Россия», 2004, № 21, 21 мая.

«В конце концов этот сюжет — биография [генерала] Власова — остался лишь одной из линий книги. Главная же тема — гражданская война в СССР в 1941 — 1945 годах. Это не гипербола: война такая велась, но данный факт до сего дня замалчивается российской историографией. По этой причине и удалось мне издать [четырёхтомный] роман только в Германии».

С 1998 года Владимир Батшев издает во Франкфурте-на-Майне журнал «Литературный европеец» <<http://www.le-online.org>>: «Наш журнал — это товарищество на паях. Печататься в нем могут только его подписчики, причем исключительно на безгонорарной основе...»

Виктор Бахтин (Висконсин, США). Большая рождественская лихорадка. — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 1-2.

«Интересно, что некоторые интернетовские источники полагают, что с русским Дедом Морозом ходит не Снегурочка, а некая Бабушка (с ударением на второй слог), которая раздаёт подарки. Хоть это и неправда, но согласитесь: логика в этом есть».

Владимир Бондаренко. Заметки зоила. — «Завтра», 2004, № 22, 25 мая <<http://www.zavtra.ru>>.

«Я последовательный противник теории русской резервации, русской катакомбной литературы, республики Русь».

Владимир Бондаренко. Воскрешение поверженного в бою. — «Завтра», 2004, № 22, 25 мая.

«Игорь Тальков — это как бы скинхед с имперскими эполетами».

См. также: Владимир Бондаренко, «Неожиданное чудо Рубцова» — «Литературная Россия», 2004, № 21, 21 мая <<http://www.litrossia.ru>>.

Дмитрий Булатов. «Возникла новая ситуация в искусстве...» Материал подготовлен Андреем Сергеевым. При поддержке *Art & Science Collaborations, Inc. (New York)*. — «Футурум АРТ», 2004, № 2 (6) <<http://www.futurum-art.ru>>.

«Один из первых художественных проектов химерного характера был осуществлен американским художником Джо Дэвисом около пяти лет назад. <...> Его проект заключался в попытке прямого введения художественного текста-послания — предварительно закодированного в нуклеотидную последовательность ДНК — в геном бактерии *E. coli*. Это такая бактерия, постоянно обитающая в кишечнике человека и являющаяся классическим экспериментальным объектом в области микробиологии. По идее Дэ-

виса, все последующие поколения бактерий уже навсегда будут нести на себе след человеческого слова, который, в свою очередь, сможет в корне изменить свойства этих организмов».

Иван Бунин. Письмо Ольге Анстей. Вступительная заметка и публикация Евгении Димер. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 2004, № 235 <<http://magazines.russ.ru/nj>>.

Письмо от 28 марта 1949 года. «Вы оба — и Вы и Елагин — так резко выделяетесь в несметной толпе так называемых поэтов и поэтесс парижских и нью-йоркских! На правах старика целую Вас и жму руку Елагину. Мне прислали его стихи „Европе“. Это нечто совершенно редкое по таланту, по блеску, великолепной „ударности“!..»

Сергей Бычков. Отмывание жемчужин. Глава из [незавершенной] «Книги воспоминаний». — «Toronto Slavic Quarterly», 2004, № 8 <<http://www.utoronto.ca/tsq/index.html>>.

«Отец Александр [Мень] довольно трезво смотрел на своих талантливых прихожан — без придыхания и преклонения». Также — много о Солженицыне.

Антон Васильев. Устная традиция народного антикоммунизма. — «Посев», 2004, № 5 <<http://posev.ru>>.

Отчего наш Ленин лысый,
Догадитесь сами:
Ему вывели рога
Вместе с волосами.

Мария Витовцева. Сон как литературный метод постижения действительности. — «Литература». Еженедельная газета для учителей словесности. 2004, № 21, 1 — 7 июня <<http://www.1september.ru>>.

«Итак, в данной работе были рассмотрены пять произведений отечественной и мировой художественной литературы...» Автор учится в Республиканском классическом лицее г. Горно-Алтайска.

См. также: **Игорь Викторович Касаткин**, «Сон в белом тереме» — «Топос», 2004, 2 февраля <<http://www.topos.ru>>.

Анатолий Гладилин. «Книга станет искусством для немногих». Беседу вел Владислав Иванов. — «Литературная Россия», 2004, № 24, 11 июня.

«Об Эпохе Книги в позднейшей истории человечества еще будут вспоминать как о высшем его, человечества, достижении».

Леонид Горовой. Когда погиб Гайдар? — «Литературная Россия», 2004, № 23, 4 июня.

Сомнения, сомнения.

Борис Гребенщиков. «Страна — это ритм, а люди — мелодия». Беседу вел Андрей Архангельский. — «Огонек», 2004, № 23, июнь <<http://www.ogoniok.com>>.

«Если бы мы осознали, что кроме нас на этой земле живут другие сущности, и научились бы мирно сосуществовать со всем этим многообразием, это сильно изменило бы колорит страны. <...> Это не бесы и не демоны. В конце концов, это можно называть как угодно. Просто необходимо постоянное осознание, что рядом с нами, вокруг нас существует еще что-то, с чем надо считаться и уважать».

Иеромонах Григорий (В. М. Лурье). «Я знаю, где живет Сид Барретт». 13 полемических тезисов о церковных перспективах русской рок-культуры. — «Русский Журнал», 2004, 16 июня <<http://www.russ.ru/culture>>.

«Достоевский придумал князя Мышкина и старца Зосиму. Некоторым понравилось, а Леонтьев, наоборот, написал едкую статью. А в письмах он, еще хуже, — пересказывал, как оптинские монахи смеялись над разговорами монахов в „Братьях Карамазовых“. Когда все белибердяевы встали грудью на защиту „религии любви“ Достоевского от „религии страха“ Леонтьева, а Леонтьев стал-таки любимым писателем тех немногих выходцев из интеллигенции, которые поверили в обыкновенное православие — то самое, которое действительно начинается отнюдь не с любви, а со страха, — позиции двух православий в современной русской культуре определились. Любители „любви“ нашлись и в духовной среде, а любители православной строгости — и в светской. <...> „Достоевский“ и „Леонтьев“ — это не два человека, а два маркера, два символа совершенно разного отношения к христианству. Понятно, что моя точка зрения — „леонтьевская“».

«Если подходить к художественной культуре „по-леонтьевски“, то совсем не следует ожидать от нее предначертания пути в Царствие Небесное. Для этого есть другие книжки. Пусть лучше она занимается не тем, чего не знает, а тем, что знает, — то есть

вместо сахарного старца Зосимы и экстатических выкриков „мы православные-е“, пусть лучше, как однажды удалось Достоевскому, пишет про „бесов“. Это ей ближе знакомо, и здесь ее экспертный голос всегда будет ценен. Всякие сентиментальные старцы Зосимы и вообще светские суррогаты христианства, в том числе национально-патриотические, плохи тем, что в больших дозах они приводят к отравлению организма — если не будут им вовремя отгоргнуты. Реально стоящая перед *каждым* человеком проблема его *собственной* смерти и его *собственного* выбора (или отвержения) Бога забалтывается в „клубе по интересам“ — тусовке людей, собравшихся ради чего-то совсем другого — не важно, чего именно. У человека, который приходит спросить о смерти и жизни, а получает ответы о России, о тонкостях человеческой души, о художественной литературе и даже о Церкви, возникает прежде всего ощущение неуместности. И подавляющее число этих разговоров — неуместно на самом деле. Церковь должна лишь уметь объяснить таким людям необходимость самой себя — но тут для нее всякие непрошенные попутчики только помеха. Церковь сможет объяснить себя лишь тогда, когда ее смогут увидеть совсем без всякого балласта культуры, политики, гуманизма, антигуманизма, национализма, антинационализма и вообще всего „человеческого, слишком человеческого“. Все перечисленное, может быть, и бывает для Церкви инструментом — для каких-нибудь грубо технических целей, — но Боже упаси принять эти слесарные инструменты за части тела Христова».

«Задача светской культуры — не в нахождении ответов на „главные вопросы“, а в постановке самих вопросов — пусть и вообще без ответов (это лучше всего) или даже с ответами приблизительными и вовсе неправильными. Ее задача — разрыхлить землю под посев слова Божия, хотя, как известно, с таким же успехом во вспаханную землю попадают и плевелы. Но тут уж ничего не поделаешь: это ведь та проблема, которая была отмечена еще в Евангелии, и других способов ее решения, кроме евангельских же (Мф. 13: 24 — 30), искать бесполезно».

Владимир Губайловский. О постсоветской поэзии. — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2004, № 8 <<http://www.utoronto.ca/tsq/index.html>>.

«Постсоветская поэзия представляет собой ограниченный во времени феномен».

Денис Гуцко. Осенний человек. Рассказ. — «Октябрь», 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

«Осенью душа моя разбухает и наконец заполняет меня всего. Как слизень на сырость, выползает она на запах гниющей листвы. Слизень, текущий вверх по ножке скамьи, сочно-коричневый, с золотистыми иероглифами по всей спине, с короткими антеннками, на которых подрагивают шоколадные бусинки, — драгоценный слизень. Я его помню. Последнее, что я видел. Последнее, что я видел отчетливо».

Василий Дворцов. Вечный лик и харя времени. — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 4 <<http://www.sibogni.ru>>.

«Солженицын в результате пережитой смерти-воскрешения после онкологического приговора логично считает себя отвечающим только перед Богом. И Богу. Поэтому не фальшивит в своем отшельничестве. Он „отрабатывает“ обретенную вторую жизнь день за днем, как человек естественно планового сознания: заложил в таком-то году высказаться по такой-то проблеме, собрал материалы, просмотрел справочники и словари — и высказался. Без интереса к реакции. Эта незаинтересованность позволяет Александру Исаевичу бесстрашно, как лунатику по коньку крыши, пройти даже по такой самоубийственной для любого другого теме, как русско-еврейский вопрос. Но беда его толкователям».

Сергей Джанян. Общество легкого поведения. — «Огонек», 2004, № 22, май.

«Ежегодно в Дании сексуальному насилию подвергается около тысячи детей — и это статистика только по поданным заявлениям или делам, расследуемым полицией. Тем не менее датские педофилы, отколовшись в 1983 году от Общенационального союза геев и лесбиянок, организовались в ассоциацию *DPA (Danish Pedophile Association)*, или, как они себя еще называют, — *Pedophilgruppen*. С точки зрения датского законодательства, существование „Педофильской группы“ абсолютно легально, и *деятельность ее субсидируется из государственной казны* (курсив мой. — А. В.). Как и всякая общественная организация, „Педофилгруппен“ старается расширить идеологическое воздействие: содержит интернет-сайт и выпускает журнал „Новая сексуальная политика“. Устав *DPA*, среди прочего, ставит целью „расширять общественное познание и уменьшить осуждение педофилии, а также поощрять детскую сексуальность наравне с добровольными чувственными и сексуальными отношениями между взрослыми и детьми“. <...> „Педофилгруппен“ имеет открытую структуру и никогда не преследовалась полицией. „Для того чтобы начать расследование, должны быть веские подозрения, что в организации происходит что-то незаконное. Но таких улик у нас нет“, — аргументируют свою позицию датские службы правопорядка».

Валерий Дымшиц. Борьба за существительное. — «Народ Книги в мире книг». Еврейское книжное обозрение. Санкт-Петербург, 2004, № 50, апрель.

«<...> что заставляет людей, принадлежащих к разным, но типологически сходным еврейским этническим группам [горские евреи, крымчаки и караимы], переписывать прошлое своих групп и тем самым формировать их будущее».

Евгений Ермолин. Живая нить. Русский Букер как зеркало современной российской литературы. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2004, № 235.

«Литература 90-х сдается в архив, от нее уже почти ничего не осталось в реальном круге чтения, она — за немногими исключениями — не вызывает интереса и у критиков».

«Тексты поражения — документ эпохи, но поощрять их не всегда нужно. Опыт поколения, переданный Гандлевским в романе, по сути, есть просто кружковое самоощущение, которое некоторые (не только писатель) пытаются генерализировать. Как будто отчаянное фиаско отдельных представителей поколения может быть историей культурного сословия, выражением истощения и краха писательского цеха, заката литературоцентристской цивилизации...»

Сергей Завялов. Кто они, эти люди в черных плащах? Русская поэзия в начале XXI века. — «Toronto Slavic Quarterly», 2004, № 8 <<http://www.utoronto.ca/tsq/index.html>>.

Среди прочего: «Я слышал, как одна юная и по-человечески на редкость порядочная и сердечная поэтесса всерьез заявляла: „Бедные должны умереть“ <...>».

Юлия Зародова, Виктор Вайнерман. Энциклопедия плагиата и ошибок. — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2004, № 2 (14), май.

Подробная и бескомпромиссная (как явствует уже из названия статьи) критика монографии В. И. Хомякова «Сибирская Ипокрена. Литературные портреты омских писателей» (Омск, 2003).

Максим Замшев. Что такое литературно-художественная критика? Опыт самостоятельного определения. — «Московский литератор». Газета МГО СП России. 2004, № 10, май — июнь <<http://www.moslit.ru>>.

Самостоятельное определение такое: «Литературно-художественная критика — это вид интеллектуальной деятельности, выраженный через организованный текст, в основе которого лежит анализ художественного произведения или произведений, выполненный человеком с литературным образованием в определенном духовном состоянии, без учета личных и политических пристрастий».

А личные и политические пристрастия — самое интересное и есть.

Здравый смысл... или погибель. Беседу вел Владимир Поляков. — «Литературная газета», 2004, № 23, 9 — 15 июня.

Говорит Сергей Кара-Мурза: «<...> армия — военные училища вновь и вновь воспроизводят тип советского, российского, русского офицера. Генотип нашей армии сформировался за 300 лет, во многом отличаясь от западного. Попытка провести военную реформу, просто взяв какие-то чертежи западной армии, наивна. Наша властная элита не представляет, насколько ничтожны ее возможности сломать такие системы. Они ломаются лишь в результате национальной катастрофы типа протестантской Реформации. Когда всю страну охватила война и половина населения погибла. Профессиональная армия тоже еще долго будет оставаться прежней российской национальной армией. Подписав Болонскую конвенцию по унификации вузов, мы отказываемся от нашей системы организации и нашей методики, но это тоже наивные надежды. Потому что преподаватели внешне подчинятся, но сохранят свой культурный генотип. Школьники, придя в вуз, будут воспроизводить стереотипы и архетипы, которые сложились в нашей культуре за 300 лет. И пытаться приказом изменить это — бесполезно».

См. также: Сергей Кара-Мурза, «Порочный круг. Реформа и судьба больших технических систем» — «Дружба народов», 2004, № 6 <<http://magazines.russ.ru/druzhiba>>.

Александр Зубакин. Как я читал Достоевского. — «Литература», 2004, № 21, 1 — 7 июня.

«Далее, я считаю, следует показать те детали романа, указывающие на причастность Раскольникова к убийству, которые, скорее всего, нельзя считать уликами, но можно назвать важными для формирования позиции Порфирия Петровича по отношению к главному герою. <...> Хотя здесь необходимо признаться, что я не имею ни малейшего представления об уликах, точнее, о том, что считали ими в XIX веке». Автор учится в 10 классе московской гимназии № 1514.

Александр Иличевский. Кукла как упаковка пустоты. Куклы Гоголя и куколки Набокова. — «Сетевая словесность» <<http://www.litera.ru/slova/ilichevskii>>.

«Алексей Паршиков рассказывал, как однажды ему пришлось в одиночку жутко ночевать в пермском паноптикуме: там сверчок, забравшись в один из муляжей, верещал как бешеный, и поэт был вынужден полночи провести в напрасных поисках источника сверлящего безумия меж чудищ». См. здесь же: «Метафизика крика и метафизика плача. Евгений Баратынский и Иосиф Бродский: метафора поэт-недоносок и метафора поэт-ястреб» и другие эссе из книги А. Иличевского «Недра стратосферы».

Как приумножить радость. Беседу вела Вера Цветкова. — «Независимая газета», 2004, № 112, 4 июня <<http://www.ng.ru>>.

Говорит **Зоя Богуславская:** «Знаете, я-то всегда полагала, что интеллигенция ни в чем не виновата».

Сергей Карпенко. Доброволец. Эпизоды из жизни генерала Врангеля. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, 2004, № 235.

«И только присмотревшись, Врангель сообразил, что петляющая желто-голубая полоска [на карте] обозначает границу гетманства. И граница эта, на западе совпадая с бывшей российской границей с Австро-Венгрией, заключила внутрь себя не только малороссийские губернии, но и Новороссию с Одессой и Херсоном, а дальше прихватывала Донецкий каменноугольный бассейн, добрую часть Донской области с Таганрогом и Ростовом, всю Кубанскую область и даже Черноморскую губернию с портом Новороссийск...

— Украинская держава, — пояснил гетман [Скоропадский], проследив за его взглядом, и с гордостью прибавил: — Как видишь, одно из самых больших европейских государств».

Леонид Китаев-Смык. «Удвоение ВВП — ирреальный образ». Мнение известного психолога о президентском послании Федеральному Собранию. Беседу вела Ксения Лисевич. — Национальная информационная служба «Страна.Ру», 2004, 26 мая <<http://www.strana.ru>>.

Говорит профессор Российского института культурологии при Министерстве культуры РФ **Леонид Китаев-Смык:** «Мне представляется, что в нашей стране первая задача, на которую почти совсем не обратил внимания президент, — это убыль нашего населения. Если за время правления двух президентов, я имею в виду Ельцина и Путина, Россия уменьшилась на 12 млн. несмотря на большую природу населения за счет приезда из стран ближнего и дальнего зарубежья, можно говорить о вымирании населения нашей страны. Поэтому первоочередной задачей должно стать прекращение этого вымирания, то есть увеличение рождаемости. И поэтому тезис „удвоение ВВП“ — это, на мой взгляд, некий ирреальный образ, или, как сейчас говорят, виртуальное некое представление о действительности. Потому что за ним может скрываться и увеличение числа богатых людей, и, наоборот, без увеличения числа богатых людей может увеличиваться их состояние, и за этим может скрываться обеднение основной части населения и дальнейшее вымирание страны».

См. также: «Именно возрастной состав нынешнего населения России однозначно предопределяет его дальнейшее вымирание, более того — с постоянным ускорением», — пишет **Виктор Переведенцев** («У края братской могилы» — «Новое время», 2004, № 25, 20 июня <<http://www.newtimes.ru>>).

Игорь Клев. О восприятии Бруно Шульца восточнее Перемышля. Выступление на международном симпозиуме «Присутствие Бруно Шульца в Центральной и Восточной Европе». — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 4, апрель <<http://www.nowpol.ru>>.

«<...> как воспринимаются фигура и творчество Бруно Шульца на Украине и как — в России. Говоря коротко, на Западной Украине либеральными кругами — апологетически, а националистическими — резко отрицательно, в России же культурным мейнстримом — весьма дистанцированно, а частью культурного маргиналитета — с энтузиазмом. <...> Для значительной части культурного слоя Западной Украины Шульц не столько польский писатель и иудей, сколько галичанин — культурный герой Галиции и ее полпред в мировом контексте. <...> Националистические круги Западной Украины, напротив, стремятся к изоляционизму — им не нужен мост в большой мир, который посмеется над их компенсаторной мегаломанией. (Это не анекдот — негативная реакция львовских народных депутатов на предложение молодых либералов в середине 90-х установить памятник уроженцу Львова писателю Захер-Мазоху мотивировалась так: „Они хотят, чтобы мы, украинцы, не только мучились, но еще и кайф от этого ловили“.) Если позволить себе электротехническую аллегория: Шульц для украинской

культуры — своеобразный разъем или переходник, подключающий ее к польской культуре и проблематике западноевропейского модернизма в его центральноевропейской версии (более депрессивной, фаталистичной, даже суицидальной — поскольку сравнительно небольшим центральноевропейским народам и странам суждено было играть в европейской политической истории Нового времени преимущественно роль „пешек“, как это ни прискорбно). На востоке таким разъемом, подключающим украинскую культуру к русской, является фигура Гоголя».

Алексей Кожунков. В поисках Пушкина. — «Литературная Россия», 2004, № 23, 4 июня.

«Он не учил нас по-новому смотреть на себя — русских; но вот вдруг он открыл для нас Африку, из которой мы увидели Россию и странных себя». Автор — студент Литинститута.

Георгий Кокунько. Внук, сын и племянник «задержанных и исчезнувших». — «Посев», 2004, № 5 <<http://posev.ru>>.

Беседа с чилийским бригадным генералом Мигелем (Михаилом Семеновичем) Красновым-Марченко: «Все законные учрежденные власти Чили, законодательная и судебная в том числе, еще до 11 сентября 1973 г. подали в отставку, заявив, что правительство Альенде потерпело крах, указав на незаконность дальнейшего его правления <...> Задолго до военного вмешательства 11 сентября 1973 года, при содействии и поддержке коммуниста (социалиста. — А. В.) Альенде, в Чили для реализации так называемой „революции“, для захвата власти военным путем проникли многочисленные, как сейчас бы сказали, международные террористы. В стране находилось около 10 тысяч кубинцев, не считая примерно такого же количества экстремистов из других стран. Они имели оружие завидного качества, даже превосходившее по своим качествам то, что было на вооружении национальной армии! Это оружие было нелегально завезено в страну с помощью тогдашних властей. Автоматы Калашникова, гранатометы, гранаты, боеприпасы, пулеметы, другое оружие, а также взрывчатые вещества и продовольствие для левых экстремистов поступали в основном из Советского Союза. Борьба [чилийских военных] с этими террористами сегодня и называется „нарушениями прав человека“! „Правозащитники“ твердят о „пропавших без вести“. Но по большинству т. н. „преступлений“ отсутствуют документальные свидетельства либо они подложные».

Илья Кормильцев. Да здравствует постчеловечество! Беседу вел Илья Колодяжный. — «Литературная Россия», 2004, № 22, 28 мая.

Говорит главный редактор издательства «Ультра.Культура» Илья Кормильцев: «Вообще у нас с „Книжным обозрением“ очень тяжелые отношения. Связано это с тем, что данное издание по сути своей политически пристрастно, реакционно и фактически выражает проправительственные взгляды на культуру».

См. также: <<...> „Ультра.Культура“, полагая, что подрывает устои „либерально-гуманитарной“ культуры, на самом деле одомашнивает маргинальное и подрывное, придает ему полноценный культурный статус и вводит, по сути дела, мейнстрим», — пишет Ольга Балла («Андеграунд, он же мейнстрим» — «НГ Ex libris», 2004, № 21, 10 июня <<http://exlibris.ng.ru>>).

Илья Кочергин. «Ночевал на Монмартре в спальном мешке». Беседу вел Роман Сенчин. — «Литературная Россия», 2004, № 24, 11 июня.

«Удивили последние рассказы Маканина в „Новом мире“. Как-то редко теперь бывает, что вот начинаешь читать, и даже если оставить в стороне все эти смысловые нагрузки и так далее, то просто хочется дочитать до конца. Трудно даже на минутку остановиться. В противоположность этим рассказам — повесть Валерия Попова „Третье дыхание“. Ее я осилил по принципу: если уж начал, то надо дочитать».

См. также: Валерия Пустовая. «Новое „я“ современной прозы...» — «Новый мир», 2004, № 8.

Зоя Крахмальникова. Письма из ссылки. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 5 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

«„Миром правит не Бог, а сатана“, — сказал мне в „воронке“ парень, которого вместе с другими везли в лагерь строгого режима. Я задохнулась. Я не знала, что ему сказать. Вести богословский спор в „воронке“ не было возможности. Да и что могут дать богословские трактовки власти над миром этому парню? „Мы — бандиты, мамаша“, — сказал мне парень. У него не было никакого любопытства ко мне. И никакой хитрости. Он не поверил мне, он говорил со мной почти так же, как следователь на первых допросах» (из письма от 12 марта 1987 года, Усть-Кокса).

Константин Крылов. Путинская триада: Безопасность, Свобода, Комфорт. — «АПН (Агентство политических новостей)». Проект Института национальной стратегии. 2004. <<http://www.apn.ru>>.

«Я сосредоточу все внимание на одной-единственной фразе [в президентском послании], которая имеет, если к ней приглядеться, немалый потенциал. <...> „Наши цели абсолютно ясны. Это — высокий уровень жизни в стране, жизни — *безопасной, свободной и комфортной*“. Что здесь, собственно, сказано? <...> „Высокий уровень жизни“ — это ровно то, за чем погнались в восьмидесятые, чего немногие достигли в девяностые и отсутствие чего остро переживается в нулевые. Главным здесь является слово „высокий“ — слово само по себе **ВЫСОКОЕ**, а для „дорогих россиян“ еще и изрядно мифологизированное. Потому что „высокий уровень жизни“ — это то, чем обладает волшебный Запад и чего в России не купишь ни за какие деньги. Ибо подлинно *высокий уровень жизни* подразумевает нечто „этакое такое“ — трудноопределимое, но легко осязаемое практически. Что-то, что есть в Париже и Вене, и чего нет в Москве. <...> Поразительно, но Путин, возможно, невольно, но тем не менее впервые в истории отечественной политической мысли дает расшифровку этого загадочного понятия. Повторим его дефиницию. „*Высокий уровень жизни в стране, жизни — безопасной, свободной и комфортной*“. Имеется в виду, что „высокий уровень жизни“ — это жизнь, устроенная в этих трех координатных осях: безопасность, свобода, комфорт. Причем тут чрезвычайно важен **ПОРЯДОК СЛОВ**: что за чем следует. Последовательность здесь не менее важна, чем самые слова. Поскольку важны не только сами слова, но и переходы между ними: „безопасность — свобода“ и „свобода — комфорт“. <...> Либо Президент уловил запрос „общественного бессознательного“ — то есть сформировавшееся согласие общества на принятие ценностей *безопасной свободы комфорта* и готовности ради этих ценностей пойти на многое. Либо Президент окончательно оторвался от почвы и транслирует ценности, обществу совершенно чуждые, — разумеется, с лучшими намерениями. Впрочем, одно не исключает другого, ведь и общество (точнее, какая-то его часть) могла оторваться от почвы: в России подобное желание сейчас является крайне распространенным. Правда, реально удовлетворить его можно только одним способом: эмиграцией. В таком случае, Путин — президент общества потенциальных эмигрантов, навеки фрустрированных невозможностью „уехать отсюда“ в более комфортные палестины... Во всяком случае, мы можем констатировать одно: Президент исходит из чисто западной системы ценностей, причем он чувствует ее лучше, чем наши записные западники и либералы. Хорошо оно или плохо — это совсем другой вопрос».

См. также: Константин Крылов, «Вечный враг» — «Спецназ России», 2004, № 5, май <<http://www.specnaz.ru>>.

Антонина Кузнецова. Цветаева и Гёте. Небольшой этюд на необъятную тему. — «*Toronto Slavic Quarterly*», 2004, № 8 <<http://www.utoronto.ca/tsq/index.html>>.

«Одни только цитаты из статей и писем Цветаевой о Гёте могли бы составить большое полотно».

Валерий Куклин. Измена. Роман. — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 4, 5.

Первая книга романа-хроники «Великая смута». «В ней повествуется о событиях, произошедших на Руси в 1600 — 1604 гг., накануне трагедии, названной историками Смутным временем. Центральным персонажем здесь выступает [супер]агент Ордена иезуитов, оказывающийся то на Псковщине, то в Москве, то в Туле, то в Ельце и подготавливающий страну к большой гражданской войне» (из редакционной заметки). Также: «Благословлено руководителем и духовником Душепопечительского центра святого праведного Иоанна Кронштадтского Московской Патриархии иеромонахом Анатолием (Берестовым)».

Борис Куприянов, Лев Пирогов. В траве сидел кузнечик. Книгам о Незнайке и Карлсоне исполняется по пятьдесят лет. — «НГ Ex libris», 2004, № 21, 10 июня <<http://exlibris.ng.ru>>.

«Незнайка, правда, порой срывает работу, но не от лени, а из-за любопытства и мечты о коммунизме задаром — как у шукушинских „чудиков“. Недаром его поступки приводят к масштабным социальным последствиям. Карлсон толст и асексуален, а Незнайка — что называется, „бабам нравится“. Он патриот, русский путешественник Незнам Незнамович Незнамов в отличие от Пестренького, который самым русофобским образом — Пачкуале Пестрины. В конце концов, Карлсону, по всей видимости, лет тридцать — он взрослый мужчина, видевший войну и фашизм. Психологический возраст Незнайки — лет десять, а значит, он 1944 года рождения. Наверняка безотцовщина...»

Яцек Куронь. Как рухнул реальный социализм. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 4, апрель.

Среди прочего: «Когда на варшавский пленум [VIII пленум ЦК ПОРП, октябрь 1956 года] прибыла делегация ЦК КПСС во главе с Н. С. Хрущевым и главнокомандующим Вооруженными силами стран Варшавского договора И. И. Якубовским, ЦК ПОРП не допустил советскую делегацию в зал заседаний. На переговоры были направлены, в частности, сам Гомулка и Эдвард Охав — прежний первый секретарь ЦК, тоже кадровый деятель КПП и бывший зек. В то же время на Варшаву двинулись разменные в Польше советские танковые дивизии и польские части под командованием министра обороны ПНР, маршала СССР К. К. Рокоссовского, тоже бывшего зека. Охав в этот момент проявил необычайную смелость, заявив Хрущеву, что столица будет обороняться. Вблизи Варшавы были расквартированы войска, подчиняющиеся Министерству общественной безопасности, которыми командовали генералы Вацлав Комар и Юлиуш Хибнер, бывшие бойцы испанских интербригад. Разумеется, Хрущев хотел избежать непопулярной войны с Польшей».

Последний абзац: «<...> мы совместными усилиями построили [в Польше] не гражданское общественное устройство, а бюрократическое — по капиталистическому и полудемократическому образцу. Таким образом, именно мы, политики, несем ответственность за царящие сегодня несправедливые общественные отношения, вездесущую коррупцию и прогнившую политическую жизнь».

Фрагменты из книги «Действие» (Вроцлав, 2002) и публикаций в «Газете wyborчей». Яцек Куронь умер 17 июня с. г.

Алексей Лукьянов. Спаситель Петрограда. Повесть. — «Октябрь», 2004, № 5.

«А там, на балконе: спаситель Петрограда от яростного гада да здравствует Ваня Васильчиков». Фантасмагория, замешенная на корней-чуковском «Крокодиле» и гибели царской семьи. Смушает одно: царскую семью *на самом деле* убили.

Марк Любомудров. Цена искупления. — «День литературы», 2004, № 5 <<http://www.zavtra.ru>>.

«<...> фильм „Страсти Христовы“ — не столько произведение искусства, сколько эпохальное событие в движении человечества к Судному дню».

См. также «Кинообозрение Натальи Сиривли» («Новый мир», 2004, № 7): «<...> ревностный католик Мел Гибсон снял фильм не столько антиеврейский, сколько антихристианский, грубо искажающий самую суть Евангелия».

Игорь Манцов. Овладесть беспорядком. — «Русский Журнал», 2004, 31 мая <<http://www.russ.ru/columns/street>>.

«<...> иные радетели за народ. Смешнее и грустнее этих радетелей в России ничего нет. Народ, простодушно и где-то справедливо отождествляющий литераторов с шибко грамотными реформаторами 90-х, готовится оторвать голову, равно как и все остальное, и реформаторам, и писателям. Друзья, к месту и не к месту поминающие Чехова с его интеллигентностью и Достоевского с его духовностью, приезжайте к нам в рабочую Тулу, организуйте задушевную встречу с „читателями“. Живыми не уйдете».

«<...> наша интеллигенция выбирает психологический реализм и эмансипированного героя с так называемым „богатым внутренним миром“ единственно потому, что подобный стиль мышления позволяет обрубить органическую связь человека с Миром и выгородить себе *территорию безответственности*. Но если ни в книгах, ни в жизни никто ни за что не отвечает, психология становится делом избыточным, а эмансипированный герой вырождается в дебила-барчука, в убудюдка».

Игорь Манцов. Наши мертвые. — «Русский Журнал», 2004, 8 июня <<http://www.russ.ru/columns/street>>.

«<...> *отератительная* картина Александра Рогожкина „Кукушка“, создатели которой то ли по наивности, а то ли по глупости были уверены, что им по праву должен принадлежать „Оскар“! Однако достаточно посмотреть „Трою“ Петерсена, чтобы предположить степень *американского презрения* к расейской поделке, где живой и здоровый русский солдат Второй мировой войны *добровольно* соглашается уступить разборчивую саамскую шлюху неправдоподобно грамотному финскому снайперу. Более того, кутаясь в ээсовскую шинельку финна, убеждая себя не обращать внимания на сладострастные женские стоны, наш клоун, наш дурачок политкорректно засыпает где-то в хлеву, чтобы не мешать *их* любовным утехам. Да что говорить, в „Кукушке“ именно хуторянка-саами, похотливо стреляя глазками, выбирает сначала одного самца, а потом, после его ранения, сердобольно удовлетворяется вторым, нашим. Если эта развесистая сопля и есть „новый прекрасный мир“, наш посткоммунистический идеал и пресловутая русская духовность, к которой мы возвращаемся, то я внутренне остаюсь с Америкой, в которой не был и, скорее всего, никогда не буду, которую, однако, всюю душой пони-

маю. Как замечает Ассман, не имеет никакого смысла сохранять предмет в памяти, если одновременно память не сохраняет *важность* разговора об этом предмете: „*Почему этот предмет важен? Почему важно узнать истину о нем?*” И вот я настаиваю: пресловутая „русская духовность” давно, еще в послевоенном совке, выродилась в набор пустопорожних риторических фигур, в магическую практику хуже сквернословия. В филологию и мертвый интеллигентский канон. И вот я говорю: Америка, священные камни Запада по праву принадлежат тебе! Да хотя бы потому, что одной тебе они понадобились. Бери что хочешь, владей золотом, нефтью и даже околоземной орбитой. А протестующим против американского *волеизъявления* постсоветским мужичкам говорю иное: вначале уговорите своих обезумевших от вседозволенности баб, осознайте и предъявите Миру пускай самый завалящий, но *собственный*, а не заемный интерес, не дайте усомниться, что в борьбе за *свой интерес* пойдете до конца, и только потом смейте разговаривать с Америкой *на равных*».

См. также «Кинообозрение Игоря Манцова» в *четных* номерах «Нового мира».

Вилли Мельников. Лингвогобелены как жанр. — «Футурум АРТ», 2004, № 1 (5).

«В ментальной призме л/гобелена отражения языков друг в друге кристаллизуют бесконечные степени свободы прочтения непереводаемых языковых палимпсестов или идидумтов, открывая возможность психологически достроить Вавилонский зиккурат, переполаризовав его символику — общеустоявшуюся, но несправедливую». Тут же — несколько образцов лингвогобеленов. *Ни в сказке сказать, ни пером описать*.

В журнале, кстати, есть также постоянная рубрика «Заумь».

Илья Мильштейн. Юрий Андропов: поэт эпохи динозавров. — «Новое время», 2004, № 25, 20 июня <<http://www.newtimes.ru>>.

«Андропов сознательно замораживал общество, поскольку альтернативу карательной медицине и статье 70-й УК РСФСР с близкого расстояния разглядел там, в Будапеште: реки крови и коммунисты на фонарях».

Олег Михайлов. Разговоры с Леоновым. — «Литературная Россия», 2004, № 22, 28 мая.

«Когда при мне раскапывали могилы на кладбище при Донском монастыре — Гоголя, Языкова, Хомякова, — вспоминал Леонид Максимович, — я обратил внимание, что от них осталось. От Языкова — часть лобной пазухи и чашечки, где был елей. От Хомякова — черная грива волос, поддевка и сапоги — признаки славянофильства. Сапоги были в таком прекрасном состоянии, что боялись, как бы их не украли беспризорные. Хоть надевай! Гоголя выносили без меня».

Юнна Мориц. «Поэт вообще — тунгусский метеорит и струнный инструмент». Беседу вел Кирилл Решетников. — «Газета», 2004, 31 мая <<http://www.gzt.ru>>.

«Я ни при каких условиях не признаю „изгоем” ни один народ, ни одну страну. И не буду ждать, когда назовут „изгоем” Россию, выбелив и накрахмалив Гитлера, чтобы создать и пустить в оборот впечатление, будто гитлеровские фашисты намного прекрасней большевиков. То, что происходит в Ираке, где режутся ковбойские барышни, пыточно издеваясь над живыми и даже мертвыми арабами, и есть настоящий фашизм, а никакая не „новая политическая и культурная гегемония”. Это сопоставимо не с „советской гегемонией”, а только с гитлеровским фашизмом. <...> А началось это с бомбежек Сербии, с уничтожения Международного права, с гегемонских фанаберий на радостях, что рухнул советский режим. <...> Рухнуло вранье советское, рухнуло вранье послесоветское, рухнуло вранье импортное, вранье глобальное, и обнажились подлинные цели и средства в битве за выживание на планете, хлынула колоссальная энергетика древности. Сейчас для поэзии — отличное время». *Юнне Мориц присуждена Литературная премия имени А. Д. Сахарова*.

Харуки Мураками. Когда же я созрею? Беседу вел Андрей Фесюн («РИА Новости») — «ИноСМИ.Ru», 2004, 11 июня <<http://www.inosmi.ru>>.

«От 14 до 20 [лет] я читал одну только русскую литературу».

Андрей Немзер. Цвета разные, тон один. — «Время новостей», 2004, № 93, 1 июня <<http://www.vremya.ru>>.

«Поставив перед собой интересную задачу — *стать модным писателем*, — Бавильский с ее первой частью успешно справился. И если кто-то (в отличие от редакций „Урала” и „Нового мира”) его за *модного* не держит, то следует признать: этот самый кто-то катастрофически устарел».

См. романы **Дмитрия Бавильского**: «Ангелы на первом месте» — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 3, 4 <<http://magazines.russ.ru/ural>>; «Нодельма» — «Новый мир», 2004, № 5.

Андрей Немзер. Дикая животная сказка. Издан роман Людмилы Петрушевской. — «Время новостей», 2004, № 96, 4 июня.

«Самый скверный роман невозможен без *личности* героя и *неповторимости* его *истории*. Далеко не всякий романист способен *личность* и *историю* создать, но я обсуждаю не меру таланта, а жанровую задачу. Которая Петрушевской чужда. Невозможно воспринимать всерьез муки „номера один“, потому что в нем нет ничего „субъектного“. <...> Может, и Букера отвесят. (На зависть Татьяне Толстой.) Или „Триумф“. Главным событием года роман уже объявили».

См. также: **Борис Кузьминский**, «Пупсы; петроглифы» — «Русский Журнал», 2004, 28 мая <<http://www.russ.ru/culture>>; «„Номеру Один“ (хоть он и по-моему — # 1) наверняка не снискает ни хоровых дифирамбов, ни весомых наград. Реакция литературного сообщества на книгу — сужу и по красноречиво скудным публикациям, и по откровенным разговорам в кулуарах — беспрецедентно кислая. Роман не нравится практически никому. Рукопись была, на нынешнем-то декларируемом журналами безрыбье „крупной“ прозы, отвергнута редакцией „Знамени“. То есть в фавориты премиального расклада, нынче *полностью* — за исключением „Нацбеста“ — контролируемого „толсто-журнальной“ референтной группой, коей „Знамя“ флагман, тексту путь заказан. Для „Нацбеста“ же фамилия автора чересчур и не по-хорошему укоренена в коллективной памяти читателей, а произведение — слишком вне злобы дня. <...> Бескомпромиссно экспериментальный опус на грани коммерческого самоубийства».

См. также: «Людмила Петрушевская сочинила свой первый роман. Пародию на Пелевина и стилизацию под Сорокина», — пишет **Евгений Лесин** («Чучуны и покойнички» — «НГ Ex libris», 2004, № 17, 13 мая <<http://exlibris.ng.ru>>).

См. также в новоизвестинской рубрике **Александра Алексеева** «Литературный лоцман» («Новые Известия», 2004, 21 мая <<http://www.newizv.ru>>): «Эта книжка явно не для слабонервных! Петрушевская и прежде своих читателей не особо щадила: мастерски сыпала соль на раны, утешала тем, что у других все гораздо хуже. Объясняла, что любви хватает лишь на три дня после полочки. Но в новом романе перещеголяла сама себя. Лесные людоеды, повесившиеся 15-летние девушки, дети-калеки, из принципа падающие с кровати. Мрака и беспросветности добавляет и то, что персонажи порой изобретают свой собственный, полуптичий язык и говорят на нем отдельными слогами. Что удивительно: все при этом друг друга понимают. Крыша от этого едет не только у них... Все мы, наверное, в детстве любили в темноте рассказывать ровесникам страшилки про летающие руки, про превращение людей в зомби. Петрушевская написала об этом целый роман. Если ее цель была запугать, показать, как все плохо, да еще и сделать это в жанре антиутопии — у Петрушевской это получилось. Если же цель писателя все-таки в том, чтобы угладеть луч надежды в конце самого мрачного и безысходного туннеля, то, приступая к чтению романа, наверняка нужно сразу же гасить свет. Польза: 1,5 — ничего нового для себя в книге вы не найдете. И поток сознания, и ужасы в духе Стивена Кинга, и временами (жаль, крайне редкими!) возобновляющееся социально-детективное повествование — Петрушевская сделала жесткий микс жанров. Однако нового „Молчания ягнят“, ранящего души, не получилось. Интерес: 4 — любопытно, чем все кончится. Но и кончается неинтересно».

Примечательно, что рубрика «Литературный лоцман» никогда не указывает полных выходных данных рецензируемых книг. Видимо, не хотят делать рекламу издательствам (в данном случае — «ЭКСМО»). А все равно — некультурно.

Сергей Обогуев. Словарь Либерала. — «Топос». Литературно-философский журнал, 2004, 4 июня <<http://www.topos.ru>>.

Словарь составлен по материалам дискуссий на *интернет-форуме* «Союза правых сил» во время выборов в Государственную Думу в 2003 году. «БЫДЛО — любой человек, не являющийся сторонником СПС или Яблока. БЫДЛО — виновник всех несчастий РАШКИ. РАШКА — страна проживания БЫДЛА. ИНТЕЛЕКТ (варианты написания: ИНТИЛЕКТ, ИНТИЛЛЕКТ) — то, чего не хватает БЫДЛУ для присоединения к числу сторонников СПС или Яблока. <...> ЛИБЕРАЛ — психически здоровый и образованный человек. Обладает ИНТЕЛЕКТОМ; как следствие, является ИНТЕЛЛЕГЕНТОМ и сторонником СПС или Яблока. <...> НАЦИОНАЛИСТ (ШОВИНИСТ) — не совсем вменяемый человек, не согласный с самоочевидным утверждением о том, что почти все россияне являются БЫДЛОМ, а РАШКА — страна БЫДЛА. <...> СОЦИАЛИЗМ — общественный строй, противоположный РЫНКУ, в котором пребывала РАШКА до спасения ее ГАЙДАРОМ и ЧУБАЙСОМ. Почти все население РАШКИ в то время НЕ РАБОТАЛО и непрерывно пило ВОДКУ...»

Особенности национального литературного Интернета. «Круглый стол» участников литературной студии историко-филологического факультета РГГУ. — «Октябрь», 2004, № 5.

Четвертый выпуск рубрики «Штудии» (ведущий рубрики Дмитрий Бак). «Когда я училась в Праге и писала в чешский сетевой журнал о русской литературе, я была поражена, насколько сетевая словесность в России не похожа на чешскую! Какое здесь у вас разнообразие проектов, какая продуманность и системность литературного Интернета! Дилетантских-то сайтов везде много, а вот разветвленная система проектов, связанных с периодическими изданиями, библиотеками, в российской Сети создана уникальная» (Алена Винтерова).

См. также: Валерий Алексеев, Леонид Ашкинази, Алла Кузнецова, «Автор и Интернет (семь проблем: тезисы, вопросы, ответы)» — «Дружба народов», 2004, № 6 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>.

«От всей души благодарю вас». Письмо вдовы поэта Павла Васильева омскому литератору В. Попову. Подготовил Александр Лейфер. — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2004, № 1 (13), февраль.

«<...> кстати, Павел никогда не обрабатывал свои произведения <...>» (из письма Елены Вяловой-Васильевой Виталию Попову от 1 августа 1962 года; подлинник хранится в омском Литературном музее имени Ф. М. Достоевского).

Pavell. О философах. — «Мудрец, равный Небу». Сетевой дневник Павла Святенкова. 2004, 20 июня <<http://www.livejournal.com/users/pavell>>.

«Философа, которого не кормит своя разведка, будет кормить чужая».

Наталья Павленко. Облик молодого поколения в рок-поэзии конца XX века. — «Литература», 2004, № 21, 1 — 7 июня.

Виктор Цой и Александр Васильев. Автор учится в 11 классе многопрофильной гимназии № 22 (г. Белово, Кемеровской области).

Глеб Павловский. Россия все еще ищет свою роль в мире. В Послании президента к Федеральному Собранию внешнеполитическая часть едва различима. — «Независимая газета», 2004, № 108, 31 мая.

«Россия как мировой субъект — недооцененный актив».

Петр Палиевский. Пушкин в движении европейского сознания. — «Литературная газета», 2004, № 22, 2 — 8 июня.

«<...> византийцы, первые в христианском мире поднявшиеся к высотам культуры, вплоть до XII века именовали народы Запада „темными и бродячими племенами“; из Франции мы не раз слышали голоса, что Европа, собственно, кончается за Рейном; в Англии было изобретено, и не без основания, понятие „островитян“, мало склонных подчинять свой интерес каким-то общим целям, а в Германии, как мы хорошо знаем, были достаточно распространены стремления рассматривать себя как европейский форпост против славянского вообще и русского в частности варварства. Там даже не успели заметить, что те же настроения переместились из Европы за океан, и известный Теодор Рузвельт писал своему другу, английскому дипломату Сесилю Райсу, что русские „настолько же ниже немцев, насколько немцы — нас“».

См. также: Юрий Карякин, «Пушкин — напоминание России о том, какой она могла бы стать» — «Новая газета», 2004, № 39, 3 июня <<http://www.novayagazeta.ru>>; «<...> без „пушкинской прививки“ подростку подходить к Достоевскому опасно, порой даже смертельно опасно».

Виктор Пелевин. «Было ясно, что затаившиеся в СМИ извращенцы не простят мне „ДПП“». Беседу вела Наталья Кочеткова. — «Известия», 2004, № 102, 10 июня.

«Я знал, на что иду (на что?! — А. В.), когда писал „ДПП“ — с самого начала было ясно, что затаившиеся (? — А. В.) в СМИ извращенцы не простят мне этой книги. Но я все равно решил дать им неравный (? — А. В.) бой. И теперь все сбросили маски, выдали себя, и мы знаем, кто есть кто в нашем литературном и журналистском коммьюнити (курсив мой. — А. В.). Если серьезно, что бы я ни напечатал после такого перерыва, сказали бы то же самое. Если коротко суммировать то, что писала обо мне критика все эти годы, получится примерно следующее: я начал с грошовых придумок, написанных отвратительным языком, и с тех пор стремительно деградирую, с каждым годом опускаясь все ниже и ниже. Иногда мне становится интересно, есть ли дно у этой бездны или я буду падать в нее бесконечно? В этом, право же, есть какое-то люциферическое величие, которым я упиваюсь в трудные минуты. А насчет повторов — я ведь и буквы заимствую из алфавита, а слова в моих книгах вообще одни и те же. Удивительно, как этого еще никто не подметил. Что касается продолжения, то почти все

мои романы связаны между собой тонкой ниточкой — например, в „Generation ‘П’” появляется лама из „Чапаева”, в „Числах” упоминается космический центр под Лубянской из „Омона Ра” и так далее. Они описывают один и тот же мир».

См. также: Алла Латынина, «Потом опять теперь» — «Новый мир», 2004, № 2.

См. также: Ирина Роднянская, «Этот мир придуман не нами» — «Новый мир», 1999, № 8.

См. также: Ирина Роднянская, «...и к ней безумная любовь...» — «Новый мир», 1996, № 9.

См. также: Виктор Пелевин, «Желтая стрела» — «Новый мир», 1993, № 7.

Ральф Петерс. Постоянный конфликт. Перевел Илья Иоффе. — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2004, № 8 (107), 25 мая <<http://www.left.ru>>.

«Мы входим в новое Американское столетие, в котором мы будем еще богаче, еще культурно беспощадней и еще могущественнее. Мы будем возбуждать беспрецедентную ненависть».

«Будущее великолепно — и оно также очень мрачно».

«Одним из определяющих противоречий будущего станет конфликт между хозяевами информации и ее жертвами».

«Американская культура есть культура средств, а не цели, — динамический процесс, который создает, разрушает и опять создает. Если неустойчивы наши труды, то таковыми являются и величайшие дары жизни — страсть, красота, прозрачность света в зимний полдень, да даже и сама жизнь. Американская культура — живая. Яркость, жизненность находят отражение в нашей военной силе; мы не ищем ультимативных решений — только постоянное улучшение. Все предшествующие культуры как в общем, так и в военном плане стремились достигнуть идеальной формы жизни и зацементировать ее. Американцы, как в форме, так и без, всегда предпочитали перемены (отдельные индивидуумы им противились, и их консерватизм был здоровым ограничением национальных крайностей и излишеств). Американская культура есть культура бесстрашных».

«Следующий век действительно будет американским, но он будет и очень проблематичным. Армия США добавит не одну почетную полосу на свой флаг. Мы будем вести информационную войну, но мы будем использовать пехоту. И мы всегда будем удивлять тех наших и зарубежных критиков, которые будут предрекать наш упадок».

«Мы волшебны, сверхъестественны. И мы будем продолжать в том же духе».

Автор статьи, напечатанной в 1997 году в военно-теоретическом журнале «Параметры» («PARAMETERS», *US Army War College Quarterly*), — подполковник в отставке, состоял в штате канцелярии замначальника Штаба разведки и являлся ответственным за разработку способов ведения будущих войн. За время своей службы посетил в профессиональных и в личных целях более 50 стран.

Лев Пичурин. Томские загадки Николая Клюева. — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 4.

«10 июля 1939 года из Новосибирска в Томск направляется письмо с напоминанием, что срок ссылки Н. А. Клюеву закончился 2/II.39 года, а вы не сообщили в 1-й спецотдел НКВД о его освобождении и выбытии. „Если же ссыльный Клюев не освобожден, то немедленно освободить и выдать справку”. Но это уже не загадка, а кошмар. 25 октября 1937 года человека расстреляли. 23 марта 1939 года об этом доложили в Москву (есть документ за номером 2808). А еще через четыре месяца требуют его освобождения!»

Андрей Поляков. Быть русским. — «Топос», 2004, 25 мая <<http://www.topos.ru>>.

Победителем прошлогоднего конкурса школьных сочинений на тему «Что значит быть русским сегодня?» стал пятнадцатилетний Андрей Николаевич Поляков из Брянска. Публикуется его сочинение.

Пушкиниана-2003. Составитель Олег Трунов. — «Книжное обозрение», 2004, № 22-23, 31 мая.

187 позиций. См. также: «Пушкиниана 1998 года» — «Книжное обозрение», 1999, № 22, 1 июня; «Пушкиниана. Все книги 1999 года» — «Книжное обозрение», 2000, № 23, 24, 25, 26, 27; «Пушкиниана-2000» — «Книжное обозрение», 2001, № 23-24, 4 июня; «Пушкиниана-2001» — «Книжное обозрение», 2002, № 23-24, 3 июня; «Пушкиниана-2002» — «Книжное обозрение», 2003, № 24, 16 июня.

Андрей Ранчин. Тройная дуэль: Пушкин — Лермонтов — Тургенев. — «Литература», 2004, № 23, 16 — 22 июня.

«В „Отцах и детях” же — дуэльный фарс на сцене, а задник — пародийно представленные литературные декорации из пушкинского романа в стихах и из лермонтовского романа в прозе».

Валентин Распутин. «Надо наконец решить — нужны России писатели или нет». Беседу вел Кирилл Решетников. — «Газета», 2004, 25 мая.

«<...> современной почвеннической литературы нет. Она кончилась уже в восьмидесятые годы. Хотя некоторые представители ее еще живы — Белов, Лихоносов, Потанин. Появляются иногда книжки о деревне, хотя сейчас и деревни-то нет, в сущности. Книжки эти в основном критического характера, по материалу довольно тяжелые».

См. также подборку разных мнений «Грабли для Паганини. Есть ли будущее у „деревенской литературы“» — «НГ Ex libris», 2004, № 19, 27 мая <<http://exlibris.ng.ru>>; среди прочего — «„Почвенное“ направление в русской литературе будет жить непременно, потому что другие „за жизнь“ говорить не способны» (**Роман Ромов**, историк).

Станислав Рассадин. По Абхазии — с Искандером. Неполитические заметки. — «Новая газета», 2004, № 38, 31 мая.

«Вспомнил: давным-давно в доме моего друга Натана Эйдельмана я встретил Мераба Мамардашвили, не нуждающегося в рекомендациях, который тем не менее явно поморщился, услышав, что сейчас придет Фазиль Искандер. (Хорошо — не пришел.) А теперь в „Дневниках Натана Эйдельмана“, героически расшифрованных его женой Юлей, нахожу удивленную запись, сделанную в тот самый день и касающуюся Мераба: „не понимает, почему абхазы не должны подчиняться грузинам“».

Мнение Александра Эбанойдзе и Фазиля Искандера об этой статье см.: «Новая газета», 2004, № 48, 8 июля.

Леонид Решилов. Перечитаем «Слово» (или еще раз о том, «откуда пошла есть Русская земля»). — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 4.

«Украинский писатель Валерий Шевчук в романе-эссе о Киеве „Мысленное дерево“ рассказал о результатах своих исследований литературы XVI — начала XVII века, времен, когда Киев еще входил в состав Речи Посполитой. Он обнаружил, что еще в то время у Киева было сохранившееся от глубокой старины второе название — Троя. <...> Путешественник Мартин Груневег, побывавший в Киеве в 1584 — 1585 годах, в 1601 — 1605 годах опубликовал воспоминания о своем путешествии, в которых пишет, что слышал разговор, что Киев построен на месте Трои, но полагает, что настоящая Троя находится в Малой Азии. В книге „*Florus Polonicus*“, изданной в Нюрнберге в 1666 году, автор отождествляет античную Трою с Киевом и пишет, что „в пещерах Киевских можно осмотреть тела Гектора, Приама, Ахилла и других троянских и греческих героев, оставшихся нетленными все прошедшее время“».

Ирина Романчева. Илларионов расшифровал Послание президента. — «Независимая газета», 2004, № 111, 3 июня <<http://www.ng.ru>>.

«<...> Андрей Илларионов объявил: [Киотский] протокол является „дискриминационным по отношению к России“ и основан „на фальсифицированных данных“. Этот документ „неэффективен“, так как „не имеет научного обоснования“, а его принятие ограничит экономический рост. Кроме того, ратификация протокола подразумевает создание нового „бюрократического монстра“: „Госплан бледнеет по сравнению с тем, что нам предлагают создать“. Прошелся Илларионов и по идеологической „нагрузке“ документа: „Идеология, на которой базируется Киотский протокол, — тоталитарная, которая мало чем отличается от коммунизма и фашизма“. „Киотский протокол несовместим с интересами России и тех стран, которые имели неосторожность его ратифицировать“, — заключил советник президента».

Ларе Свендсен. Философия скуки. — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 4 июня <<http://www.polit.ru>>.

«Скука — „привилегия“ современного человека. И если есть основания полагать, что радость и эмоции — относительно постоянные величины в истории, то скука, так сказать, драматическим образом нарастает». Фрагменты книги норвежского философа, вышедшей в прошлом году в издательстве «Прогресс-Традиция». (В публикации «ПОЛИТ.РУ» переводчик не указан.)

Борис Соколов. Война как способ распространения коммунизма (1929 — 1945). — «Посев», 2004, № 5, 6.

«Еще в середине мая 1941 г. был окончательно разработан план [советского] превентивного удара. Он предполагал осуществление главного броска на Юго-Западном направлении, где между Краковом и Катовице 152 советские дивизии должны были разгромить 100 немецких дивизий, а затем, повернув к побережью Балтики, окружить основные германские силы в Польше и тем самым полностью выиграть войну. Однако в действительности основные германские силы были сосредоточены в центре, а не на юго-западе будущего советско-германского фронта. В германской группе армий „Юг“ насчитывалось лишь 38 дивизий, из которых 7 дислоцировались в Румынии, а не в

Польше. Если бы даже Красной Армии удалось упредить Вермахт и ударить первой, ее удар пришлось бы почти что по пустому месту. Зато советская ударная группировка наверняка подверглась бы мощному фланговому удару со стороны группы армий „Центр” и была бы разгромлена».

См. также: **Борис Соколов**, «Красная Армия перед бурей» — «Знание — сила», 2004, № 6 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

Максим Соколов. Седьмое доказательство. — «Известия», 2004, № 106, 17 июня.

«Ленинские труды являются убедительным доказательством бытия Божьего, ибо если Бога нет, то откуда такие корчи. Но радикальные правозащитники являют ту же картину».

Александр Сокуров. «В политиках сидит синдром официанта». Беседу вела Юлия Кантор. — «Известия», 2004, № 95, 1 июня.

Режиссер начал съемки «Солнца» — о японском императоре Хирохито. «<...> японский императорский дом с 20-х годов XIX века окончательно и бесповоротно принял для себя как образец правления и внешнюю атрибутику у викторианской монархии. Среди всех монархий мира японцы выбрали именно британскую: они понимали, что, если они сохранят нетронутой свою необычную жизнь, сам уклад своей бытовой жизни, свою глубоко национальную государственность, их, японцев, <...> государство европейцы просто уничтожат. И сделают это, мотивируя тем, что уж слишком непонятно им японское общество, слишком независимое от Европы общество: европейцы всегда боялись слишком своеобразных. Вот в опережение событий японская элита стремительно проводила огромную реорганизацию страны, европеизируя всю жизнь. Японцы сняли с себя национальную одежду, оделись во все европейское, сохранив при этом некое мягкое своеобразие. И защитили свой внутренний мир. <...> В современной Японии трудно найти что-то старое. Художественной „материальной” старости очень мало. Внутри все сохраняется, но японцы не плачут над каждым упавшим камнем, они создают новое».

Владимир Солоухин. «Радуетесь, когда возникает живое явление». Беседу вел Алексей Георгиевский. — «Литературная газета», 2004, № 23, 9 — 15 июня.

«Все привыкли думать, что я консерватор, ретроград, — я с большим интересом иногда воспринимаю современное искусство тоже. А я эстраду люблю, Вертинского люблю и Окуджаву люблю. Конечно, в определенной ситуации, — собрались, вот, мы, сидим, — не обязательно всегда надо Баха, Вагнера, Бетховена слушать. Современная эстрада иногда, может, даже более необходима бывает. А так, в пределах разумного, прогресс должен быть, конечно». Интервью двадцатилетней давности (октябрь — декабрь 1984 года), заказанное журналом «Наш современник», но тогда не напечатанное.

Александр Спиваковский. 22 Гамлета и один Шекспир (традиции и новации прочтения трагедии «Гамлет» У. Шекспира). — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 4.

«Иногда кажется, что, если бы И. Бродский захотел ненадолго придушить в себе Бродского, он смог бы сделать настоящий новый перевод „Гамлета”».

Евгений Степанов. «PR» в современной русской литературе. — «Футурум АРТ», 2004, № 2 (6).

«Один из лучших пиарщиков — житель США, уроженец Санкт-Петербурга Константин Кузьминский».

См. также двухтомное сочинение **Константина К. Кузьминского** «Поэма „Ада”, или Девочка из Днепропетровска» (1993) с предисловием Евгения Степанова в новом литературном журнале «Дети РА» (2004, № 1, 2). РА в данном случае — это Волга, в первом номере журнала большая подборка саратовцев.

О К. Кузьминском см. мемуар **Владимира Алейникова** «Ленинградская богема» («Литературная Россия», 2004, № 12, 13 <<http://www.litrossia.ru>>).

Евгений Степанов. Удетероны. — «Футурум АРТ», 2004, № 2 (6).

в сотый раз смотрю „Офицеры” и опять плачу

Руслан Уваров. Размышления о Магомете, Исламе и кознях дьявола. — «Литературный европеец», Франкфурт-на-Майне, № 75 <<http://www.le-online.org>>.

«Исходной точкой моих размышлений является Христианская вера, Библия и Евангелие как безусловная истина миропонимания. Мне чужды взгляды на Христианство как на одно из равноценных учений об абстрактном Божестве. Веря в Богочеловека, я должен признать существование и его супостата — дьявола...»

Людмила Улицкая. «Для меня самое интересное — человек». Беседу вел Андрей Мирошкин. — «Книжное обозрение», 2004, № 22-23, 31 мая.

<...> если отвлечься от славного прошлого, то положение русской литературы вполне достойное: русских переводят не меньше, чем китайцев, — а китайцев насколько больше, да и культура у них подревней нашей. Все сколько-нибудь заметное в нашей стране переводят на иностранные языки. Кафедры славистики со времен крушения коммунистического режима, правда, отнюдь не процветают: нас перестали бояться и стали меньше изучать, — но они существуют, иностранные слависты пишут диссертации о русских писателях всех рангов: недавно я познакомилась с японской слависткой, которая писала диссертацию о Леониде Леонове (!). Книги русских авторов присутствуют в европейских книжных магазинах, порой в довольно причудливых комбинациях: на одной полке Виктор Суворов, Людмила Улицкая, Чингиз Айтматов и Дарья Донцова. Что существенно: нам надо отучаться от провинциального эгоцентризма. Мы — небольшая часть мира. Малокультурная, бедная часть мира. И то обстоятельство, что в девятнадцатом веке в России расцвела гениальная литература, в двадцатом — мощный художественный и литературный авангард, в двадцать первом столетии не должно нам мешать видеть реальную картину».

Интересно, кому принадлежит восклицательный знак в скобках — Улицкой или интервьюеру? И что он, собственно, должен интонационно отметить?

См. также беседу Людмилы Улицкой с Александром Вознесенским «Никакого авторского произвола» («НГ Ex libris», 2004, № 17, 13 мая <<http://exlibris.ng.ru>>).

Егор Холмогоров. Сон бледный и конь рыжий. — «Русский Журнал», 2004, 7 июня <<http://www.russ.ru/politics>>.

«Прямых отсылок к иракской войне в „Трое“ нет, ни политических, ни символических параллелей, — только общая атмосфера столкновения условного „Запада“ с еще более условным „Востоком“. И тем не менее „Троя“ является куда более сильной аполгией американского вторжения в Ирак и самых грязных методов ведения войны, чем фильм Мура — обличением той же войны и всей политической грязи бушевского режима. Герои „Трои“ сильны, красивы, монументальны, как и положено героям эпоса. И, как положено героям эпоса, абсолютно аморальны. Причем голливудская „редактура“ сюжета „Илиады“ лишь подчеркивает эту аморальность. Благороднейший Гектор, как заметит внимательный зритель, прекрасно видит, чем занимается его брат в Спарте с царницей Еленой, и тем не менее даже не пытается его остановить. А затем, после поединка Париса с Менелаем, Гектор *предательски убивает* спартанского царя, не ожидавшего удара. Ахиллес оскверняет храм Аполлона, отрубает голову его статуе и творит прочие непотребства, опять же для гомеровских героев немислимые. Сценаристы точно сознательно выводят всех участников битвы за Трою по „ту сторону добра и зла“, чтобы обобщить все это своеобразной философией войны. Смысл войны не в „гуманитарном значении“, не в „либерализации“, не в „великой миссии“ и прочем наборе идеологических красотостей, годящихся лишь для „Властелина Колец-3“. *Смысл войны — в войне*. И в славе, которую она доставляет героям вне зависимости от степени подлости, гнусности и кощунственности их действий. Низкий Агамемнон сражается за власть, в то время как истинные герои, и прежде всего — Ахиллес, дерутся за славу, за память, переживающую тысячелетия. На человека, усвоившего эту философию и дух, стиль „Трои“, издевательские кадры из иракских тюрем вряд ли произведут должное, шокирующее впечатление. Пытки в иракских тюрьмах — гнусность. Но разве поступок Ахиллеса с телом Гектора не гнусность? И разве мешает это Ахиллесу оставаться героем? И не все ли в итоге равно, быть Джессикой Линч или Линди Ингланд, если и ту и другую ждет хоть и коротенькая и ущербная, но вечность. „Бессмертие пришло... Помянут меня, помянут и тебя...“ Но обратной стороной идеологии героизма является отказ от „дегероизации“ противника. Ахиллес не был бы героем, если бы героем не был Гектор. И вот Буш делает первый шаг на этом пути. Он заявляет в интервью „Пари Матч“, что не все иракцы, воюющие против США, террористы („антитеррористическая операция“ и „война в Ираке“ — это тоже, оказывается, не одно и то же). Большинство иракцев воюет потому, что не хочет жить в оккупации. И Буш их прекрасно понимает — сам не хотел бы. Как ни странно, но после такой формулы войны сражаться можно куда дольше и куда ожесточенней, чем после опрометчиво данного обещания „принести в Ирак демократию“. Американцы не могут прекратить оккупацию Ирака, и ничего тут не изменишь, иракцы не хотят терпеть оккупацию, и их чувства тоже понятны, а потому воюем дальше. Этого идеологического „троянского коня“ одноэтажная Америка примет скорее, чем либеральные обличения лживого Буша и нового Вьетнама, так же как Ахиллес и даже скептический Одиссей всегда интересней Терсита».

См. также: «Шибко грамотным смотреть голливудскую „Трою“ будет неуютно. Я же наверняка знал всего три вещи. Первая: „Гнев, богиня, востой Ахиллеса, Пелеева

сына". Вторая: ахейцы осадили малоазийскую Трои с целью освобождения женщины Елены, которая будто бы стоила того, чтобы из-за нее воевать. Наконец, третья: предводитель троянцев Гектор так парализовал несравненного бойца Ахилла в самую пятку, что и стало причиной безвременной кончины последнего. Теперь представьте мое состояние в ту секунду, когда ловкий Брэд Питт, он же Пелеев сын Ахиллес, воткнул в плечо Гектора и там три раза повернул свое оружие, копьё! Наверняка *зная*, что Гектор выживет, убьет и победит, я внутренне глумился над самоуверенным обидчиком: „Зря радуешься, Брэд Питт! Напрасно торжествуешь, Пелеев сын!" Даже когда Ахиллес изрешетил грудь несчастного Гектора острой саблей, даже понимая, что решето непригодно для дыхания, я оставался в плену своего неизвестно кем сформированного предрассудка. Но едва Гектор испустил дух, а соседние девчонки впечатлились агрессивным Брэдом Питтом настолько, что впервые за весь фильм сняли ноги со спинок впереди стоящих кресел и неровно задышали, — в это самое мгновение режиссер Вольфганг Петерсен доказал полное превосходство мировой Истории над моим частным предрассудком. Иной глубокий знаток первоисточника, равно как и беспринципные девчонки, по женскому обыкновению болевшие за самца, который победит, никогда не испытают восторга, подобного моему. Вот она, квинтэссенция кинематографического метода: отвлеченное и, как ни парадоксально звучит в данном случае, книжное знание было дезавуировано убедительным мимезисом. На моих собственных глазах то, что называется *жизнью*, вмешалось и скорректировало *схему!* <...> Хочу акцентировать эту *поразившую* меня стратегию повествования: Мир показан как совокупность граничащих *силовых полей*, чье неизбежное взаимодействие чревато конфликтом, чревато необходимостью принимать немедленное решение, отвечать на вызов, поднимая щит и обнажая меч. *Каждый мужчина* здесь — воин, но воин во вторую очередь. В первую — субъект политики. Блистательно отыгран мотив начала Троянской войны. Похитивший Елену Парис, равно как и сама красавица, полагают, что именно они явились причиной величайшего в Истории военного конфликта. Что будто бы из-за женщины спущены на воду сотни ахейских кораблей, из-за женщины поднялись на крепостные стены тысячи троянских лучников. Из-за женщины проявляют чудеса храбрости, доблести, сообразительности — Ахиллес, Гектор, Аякс, Одиссей и необстрелянный Патрокл. Предоставив любовникам безраздельное право на иллюзию, подлинными героями фильма, мужчины, один за другим высказываются в том роде, что эффектная женщина ни при чем, что война была неизбежна и „похищение Елены" не причина, а всего лишь романтическая версия. Для подростков. <...> Ритуальные почести, сопутствующие погребению героев, — ключевые моменты голливудской „Трои". Исчезающие в пламени тела Патрокла, Гектора и Ахиллеса — превращаются не столько в пепел и дым, сколько в пресловутую культурную память, в решимость и волю, в новую, теперь уже американскую идентичность», — пишет **Игорь Манцов** («Наши мертвые» — «Русский Журнал», 2004, 8 июня <<http://www.russ.ru/columns/street>>).

В. Я. Коротко о книгах. — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 4.

Приведу целиком одну аннотацию на книгу, которую я в глаза не видел и вряд ли увижу, — «Собор стихов. Стихи-свидетельства о пути к Христу, написанные поэтами Кузнецкого края» (Кемерово, 2003). «„Настоящая поэзия соединяется с молитвой, а вернее, переходит в молитву", — пишет в предисловии к книге один из ее составителей, Борис Бурмистров. Таких стихов из двух тысяч было отобрано за три года работы более четырехсот, которые распределились по семи главам. От отчаяния к страданию и покаянию, к обретению веры — таков „сюжет" этой необычной книги, навеянной не только откровением свыше, но и современностью. „Собор поэтов" этой книги состоит из почти девяноста поэтов, чья жизнь и судьба связаны с Кузбассом».

В. Я. — это, видимо, Владимир Яранцев.

Евгений Яшин. Бой с тенью. Полемиические заметки русского интеллигента. — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 1-2.

«Однажды Андрей Дмитриевич поступил в [областную горьковскую] больницу во время политической голодовки, являющейся протестом против запрещения Е. Г. Боннэр (его супруги) выехать за рубеж к детям. Мне довелось наблюдать его в начальный период голодовки, во время его искусственного кормления и во время выхода из состояния голодания. Много забываясь, но один эпизод я помню отчетливо. Я, пожалуй, был единственным врачом, остававшийся с Сахаровым наедине во время исследования. Как-то Андрей Дмитриевич появился в моем кабинете с повязками на локтевых сгибах, причем сквозь бинты проступала свежая кровь. Заметив мой сострадательный взгляд, он сказал: „Вот, Евгений Алексеевич, начали насильно кормить". Он еще хотел что-то сказать, полагая, должно быть, что мы одни, но я показал ему жестом необходимость молчания и быстро написал на клочке бумаги: „Здесь все прослушивается". Он печально кивнул головой и более не пытался расширить уровень контакта. Насколько я по-

мню, это была, пожалуй, самая стойкая и длительная голодовка, так что пришлось даже прибегнуть к искусственному кормлению через зонд, что в дальнейшем привело к возможности серьезных осложнений, опасных для жизни. Я говорю здесь об эпизоде с возникновением опасности пролежней пищевода от длительно зафиксированного желудочно-кишечного зонда. К счастью, все кончилось благополучно: зонд убрали, и пациент стал выходить из голодания. К тому же требования его были удовлетворены на самом „верху”. Навещая его с этой новостью в отделении, его жена не удержалась и станцевала „цыганочку”».

Составитель **Андрей Василевский**.

*«Вопросы истории», «Вопросы философии», «Вопросы литературы»,
«Дружба народов», «Знамя», «Звезда»*

Михаил Айзенберг. Кустарные виды. Стихи. — «Знамя», 2004, № 6 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

.....
Если память врет, то себе во вред.
Своему сознанию я не верю —
не позор ему нарушать запрет
и, спасаясь, в лес уходить как зверю.
Но, обнюхав собственные следы,
отойдет сознание без возврата
в те края, откуда и мы, и ты.
А без нас уже ничему не радо.

(Из стихотворения «Памяти Леонида Иоффе»)

Светлана Алексиевич. Непрозрачный мир. Две беседы о злободневном и вечном. — «Дружба народов», 2004, № 6 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

Из первой, проведенной Натальей Игруновой: «Вот прошли президентские выборы в России. Если бы я была русским человеком, я бы голосовала за Хакамаду. За ее смелость, за ее умение принять вызов, даже за сам типаж — энергичной, эрудированной, независимой женщины, которой интересно жить в полную силу. Но как же надо не понимать, где человек живет, как выглядит и что о нем думают, чтобы „гулять” перед объективами телекамер в каком-то шикарном ресторане, выходить на глазах униженной России в шикарной одежде из роскошной машины... Это же означает подписать смертный приговор демократии. Собственно, они себе его уже подписали — поражение СПС об этом и говорят».

Сергей Гандлевский. [Ответ на вопрос анкеты]. — «Знамя», 2004, № 6.

Анкета называется «Либерализм: взгляд из литературы». Отвечало много народу. Анкете предшествовали и статьи на близкие темы, публиковавшиеся в последнее время в «Знамени». Ответ Гандлевского на первый вопрос — случай, когда одной ключевой цитатой не обойдешься.

Вопрос:

«Слова „либерал” и от него производные стали определенной частью литературных критиков нового призыва употребляться как бранные, а слово „консерватор” перестало соответствовать своему содержанию. Каковы особенности и в чем причина нового антилиберального давления на либеральные ценности в современной словесности? Разочарование? Поколенческое противостояние? Компрометация либеральных идей?»

Ответ:

«<...> Либерализм, как я его понимаю, не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Он в принципе лишен метафизического пафоса, потому что либерализму нет и не должно быть дела до предельных запросов жизни. Это род смиренной рубашки, которую сшило себе человечество, заметив за собой обыкновение время от времени впадать в буйное помешательство, отягченное членовредительством. Это всего лишь правила проведения общественной дискуссии, при соблюдении каких-либо высказаться могут все желающие стороны, а оставшимся в меньшинстве гарантирована неприкосновенность. При условии, разумеется, что проигравшие примут к сведению сложившийся расклад сил и не посягнут на сами правила проведения дискуссии, то есть собственно на либерализм. (Например, в либеральном Израиле сторонники коммунистического образа жизни могут жить в маленьких оазисах коммунизма — кибуцах, а ортодоксальные иудеи, не признающие светского государства, тоже не загнаны в подполье. Маловероятно, что коммунисты или фундаменталисты, приди они к власти, уступили хотя бы гектар под заповедник либерализма.)

Но искусство, во всяком случае искусство в моем представлении, просто-напросто не умеет обойтись без метафизики, мается, как проклятое, у самого края бытия, где довольно безлюдно, раз за разом остается в меньшинстве, но свысока смотрит на победителей. У искусства в чести страсть (здесь оно вроде бы не противоречит христианству, считающему „теплохладность” немалым грехом), искусство уже двести лет декларирует „живи, как пишешь, и пиши, как живешь”, — а либерализм, рыба кровь, гнет свое, настоятельно рекомендуя существование при комнатной температуре.

Налицо разноприродность искусства и либерализма <...>. На такие малости, как религия, искусство, смерть, тщета людского существования, у либерализма как бы не хватает воображения — он слишком положителен и недалек.

Умеренный и аккуратный либерализм с переменным успехом пытается обуздать страстную и неразумную человеческую природу. Чья возьмет? Лучше бы ничья не брала. Окончательная победа либерализма как общественного устройства, но в первую очередь в головах, будет означать абсолютное торжество выхолащенного самоцельного распорядка, процедуры над сутью и смыслом происходящего — что-то вроде тепловой смерти, тихой эвтаназии <...>.

Обида на либерализм — не новость: об этом и стихотворение Цветаевой „Читатели газет”, и строки Блока о „куцей конституции”. Показательно, что даже авторы, на собственном горьком опыте знакомые с „прелестями” существования под антилиберальным правлением, по здравом размышлении довольно-таки скептически отзывались о либеральных ценностях. Вспомним „Последнего поэта” Баратынского или „Из Пиндемонти” Пушкина.

Все вышесказанное — за упокой. До сих пор я был „попутчиком” нынешних „консерваторов”, если я верно угадываю их настроение и ход мысли.

Теперь — за здравие. Здесь мне в другую сторону.

Энтузиастические государства на поэтических началах (коммунизм, фашизм и прочие „истинные” режимы) — еще на памяти у миллионов обитателей планеты: там — тоже смерть, правда не такая благодатная и гипотетическая, как от либерализма. И скука смертная — добавлю как человек 1952 года рождения, современник и внимательный наблюдатель „зрелого социализма”.

В помянутом стихотворении — „Мать! Гутенбергов *пресс* / Страшней, чем Шварцев *прах!* // Уж лучше на погост, — / Чем в гнойный лазарет / Чесателей корост, / Читателей газет!” — Цветаева, скажем прямо,хватила через край: порох все-таки опасней печатного станка, а газетное мелкотемье и безвкусица, по мне, предпочтительней смерти.

Но то — поэзия, с нее, как говорится, взятки гладки... Но идти на поводу у лирического красноречия, даже талантливого, не понимать „шуток” и изъявлять готовность расшибить лоб (добро бы только свой)! Но из эстетических побуждений пытаться драматизировать общественную жизнь, чтобы она, как в старые „добрые” времена, порождала настоящее искусство и, в свою очередь, была его достойна, — подростковое самоуправство. Это все равно что палкой шуровать в кратере вулкана в надежде вызвать извержение и власть полюбоваться на стихию. Во-первых, вряд ли получится; во-вторых, может получиться — и так убедительно, что эстетикой дело не ограничится. Если нашим „консерваторам” отказывает инстинкт самосохранения, то пусть хотя бы посоветятся так называемые простые люди — люди как-никак, и не надо вовлекать их, словно Белку и Стрелку, в собственные декадентские эксперименты. <...>

А кому либеральное прозябание кажется пресным — милости просим в горы с альпинистами, в пещеры со спелеологами, вокруг света в тазу и т. п.: загородная нерво-трепка гарантирована, зато совесть чиста.

<...> Возможно, что следствием повального либерализма станет окончательный упадок традиционных конфессий, истории, искусства и много чего еще, дорогого сердцу гуманитария. Но паника из-за либеральной угрозы представляется мне этакой пессимистической маниловщиной — можно приуныть и в связи с предстоящим угасанием Солнца. Или судить и рядить о нежелательных последствиях эксплуатации *regretuum mobile*. <...>

„Плохой мир лучше хорошей ссоры” — вот мудрость либерализма. И с нею легко согласятся люди средних лет и старше, умудренные опытом, понабивавшие себе шишек, разуверившиеся в единственности или даже существовании истины, порастрагившие пыл и задор. Так что конфликт либеральных и антилиберальных настроений, ко всему прочему, еще и вечное возрастное противостояние. Мальчики на то и мальчики, чтобы браться „перекраивать карту звездного неба”. Подозрителен молодой человек, ни разу не сказавший будничному миру: „Да пропади ты пропадом!” Ленин прав: левизна — и впрямь детская болезнь. Так что нынешние „консерваторы” с левой резьбой еще и инфантильны. А спички, как известно, детям не игрушка <...>».

Остальные ответы коротенькие, по два-три предложения. И вопросы попроще.

Нина Горланова. Вечер с прототипом. Рассказы. — «Знамя», 2004, № 5.

«Залезла в „закрома родины” — так младшая дочь Агния называет мои мешки с записями. Нужно было выбрать много чего, чтоб замаскировать прототипов. Это у нас называется „рыбная ловля”. <...>

Три месяца тому назад другой прототип — наш близкий друг — узнал себя в опубликованном рассказе и перестал звонить и приходить. Хотя я не знаю даже, на что он обиделся (герой там остроумный, страстный, раскрепосный). Видимо, само нарушение принципа частной жизни... как-то ранит. Неприятно читать о себе вообще. Даже когда имя другое: Арнольд.

Кстати, под этим именем я его оставляю и в этом повествовании».

Владимир Дегоев. Апология мифа. России нужно обрести себя, чтобы не быть обретенной другими. — «Дружба народов», 2004, № 6.

«Миф — не ложь, а правила игры во имя спасения, открыто или подсознательно принимаемые подавляющей частью общества, не имеющей ни досуга для глубоких рефлексий, ни охоты к ним. Что до критически мыслящих микроменьшинств, то они всегда были, есть и, хочется надеяться, будут. Думать обо всем и вся непрестанно и по-разному — их призвание и профессия. Ни даровать этим людям внутреннюю свободу, ни отнять ее невозможно: она присуща им изначально. Вопрос в том, чтобы гарантировать жреческому сословию „внешнюю” свободу в виде права на сомнение, пророчество и поиск „истины”. Без этого жизнь грозит превратиться в оруэлловский кошмар. Однако и у остальной части общества, то есть у большинства, должно быть право выбирать для себя приемлемое — право ошибаться в своих предпочтениях или не иметь их вовсе, право верить не думая или думать не веруя. Иначе говоря — быть таким, какое оно есть».

Ассен Игнатов. Революция пожирает своих вундеркиндов. Случай Бухарина с психологической точки зрения. Перевод с немецкого Е. В. Воробьевой под редакцией В. К. Кантора. — «Вопросы философии», 2004, № 6.

Посмертная публикация статьи выдающегося немецкого ученого (до сих пор у нас толком не переведенного). Блестящее расследование. (Тут же приложено письмо 1999 года Игнатова — сыну Бухарина Ю. Н. Ларину). «Сталин и Бухарин представляли страшный симбиоз. Они были нужны друг другу. Садисту Сталину была нужна жертва. Мазохисту Бухарину был нужен палач. Разумеется, оба руководствовались собственными мотивами. Сталин на самом деле полагал, что его „долг” быть твердым. Бухарин считал, что его „долг” требует пожертвовать собой». Долги в кавычках.

И. В. Зимин. Последняя российская императрица Александра Федоровна. — «Вопросы истории», 2004, № 6.

О здоровье: гемофилия и нервы. И не только.

«По мнению современников, она была в большей степени проникнута духом абсолютной самодержавной власти, чем сам император. Что касается „сумасшествия”, о котором постоянно твердили ее недоброжелатели, то можно утверждать, что его не было. Были неизбежные стрессы, от которых не застрахован ни один человек. Многочисленные слухи, окружавшие императрицу, были следствием напряженной политической борьбы вокруг первых лиц Империи, и надо признать, что психологическое давление на императорскую чету было эффективным и принесло политические дивиденды в феврале 1917 года».

Как Сталин критиковал и редактировал конспекты школьных учебников по истории (1934 — 1936 гг.). Вступительная статья и публикация М. В. Зеленова. — «Вопросы истории», 2004, № 6.

«Для выработки итогового документа Бубнову было поручено вызвать из ссылки Е. В. Тарле, который участвовал в совещании при Наркомпросе по реорганизации университетов 8 апреля 1934 года. <...> Сталин готовился к войне и перестраивал историческую пропаганду, охватывающую население страны призывного возраста, то есть студентов и старших школьников. Удобнее это было сделать через школьные учебники и истфаки университетов; те же задачи изменения массового исторического сознания решались через кинематограф и литературу. Фигура <М. Н.> Покровского не была заменена каким-либо авторитетным историком, она была заменена фигурой Сталина. Принятые меры в целом дали желаемый эффект» (из вступления).

В публикации учитывается и то, какой линией отец народов подчеркнул/зачеркнул что-либо в бумагах: толстой или тонкой.

Алла Марченко. Мелодия для Голоса и Азийской свирели. — «Знамя», 2004, № 5.

«Эта моя работа — попытка угадать строй в нестройном хоре мемуарных свидетельств, попытка сообразить, почему Анна Ахматова, никогда не бросавшая словами, назвала свои ташкентские страшные годы (1941 — 1944) „волшебными”. Разумеется, на

правах биографической гипотезы или, на худой конец, еще одной версии, годной для дальнейшего размышления...»

Гипотеза в целом мне кажется убедительной. Несмотря на некоторую безапелляционность тона.

В одном месте я, правда, здорово споткнулся: «Поскольку на первом, майском, вечере у Толстых, где Чапский читал стихи польских поэтов, а Ахматова молчаливо, сквозь слезы на глазах, слушала, о ее собственном чтении „Поэмы без героя“ нет и речи, иначе об этом было непременно доложено „капитану“ (Л. К. Чуковской. — П. К.), Толстой устраивал и еще одну русско-польскую посиделку. Видимо, в том же 1942-м, но уже в самом конце года, после того как 11 декабря между Л. К. Чуковской и А. А. Ахматовой надолго — на целых десять лет! — были разорваны *дипломатические* (курсив мой. — П. К.) отношения...».

Мне кажется, что устойчивое словосочетание *именно здесь* неуместно. Достаточно прочитать страниц двадцать первого тома «Записок об Анне Ахматовой» (лучше всего с начала, стр. 15 — 45). Что же до «дипломатии» в прямом смысле слова, напомним себе, что, судя по тем же «Запискам», в то «разорванное» десятилетие при случайных встречах Ахматова и Чуковская раскланивались. Л. К. видела плохо, поэтому первой здоровалась Анна Андреевна.

В. Махлин. Тоже разговор. — «Вопросы литературы», 2004, № 3, май — июнь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>.

Известный специалист по творчеству М. М. Бахтина, редактор международного издания «Бахтинский сборник» (1990 — 2004) тонко анализирует книгу разговоров философа с В. Д. Дувакиным (2-е изд., М., «Согласие», 2002). Это одна из первых (и стопроцентно удавшаяся!) попыток отнестись к литературе *такого* рода с той же строгостью и научным интересом, с каким разбирают *написанные*, а не *наговоренные* тексты. И — хороший ответ скептикам, полагающим *устную речь* и «разговорное» мышление чем-то второсортным, а то и несерьезным. В дувакинской книге важно все: кто с кем говорит, кто как говорит. Важны и паузы, и молчание.

Памяти Леонида Виноградова (27.VI.1936 — 1.04.2004). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 6 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

Публикуется эссе Льва Лосева — «Гениальные обмолвки» и маленький поминальный этюд Анатолия Наймана: «...Стихотворения сочинял одно-двухстрочные, называл моностихами. Так или иначе эпатирующие, всегда неожиданные. „Марусь, ты любишь Русь?“ Главное впечатление было, что остроумные. Позже оказалось — умные. А может, мудрые. „Я — червячок. Внутри крючок“. <...> Был абсолютно честен — в поэзии, в разговоре, в поступках. Друг своих друзей, враг своих и их врагов. От того, что писал, получить не хотел ничего, только само написанное. Нельзя было ошибиться, что перед тобой поэт. Был упрям, в смысле: у-прям. Из-за того и умер — отказался лечь с пневмонией в больницу: чужие руки, грязные халаты. В гробу напоминал раннее стихотворение „Я смело вышел на арену“: „Лежу, не сняв борцовской маски, спокойно глядя в потолок“».

Михаил Поздняев. Фотоувеличение. Стихи. — «Знамя», 2004, № 5.

Беспечной маленькой птички частые трели
из форточки, совсем как звонит межгород.
Случилось горе: мы с тобой постарели
еще на целую ночь в разлуке. Не холод
колотит того, кто один в эту ночь в постели,
но тьма, отсутствие света, античный ужас,
молитва ребенка, чтоб рядышком посидели,
сказали сказку. Воздушные замки, рушась,
на пододеяльник сыплются, как известка,
и я — точно рак-отшельник, лобстер на блюде
серебряном. Но нас не из гипса — из воска
лепил Господь. И все, что мы с тобой людям
способны теперь подарить, — это ласка, ласка,
и свет, и свет, и тепло, тепло, без остатка.
Не требуя слова «спасибо» за то, что сказка.
Не требуя поцелуя за то, что сладко.

(«Под утро»)

Феликс Раскольников. Пушкин и религия. — «Вопросы литературы», 2004, № 3, май — июнь.

«Оставляя в стороне *православно-романтическую историософию* (курсив мой. — П. К.), я хочу в этой статье показать, что, хотя отношение Пушкина к русскому духовенству и церкви, к христианству и вообще к религии действительно изменилось в по-

следние годы его жизни, элементы античного и романтического мировосприятия у него сохранялись, да и с наследием Просвещения он распрощался вовсе не до конца. По моему мнению, хотя Пушкин действительно стал русским национальным поэтом, это не значит, что он отверг европейское культурное наследие и стал ортодоксально верующим православным христианином.

Так пишет семидесятичетырехлетний профессор философии из Мичигана.

А кто сказал, что ставший русским национальным поэтом — автоматически отвергает и т. п.? Я, честно говоря, не понял, при чем здесь это «хотя»?

Геннадий Русаков. «Мне больно жить от счастья бытия». Беседу вела Е. Константинова. — «Вопросы литературы», 2004, № 3, май — июнь.

«Понял, что могу писать стихи в любой стране, если идет дождь и если мне никто не мешает. Словом, мне нужен дождь и одиночество. Моих американских знакомых моя любовь к дождливой погоде приводит в ярость. Для них дождь — начало всемирной катастрофы. Затем выпадет снег, и жизнь прекратится. <...> Поэзия состоит из ремесла и из того, что каждый, работающий в ней, пытается и не умеет точно назвать. Вдохновение — почти неприличное слово. Нет, скорее редкое состояние духа... Вообще, почему люди говорят рифмованными строчками? Подозреваю, что это какая-то разновидность патологии...»

Русская православная церковь и Февральская революция 1917 года. Публикация и вводная статья М. А. Бабкина. — «Вопросы истории», 2004, № 2 — 5.

Четыре журнальных номера подряд открывались этой уникальной подборкой документов: 288 пронумерованных текстов, иные — с приложениями. В редакции мне сказали, что у публикатора наберется еще столько же.

Отношение духовенства к факту свержения монархии в России и установлению власти Временного правительства (и к его деятельности) было не просто лояльным. Прежний режим едва не был предан анафеме. Воззвания, обращения, телеграммы, постановления общих собраний регионального духовенства, проповеди, послания — здесь все жанры. В ничтожном количестве текстов содержатся добрые слова о самодержце. Во всех посланиях — крепкая надежда на долгий путь новой государственной жизни. Некоторые иереи попутно приветствуют либерально-обновленческое церковное движение, другие тут же предлагают названия новым формам государственности (демократическая республика, конечно же). Все твердят о сброшенных оковах (и в миру, и в церкви), не ведая, что — большинству — пули уже отлиты.

Одни документы — подспудно — носят выжидательно-оглядливый характер, другие — «прогрессивно-торопливый»; но в целом проповеди представителей епископата и резолюции съездов духовенства содержат в себе призывы к мудрости и смирению, поддержке Временного правительства, доведению войны до победы и сплочению в трудах. Многие иереи призывают к амнистии духовенства, пострадавшего за «сочувствие делу церковного обновления и преобразования старого политического строя» (приложение к № 124).

Типичная проповедь тех месяцев: «Милостью Божиею народное восстание против старых, бедственных порядков в государстве, приведших Россию на край гибели в тяжелые годы мировой войны, обошлось без многочисленных жертв, и Россия легко перешла к новому государственному строю, благодаря твердому решению Государственной думы, образовавшей Временное правительство, и Совету рабочих депутатов. Русская революция оказалась чуть ли не самой короткой и самой бескровной из всех революций, которые знает история. Поэтому долг и обязанность каждого православного гражданина Русской земли, во-первых, — всемерно и любовно поддержать новую власть во всех ее начинаниях по водворению порядка и законности в городах и во всей стране, дабы Временное правительство могло скорее приступить к созыву Учредительного собрания, которое определит решение народное о новой форме правления в России, и довести великую мировую войну до победоносного конца, а во-вторых, — всенародно вознести в храмах в ближайшее воскресенье, 12 марта, благодарение Господу Богу за предотвращение бесполезного, недопустимого в христианстве кровопролития и поддержание достойнейших русских людей, вошедших в состав нового Временного правительства во дни неожиданного переворота, с провозглашением многолетия Богоспасаемой Российской Державе и правителям государства...» (№ 42; обращение архиепископа Тверского и Кашинского Серафима (Чичагова) — впоследствии митрополита Петроградского — к членам духовной консистории и благочинным Твери «По вопросу о перемене государственного строя»); владыка Серафим вскоре погиб от рук большевиков и ныне канонизирован как новомученик.

А вот, как и многие, архиепископ Харьковский и Ахтырский Антоний (Храповицкий) деловито и почти по-военному четко разъясняет (№ 12), почему мы теперь не молимся за царей после актов 2 и 3 марта (отречение от престола и отказ от восприятия

верховой власти). Пожалуй, только у архиепископа Могилевского и Мстиславского Константина (Булычева) нашлись смиренные и милосердные слова, оценивающие служение отрешенного от власти государя. Правда, говоря о душе еще не уничтоженного будущими правителями (скоро, очень скоро!) царя, пастырь нечаянно употребил прошедшее время. Отнесем это к тому факту, что общественная жизнь для него раскололась на «до» и «после». Для всех раскололась.

«...Государь обладал замечательной доброй душой, был исполнен самых лучших намерений, неизменно желал добра врученной ему Богом Державе. Но весьма многие из лиц, окружавших Государя, ведавших различными отраслями государственного управления, были, к глубокому прискорбию, далеко не на высоте своего положения, они злоупотребляли доверием Государя, смотрели на свое высокое положение не как на служение благу народному, а как на средство к удовлетворению своего честолюбия и корыстолюбия, заботились только о своем благе, а об интересах и нуждах народа не радели. Народу тяжело жилось при таких правителях. Недовольство народное возрастало больше и больше и наконец разрешилось волнениями. Тогда Государь признал за благо отречься от престола...» (№ 55). Ну и так дальше.

Интересен пункт «Д» — в резолюции Екатеринославского епархиального собрания (№ 119). Слова подтверждаются здесь делами. Возврата к старому, гибельному для веры и Церкви строю быть не может, и посему: «Ввиду неуместности дальнейшего сбора на построения памятника в честь Дома Романовых собрание постановило просить епархиальное начальство собранные на эту цель суммы обратить на постройку памятника освобождения Русской Православной Церкви от государственного гнета...».

Как странно и страшно думать, читая это, что призрак СЛОНа, Соловецких лагерей особого назначения, вот-вот замаячит на горизонте, а памятником распясавшемуся мракобесию на долгие годы станет популярный бассейн с хлорированной водой!

...Рассуждениями о последующем устройстве государственности особо выделяется в своих речах и посланиях епископ Енисейский и Красноярский Никон (Бессонов). Во время празднования «Дня свободы» он сокрушается о том, что «наилучший способ правления» (английская конституционная монархия) нам-де не подойдет (доверие к монархам утеряно). Что нам нужна даже не демократическая, а «общая» республика, в управлении которой «участвуют все классы, а не одни „пролетарии“». А не то — «опять пойдет „свое“, камарилья...» (№ 74). На собрании кадетской партии Никон снова твердит, что император с супругою «опозорили монархизм» и что «самое слово „монарх” теперь для нас странно...» (№ 81). Крепко достал-таки всех Распутин с министрами, крепко. Но что бы, к слову, сказали «Временные», загляни они в наши, по-своему безумные дни, когда звучат призывы... к канонизации не только еще не знакомого им Иосифа Виссарионовича, но и того же Григория Ефимовича? А заодно и Грозного с Малютой.

Кстати, некоторые батюшки тут же попробовали заняться и социологией: например, в Вятке «высказано было желание узнать политические убеждения самого городского духовенства закрытой тайной подачей голосов. По подсчету оказалось: за демократическую республику — 59, конституционную монархию — 8, монархию — 3, христианскую беспартийность — 1» (№ 116).

Почти в том же ключе («с кем вы, благочинные?», «где ты был с такого-то по такое-то?», «кому служили?») зазвучали и отдельные оправдательно-объяснительные нотки в речи, например, архиепископа Нижегородского и Арзамасского Иоакима (Левицкого): «Мне ставят в вину то, что я сочувствовал Союзу русских людей. Но как же я мог не сочувствовать этому Союзу, когда на его знамени было написано: за православие, самодержавие и русскую народность. Мне кажется, что и вы все должны были сочувствовать этому знамени. Как я мог не служить православию, как я мог не любить русскую народность, как я мог искренне не поддерживать самодержавие, когда у нас был самодержавный строй гражданского управления? Теперь у нас другое правительство, и я опять не за страх, а за совесть служу новому правительству. И вам то же самое предлагаю, „нести бо власть, аще не от Бога”. Но я никогда не работал в Союзе русских людей...» (№ 125).

Но в целом духовенство старается не оправдываться, но *объяснять*, как это делает в своей проповеди викарий Симбирской епархии Назарий (Андреев): «Будьте справедливы, будьте порядочны в своих обвинениях. В духовном сословии, как и во всяком другом, в его отношении к ошибкам старой власти были троякого рода люди: одни молча сносили последствия этих ошибок, другие открыто выступали против этого, третьи допускали защиту всего этого. Грехи людей третьей категории, однако, не могут служить основанием к обвинению всего духовенства. Церкви ставят в вину, что она молилась за самодержавную власть. Церковь всегда молилась за власть, не входя в рассуждение о том, будет ли эта власть монархическая, конституционная или республиканская. И теперь церковь молится за власть и будет молиться о том, чтобы Господь направил правителей на путь добра и правды...» (№ 126).

Для полноты картины добавлю, что киевское духовенство изо всех сил призывало в своем воззвании не поддаваться на провокации «темных и злонамеренных людей», распространяющих по городу позорные призывы к расправе с евреями (№ 157); что Пензенский епархиальный съезд (№ 198) воззвал к терпимости по отношению к самим церковным служителям («Ведь пастыри и клирики вместе с вами, мирянами, несли вековое ярмо рабства и насилия, а теперь вы, получив свободу, хотите воспользоваться ею одни. <...> Не лишайте себя, хотя бы временно, церковных служб и св. таинств...»). И это были не единичные призывы к недопустимости самоуправного изгнания «протрафившихся» священников из приходов.

Почти каждый третий пастырь приветствовал открывшиеся возможности свободного управления делами Церкви и освобождение церковных дел от светских чиновников («иногда маловерующих или даже просто еретиков, которые глумились над архиереями...»).

А в одной резолюции (№ 234; Полтавский епархиальный съезд, 3 — 6 мая 1917 года) вдруг встретилось имя того, кто очень скоро отделит Церковь от государства и кто называл проявление религиозных чувств... труположеством. Приветствуя перемены и надеясь на учреждение республики, полтавчане посчитали «совершенно недопустимыми всякие выступления против нового строя со стороны отдельных членов духовенства, а так и других граждан». И — далее: «Собрание протестует против давления на него разных партий, считая это явление гибельным для отечества, почему и считает необходимым *принять меры к обузданию Ленина и его партии, не останавливаясь и перед арестом* (курсив мой. — П. К.)».

И уж конечно, сообщая в своем послании (№ 237), что «царский престол окружали враги народа (курсив мой. — П. К.) тайные и явные», епископ Омский и Павлодарский Сильвестр (Ольшевский) и в страшном сне не мог провидеть, что именно этим устойчивым словосочетанием будут скоро гвоздить миллионы его соотечественников — верующих и неверующих.

Александр Твардовский. Рабочие тетради 60-х годов. Публикация В. А. и О. А. Твардовских. Примечания В. А. Твардовской. — «Знамя», 2004, № 5.

Из записи от 10 июня 1969 года: «С<офья> Г<ригорьевна>, как-то странно положив руку на трубку моего телефона, передала мне привет Никиты [Хрущева], переданной ей его дочерью Юлией. Говорит, что все вспоминает меня. О Солженицыне (по прочтении „Круга“) говорит, что это действительно гениальный писатель, чего он, мол, не предполагал, когда разрешал к печати „Ивана Денисовича“ („Я просто поверил Твардовскому“)). Начало публикации: «Знамя», 2000, № 6, 7, 9, 11, 12; 2001, № 12; 2002, № 2, 4, 5, 9, 10; 2003, № 8, 9, 10.

Б. А. Успенский. Европа как метафора и как метонимия (применительно к истории России). — «Вопросы философии», 2004, № 6.

Об отождествлении, уподоблении и противопоставлении. Весьма неожиданно, многое поворачивается другими смыслами. «...Петр I вошел в историю как культуртрегер, европеизатор России. Принято считать, что в результате петровских реформ Россия усваивает европейские культурные ценности и становится европейской страной. Я же утверждаю, что одновременно Петр создает культурное противостояние между Россией и Европой, которого — по крайней мере в этой форме — не было раньше. По образному выражению Пушкина (восходящему к высказыванию Альгаротти), Петр „в Европу прорубил окно“. Продолжая этот образ, я бы сказал, что для того, чтобы прорубить окно в Европу, Петру необходимо было воздвигнуть стену, отделяющую Россию от Европы».

Интересно, что наряду со строительством Петербурга Петр наложил по всей стране запрет на строительство каменных зданий (1714).

Фигль-Мигль. Кража молитвенного коврика. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 6.

Под чертой-отбивкой: «Журнальный вариант». Затем: «Фигль-Мигль, человек с претензией. Род., не состоит, проживает. Остальное зри в его сочинениях». Потом идет копирайт: «© Фигль-Мигль, 2004».

Тридцать с лишком странич крутых прозаических наворотов. Ироикомический постмодернизм или «казаки» всямку. «Казаки» — это такие престижные сапоги, как у Мики Рурка. Копирайт реплики мой.

ПОПРАВКА

В № 5 «Нового мира» за этот год под заголовком «Время имеет свою топологию...» была напечатана откомментированная мною подборка из шести писем Юрия Домбровского, адресованных Виталию Семину. В редакцию пришел отклик литератора Владимира Болохова, взволнованного не то чтобы неточностью, но неполнотой комментария. Замечание его касалось письма, датированного январем 1977-го, в которое, поздравляя друга с новогодним праздником, Домбровский вписал десять стихотворных строчек:

До Нового года минута одна.
За что же мне выпить сегодня вина?.. —

и т. д., с дальнейшим перечислением всяческих поводов выпить («за счастье», «за любовь» и даже «за горе») — и с отказом пить по этим поводам.

Полагая очевидным, что стихи эти (небрежно названные Домбровским «стишками») — не более чем неприятный экспромт «на случай», пояснять я их никак не стал.

А оказывается, нужно было. И средство к тому имелось.

Для этого следовало раскрыть № 5 журнала «Звезда» за 1996 год, где опубликована реплика В. Болохова по поводу гулаговских воспоминаний скульптора Федота Сучкова («Неделя», 1989, № 21). В воспоминаниях приводились стихи, врученные мемуаристу Ю. Домбровским по случаю наступления 1974 года, это были те самые 10 строк, которые тремя годами позже Домбровский включил в письмо к В. Семину. Автором их Ф. Сучков (так же, как впоследствии и я) счел самого Юрия Осиповича.

Но вот что рассказал в «Звезде» В. Болохов: «...[Я] метнулся <...> к своему заветному, вывезенному из лагеря чемодану, где и хранятся все „базовые“ блокноты-записи, сбереженные мной, — дневниково-документальный гулаговский архив. <...> Вот и этот лагопус „новогодний“. Почти слово в слово сходящийся с сучковской цитацией. <...> Домбровский и не помышлял числить процитированное Сучковым лагупражнение своим. <...> В урочный лирический предновогодний час, под понятным настроением вспомнул Юрий Осипович известный ходячий гулагопус и записал, как вспомнилось».

Вот, собственно, и все. Спасибо В. Болохову, его архиву, его бодрствующей памяти.

Л. Дубшан.

АДРЕСА: Киевское Набоковское общество «Камера Обскура»: <http://www.nabokov.kiev.ua>

ДАТЫ: 24 сентября исполняется 85 лет со дня рождения прозаика Константи́на Дми́триевича **Воро́бьева** (1919 — 1975).

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Сентябрь

10 лет назад — в № 9 за 1994 год напечатан «Карамзин» Людмилы Петрушевской.

15 лет назад — в № 9 за 1989 год напечатан рассказ Виктора Астафьева «Людочка».

50 лет назад — в № 9 за 1954 год напечатана резолюция Президиума правления Союза советских писателей «Об ошибках журнала „Новый мир“» («...Президиум правления Союза советских писателей постановляет: 1. Осудить неправильную линию журнала „Новый мир“ в вопросах литературы. 2. Освободить тов. Твардовского А. Т. от обязанностей главного редактора журнала. 3. Назначить главным редактором журнала „Новый мир“ тов. Симонова К. М. 4. Поручить секретариату...»).

SUMMARY



This issue contains «The Farmstead» — a narration by Marina Paley, «Crossing the Jordan» — a story book by Yury Buyda, as well as a collection of short stories by Aleksey Smirnov «A Self-portrait in Persons». The poetry section is made up of the new poems by Olga Martynova, Yury Kazarin, Aleksander Zorin. It also contains Pindar's «Victory Odes» in the new translation by Maksim Amelin.

The sectional offerings of this issue are as follows:

Phylasophy. History. Politics: an article by Yury Kagramanov «The Holy Land and around».

The Writer's Diary: «Aleksey K. Tolstoy — The Dramatic Trilogy and the Other Works» — another essay by Aleksander Solzhenitsyn's from his «Literary Collection».

From the Heritage: an essay by the well known English translator Osiya Soroka «The Way Chekhov was Writing Poems».

Literary Critique: «Transformations of the Name» — Irina Surat continuing her collection of articles «Mandelstam and Pushkin».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос,
Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, В. А. Губайловский, Р. Т. Киреев,
С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова,
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Луконина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.05.2004 г. Подписано к печати 30.07.2004 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8600 экз. Зак. 4397. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ANTHOLOGIA»

учреждена редакцией журнала «Новый мир»
в феврале 2004 года в виде специальных почетных дипломов,
отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.

По решению Координаторского совета лауреатами премии
по итогам 2003 года стали:

МАКСИМ АМЕЛИН

за книгу «Конь Горгоны» (М., «Время», 2003);

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

за поэтические подборки «Сорок дней» («Знамя», 2003, № 9),
«День последнего жасмина» и «Без тебя»
(«Новый мир», 2003, № 1, 10);

ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ

за книгу «Фифиа» (СПб., «Пушкинский фонд», 2003).

Правом выдвижения кандидатов на премию 2004 года обладают
творческие организации, критики, издательства.

Торжественное вручение дипломов лауреатам 2003 и 2004 годов
состоится на юбилейном вечере в честь 80-летия
«Нового мира» одновременно с вручением
премии имени Юрия Казакова
и ежегодных редакционных премий авторам журнала
в начале 2005 года.

Предложения лиц и организаций,
заинтересованных в соучредительстве/сотрудничестве,
будут внимательно рассмотрены.

Координаторский совет:

**АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ,
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.**

Контактный телефон (095) 209-57-02

nmir@lenta.ru